

ЗНАМЯ

апрель

Наталья ИВАНОВА
Случай Маканина

Светлана КЕКОВА
Короткие письма

Новелла МАТВЕЕВА
Множимый сводами вздох

Вячеслав ПЬЕЦУХ
Русские анекдоты

Юрий ЧЕРНИЧЕНКО
Вологодчина и Кубань

Григорий ЧХАРТИШВИЛИ
Похвала Равнодушию

Эйтан ФИНКЕЛЬШТЕЙН
**Русский град
в израильском царстве**

4/97



ЗНАМЯ

Ежемесячный
литературно-
художественный
и общественно-
политический
журнал

выходит с января 1931 года

с о д е р ж а н и е

Новелла МАТВЕЕВА	3	Множимый сводами вздох. <i>Стихи</i>
Вячеслав ПЬЕЦУХ	11	Русские анекдоты
Светлана КЕКОВА	21	Короткие письма. <i>Стихи</i>
Людмила АГЕЕВА	25	В том краю. <i>Рассказ</i>
Денис НОВИКОВ	41	Сокрытое от оптики. <i>Стихи</i>
Даур ЗАНТАРИЯ	44	Золотое Колесо. <i>Роман. Окончание</i>
Мария ИГНАТЬЕВА	98	Стихи, присланные из Испании
Евгения и Иосиф КУНИНЫ	104	Октаэдр. <i>Фантастический роман в двух частях</i>

м е м у а р ы . а р х и в ы . с в и д е т е л ь с т в а

Андрей СЕРГЕЕВ 139 О Бродском

п у б л и ц и с т и к а

Юрий ЧЕРНИЧЕНКО 159 Вологодчина — Кубань

е д и н ы й м и р

Эйтан ФИНКЕЛЬШТЕЙН 180 Русский град в Израильском царстве

апрель

4/97

к р и т и к а

- Григорий ЧХАРТИШВИЛИ 207 Похвала Равнодушию.
Приятные рассуждения о
будущем литературы

n o m e n c l a t u r a

- Наталья ИВАНОВА 215 Случай Маканина

н а б л ю д а т е л ь

Рецензии

- Инга Кузнецова 221 Асар Эппель. Шампиньон моей
жизни
- Алексей Пурин 222 Александр Шаталов. Другая
жизнь: Стихотворения
- Татьяна Вольтская 225 Евгений Шкловский.
Заложники: Рассказы

Дважды

- Алена Злобина 227 И. С. Тургенев. Месяц в
деревне. Мастерская Петра
Фоменко; И. С. Тургенев.
Маленькие комедии. Театр на
Малой Бронной: Постановка
Сергея Женовача
- Юлия Тарантул 229 И. С. Тургенев. Маленькие
комедии. Спектакль в трех
действиях. Театр на Малой
Бронной: Режиссер Сергей
Женовач
- Галина Онуфриенко 231 Манеж в ожидании чуда

О себе

- Дина Рубина 233
- В. Кардин 235 А. Г. Тартаковский.
Неразгаданный Барклай:
Легенды и быль 1812 года

Незнакомый журнал

- Лариса Токарь 238 «Перекресток» («Цомет»).
Москва — Тель-Авив

* * *

Снился город, большой, как балбес и как сфинкс без лица;
Площадь Зол, тошнотворно-наклонные дали казенные.
Облаков неподвижных одышливые сердца,
Штыковыми ударами башен навывлет пронзенные.

Словно крышки пеналов, по гладким пазам поезда
По тоннелям ползли и по проводу искрами чиркали,
И за ними стальная, блистая, лилась борозда
И маячили кранов каркасные аисты-циркули.

По мостам канцелярским бежал пешеход от машин.
Громоздились тираны, — пигмеев громадные статуи;
Их промозгло-сырой, подагрический мрамор большим
Без-хозяйственным мылом развилки стирал полосатые.

На поверхностный глаз так внятно камень сверкал!
Нагревался на солнце, гордился прогретыми ядрами,
Но в породе, внутри, — как преступная мысль, залегал
Подозрительный мрак ледяными незрячими ядрами.

Как возможность безумья, потемки у статуй внутри;
Лишь в разломе заблещут, лишь только разбившись, излечатся,
Лишь в кусках — исцелятся! («Кумира не сотвори»,
А не то, — так, смотри: — помешательство увековечится!)

Бесприютностью дней подирало по коже домов.
Шла по тракту Мечта, обделенная даже туманами,
С охлажденным умом, отрезвленным умом из умов.
И неровность камней шлифовала открытыми ранами.

Той Мечте не мечтающей — благ — ни закат не сулил,
Ни теней наплыванье, ни воздуха волны вечерние;
Снилась ей — то фанера, то язвы разлитых белил,
То каких-то осколков — по шлаку — стеклянные терния...

Ей одно оставалось лишь: раненый путь в облаках
На вечерней заре... Но ведь тоже — настили истаяли,
Где химеры ветров, молоко облаков облаков,
И дорогу подъезв, разбежались насытыми стаями.

...Снился город. Большой, как балбес и как сфинкс без лица.
Загляденье слепца! Ослепленье для глаз очевидца.
Сто путей для погонь. Ни тропиночки для беглеца.
Сто притонов для шлюх. А бездомному — негде укрыться.

16 июля 1970 г.

Близко к зиме

Ивану Куру

Луна глядится в мокрый листопад,
Морозцем принайтовленный к земле.
И каждый лист, как оттиск лисьих пят.
И точит свет, как зеркальце во мгле,

Как плоскость блеска в каменном угле,
В котором дым, в котором жар заклят.
А ветерок — подмерзлый аромат
Дубров окружных носит на крыле.

Неясно подымающихся трав
Канавы придорожные полны.
Ты говоришь: «Курфюрст, Саксонский Лис,
Спас Лютера от яростных расправ...»

И ночь хранит нас на дороге вниз,
Где зыбок мост над первым льдом волны.

1983 год

Сибирь

Ивану Киуру

Красно-рыжую с черным, тайгу
Взял мороз. Но отпустит потом.
Леса бронзовый лис
убирает хвостом
Голубые следы на снегу.

Там Еловка, — деревня твоя,
С материнского прялкой в избе.
Или избы вдали
Аж под корень снесли,
Чтоб никто не узнал о тебе?

Осень леса
Рванется к садам,
Краскам родственным в даялах
Мигнет
Да по снежным по тем
Васильковым следам
Опахалом цветным полыхнет.

Там недетские думы копил,
С тайным ужасом слушал псалмы
Под соломой, летающей с черных
стропил...
Или все свои льды океан растопил,
Чтоб не стало сибирской зимы?

Но к чему эта ростепель вновь
Рушит заморозка филигрань?
Жаль мне красных лисиц!
Васильковых снегов!
Жаль святую студеную рану!

Или зря о заре серебрил
Высоченные кроны мороз?..
— Все в Сибири огромно...
На то и Сибирь, —
Помню, с важностью ты произнес.

29 нояб., 1 дек. 96 г.

* * *

На светлых скользких парах
Ночной распластался страх,
Как на площадке гладкой перед храмом
Рассвета в серых горах.
Голуби в тумане.
Холода вниманье
К простой сосновой смоле
В легкой рассветной мгле.

Мрачны подножия ив,
Но прутья рвутся из них,
Сквозь сон — провидчески алы,
Как ранней рани сигналы,
И брызжет светоструя,
Как кисть огня на шандалы,
Упав на их острия.

Возможно ли изнутри
Постичь картину зари?
Быть может, надо просто засмеяться?
Быть может, — корни ивы озарив,
Тайтся в тумане и в зелени

Божественный вид везения,
Которого и смешно и грешно бояться?
Щелчками света сгонит злого гения
Сбó свету — рань весенняя.

Но мысль привыкла роптать.
Но дух сомненья жесток.
Но их смятенью подстать
Опять затмился восток.
С выступов поток
Валится, как снег,
Сыплет вьюгой белой.
И шумит укор
Помраченных гор,
Крыльев, хвойных крон, — «Уходи...
Уходи, несмелый
Жалкий человек!»

А ивы поймались на коновязь:
Их замерли гривы склоненные,
Гвоздями росы снеговзвездными
К подмерзлой земле пригвожденные.

1976 и (23 марта) 96 г.

Гимн чердакам

Мир черенков (и черепков,
Ползушей с крова черепицы),
Чердак! Чертог Луны-царицы,
Пристанище былых веков!

Здесь мысль плохих учеников —
И та — парит, подобно птице...
Рывков незримых очевидцы, —
О чердаки! Всех бедняков

Дворцы! Под кровельным теплом
Вийона зреет здесь диплом...
Здесь опереются поэты

В большой полет... Здесь
глобус (весь
В пыли)... Здесь книги, свитки... Здесь
Шекспира университеты!

1993 год

Рэй Брэдбери

Ивану Киуру

Когда мелькнул нам звездный факел Рэя,
Когда за ним мы устремились, рея,
Нам виделся не только звездный факел,
Но и земных каких-то кухонь кафель...

В космического мрака вихрях-штольнях
Крутились книги, тени ламп настольных,
Пел хор планет... Но и судьбу-планиду
Тогда не упустили мы из виду.

Обманы звезд отдельных люциферны!
Зато внизу мерцали птицефермы,
Костры, пекарни... Даже небоскребы
Светились так, что было не до скорби,

А только до воспоминаний детства,
В котором недоступное соседство
Америки
Манило почему-то
Размахом океанского уюта!

Рэй Брэдбери!
Поэт земной разлуки
И неземной, инопланетной, муки!
Зачем перегрузил ты болью нашей
Чужого мира купол черепаший?

Там двойники вдвойне к земному глухи.
Там астронавта
Мороки и духи
Томили пуше голоду и зною
Несбыточности пыткой неземною.

Художник снов!
В кольце которых плотном
Он пробуждается в поту холодном,
А всё еще... надеется! Но где ж ты
Дашь парню дочитать до надежды?!

И всё же — за космизмом злоинтриги —
Шестидесятих лет благие миги,
И в кухнях астронавтов — белый
кафель,

И вволю — дождевых — на стеклах —
капель,
И — капельмейстер капель — ветер
мятный,

И настоящий снег! (не суррогатный!)
Где всё?
Не ты ль, готовя нас к удару,
Рэй, звезды разозлил? Накликал кару?!

Не знаю, чей сейчас круиз «шикарен»,
А больше нет ни ферм и ни пекарен!
И прямо под рукою — столько ада, —
Ни вверх, ни вниз за ним летать не надо!

Но сколь светлее, всё же, был наш старый
Рэй Брэдбери — вот этих, пьяных сварой,
Фантастов от тоски! От Фантамаса!
Плоть жизни обдирающих до мяса!

Божусь! Он был настолько старомоден,
Что всё еще романтике угоден;
А те самумы из визжащих игл
Не он на наши головы накликал!

...«И грянул гром!» — читали мы с
тобою;

За астронавта роковой тропею
Следили ужасающимся взглядом
Сочувствия!
А уж гремело — рядом.

Век наступил на бабочку Спасенья!
(Условья создал ей для Вознесенья!)
От «теплоты» людской — мороз по коже!
И создали тебе «условья» — тоже!

Осиротел наш дом...
Сказать, как часто
Я вспоминаю нашего фантаста?
Потворствуя
Забытому призванью, —
Мятежной рифме
и повествованью.

8, 12 марта 1996 года

Волны и скалы

Перед грядою прибрежных кряжей
(Стражей; на стражах, как шлемы, —
птицы),
Волны ерошливо машут пряжей
Как прядильщицы-бунтовщицы,
Как чесальщицы льна (хмельные),
Ниток мотальщицы (шебутные),
Каждая — тыча с мятежной целью
Центуриону в лицо — куделью...

Ключья-то весь оком заткали...
Кто нарушители?
Где законы?
Стаченицы и центурионы —
Стаченицы и центурионы, —
— Волны и скалы...
Волны...

...Ах, опостылел мне берег, берег, —
Вид угрожающий, рев злодейский,
Римские шлемы — орлы на белых
Скалах, да чаячий писк пигмейский!

Можно устать от орлов и грифов,
Перемещающихся к прибою, —
К пушечным батареям рифов
С их беспорядочною пальбою

По беспредметной мишени мифов...

Было бы легче, когда
Водопада
Перекричала бы их —
канонада:
Может быть, спор (если шумом — по
шуму)
Сам перешел бы в степенную думу?

Может быть, там впереди, на глади
(В море открытом, а как в лагуне!),
Всю эту синь поместив во взгляде,
Можно тайком отдохнуть на шхуне?

В далях ведь нет удалой разэтакой
Склочности вод с рыжизной на гребне;
Пена родится там легкой розеткой —
Белой!
Волшебной!

В далях
Пленительней вечерет.
Серый мартын одиноче реет...
Лишь полумесяц, — двуликий Янус,
Тянет из хлябей двойник свой
за нос.

15 апреля 94 г.

Ночные фиалки

I

Тихо,
Как раковины речные,
Вдруг приоткрылись фиалки ночные.
В белых туник диковатые складки
Спрятали заспанности остатки.
Словом заветным, в тиши оброненным,
Сладостно всплыв над стеклом
ограненным.
Воду, до шеи дошедшую, выпив
В честь козодоя и маленькой выпи.

Парламентарии проталин вешних,
Весну несущие в депешах спешных!

Но, медом склеенные, их конверты
Вот-вот расклеются под теплым ветром.

Земля нагреется — сургуч растает,
И, смотришь, грамоту весь мир читает!
А если вычитать весну до срока,

Кто бы поверил, что ночь и свобода,
Свитые ветром из снега и меда,
Шелка и воздуха; эти живые
Гибкие рты и глаза дождевые;
Эти дрожащие микроохапки
Хрупкости, — так проникающе-звябки,
Талы и ломки! — но в полночь, однако,
К ним не подсунутся мороки мрака.

II

Работа посланных сойдет без прока.

Но почвой вымыслы не оскудели,
И наши вестники — опять при деле.

И, в ночь выруливая, золотою
Разминкой (вроде бы для променада)
Они задабривают козодоя,
Чтоб не предсказывал чего не надо!

февр. и 18 марта 1996 г.

Электра

...Алебастровый лоб Клитемнестры —
В мерцаньи подвесок.
Молнии на облаках почерневших, —
Как трещины фресок.
 — Дочь, ты слишком крушилась,
 когда Агамемнон
Умер. Я не могу тебя видеть.
Эй, повозку! Царевну Электру
 в деревню
Увезти. За крестьянина — выдать.
Перед гордой царицей Электра стояла,
За терновыми стояла кустами.
То, что думала, только глазами сказала,
Ничего не сказала — устами.
 «Мать, о мать! Агамемнон, отец мой — в могиле.
 Завтра ждет его Плутон суровый.
 Мать, я знаю; ведь вы его вместе убили.
 Ты и твой возлюбленный новый».
На царице наряд, как змеиная кожа.
И смехок у ней вырвался сдавленный:
— Чересчур на отца ты, Электра, похожа!
Жаль, не знаешь вины его давней...
 Я твой плащ некрасивый веревкой украшу,
 Так как судьбы тебе изменили.
 Береги ее в знак высшей милости нашей, —
 В знак того, что тебя не казнили.
И смеется,
И словно чего-то боится,
Рот запекся, как темный шиповник...
Вдруг... — дрожашую руку взметнула царица:
— Ифигению — помнишь?!
 Пыль...
 Колеса, скрипя, в колеях припадают.
 Уползают с обочины змеи...
 Боги вешие
 Из облаков наблюдают
 За царевной с веревкой на шее.

Январь, 1989 года

Открытие

— Не отходи от примуса!
(Материнский наказ)

Утрами июньскими жаркими
Меж роц, прерываемых парками,
Я рано любила вставать,
 Под лестницей примус накачивать
 И робость настолько утрачивать,
 Что... песенку вслух запевать!

И вот я пою с настроением,
А песня звучит с утроением,
Как, множимый сводами, вздох!
 Что ж. Если еще до отплытия
 Вершатся морские открытия,
 То рейс будет вовсе неплох!

Но что это?! Мне представляется,
Что песня моя — углубляется!
Что примус, — пока он зажжен,
 Пока над ним воздух —
 воронкою, —
Дает мне акустику звонкую
И действует... как микрофон!

А выйдешь, (домоешь посуду-то),
Зеленого шелеста всюду там —
То шепчущий смех, то набег...
 Черемуха
 Кисти осыпала,
А все еще в травах блестит ее
Медовый и шелковый снег.

Душа! Вспоминай до последнего,
Как в радостной местности летнего
Шелеста, дивной насквозь,

Не «Сказками дядюшки Римуса»,
А сказками дядюшки примуса
Заслушаться нам привелось.

1970-е и март 96 г. (26-е)

* * *

И даже в голод невозможный
Перед обещанной подпиткой
Я «булоШная» и «молоШный»
Не изрекла бы и под пыткой,

Чхнув по эфиру перед читкой!..
Что там, — вверху, за население?
Откуль?! Такое впечатленье,
Что зык у них, как воп, кромешен!

Дабы не стать перед попыткой
Прошваркать вместо «срочный» —
«сроШный»,
А вместо «точный» —
шмякнуть «тоШный»,

И что у них во рту
квадратном
Не тем концом язык подвешен,
Но обязательно — обратным!

25 февр. 1995 года

Рисунки для чайного сервиза (или — «Обманутый пастушок»)

Мы, вроде, вчера сговорились
Плясать до утра с Амариллис
На нашем Овечьем лугу,
Так что ж не идет
Амариллис
Плясать, как вчера сговорились?
Я долее ждать не могу.

Весь в розах, в пастушеских бантах,
Побрел я в сарай на пуантах
И, — пару пастушеских цитр
Хватив об узор балюстрады,
Амврозии выдул с досады
Я чисто пастушеский — литр.

Я был бы, конечно, скотиной,
Когда бы с пастушкой Беттиной
С досады пустился плясать!
Но... был бы я — так же —
скотиной,
Когда б не сдружился
с Беттиной
И начал ей вызов бросать!

И вспыхнул в моих подсознаниях,
Под шляпою в перьях фазаньих
Типично-пастушеский план:
Леандр, легкомысленный скотник,
До женского пола охотник,
Ответишь ты мне за обман!

Двух песен с Беттиной не спели,
Два круга пройти не успели —
Уже Амариллис пришла!
И видя, что я ей не верен,
Свой сельскохозяйственный веер
Леандру всердцах отдала!

Вблизи мелового карьера
В долину спускалась портьера:
Я спрятался в складках ея
И, маску достав из крапивы,
Стал ждать, чтобы вместе
пришли вы, —
Леандр и плутовка моя!

А он подарил ей гитару,
Перчаток пастушеских пару
И шелковый зонтик при том.
(Гитара нужна для напева,
Перчатки из кружев — для хлева,
А зонтик — ходить за скотом).

Зачем ты не шла, Амариллис,
На пляску, как мы сговорились?
Почто объявилась не в срок?
А я-то! — я чтил ее свято!
Свидетели — овцы, ягнята
И розы
И горы
И дрок!

31 июля 96 г.

В защиту стихов

Любая умная лисица
Стрелкам не верит. И от них
Предпочитает уноситься,
Чтоб не пойти на воротник.

Любой наивный зайка знает,
Зачем охотнику ружье,
На кой в кустах собака лает
И как запутывать ее.

А мы? Мы рады стать мишенью
И для неопытных стрелков!
Мы поддаемся их внушенью
Насчет «ненужности» стихов!
 И невдомек нам,
 Как жестока
 В них зависть! Шельмам
 не первой
Перевоспитывать пророка
При сносе башни вечевой!
Не открывай врагу ворота!
Не предавай стихов своих!
Знай: лишь притворная зевота
В толпе случается от них.
 Знай: неприступны и едины

Мечта и ритм, душа и стих, —
Нет чувства, помысла, картины,
 Чтоб не укладывались в них!
Гляди: скучнейший из унылых,
Кому стихи мешают жить —
И тот — решительно не в силах
Об этом прозой доложить!
 Иду сама к себе с прошеньем;
 Не предавай своей любви, —
 Не соглашайся с поношеньем,
 Напрасно Феба не гневи!
Но... невдомек нам отчего-то,
Что живы ритмы, рифма, стих,
Пока на них идет охота,
Пока завистник есть у них.

28 февр. 96 г.

Та Верона

...А впрочем, в этой маленькой державе
Все влюблены. От стенки и до стенки!
Шекспиром надо быть, чтоб в этой лаве
Клокочущей — распознавать... оттенки!

Два старца влюблены в огонь отмишенья,
Внесенный встарь в очаг семьи священный.
Кормилица — в грехи. Тибальд надменный —
Тот — в ненависть влюблен и в отвращенье.

Меркуцио — в горячку, в лихорадку.
Бенволио — в любой призыв к порядку.
(Недаром он стоит с Лоренцо рядом!)
А сам поэт, влюбленный в оба клана,
Глядит на них, как солнце из тумана,
Блестящим и прощающимся взглядом...

1995 год

Вячеслав Пьецух

Русские анекдоты

№ 1

Хоронили одного художника-мариниста, бывшего матроса Каспийской флотилии, который скончался от перепоя. Дело было поздней весной, чуть ли даже не в первых числах июня, в дождливый, промозглый день; страшное своей запущенностью и необозримостью Вознесенское кладбище было окутано белым цветом сирени, навевавшей некоторым образом зимнее ощущение, так что хотелось кутаться и чихать.

Гроб, обитый в андреевские цвета, с час тащили через некрополь по щиколотку в грязи. Жанрист Насонов и авангардист Перебежчиков тем временем откуда-то приволокли ржавый металлический катафалк; друзья водрузили на него гроб, отчинили крышку, и все участники похорон как-то прочувственно замерли, точно вдруг призадумались, сложив руки на животах. Один могильщик выпадал из ансамбля, поскольку был занят делом, именно он распутывал веревку, держа во рту гвозди, а потом внимательно осматривал молоток.

Перебежчиков сказал речь.

— Друзья! — начал он, едва утвердившись на краю раскрытой могилы. — Сегодня мы провожаем в последний путь выдающегося художника нашего времени, который отдал родному изобразительному искусству все силы своего дарования и души. Ушел из жизни живописец, который после Айвазовского был самым голосистым певцом морской стихии, певцом воздуха и воды... Хотя, по правде говоря, Айвазовский нашему покойнику в подметки не годится...

— Ну, это ты, положим, загнул, — перебил Насонов, — это у тебя, положим, получается перебор.

— Отнюдь! — возразил Перебежчиков, и в его голосе прозвучала незаслуженная обида. — Ведь Айвазовский что? так... гиперреалист, копирувальщик текучих вод. А усопший воспринимал действительность через призму своего умного глаза, преобразовывал ее силами подсознания и всегда получал высокохудожественный результат. У него выходила не просто вода, а суть воды, сущность, ипостась...

— Знаем мы вас, хриstopродавцев, — сказал Насонов. — Вы мастера только разные темные слова говорить, а сами простую кастрюлю нарисовать не можете, не дано!

— Паоло Трубецкой тоже рисовать не умел, а был гениальный скульптор!

— Твой Паоло Трубецкой родину продал, гад! По сути дела, он был никакой не Паоло, а просто Паша, и при этом по-русски ни в зуб ногой!

— Да ведь он в Италии родился и всю жизнь прожил на Апеннинском полуострове, с какой стати он будет тебе говорить по-русски?! И вообще: Паоло Трубецкой был гражданином мира.

— Вот я и говорю: злостный космополит! Моя бы воля, я бы всех этих хриstopродавцев улек на сто первый километр, потому что для вас правда

жизни, народность — тьфу! плюнуть и растереть! Но мы, реалисты, наследники великих традиций передвижников, стеной будем стоять за народные интересы, мы будем служить народу до последнего издыхания, наперекор жуликам всех мастей!..

Участники похорон с живым интересом следили за перепалкой, совсем позабыв о покойнике, который лежал в гробу с таким отстраненным видом, с каким на семейных торжествах присутствуют очень дальние родственники, приглашенные так, чтобы приличия соблюсти. Только самым близким людям казалось сильно странным, что усопший не принимает участия в прениях, до которых он, действительно, был охотник. Кроме того, их занимала одна и та же шальная мысль: поскольку могила была чуть ли не наполовину заполнена талой водой, им подумалось, что покойника хоронят, как настоящего моряка.

— Если понадобится, — тем временем продолжал Насонов, — мы в интересах народности будем своей кровью рисовать, как Винсент Ван Гог!

— Очень характерная параллель, — язвительно заметил Перебежчиков, — потому что Ван Гог был псих. Но при этом он гениальный художник, а ваша шайка главным образом специализируется по идеологическому лубку! Удивительная страна: повсюду всё как у людей, а в России, если ты национал-реалист, то обязательно неуч и до известной степени идиот! Ведь у нас кто народник с уклоном в передвижничество: кто верит в заговор сионистов, переселение душ и тринадцатое число!

— Пускай мы не шибко грамотные, зато люди чести! — сказал Насонов. — А ваши жулики как пришли к власти, так сразу прижали хвост национальному изобразительному искусству, совсем его, гады, свели на нет!

— Это вы-то люди чести?! — воскликнул Перебежчиков, ударив себя кулаками в грудь. — А с чьей подачи Хрущев разгромил выставку в Манеже... не помню в каком году?! Кто нас тогда давил?! Вы и давили, народники, судье племя!

— Давили, да только мало! По-настоящему, вас всех нужно было пересажать!

Неожиданно для присутствующих могильщик вдруг свирепо вытаращил глаза и затараторил нечленораздельное:

— Бу-бу-бу!..

— Ты гвозди-то изо рта вынь, — посоветовали ему.

Могильщик вытащил изо рта гвозди и сказал:

— Кончайте базар, на обед пора!

№ 2

Зимняя Москва, кварталы, которые лежат между Цветным бульваром и Петровкой, поэтически руинированные усилиями времени и людей. В одной из квартир, заключенных в означенном пространстве, раздается телефонный звонок, тревожный, как обращение «гражданин».

— Вер, это я.

— Зин! Ты вообще знаешь, который час?!

— Ну, не знаю!..

— Четыре часа утра!

— Господи! Какое это имеет значение, когда людей постигает горе! Ты сидишь или стоишь?

— Лежу.

— Тогда встань. Сейчас по «Голосу Америки» сообщили, что скончался Абу Керим.

— А кто это?

— Выдающийся экономист нашего времени, нобелевский лауреат, у которого было пятнадцать жен!

Спит Москва, посапывая в подушки, кварталы, лежащие между Цветным бульваром и Петровкой, душит ночная мгла, по кривым переулкам в полном одиночестве гуляет поэмка, — словом, могло бы показаться, что жизнь в городе пресеклась, кабы не телефон.

— Но, как известно, Вер, трагическое всегда соседствует со смешным. Вчера был пятидесятилетний юбилей библиотеки имени Герцена; угадай, что подарил библиотеке дурак Поплавский?

— А кто это?

— Ну Поплавский, языковед, критик, переводчик, знаток античности и вообще... Представь себе, он подарил на юбилей связку книг, которые украл из библиотеки за пятьдесят лет ее существования, — каково?!

— Во всяком случае, оригинально. Ты меня, Зин, с этим Поплавским обязательно познакомь.

— Теперь опять о плохом: вчера мне сказали, будто у президента Клинтона что-то не в порядке с поджелудочной железой. Не дай бог, если что-нибудь серьезное, я этого просто не переживу!

— Кошмар!

— Ну а теперь самая страшная новость! Ты стоишь или сидишь?

— Стою.

— Тогда сядь. Сегодня я пришла к заключению, что в нашем правительстве заседают главным образом подлецы.

№ 3

Давно замечено, что история русской жизни движется как бы по замкнутому кругу, движется, разумеется, развиваясь, нарастая, но все же по принципу колеса. Например, при государе Алексее Михайловиче Тишайшем в нашей стране воровали фунтами и пудами, однако в результате Петровских реформ, екатерининских послаблений, указа о вольности хлебопашцев, благоденствий со стороны Александра II Освободителя, Октябрьской социалистической революции и переворота 1991 года уже довольно легко можно украсть железную дорогу либо завод. Или такой пример...

В один прекрасный день Виктор Молочков, бывший студент Литературного института имени Горького, исключенный за драку, повлекшую за собой тяжелые телесные повреждения, а впоследствии владелец кондитерской фабрики, что-то стосковался по простой, беспардонной жизни и по старой памяти решил побывать в пивной. Как раз неподалеку от его резиденции, на Балаклавском проспекте, имелось такое демократическое заведение, где простой народ забывался за кружкой пива. Грязно тут было даже по российским меркам необыкновенно, пахло отхожим местом и селедочными очистками, но вообще атмосфера была теплая, братская, какая у нас, как правило, объединяет людей в случае крупного общественного несчастья.

Взял Молочков две кружки пива, сто пятьдесят граммов водки и присел к одному сравнительно симпатичному мужику.

— Ну что, — говорит, — профессор, выпьем за то, чтобы лыжи не ломались?

Мужик отвечает:

— Если бы я был профессор, то сидел бы сейчас в уюте и про что-нибудь отвлеченное размышлял. А то я безработный слесарь-наладчик, уже забыл, в какую сторону завинчиваются болты, плюс через интриги недавно лишился жилплощади и теперь ночую на Трех вокзалах.

Молочков говорит:

— Значит, такая твоя судьба. Сейчас жизнь пошла соответственно закону природы: «Кто смел, тот и съел». А у кого мозги работают исключительно в том направлении, чтобы отволынить восемь часов у станка, что-нибудь украсть и продать, тот, конечно, ночует на Трех вокзалах.

— Нет, дорогой товарищ, это просто вновь подняла голову гидра контрреволюции, и простой народ в который раз привели к нулю. Но мы еще поднимемся всем миром и свернем этой гидре шею, то есть лозунг «Вся власть советам» опять на повестке дня. А то, понимаешь, взяли моду: жуликам все, а трудящимся ничего! Нет, дорогой товарищ, не сегодня-завтра порежем буржуев и всё по-новой поделим промеж собой.

— Ну, это вы, ребята, умоетесь! — серьезно сказал Молочков. — В другой раз по-вашему, по-простонародному не бывать! Это вам не семнадцатый год, блаженных Гучковых да Керенских больше нет, мы вас сразу прижмем к ногтю!

— Кто это мы?

— Да мы! Деловые люди, настоящие хозяева лесов, полей и рек!

— Ага! Так ты у нас деловой?

— Деловой, ага!

— А хочешь, деловой, я тебе сейчас вот этой кружкой голову проломлю?!

— Так... — сказал Молочков. — Сейчас точно прольется кровь! Предлагаю считать нижеследующую схватку прологом ко второй гражданской войне. А ну, подходи, блин, пролетариат и беднейшее крестьянство!

Публика, относившая себя к этим двум сословиям, не заставила долго ждать, и, что называется, грянул бой. На счастье, у входа в пивную дежурили двое милиционеров, и драке не дали зайти слишком уж далеко; бойцов растащили, посадили в две патрульные машины и увезли.

В отделении милиции Молочкову велели написать объяснительную записку. То ли в нем разыгралась кровь, то ли дала о себе знать творческая жилка, некогда указавшая ему путь в Литературный институт имени Горького, но он размахался на пять страниц.

Дежурный милиционер благодушно принял его листки, так как не ожидал ничего, кроме незначительного правонарушения, которое повлечет за собой административную меру взыскания, но, чем дальше он читал, тем смурнее становилось его лицо.

— Послушайте, Молочков, — сказал милиционер, — вы что, нарочно, что ли, себя подводите под статью? Вот послушайте, что вы пишете: «В ответ на несмываемое оскорбление словом я нанес потерпевшему сокрушительный удар в нижнюю челюсть, которым он был до такой степени потрясен, что, как подкошенный, рухнул на пол...» Вы чем думаете, Молочков, головой или каким-то другим предметом, ведь это уже статья! Давайте убирайте к чертовой матери эти ваши сокрушительные удары, а то я вас немедленно укупе.

— И не подумаю! — сказал ему Молочков. — Я даже при коммунистах творил, как хотел, я под их диктовку сроду одного слова не написал, а вы хотите, чтобы я ублажал цензуру в условиях демократии, — да ни в жизнь!

Зря он кобенился: тут же был составлен протокол, снят допрос, заведено уголовное дело по обвинению в нанесении тяжелых телесных повреждений, взята подписка о невыезде, — одним словом, дело приняло нешуточный оборот.

На другой день Молочков выяснил у приятелей, каков размер взятки, которую в таких случаях полагается отстегнуть, и отправился в злополучное отделение милиции, на чем свет стоит кляня свою неуместную тоску по простой, беспардонной жизни. Дежурный милиционер еще не сменился; он посмотрел на Молочкова скучающими глазами, верно, он угадал, что означает этот визит, и отсутствие тайны, интриги навеяло ему скуку.

— Сколько, командир? — спросил его Молочков.

— Девять, — ответил милиционер, и вдруг что-то озорное мелькнуло в его глазах, не исключено, что на одно мгновение ему в голову пришла мысль из озорства довести дело Молочкова до логического конца.

— А почему именно девять?

— Не знаю, такая такса.

Молочков передал милиционеру девять миллионов рублей в банковских упаковках и по старой памяти подумал: «Очень хорошо, миллион останется на пропой». Все-таки демократическое прошлое засело в нем, как заноза, крепко и глубоко.

Неподалеку от станции метро «Нагатинская» он зашел в маленькое кафе, сделал заказ и, поскольку ему требовалось высказаться, подсел к одному сравнительно симпатичному мужику. На лацкане пиджака у того был прикреплен значок в виде Георгиевского креста.

— Патриот? — с деланным сочувствием спросил его Молочков.

— Патриот, — ответил сосед, — только с уклоном в коммерческий интерес.

— Коммерческий интерес — это понятно, а вот для патриотических настроений, на мой взгляд, оснований нет. Оглянитесь вокруг: ведь это же какая-то Внутренняя Монголия, только на железобетонный лад! Пивка попить по-человечески и того нельзя!..

— Это как посмотреть. Вот мыкался я четыре года по Европе в поисках демократических свобод, и что же: в Дюссельдорфе меня арестовали за переход улицы в непопозволенном месте, а когда я попытался всучить взятку шуцману, то дали полгода принудработ. Ничего себе свобода, а?! В Москве я любое отделение милиции куплю за ящик водки, а в Европе меня посадили за сущую ерунду! Тогда-то я и понял, где на самом деле существуют демократические свободы, и уехал назад в Москву. Но сколько надо было сначала выстрадать, чтобы понять: Россия — самая свободная страна в мире. Ну где еще можно годами не платить за квартиру и телефон?!

Молочков сказал:

— Так-то оно так, да только номенклатура демократических свобод у нас открывается свободой дурачить простой народ. То коммунисты обобрали трудящихся под предлогом прекрасного завтра, то теперь демократы оставили без штанов...

— А что же вы хотите, пошла нормальная жизнь: у кого мозги работают, тот как сыр в масле катается, а кто похмеляется по утрам, тот, разумеется, без штанов.

— Одна надежда, что этим умникам долго не протянуть. Не сегодня-завтра кончится долготерпение народное, разогнет он свою могучую спину, и тогда этим гадам придут кранты!

— Гады — это кто?

— Да всякие патриоты с уклоном в коммерческий интерес!

— То-то я гляжу, что у вас руки трясутся, небось, тоже похмеляетесь по утрам...

— Так... — сказал Молочков. — Сейчас точно прольется кровь!..

№ 4

Учитель истории Юрий Иванович Барабанов до такой степени любил свое дело, что в пятых классах у него не было ни одного троечника, а все хорошисты да отличники, причем отличников насчитывалось больше, чем хорошистов. Удивляться тут, впрочем, нечему: и предмет сам по себе занимательный, и Барабанов чего только не выдумывал, чтобы обворожить своих пятиклассников знанием о былом. Например, он проигрывал с ними в лицах разные события древней истории, и ради этих импровизированных спектак-

лей дети манкировали даже такими увлекательными занятиями, как охота на ворон и курение в подсобке подвального этажа.

Делалось это так... С последним звонком Юрий Иванович собирал старост в учительской и говорил:

— Сегодня, молодые люди, мы с вами изобразим упадок рабовладельческого строя и становление феодальных отношений в центре и на местах. Молодежь из 5 «А» представит нам римскую патрицианскую семью, 5 «Б» — надсмотрщиков и легионеров, разгильдяи из 5 «В» будут у нас рабы...

Некоторое время занимают прения сторон, так как учащимся из 5 «В» не хочется быть рабами и они претендуют хотя бы на роль легионеров, но, как бы там ни было, в половине второго лицедеи собираются в актовом зале, некоторое время опять же препираются, однако вскоре дело идет на лад. Розовый толстяк Лебедев, даром что в его семье третий месяц не получают зарплату, важно ходит по сцене туда-сюда, приволакивая тогу из штапельной занавески; легионеры, вооруженные самодельными мечами из фанеры, торчат по углам и строят зверские физиономии; а надсмотрщики размахивают воображаемыми бичами; что до рабов, то они покорно притворяются, будто жнут жито, так как за эту неблагодарную роль каждому обещано по сладкому пирожку. После, по знаку Юрия Ивановича, рабы восстают и воюют с легионерами, причем дело не обходится без одного-другого расквашенного носа и многочисленных синяков.

Вдруг толстяк Лебедев говорит:

— Юрий Иванович! А чего вообще эти повстанцы нам воду мутят?!

— Ну как же! — объясняет ему Барабанов. — Ведь рабы подвергаются жестокой эксплуатации, находятся на положении говорящих орудий труда, — кому это понравится, посудите?! К тому же занимается заря феодализма, более прогрессивных социально-экономических отношений, и рабы это чувствуют, как никто.

— А дальше что? — спрашивает Краснов, который представляет раба, как бы томящегося за решетками эргастула.

— Дальше рабы частично становятся колонами, а частично свободными людьми, иди на все четыре стороны, хоть куда.

Краснов свое:

— А куда, например, ийти?

— Ну, я не знаю... можно осесть на земле какого-то феодала, можно наняться в подмастерья к ремесленнику, то есть практически можно все.

— Понятно: в общем, получается канитель. А, интересно, нельзя было все оставить, как было, чтобы по-прежнему существовали патриции и рабы?

— Как известно, история не терпит сослагательного наклонения, — это раз. Во-вторых, если бы общество не развивалось в социально-экономическом отношении, то не было бы ни французских энциклопедистов, ни паровозов, ни электричества, ни телевизора, ни кино.

Толстяк Лебедев сказал:

— Телевизора у нас и так нет, потому что полгода электричества не дают.

А Краснов добавил:

— Я вот тоже думаю: на кой нам сдались эти французские энциклопедисты?! Главное, столько беспокойства, и непонятно, из-за чего!

№ 5

Когда Ивана Железнодорожного спрашивали, кто он по профессии, Иван обыкновенно отвечал, что он по профессии абсентист. Вообще «абсентист» обозначает лицо, подверженное страсти к передвижению, непоседу, на самом же деле Иван был по профессии крановщик.

Странствия его начались с того, что, будучи подростком десяти лет, он сбежал из дома и несколько месяцев болтался по детприемникам, пока отчим не разыскал его в Костроме. С тех пор он пускался в скитания более или менее регулярно: вроде бы, и жилье есть, и работа есть, а он все по вечерам с тоской поглядывает на свой дерматиновый чемодан; проходила неделя, другая, и вдруг он срывался с насиженного места, даже расчета не получив, и перебирался за тысячу километров в какое-нибудь Синегорье, или Кохтла-Ярве, или Талды-Курган. Это патологическое бродяжничество представляется тем более непонятным, что по прибытии на новое место он всегда видел одно и то же: площадь со скучающими таксистами, которые никого не хотят везти, чахлые кустики, зеленеющие, так сказать, для отвода глаз, по обязанности зеленеть, будку горсправки, контейнер для мусора, бюст вождя. И всегда в будке горсправки, где Иван Железнодорожный первым делом пытался выяснить местоположение ближайшей передвижной механизированной колонны, — по-простонародному ПМК, — справщица говорила ему неприязненно:

— Дождидай.

Обыкновенно он в первый же день устраивался на работу, получал место в общежитии и две-три недели существовал, как солдаты лямку тянут, — день прожит, и хорошо. Но вскоре его начинали раздражать глупые разговоры строителей, ежедневное пьянство, разного рода нечистота, и тогда он начинал с тоской поглядывать на свой дерматиновый чемодан.

В середине восьмидесятых годов абсентист Железнодорожный уехал в Эстонию, то есть без малого за границу, нанялся там на сланцевые разработки, получил койку в общежитии, но на шестой день жизни в опрятной приморской республике он углядел в скверике бюст вождя, а на седьмой день официант в пивной сказал ему:

— Дождидай.

Тогда он вернулся в Россию, где уже свирепствовали обновленческие настроения, вдруг увлекся политической деятельностью и даже записался в партию воинствующих демократов, которой заправлял тогда один видный московский якобинец, — как показало время, выскочка и дурак. Именно он некоторое время спустя, на митинге возле памятника Дзержинскому, пообещал перевешать всех коммунистов, националистов, а также гомосексуалистов, и абсентист Железнодорожный вдруг так затосковал, как никогда прежде не тосковал. Дело кончилось тем, что он выправил себе израильскую визу и стал собираться в путь. Знакомые ему говорили:

— Ты что, одурел, Иван?! Мало того, что Израиль прифронтовое государство, там еще действительные академики маются в сторожах!

Железнодорожный им отвечал:

— Что такое война и безработица по сравнению с тем, что в России невозможно выписать газету, потому что ее крадут из почтового ящика нищие любители почитать?!

Знакомые свое:

— Ну ладно был бы ты еврей, Иван, тогда понятно, но ведь ты же как есть Иван!

И Железнодорожный свое:

— Ради такого дела я хоть в кочевники запишусь!

Короче говоря, зимой девяносто второго года Иван сел в самолет и взмыл над Подмосковьем, до боли похожим на черно-белое дедовское кино. Пролетел он над всей Среднерусской возвышенностью, над Днепром, Балканами, островом Крит, Средиземным морем цвета сильно разведенных чернил и благополучно приземлился в аэропорту Бен-Гурион, где на поверку почему-то оказалось нечем дышать, как в парной Сандуновских бань. Вышел абсентист Железнодорожный под чужое-чужое небо, и что же он видит:

скупающие таксисты, чахлые кустики, зеленеющие, так сказать, для отвода глаз, по обязанности зеленеть, контейнер для мусора, бюст вождя.

Вздыхнул Иван и пошел искать справочную, чтобы выяснить, существует ли, нет ли, в Израиле ПМК. А справщица, молодая дама с подозрительно родным лицом, говорит ему:

— Дождидай.

№ 6

Яков Беркин, бухгалтер загадочного предприятия АО «Роспреступность», грузный пятидесятилетний мужчина, наливается пивом, хрумкает солеными орешками и рассказывает про себя...

— Это сейчас я относительно в порядке, а раньше у меня довольно приключенческая была жизнь. Вот, помню, во время молодежного фестиваля пятьдесят седьмого года сел я впервые на мотоцикл... Еду себе, значит, по Зеленому проспекту со скоростью шестьдесят километров в час, а навстречу мне настоящий негр! С его стороны, он переходит улицу, как пасется, — наверное, в его африканской стране улиц не было, а были одни проселочные дороги. Со своей стороны, я негров отродясь не видал, потому что мы жили тогда за железным занавесом, а только читал про них в книге «Хижина дяди Тома». В общем, мы с ним столкнулись, хотя в пределах видимости Зеленый проспект был пуст. Негр ничего: встал, отряхнулся и пошел дальше, — наверное, в его африканской стране такие наезды в порядке вещей, а я угодил в Боткинскую больницу.

— То-то я гляжу, что ты с палочкой, Яша, ходишь.

— Нет, с палочкой я хожу по другой причине. Отправился я как-то по грибы в ближайшее Подмосковье, на станцию Марк, что по Савеловской дороге, и надо же было такому случиться, чтобы меня укусила ядовитейшая змея! Как известно, в районе станции Марк ядовитых змей не водится, вообще никаких не водится, и все же одна для меня нашлась. Ну, конечно, нога распухла в считанные минуты, уже сознание какое-то мерцающее, тем не менее, я самосильно добрался до сельской больницы, и там мне сделали соответствующий укол. И, наверное, они мне занесли какую-то дрянь, когда делали соответствующий укол, поскольку смерти от змеиного яда не последовало, но зато на ноге образовалась огромнейшая дыра. Потом меня перевезли в Москву, во 2-ю клиническую больницу, где я прохладился около полугода. По правде говоря, эти полгода пролетели, как один день, потому что в соседней палате лежал знаменитый клоун Карандаш, который потешал нас с утра до вечера, — как вспомню, до сих пор разбирает смех. Вот народ жалуется, что серая у нас жизнь, а я так скажу: жизнь у нас, наоборот, насыщенная, содержательная, как в кино.

Яков Беркин посылает в рот очередную пригоршню соленых орешков и ногтем открывает бутылку пива.

— Вообще с миром животных у меня отношения не сложились. В восьмидесятом году я получил первый в жизни полноценный отпуск и поехал отдыхать на Украину, на Кинбурнскую косу. Что же ты думаешь: на третий день отпуска меня укусила бешеная енотовидная собака, и мне весь отпуск делали инъекции против бешенства, — хорошо хоть в этот раз никакой заразы не занесли...

— Да откуда же, Яша, взяться на Украине енотовидным собакам?

— Я и сам думаю: откуда?

Потом Яков Беркин рассказывает о том, как однажды на него свалилась секция водосточной трубы, как в метро на станции «Курская», что по Арбатско-Покровской линии, он дрался с грузином и получил за это два года

условно, как старая цыганка выкрала у него паспорт, и он таким образом надолго лишился гражданских прав. В заключение он еще повествует о том злоключении, как он выпал из троллейбуса двенадцатого маршрута...

— Представь себе, какой-то мальчишка стал требовать, чтобы я ему предъявил билет. Я ему: «Как ты разговариваешь со старшими, сукин сын!» Он мне: «Кажки, старый козел, билет!» Ну, слово за слово, мы с ним без малого подрались. На беду, как раз была остановка: я размахнулся авоськой, в которой у меня была мороженная голландская курица, чтобы огреть его по башке, но промахнулся, и вслед за курицей вылетел прямо на тротуар.

— И на этот раз была травма?

— На этот раз обошлось без травм. Вообще мне в жизни часто везет, и поэтому я обожаю жизнь. Но на троллейбусе больше не езжу, как, впрочем, и на мотоциклах, и на метро. И надо же было такому случиться: Лужков пустил по нашей улице маршрутное такси! Нет, честное слово, приятно, когда о тебе думают в верхах, живут твоими заботами, окружают тебя вниманием и вообще! Правда! Люблю я нашу жизнь, несмотря на все передряги, за что, не знаю в точности, но — люблю!

№ 7

Господин Ван Бутс, совладелец известной голландской фирмы, приехал в Россию налаживать деятельность так называемого совместного предприятия по производству спиртных напитков. И двух месяцев не прошло, как он перевел зарплату рабочих на собственные счета и зажил четыре цистерны спирта.

На суде ему говорят:

— Это прямо уму непостижимо, как такой солидный человек мог опуститься до сравнительно мелкого воровства!

Голландец в ответ лопочет, толмач переводит его слова:

— Он говорит, я и сам удивляюсь, как могло такое произойти. Говорит, у вас воздух такой, что не захочешь, а украдешь.

№ 8

Областной театр имени Мейерхольда давал выездной спектакль. Дело было в колхозе «Трудовик», в Доме культуры, занимавшем облупившуюся церковь без куполов, возле которой гнил брошенный грузовик.

Актеры были несколько не в себе, так как добирались до места трудно: во-первых, мороз стоял трескучий, и, пока доехали, труппа окоченела, во-вторых, два раза ломался автобус, кроме того, новый шофер сначала завез по незнанию не туда; это еще слава Богу, что у актера Васи Сизова, игравшего роль отца Гамлета, Гильденстерна и Фортинбраса, оказались в запасе две бутылки «Столичной» водки, а то бы совсем беда. Наконец, переодевались к спектаклю в автобусе, так как завклубом по пьянке потерял ключи от артистических уборных и не давал ни под каким видом ломать замки. Занятная это была картина, когда двор короля датского трусил гуськом по тропинке к клубу, — собаки заливались на невиданные облачения, там и сям сердитые физиономии вытаращались в окошки, а один здешний мужик решил, что допился до галлюцинаций.

Зрителей на спектакль собралось так мало, что, если бы мейерхольдовцы не были прожженными профессионалами, они были бы насмерть оскорблены; человек двадцать сидело в партере, из которых едва ли не половина находилась в подпитии, да на балконе засела местная молодежь.

Ближе к концу первого акта что-то зашевелилась эта самая молодежь; то единственно храпел с присвистом какой-то прикорнувший колхозник, а то с балкона послышалось шуршание бумагой, громкий шепот, а затем и приглушенные голоса. Некоторое время актеры, занятые в первом акте, не обращали внимания на шум, так как они привыкли к мелким безобразиям на выездных спектаклях, но, когда послышались приглушенные голоса, стало невмоготу. Актер Савицкий, игравший роль Гамлета, довел свой монолог до слов:

— А посеми и приветствуй это странное, как странника. На небе и на земле, Горацио, есть много такого, что даже не снилось нашей мудрости... — и вынужден был прерваться. — Эй, там, на галерке! — закричал он. — Нельзя ли потише, тут вам все-таки не базар!

— А зачем вы неправильно играете! — был ответ. — Вы думаете, что если мы живем на селе, так для нас можно играть «Гамлета» абы как?!

Голос был молодой, зло-задорный, из тех, что у нас предвещают семейные драмы и мордобой. Савицкий несколько смешался, потом спросил:

— А почему вы решили, что мы играем «Гамлета» абы как? Подумаешь, какие шекспироведы!..

— Хотя мы и не шекспироведы, но всегда следим за действием с пьесой в руках, — это бы надо знать!

На памяти труппы то был первый случай, когда сам собой завязался диалог с залом, и все актеры были отчасти смущены, отчасти возмущены. Вася Сизов так разнервничался, что даже вытащил из-под холщового савана, в котором он играл тень отца Гамлета, сигарету и закурил.

— Ну, во-первых, мы играем сокращенный вариант, — несколько виновато сказал Савицкий. — Но вы сами посудите: мыслимое это дело — сыграть три полновесных акта перед тружениками села?! У вас доярки с трех часов на ногах! У вас механизатор если после работы не выпьет, то он завтра не человек!

— Ну хорошо, — послышался тот же голос, — а почему вы перевираете текст? Ведь у вас, что ни реплика, то форменное не то!

— Почему не то? — нервно поинтересовался Вася Сизов. — Всё то!..

— Ну как же! Вот у вас Гамлет говорит Горацио какую-то ахиною, а у Шекспира черным по белому написано: «Есть много, друг Горацио, на свете, что и не снилось нашим мудрецам».

Савицкий спросил:

— А у вас чей перевод, Лозинского или Пастернака?

— Пастернака.

— Ну вот! А у нас перевод Каншина, образца 1906 года!

— А чего вам сдался этот архиерейский перевод?

— Потому что наследникам платить нечем. Шекспиру и Каншину, как известно, платить не надо.

— Все равно это возмутительно, что вы используете этот варварский перевод! Хлеб наш жуеете, а на село несете культуру второго сорта!

— Хлеб мы, положим, жуем канадский, поскольку вам, как видно, не до того. Вы тут Шекспиром занимаетесь, на сельское хозяйство у вас времени не хватает...

Ну, и так далее, в том же роде. Длилась эта перепалка около получаса и закончилась полным разрывом с залом. «Гамлета» мейерхольдовцы, впрочем, доиграли, но с тех пор в «Трудовик», что называется, ни ногой.

Светлана Кекова

Короткие письма

* * *

В прохладных избах русских деревень
опять строгают, режут, рубят, пилят.
Уничтожает собственную тень
век уходящий, раненный навывлет.
В стекле свинцовом кровь его, как мак.
Глухие слухи, пересуды, толки.
Теперь ты знаешь, где, когда и как
разбилось время наше на осколки.

* * *

Мы знаем, что распалась связь времен:
разрушен город, Иоанн пленен,
тебе, отец мой, дом подземный вырыт.
Резвится в небе стая Гончих псов.
В пустынях рек, на берегу лесов
на пляшущую деву смотрит Ирод.

Всё то, что Бог напишет на роду,
как роза детства в брошенном саду
благоухает вечностью и раем:

Он нас призвал, благословил и спас.
Но мысль одна томит и мучит нас,
что смерти мы себе не выбираем.

Дни вечности, простой песок морей,
грехи рабов и подвиги царей
никто не сможет взвесить и исчислить.
Но в жизни, возведенной на крови,
истоки и последствия любви
научат сердце не страдать, а мыслить.

Короткие письма

Перед Богом мы оправдаться ничем не можем —
ни чужой любовью, ни собственным брачным ложем,
ни потоком слез на дороге пустой и пыльной,
ни зажатой в горсть материнской землей могильной.
Как младенец в чреве, в гнезде засыпает птица,
и в твоём лице проступают чужие лица.

Ты водой соленой во мне разжигаешь жажду.
Я ищу блаженства, но в этом блаженстве стражду.
Для страданья, впрочем, всегда остается место.
День уже обвенчан, и ночь ли — его невеста?
Их любовь связала огнем голубым и беглым,
а закат сегодня как будто подернут пеплом,
потому что, милый, надежда на рай безумна,
потому что время над миром течет бесшумно.

Омывают смертных струи его, потоки.
Твой жених сквозь слезы такие читает строки:
«Ключ торчит снаружи в неплотно прикрытой дверце,
дом дрожит от стужи, любовь разрывает сердце.

Всё пространство жизни пронизано этой дрожью,
откровенной ложью, надеждой на милость Божью.
По ночам глаза твои Путь отражают Млечный,
а в сосуде тела душа — как огонь увечный
или как волна, у которой изгибов много,
но она одна отражает не смерть, а Бога».

* * *

Мы таинственным даром владеем —
и Орфей не спускается в ад.
Но растениям, как лицедеям,
дан приказ начинать маскарад.

Всё невидимым солнцем согрето,
Еле движется рыба в реке.
Мир бредет, как безумная Грета,
с котелком и корзинкой в руке.

А зима ухмыляется нагло,
приподняв подведенную бровь:

«Воля к власти над словом ослабла
и оставила душу любовь.»

И художник с кричащей палитрой,
тайно любящий краску одну,
как Орфей, не сумеет молитвой
усмирить ледяную волну.

Но, небесному пению вторя,
где-то в жизни и смерти иной
лик блаженства с морщинами горя,
как светило, взойдет надо мной.

* * *

Речь бунтаря вращается, как винт:
я зеркало, я дух, я лабиринт,
я горсть песка, я сеть для ловли света,
я город, возведенный на крови,
я сирота и я дитя любви,
я гость под кровом Ветхого Завета.

Речь кроткого, как рана, горяча:
Господь от нас скрывает три ключа:
один из них от гробового входа,
а два других — от житниц и от туч.

Но иногда проходит зренья луч
сквозь нервные сплетенья небосвода
и видит, что принадлежит Тебе.

Мы при последней, говорят, трубе
изменимся.

И, ничего не знача,
как странник, с изменившимся лицом,
я с матерью увижусь и отцом,
их обниму в пустых пещерах плача.

* * *

Чтоб утолить потребность в чуде, под звук охотничьего рога
из глины суетные люди лепили суетного бога,
а туч небесных кавалькады неслись, как всадники Эллады
в чертогах ледяной Вальхаллы горячего отведасть грога.
Нельзя приливам и отливам сменять друг друга без причины,
и никого нельзя счастливым назвать до дня его кончины.
Опять на град первопрестольный звон наплывает колокольный,
и дни движеньем суетливым меняют лики на личины.
Ах, сколько в будущем, как в нише, страданий прошлых, настоящих!
Вот в облике летучей мыши сон выпивает время спящих,
и мы меняем вдох на выдох, поклывшись старым циферблатом.
Приходит день суда и гнева, звучат небесные валторны,
и сорваны с земных предметов покровы, прячущие Бога.
Всё, что живет, подвластно свету, и мертвецы ему покорны,
и душ причудливые формы — сонет, и fuga, и эклога
располагаются в пространстве как реки от Оки до Рейна,
как пьяница в мечтах о пьянстве с бутылкой трезвого портвейна,
как звезды на своих орбитах, как тучи межпланетной пыли,
как сонм колес многоочитых в виденьи Иезекииля...

* * *

Дрожать; краснеть за собственное тело;
смотреть в окно на облака и думать
о вестнике растительной любви —
горячем ветре; сон речной воды
не нарушать; играть шарами слов,
алкать блаженства, мучиться и плакать
и в мяготь сна ладони погружать —
так жить, чтобы глаголом стало имя
и сердце омывала благодать.
Но вот уже богиня Немезида
изваяна из воздуха; а с ней —
весы, уздечка, плеть и колесница —
простые атрибуты равновесья,
а также мести, гнева, быстроты.
Зачем пришла ты? Почему ты жить
мне не даешь? С лица стирая воду
соленую, я силюсь обнажить
любви и смерти тайную природу.
Я в гроб кладу тела умерших слов,
а души их теряются из виду...
Господень Ангел служит панихиду,

пока рыбак глядит на свой улов.
А рыбы смотрят в очи рыбаку:
серебристый лещ, судак, гуляка праздный,
известный красотой безобразной
усатый сом с созвездьем на боку.
Рыбак и рыбы связаны — водой,
и воздухом, и шелковой сетью,
и временем, в котором протекает
их тихое таинственное счастье.
Так мы с тобой — на разном расстоянии
от смерти — играем в жизнь,
как рыба и рыбак. Друг друга ловим,
волнуем воздух, возмущаем воду, —
и вот, по возмущении воды,
как некогда, в глуши, в купели Овчей,
в прозрачный лес заходят наши дети:
нам нужно их от смерти исцелить.
Нет, не от смерти, — от небытия.

Апостол Петр когда-то жил при море...

* * *

Люблю деревьев призрачное счастье,
их тайное ночное сладострастье,
корней томление, крон любовный пыл.
Вершится в мире праздничная треба,
когда Египет сумрачного неба
пересекает полноводный Нил.

И вижу я: воскресший Самуил
к волшебнице стремится Аэндорской.
Бесстрастный месяц молча смотрит вниз.
Благоухает в стороне заморской
на мертвеца возложенный нарцисс.

Из недр земли идет подземный гул.
Врагами обезглавленный Саул
лежит, как нищий, в капище Астарты.
Но я Тебя за все благодарю.
Я до утра рыдаю и смотрю

на очертанья старой звездной карты.

А под водой звонят колокола.
И жизнь моя не жертва, а хвала
огромному пространству между нами.
Да, я грешна, но ты прости меня.
Я только форма Твоего огня,
ведь смерти нет, а есть любовь и пламя.

И я люблю забытый Богом мир
в стремлении к свету дивный и опасный,
пространства вечность, времени эфир,
молчанье духа, голос плоти властный.

Люблю держать земли тяжелый шар
в своих руках, как драгоценный дар,
я рыб люблю и Божьих птиц крылатость,
и суть небес — пылание и святость...

* * *

Там, где льется в реке золотисто-коричневый линь,
где молитва моя запечатана словом «Аминь»,
как в кувшине вино, где черемуха в недрах оврага
аромат и сияние в жертву несет небесам,
где Младенца Христа кормит мать молоком по часам,
там, где в чашах озер драгоценная плещется влага,

вижу слезы его на ланитах его — это плач
обо всех, кто ушел, — будь он узник, судья иль палач.
Вот убийца с убитым стоят у источников водных;
а покровы деревьев колышет дыхание птиц.
Кто еще не рожден, перед Господом падает ниц,
слыша плач роженец и стенания женщин неплодных.

Сохнет древо познания в заброшенном райском саду,
но никто не исследует времени жизни в аду —
так сказал Иисус, мудрый сын иудея Сираха.
А его соплеменник, навеки забывший меня,
хочет воду добыть из горячего тела огня,
как он жаждет любви, как избавиться хочет от страха!

Но душа псалмопевца, подобно пустыне, суха,
и сияет над городом черное солнце греха,
серым маком дождя золотые осыпаны крыши.
Да, воистину прах — наших сдвоенных тел вещество.
Но в расколоте сердце и в тайных изгибах его
есть младенческий плач, нам с тобою дарованный свыше.

* * *

1.

Бог здешних мест — Анубис или Тот.
Здесь город рос из камня и пустот,
из вещества печали и обиды.
Деревьев кубки, конусы, шары,
спирали, полусферы, пирамиды
растут подобно правилам игры...
Хоронит и хранит свои дары
земная геометрия Исида.

2.

Анубис — покровитель мертвецов.
С ним рядом Тот — он бог числа и счета.
Да, здесь закат, как правило, пунцов,
рассвет же вял и бледен отчего-то.
Здесь жизнь и смерть — во власти языка,
во власти ветра — сны и облака.
Но ты уйдешь — и тихо скрипнет дверца,
Земля любви бесплотна и суха:
отравленные радости греха
рождают стон и плач в глубинах сердца.

3.

То блеск луны, то легкий плеск весла.
При помощи движенья и числа
держи уста и сердце наготове.
Да, тяжелы посмертные труды
для грешника, и пульс речной воды
уже согласен с шумом нашей крови.

4.

Ты, человек, — огромный глаз слепца.
А я не помню твоего лица,
не вижу ни зрачка, ни роговицы.
Ты — умер или путь закрыл воде,
твой мозг лазурный выклевали птицы,
но ты — везде, и ты уже — нигде.
Так под землей Анубис суд вершит.
Я слышу заклинания и стоны —
и вот Персей глядит в зеркальный щит
на голову убитой им горгоны.

* * *

Я вижу в небе зеркало луны.
В земле болит могилы свежей рана.
Из-под земли, как груз моей вины,
растет трава святого Иоанна.

Не очи звезд читают Часослов,
беззвучно плача в небе Палестины —
ловец вещей и заклинатель слов
прядет основу лунной паутины.

Лежит, как клад, окаменевший свет,
струятся слезы, оставляя след,
на лике дня — блестящий и соленый,
и стай рыб тела семи планет
пересекают океан зеленый.

Саратов

Людмила Агеева

В том краю

рассказ

1.

«...Дорогая моя, ну что без толку заламывать руки, не хочу я знать, кто живет в моей квартире и кому они ее продали-перепродали, это не мой дом, успокойся и не ходи под моими окнами, не высматривай занавески, это даже не мой бывший дом — просто стены и потолок, довольно-таки низкий, не такой низкий, как у тебя, конечно, но и не такой же роскошный — с алебастровыми грушами и виноградом — как в детстве на Кирочной, а двери у нас вообще были ужасные, думаю, однако, что двери они уж точно сменили на какие-нибудь дубовые, филенчатые или с витражами. Нет, уж. Сердце мое не там, знать ничего не хочу, главное — Володенька в безопасности. А сердце мое с вами, дорогие мои. Знаю, что побуждения у тебя самые добрые, но обсуждать эту тему больше не желаю. Царствие Божие известно где... и Дом, по-видимому, там же.

Тетя Зина встретила нас замечательно, и хотя не было у меня сомнений по этому поводу, но когда я увидела ее на вокзале, старенькую и трясущуюся, ищущую нас глазами, прижимающую к кружевной груди маленькие коричневые ручки — так похожа на маму, ты себе представить не можешь, как она теперь похожа на маму, — подумалось вдруг, что именно Домой я вернулась, что мой истинный Дом сейчас откроется мне. И я заплакала, совершенно не стесняясь.

«Деточки мои приехали, — повторяла тетя Зина, хватаясь за наши жуткие туки и чемоданы, — деточки мои ненаглядные приехали!»

Я глянула на Николая, и показалось мне, что и его глаза наполняются какой-то сумрачной влагой.

В Доме, как в детстве, были намыты полы, полосы вечернего солнца лежали на тряпочных, цветных половичках, и пахло пирогами. «Все, больше плакать не буду», — сказала я себе и отщелкнула замки нашего главного чемодана.

Вот так мы и зажили у тети Зины.

Город, возможно, не самый привлекательный, просто большая, богатая, разросшаяся станица, но виделся он мне из Петербурга сквозь украшающую его мерцающую дымку далекого детского лета.

В первый же вечер Николай взял меня за руку — это был такой забытый, такой юношеский жест, — и мы пошли в Город, куда глаза глядят,

· Людмила Агеева. Живет в Санкт-Петербурге. По образованию физик, работает в Государственном оптическом институте им. С. И. Вавилова. Дебютировала с прозой в сборнике «Молодой Ленинград» (1972). Была признана лауреатом Международного конкурса на лучший женский рассказ 1992 года («Мы жили в Самарканде» — в сборнике «Чего хочет женщина»); публиковалась в «Новом русском слове». В «Знамени» — впервые.

рассматривали каждый дом, заглядывали в окна, слушали уличных музыкантов, даже подавали нищим, как везде, много нищих, и, конечно, эти знакомые приметы-ларьки с яркой дребеденью — бутылки, сигареты, шоколадки, турецкие шмотки, меняют видеокассеты, «Эммануэль», «Орхидея», «Рэмбо». В бывшем Доме книги автосалон, стоят «мерседесы», все как у людей. Но мы почему-то не обращали внимания, как бы не видели, не раздражались. Бродили по незнакомым улицам до полной темноты, пока лиловые холмы, окружающие город, не превратились в черную извилистую грядку. Казалось, что ж, замедлим бег, поживем здесь, отдохнем от ударов Северной столицы, успокоим сердце в неторопливом чтении, в трудах и размышлениях, остановим мгновение, хотя оно и не очень прекрасно. В Центре мы обнаружили очаровательные особнячки с башенками, балконами, зеркальными окнами, увитыми плющом, волны осенних садов, террасы в осенних цветах, несколько церквей со свежими сияющими крестами, мрачноватый костел, старинный университет в чудесном парке — не такая уж провинция, есть даже органнй зал, приезжают, судя по афишам, иноземные органисты.

Наш дом, однако, стоит на окраине, и это именно и хорошо, отделен от улицы глухим забором, высокими воротами с козырьком, калитка узкая, с глазком и тремя засовами. На окна тетя Зина совсем недавно поставила решетки, но не простые, а с каким-то растительным извилистым узором, стиль модерн, уверяет, что это вполне красиво, но я этими решетками была потрясена поначалу более всего, теперь-то привыкли. За домом сад, в детстве он казался мне огромным, фантастическим, непроходимым, припоминается даже какой-то сводчатый грот с бьющим фонтанчиком внутри. Сейчас же это запущенные беспорядочные заросли одичавшей малины, ежевики и кизила, среди которых возвышаются серые скелеты засохших яблонь, срубить-то некому. Так что на Николая у нас большие надежды. Вообще Николай начал постепенно оживать, сбрил наконец свою случайную клочковатую бороду, перебирает и читает конспекты, вчера сам погладил брюки и ходил в Университет, какие-то там получил обещания и после ужина, напевая, чинил тете Зине уют. Каждый раз, когда он что-то чинит, прибывает, завинчивает, тетя Зина ходит вокруг, задыхаясь от восторга — «Боже мой, мужчина в доме». За садом раньше был непроходимый овраг, ни один человек, мне казалось, не добирался до его дна, но там были такие тропиночки, такие площадочки, по которым мы пробирались от дома к дому, где происходили самые важные события, тайные встречи, обжигающие прикосновения, стремительный поцелуй и бег по склону вверх, где таились «секреты» замысловатых композиций, помнишь, как устраивался «секрет» — вырывалась ямка, очень хорошо получалось между корней дерева, дно тщательно вычищалось и выстилалось листьями, мог подойти лоскуток ткани, бархата, например, или серебряная бумажка от шоколадки, а затем на этом фоне выкладывались лучшие морские камешки, черепки синей чашки, сломанная брошка, цветные стеклышки, перепелиное яичко, блестящие военные пуговицы, сухие ломкие цветы бессмертников — это уж ваша фантазия — наконец, поверх всего помещался осколок прозрачного стекла, и все это засыпалось песком, чтобы потом можно было приходиться, разрывать руками заветный холмик, протирать пальцем окошко в запорошенном стекле, любоваться и снова засыпать. «Секрет» показывали только лучшей подруге или верному надеждному другу. Так вот теперь там возвышается бетонная стена, отделяя сад от буйного оврага и подмяв под собой все наши тропиночки, поцелуи и секреты. А поверх стены, можешь мне не верить, идет колючая проволока (идет ли по ней эл. ток, не знаю, врать не буду). Вся улица, оказывается, скинулась и выстроила эту бетонную стену. «Так все-таки спокойнее», — говорит тетя Зина. Кстати, тетя Зина до сих пор работает в своей библиотеке, можешь представить,

какую она наработала там пенсию. На что будем жить мы, не представляю, пока тратим остатки валюты (с обменом нет проблем — на каждом углу менялы). Думаю, что в школу-то устроюсь, если не биологию, то английский, в этом здесь большая нужда, многие богатеи хотят детей образовывать, так что, может быть, буду просить тебя помочь мне со всякими пособиями, кассетами и т.д., чем руки над нами ломать и слезы бессмысленные лить, будешь мне помогать. Лишь бы пришел в себя Николай, а там мы горы свернем...»

2.

«Прости, моя дорогая, что не сразу тебе ответила, но не по лености, честное слово, а просто за день так устаю, что к ночи, когда наступает единственное время для разговора с тобой, нет уже сил ни физических, ни моральных.

Со школой пока ничего не получается, во-первых, середина учебного года, а во-вторых, никаких распростертых объятий навстречу мне нигде я не обнаруживала, наоборот, смотрели как на безумную — им самим не платят зарплату уже много месяцев, почему не уходят — отдельное социологическое исследование, выживают преимущественно всякими неправдами, в основном сдают помещения. И вот хождения мои все-таки принесли пользу. Одна из школ сдала спортзал и несколько классов охранному предприятию, и я теперь там по утрам убираю. Что это за охранное предприятие, и кого они охраняют, понять невозможно, все помещения забиты коробками и ящиками, к которым прикасаться не велено (может, оружие?). Это место досталось мне по исключительному везению, а возможно, им нужна была именно такая, как я — чужая, потому что жаждущих вокруг очень много, я каждое утро мимо таких прохожу, то есть не прохожу, а прорываю плотную колючую сеть завистливых взглядов учителей — мне ведь платят! Каждую неделю! А еще я убираю один маленький магазинчик, но уже вечером, после закрытия. И еще! У меня два частных урока английского с очень славными малышами — тетя Зина устроила. И хотя знаний моих на этих ребят достаточно, но к урокам я готовлюсь необыкновенно тщательно, я ведь раньше с детьми никогда дела не имела, а дети это такие особые люди, должна тебе признаться, я ими искренне увлечена. Только сейчас понимаю, как много я недодала Володеньке, как виновата перед ним (это только тебе я пишу эти слова, язык не повернется их выговорить Николаю). Когда Володька рос, я занята была своей дурацкой наукой, Николай всегда говорил: «Ваша наука — это клуб, у вас там в лаборатории происходит обычная клубная жизнь». Так что видишь, я уже готова признать, что это был такой образ жизни. «Наука как образ жизни» — хорошее название для статьи. Дарю тебе, ты ведь теперь социолог. Действительно, у нас было свое общество, все знали, кто чего стоит, гамбургский счет был очень строгий, ученые степени совершенно не имели значения, по всему миру велся счет, и если ты побеждал, пусть только семнадцать человек во всем мире по-настоящему могли это оценить, это была твоя истинная победа, тебя поздравляли, тобой восхищались, приглашали на конгрессы, заказывали доклады, а вокруг всего этого и поездки, и награды, и наряды, и беседы, и романы, конечно. (Какая-то *Элегия Маснэ* у меня получается.) Так что Николай, возможно, был слегка прав, когда считал, что все эти статьи, доклады и симпозиумы в некотором роде побочный и необязательный продукт такого образа жизни и слабое его оправдание. Он-то был всегда одиночкой, себя и свою науку принимал всерьез, слово «менеджер» в его устах звучало ругательством, сейчас же процветают те, кто варит околонуучную похлебку совместно с иностранцами. Николай все это делать не

желает. Можно им гордиться по этому поводу, но чаще получается злиться на него за неумение думать о своих близких и о жизни обыденной.

У нас стихла, наконец, непривычная осенняя жара, и близится зима. Здесь всего два времени года — лето и зима. Зима длится месяца два, не больше. Задули сухие ставропольские ветры. Ветер дует непрерывно три или шесть, или девять, а иногда и двенадцать дней подряд, потом наступает некоторое затишье, и снова вскипает пыльная буря. В такие дни к нам залетает, то есть в прямом смысле ее заносит к нам ветер, одинокая подруга тети Зины, словно высушенная этим ветром старушка, бывшая чтица областной филармонии Ксения Матвеевна. У нее странный вид депрессии — в ветреную погоду она не может быть одна.

Тетя Зина последнее время все болеет — хроническое воспаление легких, артрит, диабет, печень, гипертония, — все сразу навалилось на нее после нашего приезда, а может быть, она просто расслабилась, почувствовала, что можно на кого-то переложить часть забот. Так что хозяйство теперь на мне, а ведь это не городская квартира, и топить печи надо самим, дрова припасены еще с августа. Готовить тетя Зина просит на плите, поскольку газ у нас привозной, в больших баллонах. Газ тетя Зина очень экономит. Электричество тоже стало чрезвычайно ненадежное, и ввечеру бродим по дому со свечами. Нашли и настроили керосиновую лампу, но керосин не всегда бывает в городе. Хуже, что внезапно вырубается телевизор, и если это случается во время «Вестей», тетя Зина топает ногами и чуть не плачет — давление поднимается моментально. Впрочем, давление у нее поднимается, если и не отключают электричество, а «Вести» и «Время» идут до конца, но при этом голос у диктора прерывается от волнения, а лицо меняется от экстренного сообщения по телефону. Кроме того, после передач у них начинаются ужасные споры с Николаем. Наша тетя Зина вовсе не бессловесная старушка, не замшелая пенсионерка, никаким коммунистическим бредням, вроде пресловутой колбасы за два двадцать, не подвержена, но и она заражена усталостью и злостью этого города (или не только этого) и вдруг начинает кричать на Николая: «Ну что твои реформаторы тебе дали, квартиру в Ленинграде отняли?» (она упорно не желает произносить Петербург, хотя, когда Ленинград был Ленинградом, она бывало все твердила, что восьмь поколений наших предков похоронены именно в Петербурге). Николай бледнеет, задыхается, глаз его дергается. Меня они уже не слышат. «Это несчастный случай. Вы не смеете», — кричит он, отталкивая меня. «Ах, скажите, пожалуйста, несчастный случай. Что-то мне некоторые параллели на ум приходят. Знаешь, сколько таких большевиков я встречала в лагере. И каждый уверял, что вот с ним, только с ним произошел несчастный случай». Николай бессознательными скрюченными пальцами тянет скатерть на себя, сахарница опрокидывается на бок, высыпается песок, качается ваза с печеньем, горячий чай льется ему на брюки, и он кричит уже от ожога, вскакивает, несется в нашу комнату, по дороге хлопнув дверью кухни так, что звенят стекла в буфете и долго еще трепещут жалкие бумажные салфеточки на подоконнике. «Не знала, что твой муж такой идиот», — спокойно говорит тетя Зина и с медленным достоинством ковыляет в свою спаленку. Я остаюсь одна прибирать дымящееся поле битвы, мою посуду, вытираю пол, закладываю в печь растопку на завтрашнее утро, закрываю все двери, проверяю все засовы, и, когда доползаю, наконец, до кровати, с подушки поднимается всклокоченная голова Николая. «Старая дура, — шипит голова, — старая дура.» Возможно, это относится и ко мне, но я не отвечаю, молча накручиваю дребезжащий будильник, мне вставать в шесть, главное, не сказать ни слова. «Это надо каменное сердце иметь, чтобы вонзить жало в самое больное, — он явно путается в метафорах, — ядовитое, злобное, каменное сердце. И ты такая же. Господи, на старости лет я живу с двумя каменными бабами». «Но эти

каменные бабы тебя кормят и за тобой подтирают», — очень хочется сказать, но я молчу. Николай прыжком поворачивается ко мне спиной, накрывается с головой. По-видимому, в каждой семье должна быть только одна истеричка, и на эту роль назначен наш гениальный Коля, а я почему-то служу уборщицей и выгребая грязь за своими охранниками после их ночных гуляний, а он бы не смог, с голоду бы умер, а не смог».

3.

«Спасибо, что не забываешь меня, радость моя, когда увидела конверт в руках у тети Зины, выхватила его с такой поспешностью, что оторопевшая тетушка высказала предположение о любовном происхождении письма и пообещала не говорить Николаю.

Ничего особенно радостного за это время не произошло. Николай изредка навещается в Университет, но каждый раз возвращается все более угрюмый, и я не задаю никаких вопросов. Итак, все ясно. Физика его никому здесь не нужна и математика тоже. Частные уроки он найти не может, потому что никому здесь не известен, учеников расхватывают местные преподаватели, даже давал объявление в газету, но позвонил только один сумасшедший, который хотел подучить физику, чтобы оформить несколько мировых открытий, и сгинул, Николай говорит, что по голосу ему не менее шестидесяти. Володька, паразит, не пишет и не звонит, один звонок был за все время, правда, у нас очень долго был отключен телефон — перерубили кабель какие-то пришлые строители, строят неподалеку от нас фантастический замок, с флюгерами, бойницами, зубчатыми башнями и, конечно, с арочными окнами, какой «новый русский» не любит арочных окон. Выстроили уже целую улицу этих замков, являя населению разные стадии архитектурного безумия. Недавно проезжая в автобусе мимо такого домика, слышу за спиной разговор: «Ну, ничего, когда *наши* придут, камня на камне не оставят». Оглянулась. Два парня студенческого вида. Похоже, кто такие *наши*, мальчики знают. Близость войны ощущается постоянно. Охраняют больницы, охраняют школы, на въезде в город образуются чудовищные пробки — проверяют каждый автомобиль, и все равно оружие, кажется, есть у всех (кроме нас). На первой перемене прохожу мимо кучки малышей, один говорит другому: «Ты пистолет пока не продавай, я, может, возьму», утешаю себя соображением, что речь, по всей видимости, идет о водяном пистолете. Вчера вечером почти рядом с домом стреляли, били железным по железному и страшно кричали. Николай кинулся в сени, я с бульдожьей хваткой станичной жены повисла на нем, тетя Зина, однако, даже головы не повернула, лишь, уставясь в телевизор, произнесла: «Что вы всполошились? Ну постреливают у нас...» и переменяла позу. В критические минуты она любит поражать нас несвойственной ее возрасту невозмутимостью, а, возможно, это просто лагерная закалка. Однако когда мы где-нибудь задерживаемся и возвращаемся домой после наступления темноты, — вот недавно случайно попали на органный концерт — она с дергающимся личиком выскакивает на крыльцо: «Где вас черти носят, неужели нельзя было заранее предупредить».

Мы живем очень уединенно, пребываем в раздраженном ожидании неизвестно чего, не можем примириться с мыслью, что это последнее наше пристанище, и нигде нас больше не ждут, хуже того — давеча Николай произнес необъяснимую, но созвучную моим мыслям фразу: «Кажется, дорогая моя, мы попали в ловушку...» Дело в том, что тетя Зина, несмотря на ссоры и споры, искренне счастлива нашим присутствием и не перестает твердить: «Господь услышал мои молитвы, есть теперь кому меня похоронить, деток

милых послал на утешение старости». Выходит, все, что с нами произошло, это для утешения старости тети Зины. «Дом еще очень крепкий, и в нашем городе люди живут. Поживете, обвыкнетесь, с интеллигентными людьми познакомитесь». Но нет, не хотят знакомиться с нами интеллигентные люди этого города, где-то, видимо, они есть, но нет круга общения, и чужие мы здесь, да и тетя Зина чужая, но не хочет признаться ни себе, ни нам, и никогда мы не стали бы своими, даже если бы приехали сюда в молодости. Так я чувствую. Нас окружают бывшие станичники, хуторяне, переселившиеся в город, замкнутые, недоверчивые, самоуверенные, косноязычные, не читавшие никаких книг, подозрительные, ненавидящие городских, нелюбящие животных. Вот, ты, психолог, объясни, пожалуйста, как можно убивать поросенка, а потом есть его, если до того он жил в семье, был членом семьи, и какой след оставляют эти «домашние убийства» в отношениях между людьми. Не этот ли жуткий след проступает, как пятна крови на руках убийцы, в бесконечных историях, которые случаются на нашей окраине. Вот такой случай — сильно пьянствующий муж периодически избивает свою жену, но, когда он поднял руку на малолетнюю дочь, жена проломила ему голову чугунным ухватом. Похоронили. Через некоторое время является свекор и душит ее сорванной по дороге бельевой веревкой. Тоже похоронили. Осталось двое детей. Или еще. Мать не пускает дочь на дискотеку. Дочь бьет ее столовым ножом прямо в селезенку, перешагивает через упавшее тело, ранит вбежавшего отца, отправляется на дискотеку. И все совершенно по соседству с нами, на нашей улице, а то, что кого-то убили в Городе, похитили ребенка из детского сада, выбросили в одних носках из машины, а машину бесследно угнали, подожгли дом, изнасиловали — это мы слышим постоянно. Знаю, что жутких историй достаточно и у вас в Петербурге, но здесь вблизи природы, на фоне ее великолепия концентрация этих страшилок особенно велика, и сильно они пронзают сердце.

Прошу тебя, напиши поподробнее о Володеньке, ты знаешь, где его искать, не посчитай за унижение, сходи к ней».

4.

«...У нас выпал снег. Хорошо бы долежал до Нового года, но это вряд ли, уже тает, а если начнется ветер, то всю белизну засыпет пылью. Предновогодняя суета уже началась в Городе, но мы в ней как бы не участвуем. Я не ищу подарки — нет денег, нет настроения. Для тети Зины у меня припрятан новый мамин плед, а для Николая надо найти крепкие ботинки, но цены дикие, в связи с чем вчера по большому благу я была проведена Ксенией Матвеевной в хранилище «second-hand» где-то за Центральным вокзалом. Пробирались мы туда по старым железнодорожным путям, перелезали через стоящие составы, в некоторых живут беженцы, висит белье, хнычут дети. Оказались, наконец, перед огромным ангаром. Несколько раз обежали его, ища вход, пока не различили заветную дверцу в стене. Ксения Матвеевна прошелестела какой-то пароль, мы были впущены внутрь бомжеватым смотрителем и немедленно задохнулись в мощной волне жуткого запаха картофельной гнили. Бывшая овощебаза. Пол был, однако, тщательно подметен. В центре зала возвышалась невероятных размеров гора тусклого тряпья. Был ветер. Поначалу ощущение полного безлюдья. Присмотревшись, замечаем на куче там и сям слабое шевеление — женщины в респираторах, на ногах полиэтиленовые пакеты, на руках нитяные перчатки. Сосредоточенно роют. Чем интенсивнее роют, тем глубже проваливаются внутрь, от некоторых видны одни макушки. Ксения Матвеевна протягивает мне старые перчатки. Мы тоже начинаем рыть. Ничего путного не попадается, все эти

шмотки много раз перелопачены. Круговорот тряпья в природе. Однако все возбуждены предельно, охвачены идиотическим азартом, изредка из нутра кучи несутся вскрики разочарования и неприхотливая ругань. Идет между собой торг и обмен — летают над головой, взмахивая рукавами, свитера и кофты, пиджаки и блузки; игриво извиваются в воздухе юбки и шарфы. Слышим историю — на той неделе «одна» здесь вырыла норковую шубу, а любая вещь — любая! — стоит 5 (пять) тысяч. И еще история — старушка в кармане жамканного плаща нашла тыщу долларов, так что щупайте карманы, сигареты уж точно найдете. Но я нахожу одни лишь застиранные футболки. Появляются новенькие — две очень большие, громоздкие тетки, топчутся внизу, пытаются вползти на кучу, но соскальзывают и грустно начинают что-то ковырять сбоку. Мы великодушно сбрасываем им сверху нарытый большой размер. Рядом в довольно глубокой лунке сидит немолодая актриса, просит кидать ей яркое. Говорят, что под нами, на чудовищной глубине лежат нетронутые вещи. До этой глубины никто еще не докапывался. Усилим воли смиряю свой пыл и с большим трудом спускаюсь вниз. Мне нужна обувь. К счастью, гора обуви значительно меньше и ниже (но омерзительнее). И вот ведь какое везение — нахожу очень скоро почти новые ботинки — огромные, крепкие, на рифленной подошве, «ботинки американского полицейского», — уверяет Ксения Матвеевна. «Точно, они!» — подтверждает угрюмо смотритель этих несметных сокровищ, пересчитывая наши денежки. Я все-таки и для себя нашла светлую блузочку с оторванными пуговицам, а Ксения Матвеевна ухватила такую обильную добычу — пестренький буклированный пиджак с отпоротой подкладкой, подходящего цвета юбка с дырой по шву и свитер ангорский бирюзового цвета с еле заметным следом от утюга, который она знает как вывести.

Обратный путь наш снова проходит мимо вагонов с беженцами, но теперь мне кажется, что на нас смотрят с явным недружелюбием, презрением и угрозой. Знают ли они, что в этом ангаре. Мелькает мысль — возможно эти вещи для них, такая гуманитарная помощь, а распродают потихоньку своим. Чушь, конечно, но я чувствую их взгляды и едва сдерживаю шаг, чтобы не побежать. Ирреальный страх нападает на меня, я уже несусь, перескакивая через шпалы, Ксения Матвеевна не поспевает за мной. Мы ведь тоже беженцы. Откуда? И куда? Навстречу друг другу мчатся обезумевшие беженцы. А ты, родимая Птица-Тройка, куда несешься, выпучив глаза? Дай ответ! Замогильным голосом отвечает: «Ждите ответа...»

Заставляю себя оглянуться. Боже мой, я бросила Ксению Матвеевну, ее даже не видно. Поворачиваю назад и натякаюсь на черную толстую старуху. Осторожно шаркая и тяжело переваливаясь, несет она трехлитровую банку молока.

— Что с тобой, доченька? Эдак ты собьешь меня, видишь молоко несущую внучонку. Хорошее молоко, со станицы.

— Ничего, деточка, — говорит добрая старуха, обнимая свою банку, — в ту войну хуже было. (Она принимает меня за свою.) Жить-то все равно надо.

Подходит рассерженная Ксения Матвеевна, крутит пальцем у виска.

Писала ли тебе, что ждем в гости Костериных. Юра уже устроил себе командировку в здешний университет, хочет и для Светланы что-нибудь придумать, хотя бы дорогу оплатили. Билеты же снова подорожали. Хорошо бы они вместе прилетели, так грустно здесь без друзей. Прошлая жизнь кажется отсюда, из этого времени, невыносимым раем именно из-за общения (поневоле всплакнешь и скажешь — роскошь!) Тяжелее всего, наверное, Николаю, ни с кем он не свел знакомства, единственный, кто прибил к нему, — это такой неряшливый, маленький человечек — вечно пьян, всклокочен и робок — как ни странно, доцент со здешней кафедры полупроводни-

ков, по уверению Николая, оригинальный и серьезный мыслитель. К нам он заходит не так уж часто, но уж сидит на кухне допоздна, смотрит на Николая влюбленно, дожидается, когда я уйду спать, и тогда уж они начинают оглушительно шептаться и сладостно выпивать. Зовут этого доцента Леонид Борисович, и я давно уже его тихо ненавижу, и он это чувствует, при звуке моего голоса пугается, вздрагивает, прячет руки в обвисшие карманы, хотя я ему улыбаюсь и улыбаюсь, и ставлю на стол закуски, и всячески их обхаживаю. Но Николай с ним пьет! Пьет и мрачнеет, потом угрожающе веселеет. Говорят они только о науке, о политике они не говорят. Гляну на Николая — чужой и безумный человек. На следующий день мучается похмельем, лежит, никуда не идет, раздраженно слоняется по дому, сидит, пьет медленно крепкий чай, упершись остановившимся взглядом в бетонную стену за окном. «Вот повешусь на этой стене. Какие крюки удобные. Так уж и быть, не буду вам дом пачкать».

Спасибо тебе — пришло письмо от Володеньки, но такое уж формальное, дальше некуда. Почему ты ни слова не написала о нем, как он выглядит на твой сторонний взгляд, чем он занимается (про учебу уже не спрашиваю), на что живет — из его письма ничего не понятно. Знаешь ли, ведь мы с Николаем почти не говорим о Володе, очень редко произносим его имя. Какой это ужас — тайные мысли близкого человека, как неостановимо нарастает наша чуждость, лежу с ним рядом иногда и просто коченею от тоски, от невозможности помочь ему и себе, от собственного бессилия хочется завить. Прости, что пишу так, никому кроме тебя не жалуюсь, дала себе слово хранить смайл, но натужный мой оптимизм истекает по капле. Кроме всего прочего, мне кажется, у тети Зины был маленький инсульт. Недели две назад привезли ее из библиотеки с помутившимся взором и заплетающимся языком, но очень скоро речь полностью восстановилась, а движения стали даже излишне быстры. С трудом удерживаю ее дома, все рвется в свою библиотеку, приют нищих, но взыскующих Слова. Это ведь единственное бесплатное место в городе, где всякий может лизнуть соль литературной художественности или вдоволь напиться газетной требухой, а главное, совершенно даром — свет, тепло и спокойствие, так что работа для тети Зины служение и миссия. И у нас свой выгоды — мы первые читаем все толстые журналы, хотя в них так все далеко от реальной жизни. Или, наоборот, ирреальна и призрачна наша жизнь, к которой невозможно привыкнуть, и, тем не менее, привыкаем, как привыкли все к войне, заказным убийствам, несправедливостям, как привыкли все работать как бы задаром, в государственных учреждениях так и не платят зарплату, при этом сколько получают директора и близкие к ним — самая закрытая тайна. Пенсии тоже задерживают. Захожу на почту купить новогодние открытки, попадаю в толпу понурых старушек, почему-то стоят в очереди одни старушки, ждут — вдруг кто-нибудь придет отправлять деньги. «Вы отправлять?» — со слабой надеждой обращаются ко мне сморщенные личики.

Одним ухом слушаю утром передачу — беседа с представителем Президента (не помню уж где) и одновременно Председателем какого-то Фонда (социального), плетет что-то давно пережеванное и неинтересное, речь убогая, плоская, примитивная, в каждом предложении употребляет сочетание «очень прекрасное», что уж у него там очень прекрасного, дома для престарелых, кажется. Но потом в прямом эфире ему задают вопросы. «Скажите, можно ли прожить на пенсию в 140 тысяч?» Герой передачи отвечает на вопрос полным ответом, ровным голосом: «На пенсию в 140 тысяч прожить нельзя», но, подумав, все-таки добавляет: «Надеюсь вам помогают дети или внуки». А мы вот такие плохие дети, ничем тете Зине помочь не можем, даже, напротив, поедаем ее еще советские запасы крупы и новые соленья, которые я уже, стыдно признаться, начинаю припрятывать от доцента-алко-

голика — нужно же что-то оставить для новогоднего стола. Кстати, если соберешься мне писать, можешь отправить письмо с Костеринными, вроде бы у них все получается. Николай вчера разговаривал по телефону с Юркой. Почему-то он звонит ему как бы тайком, когда меня нет дома, правда, я тебе тоже пишу преимущественно ночью, когда он спит.

Заранее поздравляю тебя с Новым годом, вот уж напишу тебе как-нибудь в другой раз что-нибудь более забавное, а ты, пожалуйста, со всей подробностью изобрази мне свою жизнь и что делается в институте. Как я знаю от Светланы, ты работаешь два дня в неделю, а что остальные, кто как приспособился, кто получил гранты, кто слинял в богатые края. Считаю, что я здесь в ссылке и мое существование нужно разнообразить длинными, содержательными письмами».

5.

«Дорогая моя, ты ангел, но зачем такие траты, ты просто сошла с ума. Спасибо тебе, ненаглядная моя, за чудесное письмо, поздравления и за эти роскошные новогодние подарки. Все-таки есть в России такая традиция — дружить, и это самая яркая радость нашей жизни.

Юрка со Светланой прятали твои подарки (как, впрочем, и свои) до самого Нового года и выложили твою огромную коробку под елочку, а елочка по высоте не более пятой части коробки, но зато настоящая, они ее провезли под видом спального мешка, то есть обернутую в спальный мешок, через все кордоны и проверки. Надо сказать, что купить елку у нас под силу только крупным толстосумам, остальные довольствуются сосновыми ветками, или так уж просто сидят безо всего, многим не до праздника — мальчишки их в Чечне. Чечня ведь совсем рядом, и жители пугают друг друга близящимися террористическими актами к Новому году и православному Рождеству. Но мы встретили Новый год замечательно, получился просто грандиозный праздник. Во-первых, Юра со Светланой уже сами по себе праздник, они явились такие красивые, ослепительные, Светка в лайковом пальто немыслимой мягкости и красы, Юрка тоже, однако, в кожаной куртке, но не какой-нибудь простой и пошлой, а очень дорогой и элегантной, шведского разлива, что могут оценить, к сожалению, редкие знатоки. Во-вторых, стол ломился, сама знаешь от чего, от яств, тобой присланных, то есть от осетрины, сияющей единственной свежестью, ароматного слезоточивого к ней хрена, красной икры, маслин и грибов, от сбереженных мною маринадов и солений, от принесенных Ксенией Матвеевной пирогов типа расстегай-кулебяка, от вкуснейших салатов, приготовленных тетей Зиной, от накрученных Светкой нежнейших тортов, а также от французского коньяка, который ловким, точным движением поставил в центр стола Леонид Борисович. Он пришел абсолютно трезвый, в чистом костюме, в светлой рубашке, с прямой спиной — дорогой коньяк сообщает человеку уверенность в себе. А я была в присланном тобой платье стройна, легкомысленна и практически неотразима, что накладывало тень разочарования на ухоженное личико Светки, которая, по-видимому, несла нам, изгнанникам, участие и поддержку и не знала теперь, куда эти дары пристроить или в какой момент их вообще уместно выложить. Николай был оживлен и даже бодрлив, пел романсы, целовал ручки дамам. Леонид Борисович оказался неожиданным остроумцем, узнав, что Светка биолог, совершенно заморочил ей голову историей случайного открытия Флемингом пенициллина в процессе отравления плесенью старой, надоевшей и больной жены. «Она уже совсем ослабела, когда он ей в кашу плесень начал подмешивать. И вдруг, о чудо, стала здороветь, здороветь, румянец появился, совсем помолодела. Флеминг еще двух жен завел, чтобы, значит, результаты

сопоставлять... Так был открыт пенициллин». Потом Ксения Матвеевна, зардевшись, встала из-за стола, отодвинула стул жестом молодого Ленина (помнишь, в торце университетского коридора висела картина — Ленин сдает экстерном государственный экзамен, куда она теперь подевалась, интересно) и сказала, что сейчас нам «почитает». Я внутренне вся задрожала, кто знает, как наши столичные гости отнесутся к такому культурному развлечению, не сочтут ли пренебрежительно за провинциальную самодеятельность. Но Ксения Матвеевна читала замечательно просто, спокойно, с мыслью — отрывки из «Темных аллей», из «Митиной любви», читала Чехова (перечти, кстати, рассказ «Супруга», там все дело в двадцати пяти рублях, которые едва мелькают в середине, но зато гениально являются в конце). «Еще, пожалуйста», — просили все. Николай и Юрка сидели с такими хорошими, человеческими лицами. Однако «пили по-обыкновенному, то есть много». Наверное, от французского коньяка на меня напала такая сильная умиленность и любовь к ближним (тоже и к дальним), что страшным усилием сдерживала себя, чтобы не охватить всех за плечи и не пожелать каждому в отдельности и всем вместе чего-то хорошего, новогоднего, неопределенного, вроде «неба в алмазах». Таким образом, новогодняя ночь удалась, и если бы не последующие события (ах, если бы знать, если бы знать...), о которых сейчас писать не буду (вообще-то все кончилось нормально), потому что хочу успеть и отправить это письмо с Костериными, если бы не волнения второго января, можно было бы посчитать, что Новый год явил нам светлое предзнаменование на будущее, намек на перемену участи, побуждение к новым надеждам на какие-то призрачные гранты, о которых мужчины шептались, выходя курить на холодную веранду. Надо сказать, что перед самым Новым годом Юра при содействии Л. Б. устраивал здесь в Университете семинар о своей работе, совместной с Американским институтом физики. Из чистого и отвратительного пижонства на оповещающем плакате название доклада значилось на английском: «Special structure of electromagnetic field in FEL-amplifier», Юркины титулы далее, однако, шли на русском. Плакат этот вызвал у меня жуткое возмущение, поддержанное, но в мягкой манере Леонидом Борисовичем: «Не надо нас унижать больше, чем мы уже унижены». Юрка же скривил свою толстую красивую морду и объяснил, что доклад он писал сразу на английском для Международной конференции в Орландо и так вот до сих пор не удосужился перевести: «А что разве здесь что-нибудь непонятно? Название же очень простое». В общем, плакат я лично переписала. Доклад его снискал большой успех, было много вопросов и вполне по делу, но основная публика совершенно очаровалась рассказами Юрки о его путешествии по Штатам, слайдами Ниагарского водопада, нью-йоркской толпы и силуэтом самого докладчика на фоне пунцового заката над отрогами Большого Каньона. После доклада Юрия Сергеевича окружила плотная толпа профессорско-преподавательских лиц — очень похожи на наших, но более как бы присыпанные пылью — с горящими глазами внимали его подробным поучениям как оформлять программы и получать гранты. В конце своего пространного ликбеза он царственным взмахом руки передал сияющему Л. Б. какие-то анкеты и образцы программ, а также щедро раздал свои визитные карточки. Светлана, конечно, тоже присутствовала и в таком дивном парижском костюме, что отдельные юные аспиранты пялились на нее, не переставая. Пomyслить невозможно, как она, такая восхитительная, живет на руинах нашего института среди лопнувших труб, заколоченных навсегда туалетов, неработающих лифтов — электричества-то нет, — как поднимается с фонариком в руке (это ее рассказы) к себе в лабораторию на одиннадцатый этаж по абсолютно темной лестнице, усеянной ровным слоем кошачьих экскрементов — кошки расплодились в темноте в невероятном количестве, главного кота-производителя кличут Савелий, что по странности совпа-

дает с именем Генерального директора. Николай во все время семинара сидел с непроницаемым, но думающим лицом, мне-то известно, что вся теоретическая основа Юркиных расчетов, да и сами расчеты, принадлежат Николаю, который и получил в конце доклада мимолетную благодарность, но в авторы включен не был. Да ладно уж, не будем жмотничать, «ничуть не жалко», — сказал Николай на мое бестактное упоминание этого факта, и я устыдилась. Все-таки я люблю их, несмотря на их детское тщеславие, и ведь ради нас они сюда приехали — какая Юрке выгода делать доклад в занюханной провинции, когда его почитают в Париже, Токио и Орландо. Зависть, одна лишь зависть — лучше уж я сама признаюсь, чем ты ткнешь в меня пальцем. Так что не будем больше ронять слезы и достоинство. Жду твоих рассудительных замечаний по этому поводу.

Завтра выхожу на работу к своим охранникам, я теперь выполняю там некоторые секретарские обязанности. Они купили компьютер и впали в тихий столбняк, увидев, что я умею с ним обращаться (факт своего кандидата по-прежнему скрываю). Набираю им договора и разобралась в бухгалтерской программе. Получила даже премию. Сунули какие-то денежки в конверте. Кланялась и благодарила».

6.

«Пишу тебе вслед за предыдущим письмом, которое ушло с Костериными. Причины этого отдельного письма невразумительны, но ты поймешь. Хотелось как бы остаться с тобой наедине и описать события второго января без лишних посторонних глаз. Конечно, вряд ли Светлана с Юркой будут распечатывать мое письмо к тебе. Хотела написать — до этого они еще не дошли. Но тут положила руку на сердце и признаюсь — совершенно не исключаю, ежели бы Юрка знал, что в письме есть нечто для него важное, решающее или хотя бы просто любопытное, то и прочел бы, расклеил бы над паром и прочел. Без Светланы, конечно, даже перед женой хочет человек выглядеть совершенней, чем есть. Хотя, ну какой это грех — читать чужие письма, когда можно хитрым таким способом заставить друга работать на себя и результаты этого труда использовать со столь очевидной прибылью. Ну да, ты права, я стала очень злая. Злость не рассасывается еще и потому, что все время их пребывания здесь я чувствовала слабый, едва заметный запах небрежного к себе отношения, а также их старания отделить, отеснить, оттереть меня от Николая преувеличенным вниманием к нему и неумеренными восхвалениями его таланта. Просто неприличные потоки славословий бурлили вокруг него. «А нет ли здесь какого-либо подвоха?» — должна была бы подумать я и, придушив все нарастающий новый комплекс уборщицы, ввязаться в жестокую схватку. Я же глупой обиженной курицей сидела на своем шестке. Однако, как писали раньше, — «смутное беспокойство овладело мной».

Да, я обещала написать тебе про второе января. Отоспавшийся Юрий Сергеевич жестом не то чтобы широким, скорее узким пригласил нас с Николаем в ресторан, потом с неохотной вялой улыбкой позвал и Л. Б., поскольку последний от дома нашего не отходил. И вот мы, нарядные и все еще новогодние, отправились выбирать лучший ресторан, и нашим гидом оказался очень даже пригодившийся в этих поисках Л. Б. В общем, очутились мы вскорости в темном респектабельном и пустынном зале овальной формы, площадью не менее велотрека, отдельные уютные точки которого были обозначены приземистыми пузатыми светильниками. Столик мы выбрали вдали от оркестрового возвышения, на котором утомленно двигались ленивые оркестранты, поглядывали на нас скептически, настраивали свои инструменты,

потом все очень быстро куда-то сгнули — дожидаться настоящей публики, по-видимому.

Настоящая публика довольно медленно втекала в зал и представляла собой не перестающую меня удивлять, неизвестно откуда взявшуюся новую породу бритоголовых и пустоглазых молодых людей, которую мы, то есть «новые нищие», редко видим в столь опасной близости. Спутницы этих мутантов, однако, были чудо как хороши — длинные, колеблющиеся в музыкальных сумерках, изящные как японские водоросли (и с той же сложностью мыслительной деятельности).

Еда, как и следовало ожидать, оказалась очень дорогой, невкусной и скудной; официант — расслаблен, небрежен, нескрываемо нагл. Беседа шла натужными толчками, и мальчики наши на этой чужой планете выглядели пожухлыми старичками. Одна лишь Светка, как молодая, отрешенно царила в собственном лунном сиянии, источаемом жемчужной кожей открытой шеи и обнаженных плеч. (Поверишь ли, только здесь я сообразила, что она сделала подтяжку.) Юрка, желая угодить дебилу-официанту, всю сленговал якобы в молодежной манере (идиот!), рассматривая голубоватое глянцево-меню, огромное, но бледное, как контурная карта. «О! Блин! Я балдею, щас оторвемся пиплы...» (так бы и убила его). Словом, все это выглядело крайне странно и нелепо. И вся затея, задуманная из побуждений благородных для освобождения нас со Светланой от хлопотанья на кухне, ну и для выхода в свет, конечно, мне не нравилась с самого начала. Не буду, однако, перебивать себя.

Вечер шел своим скучным чередом, Николай с Леонидом Борисовичем медленно наливались водкой, которую экономный Л. Б. запасливо пронес в старом вместительном портфеле, и в том же темпе разгоралась заря оживления на их лицах, нездоровое сверкание вспыхивало в глазах, а жесты приобрели естественный размах и нерасчетливость, так что кто-то из них чуть не смахнул со стола остатки Юркиного коньяка в унылом ресторанном графинчике. Я едва успела подхватить раскачавшийся графинчик, закричала на Николая, кажется, даже стала отнимать водку. Юрка ласково обнял меня, утащил танцевать, успокаивать. Он старомодно прижимал меня к себе, и мы плавно качались среди интенсивно трясущихся молодых тел. Потом мужчины сидели за нашим столиком, обнявшись, склонив друг к другу головы, шептались, никого не замечая. Меня Светка повлекла в «Дамскую комнату» (так было написано на двери), поправила мне прическу, напудрила лицо и вылила на меня щедрую каплю своих душистых цветочных духов. Трогательное внимание Костериных было мною с удивлением отмечено, несмотря на общую туманность послеконьячного состояния. Хотя некоторые провалы в моей памяти все-таки были. Совершенно не помню, как мы оказались в казино. Помню только, как спускались вниз по крутой затхлой лестнице, как обнимал меня за талию и поддерживал Юрка, и канючила Светка, что хочет поиграть, потому что в Атлантик-Сити выиграла 50 долларов.

Окончательно и моментально я пришла в себя только в эпицентре скандала, когда услышала дикие вопли Николая, который с невероятной для его шуплости силой вырывался из объятий двух верзил в пятнистой форме и пинал как безумный своими тяжелыми американскими ботинками звонко дребезжащие ящики игровых автоматов. И тут со мной случилось необъяснимое — я словно переселилась в него, так остро я почувствовала его боль, не поняла, а именно почувствовала все, о чем мы никогда не говорили, все, о чем молчали каждый в своем углу с тех пор, как Володька, пошатываясь, вошел в нашу квартиру, которая нашей в этот момент уже перестала быть, то есть не вошел, а был введен под руки крепкими парнями обыденного облика (но головы-то круглые, бритые), не прячущими свои лица под масками, с признаками каких-то даже манер — один из них случайно уронил с тумбоч-

ки перед зеркалом какие-то журналы, мой шарф и перчатки, вскрикнул «ой!», нагнулся и все положил на место, другой, постарше, внимательно осмотрел нас с Николаем: «Значит так, просили еще раз напомнить, чтобы без глупостей» и, дойдя до двери, оглянулся и сказал загадочное: «Игровики — люди серьезные. В игрушки играть не будут. Ничего не поможет». И они ушли. Я впервые и только тебе рассказываю об этом. Думаю, что и Николай был абсолютно молчалив по этому поводу. Что-то ужасное произошло тогда с нами, не знаю, как выглядела я, но отражение этого ужаса я впоследствии не раз видела в глазах Николая и в сером лице Володи, особенно, когда заикалась о прокуроре и прочей судебно-государственной защите. Эти два пятнистых лба, которые скрутили на наших глазах Николая, ничуть не были похожи на мальчиков, доставивших Володеньку домой, но вместе с тем что-то общее, общеужасное было в них несомненно. Общее в них — привычка к насилию над другим, наш безумный страх и беспомощное отчаяние. И лица у них были похожи совершенной непримечательностью — лишь спокойное усердие и некоторая тень удовольствия от хорошо выполняемой работы. После того, как Николай укусил одного, они все-таки озверели, завели ему руки за спину, защелкнули деловито наручники и, толкая в спину, направили в узкий коридор за игровым залом, не обращая внимания на наши визги. Светка непрерывно и монотонно пищала, прижимая ладони к щекам. Юрка, пытаясь сохранить солидность, старался заглянуть в лица охранников, делал какие-то вразумляющие пассы правой рукой, а в левой держал на отлете и как бы наготове красивый бумажник. Я же, перекинув сумку через плечо и через голову, чтобы освободить руки, цеплялась за пятнистые рукава и спины, пыталась дотянуться до Николая, металась, как могла и непрерывно повторяла: «Отпустите его, он больной человек». Укушенный Николаем ощерился, гукнул на меня: «Уйди,.. (на бумаге не могу написать слово, произнесенное им), а то у меня и вторая пара есть», — и он похлопал себя по зазвеневшим на поясе наручникам. Второй резонно буркнул: «А кто здоров?» Леонид Борисович понуро замыкал процессию, прижимая к себе ворох наших верхних одежд. Так мы проволоклись через огромный холл, освещаемый нелепыми тренажниками, вошли в просторный кабинет — мягкие диваны, кресла, два компьютера, пустые стеллажи, на низком столике недопитые рюмки. В центре, расставив уверенные ноги, руки в карманах, стоял человек, мрачный, высокий, с лицом крайне спортивного типа, но в хорошем костюме. «Ну вот что! Мы не в милиции, протокол составлять не будем. Но штраф ты заплатишь и еще посидишь у нас, отработашь», — услышала я, молитвенно сжала ручки и завопила: «Это недоразумение. Он ничего такого не сделал. Он человек Ахметова!» «Ахметова? — мрачный наморщил лоб. — Что же такой мозгляк может делать у Ахметова?» «Он занимается ценными бумагами», — четко ответила я. «Вот как? Потрясающе, Ахметов интересуется ценными бумагами? Это ценная информация». И мрачный начал нажимать кнопки телефона.

«Счас! Ахмет, саям алейкум! Ты на месте?! Кому-то сильно везет. Тут у меня твои люди. Какие?» Но я уже вырвала трубку и звонко залепетала: «Рустам Дамирович, извините, пожалуйста, такая история вышла, тут мы в казино попали в такое недоразумение. Я? Но я же у вас работаю (не могла я при всех сказать, что работаю уборщицей, этого даже Николай не знает). Да я же вам ставила бухгалтерскую программу на компьютер. Да, и Валентину вашу я учила, нашу Валентину, бухгалтера, и Андрея-длинного. Выручайте, уважаемый Рустам Дамирович, так неловко вас беспокоить в неурочный час, только зная ваше доброе сердце...» Важно было говорить быстро, не останавливаясь. Мрачный застыл, смотрел исподлобья пронзительно, что-то соображал, потом довольно грубо отобрал у меня телефон, махнул в нашу сторону небрежной рукой, типа «чтоб духу вашего не было». Укушенный

неохотно отомкнул наручники: «То он больной, то какие-то ценные бумаги...» Николай нетвердым шагом двинулся в открытую дверь, не оглядываясь и потирая кисти рук (где-то я уже видела этот жест, не могу вспомнить...). «Такие вот, образно выражаясь, пироги», — сказал Юрка, открыл бумажник (я похолодела — неужели доллары) и вручил оторопевшему хозяину кабинета свою визитную карточку (на английском)».

7.

«Дорогая! Ты, по-видимому, все уже знаешь, и именно этим объясняется твое долгое молчание. Но и мне поэтому легче писать тебе. Итак, Николай в Петербурге. Он уехал так внезапно, сразу же за Костеринными, просто след в след, что у меня явилось подозрение не Юрка ли взял ему билет (у Николая денег не было), а скорее всего, Светлана, она, мне кажется, была даже более активным началом (т. е. более бездушным концом) в этой тайной возне. Могли бы ведь и вместе уехать, но боялись, видимо, воплей с моей стороны, мысли у них не было со мной обсудить, уговорить, убедить меня, обольстить, в конце концов, надеждами и неземными горизонтами так, что сама бы отпустила, проводила, шанежки на дорогу испекла. И трудиться не стали. Я не могу это воспринимать иначе, как сговор за моей спиной, как гадкий обман и гнусное предательство. И жить он будет, оказывается, у них. Без меня во всех отношениях легче. Со мной все-таки семья, а так кинул тюфячок на кухне — Николай неприхотлив, да и работать он будет с утра до ночи, как работал всегда, а сейчас особенно, когда так изголодался. И работать он будет прежде всего на Юрку. Он и не возражал. «Ничего, мне тоже останется. Все равно Юрка настоящий друг». Вот так! А мне, значит, настоящий враг. Или я ужасно, отвратительно несправедлива? Ответь мне! Эгоистично требую понимания, человеческого участия, душевной чуткости. Откуда бы им взяться. Какие времена — такие песни. «Идиотка, следовало бы сказать себе, — ты должна радоваться». Но не получается у меня роль мудрой женщины. Пронзительная обида когтит сердце. Неужели нельзя было все это сделать по-другому, посвятить меня в их грандиозные планы — Юрка, видите ли, становится директором филиала. «Какая ты поверхностная женщина. Ты требуешь слов», — говорил Николай в последние дни, увязывая свои бумаги. Но их, этих слов, необходимых мне, спасших бы все, позволивших бы мне и дальше терпеть этот разваливающийся дом, унижение примитивного труда, отсутствие достойного человеческого общения, жестокую болезнь тети Зины и, конечно, надеяться, просто надеяться на перемену грустной участи, теперь уже только моей, он так и не сказал. Единственно, заверил меня, что постарается быть полезным Володеньке и еще — пришлет мне деньги, как только что-нибудь получит.

«Будет ли у нас совместная жизнь?» «Разумеется», — ответил, уткнувшись в свои мысли и бумаги, даже не взглянул, не подошел, не обнял, не погладил, не успокоил, не вытер мои бегущие слезы. Разумеется. Боже, это прозвучало, как холодное возможно, или, как перевела моя уязвленная душа с человеческого языка на страдательный, — маловероятно.

Да, я знаю, что Юрка полгода преподавал в Беркли, а Вадим сидит давно в Германии, а Елисеев летает из Франции в Японию, не приземляясь в России. А Николай всего лишь едет в другой город, нет, не в другой, возвращается в наш город. И не зовет меня с собой. То есть зовет, но не так, как мне надо. Вернее, обещает позвать при определенных условиях. Мог бы позвать, не опасаясь, что я соглашусь, все равно я не смогла бы оставить тетю Зину. Может быть, потому и не зовет, как человек, ненавидящий всякое

притворство и лицемерие. Ночами я лежу без сна среди шорохов кряхтящего старого дома и задаю темноте бесчисленные вопросы и сама же подсказываю малодушные ответы. Ах, в том ли дело, что разлука. Люди жили в разлуке годами, писали письма и трепетали, вскрывая конверт. И незачем ходить за возвышенными примерами к гениальным поэтам и прочим творцам. Мои родители были разлучены так долго, но никогда не прекращался между ними теплый, доверительный и нежный разговор. Мы с Николаем почти не расставались, но нити между нами все рвутся и рвутся. Ни единого упрека он не высказал мне, но я постоянно ощущаю груз какой-то своей вины — то ли плохо воспитала Володьку, то ли вообще упустила всю ситуацию, то ли просто, не выдержав, уронила руки, единственно поддерживающие тяжкие своды над нашим давно уже чадящим очагом. Пишу тебе эти несколько строк уже три дня — все больше неостановимо веду свой бесконечный, внутренний монолог, который, перенесенный на бумагу, превратился бы в невразумительные жалобные восклицания и зывания неизвестно к кому.

Пишу тебе урывками еще и потому, что тетя Зина лежит дома. Через два дня после отбытия Николая с ней случился второй инсульт. Добрый ли ангел оберегал Николая, и в связи с этим злые силы накиннулись на нас, остающихся, стоящих на месте, глядящих ему в спину, а потом в бледное лицо за невымытым стеклом уже движущегося вагона, но он успел уехать в часы хорошего самочувствия тетушки. Интересно мне знать, как бы он уезжал два дня спустя, оставляя на руках у меня парализованную старуху, бросая меня в таком положении практически без денег, без еды, припасы-то полностью съедены. Думаю, что все равно бы уехал, но с чувством злобной вины, за что возненавидел бы меня непременно. Или остался бы, сдал билет, громко скрежеща зубами, топил бы печи, помогал бы мне ворочать тетю Зину, ходил бы с эмалированным бидоном за молоком, по вечерам разогревая свою ненависть в философских беседах со своим обожателем Л. Б. Так что, то на то и выходит, иными словами — куда ни кинь, всюду клин. Получается, именно мне повезло, что он так удачно уехал, не дал мне окончательно убедиться на собственной шкуре в этой тривиальной истине — неприятны нам те, перед кем мы сильно виноваты. И когда он по приезде позвонил и признался, что доехал нормально и устроился у Юрки со Светланой блестяще, поскольку выделили ему отдельную комнату, то и я сообщила, что у нас все нормально, как всегда, что тетя Зина полеживает, приходит Ксения Матвеевна помогать, Леонид Борисович скучает (я сделала паузу — «А ты?» — все-таки спросил он), наколот дрова, вообще оказался отличным мужиком, настоящий товарищ. Информацию о Володьке выдавил из себя Николай с ощутимым трудом, похоже встреча их не была очень восторженной. «Может быть, ты мне все-таки напишешь, как вы все там живете, очень хочется каких-нибудь подробностей». «Да, я тебе уже все рассказал, писать ничего не осталось, много работаю, вот в субботу отсыпаясь, по воскресеньям буду ходить в БАН, очень отстал». После его звонка я долго и уныло сидела над телефоном, сжав голову руками, в непреодолимом желании найти его письма, старые письма, которые писал он мне каждый день из стройотряда, увидеть там, на бумаге слова любви, тоски и печали, обращенные ко мне. Может быть, я и тебе пишу, чтобы доказать, что в наше дикое время люди пишут друг другу письма. И вспомнилось отчего-то, что в наши детские «секреты», под стеклышко, среди засохших цветочков помещались очень часто драгоценные любовные записочки или тайные загадывания и пожелания самим себе, которые потом почти никогда не доставались и не перечитывались, «сквозь тщательно протертые стекла времени» мы лишь любовались ими, удостоверялись — они есть, вдохновлялись, неслись дальше, накручивая педали, в сильном потоке опьяняющего ветра, созданного собственным движением. Нет, я не стала читать его старые письма, которые привезла с собой, достаточно, что

посмотрела на темный простой ящичек, стоящий на верхней полке, вышла в кухню, наполнила водой огромный бак, опустила в него мощный кипятильник, вывалила на пол кучу грязного белья, чтобы рассортировать, отделить цветное от белого, и вот тут уже не выдержала, схватила рубашку Николая, клетчатую, расплзающуюся, почти лохматую, незабываемую, прижала к лицу неповторимый запах, завывала как последняя идиотка. Не знаю, не могу объяснить, отчего не верю, что мы будем вместе. Ощущение невозвратности не оставляет меня.

Вечером пришла Ксения Матвеевна, принесла баночку маринованной свеклы и маленькую кость, сварили отличный борщ. Я напекла блинов. Еще осталось варенье из ревеня. Ужинали в большой комнате втроем. Тетя Зина благостно возвышалась на взбитых подушках, чистенькая, намытая, в наглаженных оборочках, улыбалась кривеньким ртом. Речь у нее сохранилась ясная. «Ничего, — говорила тетя Зина, поглаживая действующей рукой действующую, — ты не переживай, удары, уж если они начались, идут один за другим. Дом продадите. Ксюша поможет. Купите квартиру в Ленинграде (о, если бы она знала, т. е. хорошо, что не знает, какие непредставимые цены), будете жить все вместе, добра наживать, меня вспоминать. Это долго не продлится. Уверю тебя, удары идут один за другим».

Денис Новиков
Сокрытое от оптики

* * *

жене

Долетит мой ковер-самолет
из заморских краев корабельных,
и отечества зад наперед —
как накатит, аж слезы на бельмах.

И, с таможней разделавшись враз,
рядом с девицей встану красавой:
— Всё как в песне сложилось у нас.
Песне Галича. Помнишь? Той самой.

Мать Россия, кукушка, ку-ку!
Я очищен твоим снегопадом.
Шапки нету, но ключ по замку.
Вызывайте нарколога на дом!

Уж меня хоронили дружки,
но известно крещеному люду,
что игольные ушки узки,
а зоилу трудней, чем верблюду.

Накось-выкуси, всякая гнусь!
Я обветренным дядей бывалым
как ни в чем не бывало вернусь
и пройдуь по знакомым бульварам.

Вот Охотный бахвалится ряд,
вот скрипит и косится Каретный,
и не верит слезам, говорят,
ни на грош этот город *конкретный*.

Тот и царь, чьи коровы тучней.
Что сказать? Стало больше престижу.
Как бы этак назвать поточней,
но не грубо? А так: **НЕНАВИЖУ**

загулявшее это хамье,
эту псарню под вывеской Роял.
Так устроено сердце мое,
и не я мое сердце устроил.

Но ништо, проживем и при них,
как при Лёне, при Мише, при Грише.
И порукою — этот вот стих,
только что продиктованный свыше.

И еще. Как наследный москвич
(гол мой зад, но античен мой перед)
клевету отвергаю: опричь
слез, они ничему и не верят.

Вот моя расписная слеза.
Это, знаешь, как зернышко риса.
Кто я был? Корабельная крыса.
Я вернулся, прости меня за...

1995

Травиата

1

Я помню, я стоял перед окном
тяжелого шестого отделения
и видел парк-не парк, а так, в одном
порядке как бы правильном, деревья.
Я видел жизнь на много лет вперед:
как мечется она, себя не зная,
как чаевые, кланяясь, берет,

как в ящике музЫка заказная
сверкает всеми кнопками, игла
у черного шиповника-винила,
поглаживая, стебель напрягла
и выпила; как в ящик обронила
иглою обескровленный бутон
нехитрая механика, защелкав,
как на осколки разлетелся он,
когда-то сотворенный из осколков.

Вот эроса и голоса цена.
Я знал ее, но думал, это фата-
моргана, странный сон, галлюцина-
ция; я думал, виновата
больница, парк-не парк в окне моем,
разросшаяся дырочка укола,
таблицы Менделеева прием
трехразовый; намек никакого
на жизнь мою на много лет вперед
я не нашел. И вот она, голуба,
поет и улыбается беззубо
и чаевые, кланяясь, берет.

2

Я вымучил естественное слово,
я научился к тридцати годам
дыханью помещения жилого
которое потомку передам:

вдохни мой хлеб, «житан» от слова жито
с каннабисом от слова небеса,
и плоть мою вдохни, в неё зашито
виденье гробовое: с колеса
срывается, по крови ширясь, обод,
из легких вытесняя кислород,
с экрана исчезает фоторобот —
отцовский лоб и материнский рот —

лицо мое. Смеркается. Потомок,
я говорю поплывшим влево ртом:
как мы вдыхали перья незнакомок,
вдохни в своем немыслимом потом
любви моей с пупырышками кожу
и каплями на доньшках ключиц,
я образа ее не обезбожу,
я ниц паду, целуя самый ниц.
И я забуду о тебе, потомок.

Солирующий в кадре голос мой,
он только хора древнего обломок
для будущего и охвачен тьмой...
А как же листья? Общим планом — листья,
на улицах ломается комедь,
за ней по кругу с шапкой ходит тристья
и принимает золото за медь.
И если крупным планом взять глазастый
светильник — в крупный план войдет рука,
но тронуть выключателя не даст ей
сокрытое от оптики пока.

1996

Караоке

Обступает меня тишина,
предприятие смерти дочернее.
Мысль моя, тишиной внушена,
порывается в небо вечернее.
В небе отзвука ищет она
и находит. И пишет губерния.

Караоке и лондонский паб
мне вечернее небо наваяло,
где за стойкой услужливый краб
виски с пивом мешает, как велено.
Мистер Кокни кричит, что озяб.
В зеркалах отражается дерево.

Миссис Кокни, жеманьясь чуть-чуть,
к микрофону выходит на подиум,
подставляя колени и грудь
популярным, как виски, мелодиям,
норовит наготово сверкнуть
в подражании дивам юродивом

и поет. Как умеет поет.
Никому не жена, не метафора.
Жара, шороху, жизни дает,
безнадежно от такта отстав, она.
Или это мелодия врёт,
мстит за рано погибшего автора?

Ты развея мое горе, развея,
успокой Аполлона Есенина.
Так далёко не ходит сабвей,

это к северу, если от севера.
Это можно представить живей
спиртом спирт заливая рассеянно.

Это западных веяний чад,
год отмены катушек кассетами,
это пение наших девчат
пэгзушниц Заставы и Сегуни.
Так майлав и гудбай горячат,
что гасить и не думают свет они.

Это все караоке одне.
Очи карие. Вечером карие.
Утром серые с черным на дне.
Это сердце мое пролетарии
микрофоном зажмут в тишине
беспардонны в любом полушарии.

Залечи мою боль, залечи.
Ровно в полночь и той же отравой.
Это белой горячки грачи
прилетают за русской славою,
многим в левую вложат ключи,
а Модесту Саврасову — в правую...

Отступает ни с чем тишина.
Паб закрылся. Кемарит губерния.
И становится в небе слышна
песня чистая и колыбельная.
Нам сулит воскресенье она,
и теперь уже без погребения.

1996

Даур Зантария

Золотое Колесо

роман

III

О треволнениях

Рана, полученная Мазакуаль, была в сущности пустячной; важен был производимый ею эффект. Регина-бультерьер слегка порвала дворняжке кожу на левом бедре. Жалость, которую могла эта рана вызвать, Мазакуаль решила использовать, когда будет устраивать себе более или менее постоянное жилье.

Коли пришлось искать место обитания вдали от хозяина, Мазакуаль решила не отказывать себе в роскоши поселиться на первоклассной турбазе. Лучшей турбазой в Сухуме всегда была турбаза Челюскинцев с бессменным директором Дурмишханом Джушкуняни. Мазакуаль быстро нашла эту турбазу. Место было, конечно же, шикарное. Побродив вдоволь по чистому парку, где в прудах плавали прекрасные лебеди, каждый по шестнадцать кг живого веса, а в тени экзотических деревьев гуляли царственные павлины, Мазакуаль вновь обрела себя. О мести она уже думала спокойно. Решила не терять головы, а сначала устроиться, причем устроиться именно здесь; мсть же, чем она дольше откладывается, тем слаще. И еще, чтобы одолеть мерзавку Регину, она должна подготовиться, по крайней мере узнать ее слабости с меньшим уроном, чем узнала преимущества. Мазакуаль уже успела разведать, где эта шлюха Регина живет, — точнее: где живет хозяйка, у кого она пристроена.

Совсем другое дело — павлины. Мазакуаль, увидев впервые, как павлин распускает свой волшебный хвост, была потрясена. При этом надо учесть: она кое-что понимала в птицах.

Преданная Мазакуаль поклялась увести эту птицу при первом же случае, чтобы подарить Хозяину.

Но это потом. Сейчас ни Хозяину, ни ей самой было не до красоты.

Мысль прижиться в одной из нескольких шашлычных турбазы, а тем более около хоздвора, Мазакуаль немедленно отвергла, несмотря на то, что там, особенно в шашлычных, люди говорили на знакомом ей языке. Конечно же, она и в шашлычных, и на хоздворе не стала бы нахлебницей. Статус, заслуженный ею ввиду ее талантов, она сумела бы обрести и там. Но Мазакуаль решила свой дар добывать птиц поставить в услужение скромному Художнику, который творил в одном из вагончиков турбазы. При этом она понимала, как мало птиц в самом городе и как непросто будет охотиться в пригородах, где на ее пути непременно встанут совершенно иные собаки, воспитанные в другой среде, со смешанным менталитетом.

А почему Художник? Да потому, что бездомной собаке, если у нее есть выбор, конечно же, лучше поставить на русского человека с его умеренным, но стабильным отношением к животным. На этой турбазе, кроме начальства и шашлычников, все остальные были русские, но большинство их были *купальщики* и сменяли друг друга каждый месяц. Так что, если не считать горничных, которые Мазакваль мало интересовали, и дворников, которых она оставила на крайний случай, единственным бессменным постояльцем на турбазе был Художник. Он жил и работал на турбазе, являясь ее достопримечательностью, подобно павлинам и лебедям. Как только Мазакваль это вычислила, тут же не замедлила состояться их трогательная и несколько фальшивая дружба.

Сострадание — такое чувство, при каждой возможности проявления которого человек начинает себя больше уважать. Потому рана на бедре Мазакваль оказалась как можно более кстати. На второй же день после злополучного посещения пляжа Мазакваль, не мешкая и без обиняков, явилась к Художнику в вагончик и вправила в раму растворенной двери свой огорченный, но неуниженный вид. Художник был занят деревянной скульптурой. Он изображал абхазского классика в гостях у сванов, т. е. беседующего с двумя старцами в войлочных подшлемниках, которые принято называть сванскими шапками. Продолжая работать, Художник обратил на собаку свое доброе бабье лицо и гаркнул на нее. В ответ Мазакваль предстала перед ним анфас, причем на ее морде безо всяких слов читалось: внимательней, маэстро, пусть вас не введет в заблуждение простоватый вид вашей гостьи, она может еще вам пригодиться, и это не должно ускользнуть от взгляда Художника; ведь ваш глаз привычен не упускать даже самые незначительные штрихи!

— Пшла, твою мать! — вскричал Художник.

В работе, которую ему заказал сам директор турбазы, не все шло как надо: дерево попалося неудачное, во-первых; во-вторых, лица старцев получились слишком хищными для внимающих писателю мудрецов.

Мазакваль не знала, что брань, обращенная к ней, является чисто русской, но общей для всех народов, — и в привычной мингрельской среде, и в абхазской, где она побывала недавно, к ней все обращались именно с этой фразой. Она насторожилась. Художник мог в нее чем-нибудь запустить. Повернулась, точнее полубернула к нему таким образом, чтобы при данном освещении на миг высветилась ее жестокая рана. Эта рана не могла пройти мимо взора Художника. Мазакваль осознавала, что она — не королевский пудель и рана ее не выглядит столь кошунственной, как если бы была на каракуле благородного собрата, и что первое чувство, которое посетит нормального человека при виде дворняги, да еще изодранной, — это отвращение и желание прогнать ее прочь. Но для пожилого и в силу профессии склонного к рефлексиям человека в отвращении к беспомощному животному всегда есть что-то постыдное. Первоначально оно выражается в желании скорее избавиться от зрелища, вызывающего жалость. Но если сработать тонко, жалость эта будет возрастать обратно пропорционально стремлению от нее избавиться и укрыться. И Мазакваль сейчас делала все, чтобы благодатное зерно жалости дало немедленные всходы в виде колосьев сострадания и милосердия. Как будто беспомощно заметавшись у входа, она на мгновение убрала рану в тень и тут же высветила ее в новом ракурсе. На морде ее при этом держалась добродушно-прощающая улыбка, какая бывает у того, кого мы сразу не узнали, а должны были узнать, — улыбка, предвещающая наше смущение, которое неминуемо после узнавания. Этой своей улыбающейся физиономией Мазакваль как бы говорила Художнику, что он *должен, должен* распознать в этом несчастном существе не совсем обычную собаку, — собаку, способную быть полезной. Старый Художник уже приподнял берет, чтобы почесать себе темя. Собака понимала, что Художник, несмотря на

наметанный глаз, не сразу прочитает на ее физиономии эти тонкости, но, по ее замыслу, он уже должен был быть польщен тем, что к нему обращаются с уверенностью в его проницательности. Замысел начинал срабатывать. Процесс умиротворения в сердце мастера уже начался. Хотя он не перестал лихорадочно искать, чем бы в дворнягу запустить. Искал лихорадочно, но слепо, потому что, втянутый в диалог, он мог лишь ненадолго оторвать свой взгляд от собачьей морды, и то лишь для того, чтобы убедиться, что каждый предмет, который он нащупывал, был ему слишком необходим в мастерской, чтобы запустить им в псину. Это давало возможность псине исполнять свои следующие выходы с демонстрацией раны без особого страха.

Как бы смирясь с собакой в дверях, Художник отвлекся на свою работу и прищурился. Собака поняла, что ее приняли. Художник напряженно думал. Работа была незавершена, по крайней мере не доведена до того совершенства, на которое Художник был способен. Хищность стариковских лиц была исходной, характерной чертой, без которой нельзя обойтись, делая, как желал директор, гордых сванов. Требовалось хищность убрать на задний план, выдвинув вперед спутников старости — мудрость и печаль. А он это мог, хотя камфорное дерево — не самый податливый материал.

В следующий миг Мазакваль шагнула через порог, принимая приглашение дать свою оценку композиции. И приглашение было дано.

— *Камфора — очень неподатливый материал!* — произнес Художник со вздохом.

Он на нее не глядел, но обращаться больше было не к кому. Мазакваль по-своему довела до Художника, что он слишком критично относится к своему творению, тем более, что работы непочатый край.

А когда Художник встал и подошел-таки к ней, он уже воспринимал рану на бедре Мазакваль не как бродяжью метку, а как несчастье, постигшее живое существо.

О нерожденном сыне

Наала и Саша, сестра Ники, стояли на хаттрипшской трассе, собираясь ехать в Сухум. Мимо них в обратную сторону, твякнув им сигналом, проехала «Волга» Ники. В машине с Никой был Кесоу.

— Чего ты тянешь, братуха? — спросил Ника.

Кесоу смолчал.

— Тянуть тут нечего. Дождешься, что достанется другому.

— А если она потребует, — начал соглашаться Кесоу, — чтобы я стал стахановцем? Сказал же дядя Платон: *«Если бы мужчина изначально был таким, в кого его переделывает жена, разве бы она вышла за него!»*

— Вот и будешь стахановцем. Начнешь работать в Обезьяньей Академии.

У Кесоу уже все мысли были только о женитьбе. Конечно, его смущало, хоть и не очень сильно, что Наала — соседка. Джигит должен брать невесту за семью реками. И еще его смущало, что нет у него ни работы, ни, соответственно, доходов, но и это смущало не сильно, потому что знал: будет Наала рядом, он и отнесется ко всему серьезнее.

— Мне бы твой возраст! — продолжал заводить его Ника, словно в этом была необходимость. — И твою башку!

— Разворачивай! — сказал Кесоу.

Легкомысленное решение начало осуществляться.

Четверть часа спустя машина подъехала к девушкам. Ребята сказали им, что едут в Сухум, и посадили девушек в машину. Включили музыку, поехали с ветерком. А на одном из поворотов объявили, что сейчас же повезут их в горное село к родственникам. Напрасно девушки просили их не делать

этого, но машина уже ехала в сторону гор. Сестра Ники не посмела послушаться брата и стала соучастницей похищения. Наала плакала.

— Одумайтесь, ребята, — просила она. — Я не позволю, чтобы меня хватили на улице. Не надо портить наших отношений, Кесоу. Я прошу тебя!

Но, видя сомнения друга, Ника решительно взял инициативу в свои руки.

— *Нас и так мало!* — сказал он.

— Разворачивайте машину! Это не по-людски! — твердила Наала. — Я с тобой не останусь!

Она понимала, что ее хотят поставить перед фактом. Умыкание и последующее вмешательство людей призваны рассеивать сомнения у патриархальных девушек: они смиряются с судьбой. Может быть, и с Наалой было бы так, но...

Что он будет делать дальше, парень, который умыкнул любимую и привез в горное село к родственникам? Есть разные варианты, а Кесоу из них выбрал самое плохое: он заженуховал, то есть стал прятаться от взрослых. Инициативу перехватили хозяева и соседи. Известное дело: горцы отличаются гостелюбием — не успела машина, сигналив, въехать во двор родича, как сыновья родича, словно этого и ждали, кинулись забивать самого большого бычка из стада. Наала плакала, но все, даже женщины, отнеслись к ее слезам как к обычному проявлению скромности в такой щекотливый момент. Кесоу больше с ней и не виделся — во власть вошли обычаи. Как когда-то счастливый дядя Платон, он теперь мог попасть к ней только на восьмой вечер. Но, если Платон, прежде чем жениться, слышал от суженой твердое: «Выйду за тебя, выйду, не ворчи!», то Кесоу от Наалы только: «Я с тобой не останусь». Он знал ее гордый нрав, но, раз отдавшись течению обычаев, так и не предпринял ничего. А Нику посадили со старшими и, рассказывая байки о деде его Савлаке, не выпускали из-за стола. С родственниками мы сладим, говорили они, не беря, увы, девушку в расчет. Село запирило: взрослые на одной стороне, молодые — на другой. Тем временем в Хаттрипше узнали о случившемся, очень быстро вычислили, где похитители могут быть, и вскоре туда прибыла делегация во главе с Платоном, который хоть и приходился родным дядей Кесоу, но поехал с родными Наалы в знак особого уважения к ее семье.

Мужчины остались ждать у ворот, не заходя во двор. Зайти во двор означало стать гостями, врываться же к девушке немедленно — демонстрацию враждебности. Если девушка подтвердит, что ее привезли без ее согласия, тогда и семья Кесоу, и семья, в которой Наала была сейчас, становились кровниками ее семье. И потому они послали к девушке женщин и ждали внизу. Зайти к девушке они могли потом, даже если она передаст, что привезена добровольно, чтобы услышать это из ее уст, но и в этом случае они бы не остались гостевать, потому что формальная вражда сохранялась, пока люди не вмешаются и не склонят ее родных принять подарки в знак мира и родства.

Женщины взбежали в комнату, где сидела Наала в окружении девушек из этого села.

— Ты давала ему слово? — спросила ее тетушка.

— Нет.

— Тогда ступай с тетушкой!

— А надежду? — уточнила женщина горного села.

Вместо ответа Наала зарыдала.

— Так ты давала ему надежду? — местные женщины ухватились за соломинку ее молчания.

Наала опустила голову.

— Она стесняется, милое дитя! — обрадовались горянки. — Перестанем ее мучать! К чему держаться за дикие нравы! Пусть молодые сами решат.

— Чтобы выколоть мне глаза, несчастной! — воскликнула тетушка. — Разве ты могла дать ему надежду?

После мучительной паузы Наала произнесла:

— Я играла с ним в шахматы...

— И много говорили о жизни! — подсказывали девушке горянки.

— Чтобы выколоть мне глаза! — сказала поверженная тетушка и отошла в угол.

— Молодые играли в игру! — заголосили восторженно горянки. — Девушка — не девушка, а алмаз, но и наш — парень замечательный.

— Я не останусь! — твердо произнесла вдруг Наала.

— Тогда ступай за мной! — ожила тетушка.

— Пусть молодые поговорят! — уже проявляли твердость горянки.

— Несите шахматы! — сострил кто-то.

И, пока не вмешались мужчины, решили дать молодым поговорить. Привели Кесоу. Он потребовал оставить его с Наалой наедине.

— Конечно. Выйдем, пусть молодые поговорят! — с готовностью отозвались хозяйки.

— Нет! — сказала тетка. — Я не могу оставить девушку с человеком, не зная, что у него на душе!

Но Наала подала знак, и она покорилась.

— Наала, разве ты разлюбила меня? — спросил он, когда их оставили одних.

— Я не потерплю, чтобы меня неволили. Ты мог все сделать по-людски.

— Наала, я не замысливал похищать тебя. Все получилось на ходу. Я хочу, чтобы ты стала моей женой.

— Нет, я не останусь.

«Скоро будет война. Я хочу, чтобы ты родила мне сына!» — рвалось из Кесоу. Но он не сказал. Победила обида.

— Ты это твердо? — спросил он.

— Да.

— Прощай! — сказал он и вышел прочь.

Когда вернулись женщины, Наала попросила позвать мужчин. Мужчины пришли. Девушка заговорила твердо. Она сказала, что по отношению к ней непочтительности не было допущено, если не считать того, что ее привезли без ее согласия. Прежде, чем она поедет с родными домой, она требует от них дать ей твердое обещание никого в случившемся не винить, кроме ее самой.

— Поедем, дочь моя! Я привезу тебя деду, хоть и стыдно мне явиться пред его глазами после того неуважения, которое наша семья позволила себе по отношению к нему. А вы, мои сородичи: как видите, этот юнец только и знал, насколько вы нам родны. И пусть ваша прервавшаяся радость будет позором на мою седую голову!

Напрасно хозяева увещевали дядю Платона, напоминали, что женится не кто-либо, а его родной племянник и что он должен быть на его стороне: Платон был непреклонен. Уважение к нему остудило горячие головы. Девушку увезли.

— Что за молодежь пошла, Платон! — голос бригадира вернул вдруг старика в этот мир отражений.

А мыслями Платон был очень далеко. Устав слушать встревоженную болтовню соседей в машине, он глядел в окно. Солнце опускалось в море.

Он видел серые облака, расположившиеся тонкими волнистыми линиями, как ложится земля после вспашки. Я не могу описать этот закат подроб-

нее, но, глядя на него, Платон знал: в старину, когда по закату умели предсказывать и погоду, и житейские дела, и, конечно, народные судьбы, видя такое расположение облаков, говорили: это *народ* и это *беда*. Вечер за окном автобуса говорил старику, что в своем непознанном движении народ вступил в *тень*. Тяжкие испытания предвещала эта тень, которую грамотные именуют: *история*, а люди зовут: *беда*. Он уже знал, что останутся от деревни Хаттрипш одни пепелища, и что будет такое время, когда вынудят людей покинуть свои очаги и могилы и уйти на нагорье, где они познают горечь чужого хлеба; что сады, виноградники и лужайки перед домами зарастут терном, а собаки будут выть от голода и одичания; и что будет такое время, когда небо покроет свинец, и холмы задрожат, и горы; и что свиньи попробуют человеческого мяса, потому что живые не будут успевать хоронить мертвецов.

Солнце между тем низко опустилось над морем. Зловещее расположение облаков исчезло. Теперь на горизонте было одно единственное пушистое облако, которое, отстав от солнца, высоко-высоко плыло по небосклону. Наполненный предчувствием появления знака, старик приковался к нему взглядом. И знак появился.

— Вообще! — сказал Платон.

Это была она! И пусть слезы, застывшие глаза, не дали ему поразиться вдоволь видением, но и мгновение преисполнило его веры в то, что несчастный народ выстоит!

В нем, в этом прозрачном облаке, словно в волшебном окне, отразилась Золотая Стопа Отца.

И именно в этот миг его позвал сосед.

Когда в машине женщины заголосили, заобсуждали случившееся, склоняя поступок Кесоу на все лады, Наала почувствовала себя так скверно, как никогда.

— Кесоу, я люблю тебя! — прошептала она неожиданно вслух.

— Что ты сказала, доченька? — спросила тетка.

Наала не ответила.

На второй день ее отправили в Сухум, подальше от пересудов.

О кладезях мудрости

Мазакуаль почти придумала прием, с помощью которого она могла одолеть свою обидчицу. Ей пришлось даже прибегнуть к помощи Хозяина, хотя он об этом не догадывался. Иначе было невозможно: читать-то она не могла, а если бы и могла, кто же пустит собаку в республиканскую библиотеку!

Задача состояла в том, чтобы узнать, какие есть слабые и уязвимые места у породы собак, к которой принадлежала обидчица. Ибо так мудро устроена природа, что могущество, коим существо наделено в одной области, обязательно бывает уравновешено соответственным ничтожеством в другой. Именно это соответственное ничтожество необходимо было определить и изучить. Тут возникали дополнительные сложности, вызванные тем, что все-таки общение между человеком и собакой затруднено. Хозяину было бы намного легче, если бы он четко и ясно понял, что именно нужно знать собаке. Но описание того, как происходило это уникальное в некотором роде взаимопонимание между человеком и собакой, не входит в задачи нашего повествования.

Мазакуаль объяснила Хозяину, на кого она конкретно дышит ядом. Они сели в кофейне напротив дома, где обитала эта падла, и дождались, когда хозюк вывел на прогулку ее акулю морду и поросячий хвост. Эта дура, эта

кряля, вы думаете, она узнала Мазакваль, встретившись с ее глазами своими кровавыми щелочками? Нет, профура, блин, ее даже не узнала! А как она ссала! Как будто дерево, к которому она встала, поднимая то, что у обычных собак зовется лапой, специально для этого было тут посажено!

Гордые глаза Мазакваль горели жаждой мести. Она прижалась к ногам Хозяина, что проделывала крайне редко. Она не трусила, а осознала свое бессилие на данный момент. Она не жаловалась, она просила помочь ей самой осуществить возмездие. Может быть, Хозяин не понял всей этой гаммы чувств собаки, но зрелищем бультерьера был настолько потрясен, что назавтра же набрался смелости и пошел в библиотеку, куда и без этого его почему-то звала душа, чтобы как раз прочитать об этой собаке.

Мазакваль была довольна: все шло по плану.

Могель, чего уж таить, в библиотеку зашел впервые. Если не считать маленького книжника в Великом Дубе, где продавщица сельмага Маквала работала по совместительству, и, чтобы отперла его, надо было найти к ней особый подход. Могель и не просил ее. А тут было здорово! Светлые залы, убранные цветами, а главное — море книг. Могель в глубине души был книголюб, эти полки до потолка, полные томов, старых и новых, привели его в волнение. Учтивая девушка помогла ему преодолеть смущение. Услышав, что его интересуют некоторые редкие виды собак, а он подготовил именно такую фразу о редких видах, она принесла не книгу, как он ожидал, а принесла целую кипу, от больших фолиантов до малых брошюр. Вслед за этим Могеля пригласили сесть в уютном уголке у окна, где он мог спокойно, в тишине эту литературу изучить.

Перелистав все поданные ему книги, Могель остановился на большой иллюстрированной энциклопедии собак одного иностранного автора. Самые разнообразные собаки. Собаки всех пород. Собаки всех времен и народов. Как-то он остановил внимание на одной из них, которая показалась ему чертовски похожей на его Мазакваль, прочитал довольно лестные ее характеристики, но обманчивой схожестью с простой дворнягой не соблазнился, а пошел листать дальше, пока перед ним не предстал американский бультерьер во всем своем жутком великолепии. Его разновидности, его история, его достоинства, недостатки. Могель читал очень внимательно и заинтересовано, поэтому не сразу заметил, что эту заинтересованность кто-то разделяет с ним, пока сама себя не обнаружила, задышав и притершись к ногам, его Мазакваль. Явилась-таки, плутовка, захихикал он в кулачок и тайком от смотрительницы щелк ее по уху. Собака улыбалась во всю морду. Тише, Хозяин, дорогой, заметят же, как бы говорила она ему. Она видела все картинки.

— *Тут, Мазакваль!* — восхищенно прошептал Могель.

Собака послушно удалилась. Сделала она это так же незаметно, как пришла. Могелю уже нечего было делать в библиотеке. Он собрал книги, встал и направился к столику выдачи.

Вдруг шаг его стал неуверенным. Шестым чувством, которое у него обнаружилось, он ощутил знакомое тепло. Откуда оно? Поднять глаза! Этому не могла быть причиной замечательная девушка, выдавшая ему книги. Это не могли быть книги. Книги он любил, но не настолько, чтобы они улыбались, завидев его издали. Ему бы поднять глаза...

Поднять глаза оказалось непросто, так же, как идти ровным шагом. Но упрямый Могель все же шел, и глаза тоже поднял. Отягощенный гирями смущения, взгляд его дрожал.

Но тут и видеть было нечего: это была она.

Это была та самая абхазка. Она сидела на месте выдачи книг. Она сидела боком к столику и вязала, повернув работу к свету из окна. Могель залюбовался профилем, склоненным над работой — и насупился. Он нароч-

но зашумел. Она подняла голову. Узнав его, зарделась, заулыбалась, но еще непонятно было, как она заулыбалась, эта абхазка: как просто знакомому, или был тут и другой *делихор**. Абхазка отложила работу и встала, успев подхватить шаль, соскользнувшую с узких плеч.

«Вот бы мне жениться на ней», — подумал Могель, но пока сомневался, пришла ли пора, сумеет ли он это сделать.

Ты здесь работаешь, *гого***? Он сразу назвал ее на ты. Да, на полставки. Потом пауза. Могель волновался, но брал себя в руки. Конечно, ему не хватало развязности, но он успокаивал себя: не все сразу! Сначала они поговорят о самых обыденных вещах, далеких от того, что желанно юноше в беседе с девушкой. Вид у него будет уверенный, но скромный. Расспросит ее о деде, о тете, обо всех, с кем познакомился в деревне. Посмеются, вспомнив недоразумение, вышедшее с индейками... А может, об этом не надо?

«Ты видела затмение тем утром?» — «Тетушка ошиблась. Никакого затмения не должно было быть». Пауза. «А коров подоить успели?» — О, слезами залитые пороги! Она же сказала, что затмения не должно было быть! «Тетушка подоила коров рано утром. Но затмения не было». О, влажные пороги! Астрономический разговор тут должен идти или любовный? «А я тоже всю ночь просыпался и беспокоился, что жабы...»

Абхазка рассмеялась, и хитрый Могель заметил, что еще одно слово о жабах — и будет конфуз.

— Значит ты здесь работаешь... А я, вот, пришел...

Пауза.

— Я знаю, что вас интересует американский бультерьер.

Снова пауза. Могель упустил ситуацию из рук.

— Не столько меня, сколько *одного моего друга*, — сказал он неопределенно.

Она продолжала с ним говорить на вы, и потому его «ты» звучало несколько бесцеремонно. Но менять ситуацию было еще сложнее. Он решил и дальше говорить смело и развязно.

Кончилось тем, что он назначил ей свидание. Конечно, это не было еще свидание в полном смысле. Но когда он, мол: можно будет приходиться? — она: приходи, мол, поможем найти нужную литературу.

Нужная литература! О слезами залитый порог! Все шло как надо.

Потом он привыкнет, потом он пригласит ее, — с подружками сначала, а потом, глядишь, и без них — попить кофе, например, как тут в Сухуме заведено. Все шло как надо.

Будет приходиться. Заодно читает книги. Почему бы не поступить в университет, на заочное или даже на вечернее!

Мысль об университете одобряет и брат, и невестка, и Мазакваль. Он будет приходиться сюда!

Он зачистил в библиотеку. Вскоре он, делая глаза, гадал девушкам на кофейной гуще. Иногда он бывал чуть ли не единственным посетителем в зале.

Вот бы мне жениться на ней, думал Могель. Тем более, тут нечего сомневаться: я в нее уже влюблен. Он был влюблен еще с той самой бессонной ночи в абхазской деревне, но тут, в суете города, это было как бы забыто на время. А сейчас он думал: прописку мне сделали, работу ищут, в университет готовлюсь... А вот такая красавица, еще и абхазка!.. Я и так грузин, потому что мингрел; а если еще стану абхазским зятем, тогда, джима

* Дело (жарг.).

** Девушка (груз.).

урели*, не то что на «Москвиче», на шестерке почему не приеду в Великий Дуб?!

Все умеет она, все умеет; ты ее полюбишь, моя мать!

Слабость обидчицы была известна: ее необычайная, совершенно глупая нервность и вспыльчивость. Набросившись на жертву, она брала ее мертвой хваткой, — 18 атмосфер, как подтвердил бы Хозяин, изучивший материал. Он, Хозяин, молодец! Он сегодня же будет вознагражден. Он там, в библиотеке, кое-кого увидит, кого искала его душа!.. Словом, бросается падла на жертву и при этом от гнева и ненависти ослепляется настолько, что уже ничего не видит и не чувствует. На этой нервности и вспыльчивости она и погорит, прошмондовка! Теперь она, пани-курва, никуда не денется! Зауважает она собак, которые слабее ее, но, по крайней мере, на собак похожи! Узнает она, как кусаться походя. Пусть еще спасибо скажет, что рана несколько помогла Мазакуаль при знакомстве с Художником. Иначе она бы не просто попортила лапищу ей, а оторвала бы совсем, на кар!

План мести, который и сама-то Мазакуаль обдумала еще не до конца, в нашем изложении будет выглядеть еще более сомнительным. Она решила при ловле бультерьера использовать как наживку птицу, и именно петуха, потому что петухи необычайно храбры и не менее бультерьера заносчивы. Причем храбрость их растет прямо пропорционально успехам в курятнике. Она натравит петуха на бультерьера, как орла на зайца. Бультерьерша заведется с пол-оборота, вырвется из рук хозюка вместе с поводком и, набросившись на птицу, схватит ее всей своей восемнадцати-атмосферной хваткой, ослепнув от ярости и потому уже ничего не видя и не чувствуя. И тогда Мазакуаль спокойно успеет, пока не вмешается хозюк, загрызть ей лапу. Не оторвать совсем, а попортить, чтобы пани-курва потеряла товарный вид, чтобы хозюк не мог уже балдеть, ее выгуливая. Чтобы этот хозюк разлюбил свою сучку, чтобы прогнал ее, а то и усыпил. Нет, не надо, чтобы усыпил, пусть прошмондовка живет! Но пусть узнает и прелести бродячей жизни, как узнала прелести жизни на квартире у хозюка! А тут — не деревня, тут собак держат и кормят как раз из-за внешности, а! Чем такая месть не великолепна, а?

Глупого петуха в Мингрелии еще поискать надо было, а тут, в тех же пригородах Сухума, у тех же самых мингрелов, что ни петух — обязательно тебе самодоволен, а, главное, уверен в себе и бесстрашен, как иной студент библиотечного факультета, который один на сорок девчат.

Как говорится в народе: генералы из генералов генерала выбирали. Выбран был самый отважный и гордый петух. Она привела его и спрятала под дальним пустынным вагончиком. Совершенно пустых вагончиков на турбазе в разгар летнего сезона вообще не было; имеется в виду вагончик, обитатели которого уходили рано утром на пляж и возвращались поздно вечером, хмельные, чтобы тут же завалиться спать, так что не только птицу, но и буйвола бы не заметили, заберись он к ним под половицы. Теперь предстояло познакомиться петуха с собакой, чтобы он успел привыкнуть к отвратительному зрелищу бультерьера.

Мазакуаль не считала эту идею совершенной. Но обрабатывала ее с разных сторон.

А вечером, прежде чем проверить место под вагончиком Художника, Мазакуаль заглянула в самую мастерскую. Художник здорово поработал. Его скульптура преобразилась. Это отметил и директор, который как раз зашел,

* Мингрельское выражение.

чтобы в очередной раз взглянуть, как продвигается его заказ. На деньги, вырученные от реализации кур, доставляемых ему собакой, Художник приобрел в салоне худфонда инструменты, о которых давно мечтал. Неподатливое дерево покорилося тонким и удобным резцам. Теперь на лицах старцев вместо грубой хищности прочитывалась благородная задумчивость. Отвага на этих лицах, уступая морщинам лет, скромно устраивалась за мудростью. Намного воздушнее стала и фигура классика. Если вначале это была заурядная фигура интеллигента в костюме, то сейчас в одеянии классика мастер ушел от излишнего бытописания — контуры обрели зыбкие и плавные формы. Художнику удалось придать одеянию вид драпировки. И вот уже изгиб руки, как бы продолжая волну этой драпировки, смело завершался кистью руки с изящно выделанными пальцами. Стульчик же, на котором покоилась кисть на начальном этапе, был заменен вовсе. На его фактуре мастер замыслил вырезать фигуру собаки и уже сработал первые, пока грубые контуры, так что Мазакуаль предстояло еще ему позировать.

— Хорошо, — сказал директор турбазы хриплым голосом. И добавил: — *Абхазы и грузины — братья!*

Мазакуаль поняла, что он неформал.

Когда директор ушел, Художник обернулся к собаке, как бы спрашивая: «А тебе-то как?» Мазакуаль вздохнула одобрительно и удовлетворенно. Художник был польщен. Он сунул руку под соломенную шляпу, которую тоже намеренно приобрел, и почесал темя.

И вот уже собака спешила к петуху.

Собака заметила издалека директора в том же неизменном одеянии: в белом костюме, в белых штиблетах и белом подшлемнике; удивилась, что же вынудило этого человека покинуть свой просторный кабинет и идти в этот жалкий вагончик. Наверное, решил лично проверить, все ли там в порядке. Но, подойдя к двери, Джушкуниани замешкался, придиричиво осмотрел себя, потом почтительно постучался. А когда зашел, собака услышала его хриплый «Гаумар» и ответ хора «джос!» — обычное приветствие неформалов, которых она еще в Великом Дубе невзлюбила. Мазакуаль поняла, что пустынный вагончик, как нарочно, именно тогда, когда она спрятала под ним пленного петуха, превратили в нечто вроде явочной хаты. Надо было петуха забирать отсюда — Мазакуаль знала по опыту, что думы о родине наращивают аппетит и что неформалы очень скоро найдут петуха и пустят его на свой скорбный и скромный стол.

— Грузия поднимет меч, — услышала она, подходя поближе.

Надо было торопиться. Она решила сегодня же вечером перепрятать птицу под вагончик Художника — там оживленней и все же безопасней.

И что вы думаете, петух так и просидел под вагончиком, дожидаясь, когда его найдут неформалы? Нет, он не был столь прост. Еще засветло он успел обжить самую красивую, благовонную и раскидистую магнолию. Уютно устроившись на ветвях, при ярком свете неоновых ламп, этот петух, к удивлению Мазакуаль...

Одним словом, петух, которого Мазакуаль по своей деревенской простоте намеревалась загубить в качестве обычной наживки для вражьей псины, был не кто иной, как поэт Арсен, талантливее которого не было птицы в междуречье Гумисты и Келасура. Так всегда не понимает деревня свою будущую славу, принуждая талант к бегству в столицу — альтернативе гибели в глуши.

Поначалу петух Арсен страшно смущался. Он надеялся, что протекцию ему устроит его новый друг — собака Мазакуаль. Но собака, приведя гостя к себе на турбазу, оставила его одного, под вагончиком, что было с ее стороны невежливо, а сама все бегала в библиотеку. Арсен не мог не чувствовать, что от райских птиц все-таки следует держаться на почтительном

расстоянии, пока сами не позовут. Это и сделало его обладателем магнолии. Но он уже видел, что прекрасные птицы ему благоволят. Он не понимал, чему обязан их вниманию. Как ни самоуверен был Арсен, он не заблуждался по поводу распространения своих мужских чар на павлинок-аристократок. Но благоволят — и слава Богу!

Между тем, все объяснимо просто. Тут сработало чувство умиления, которое просыпается нередко в душах представителей высшего сословия при виде самородка из простолюдинов.

И Арсен ощутил себя как Сергей Есенин в салоне Зинаиды Гиппиус. Он понял, что звездный час его настал.

Его безыскусные эклоги, его страстные буколики, в которых он рассказывал о еще нетоптанных, но уже созревших курочках, были полны первозданной чувственности, на фоне которой слушателям их собственные утонченные переживания воспринимались, видать, как болезненные и изощренные.

Арсен видел, что произвел впечатление. Значит, ему помогут. Он, конечно, несколько презирал своих слушателей плебейским презрением, но с плембейской же сметливостью сознавал, что это его выступление с магнолии отдаст филярством, но зато оно откроет ему двери в мир широких возможностей, мир, где он сможет явить свой истинный дар.

А если бы он знал, что сегодняшний бенефис не только открывал путь к успеху, но попросту спас ему жизнь, он бы благословил птиц царицы и пел бы еще более вдохновенно...

Собака остановилась в изумлении. Завидев ее, Арсен приветливо кукарекнул с ветвей. Павлины во всей красе своего райского оперения расположились на газоне перед деревом и внимали петуху. Мазакуаль быстро оценила обстановку, и решение пришло ей в голову немедленно. Видя, как внимают петуху птицы, Мазакуаль решила, что петушиный гоготок воспринимается павлинами как знак распусть свои великолепные хвосты. Она не поняла, что попала на великосветскую тусовку.

Внимательный читатель должен помнить, что Мазакуаль задумывала подарить Хозяину павлина. Она не знала только, как заставить павлина распусть хвост, когда это надо. Теперь, как ей казалось, она это поняла. Так что идею использовать петуха как наживку она отвергла, по крайней мере отложила.

А разве дворняжка не права? Разве не на петушиный талантливый гоготок распускают павлины своих хвосты?! Разве не холила Зинаида Гиппиус свои ногти и боа, готовясь к встрече с Сергеем Есениным, от которого она требовала хромовых сапог и запаха сена после дождя!

О тени

Энгештер вообще не хотел Фото-Точки. Он сам всегда боялся сниматься. Еще в детстве Старушка говорила, что это русское изобретение — снималка. *Снималка высасывает из человека тень*, твердила она всегда, хотя ей в жизни пришлось сниматься только раз, в первый год, чуть ли не в первый месяц замужества, когда их отец покойный привез ее в Зугдиди. И вот, пожалуйста, ее сын в Сухуме сам снималку содержит. Что было делать, когда нэпсе именно такую работу нашла. Старушке он об этом не сказал; соврал, что имеет Пив-Точку, как нормальный *очар**. Однако именно Фото-Точка кормила его семью, и он содержал ее так же любовно, как если бы это была Пив-Точка.

* Владелец лавки (тур.).

Чтобы больше было клиентов, на Фото-Точке как приманку, помимо фанерных Чарли Чаплина, верблюда и пингвина, Энгештер использовал живого медвежонка Боро. «*Си, Боро!*»* — обращался он к медвежонку с нежностью. Он так его сам назвал, когда подарили. Многие точки имели обезьянок, но медвежонок был только у него. Детям это нравилось, дети же составляли основную клиентуру Фото-Точки. Им деваться больше было некуда; они гуляли тут с родителями: рядом были берег, сквер, качели, Вечный огонь. Что до посетителей ЦУМа, на которых точка была рассчитана, то в последнее время в ЦУМ приходило мало людей: покупать там было нечего. Отдыхающих, с которых всегда был навар в былые времена, после начала эртобы почти не стало. А детвора была надежный и постоянный клиент. Дети полюбили сниматься с Боро. Энгештер даже в газету попал. Медвежонка Энгештеру дали сваны два месяца назад. Они завалили медведицу, а двух ее медвежат забрали живьем. Одного отдали в сванский ресторан, другого подарили Энгештеру за хлеб-соль.

Энгештер сам так придумал здорово, что, когда подходили дети, он подавал Боро бутылку с соской, полную молока. Каждый день он на рынке вынужден был покупать трехлитровую банку молока. Только на молоко уходило шестьсот рублей, как *яке***. Но это себя оправдывало. Медвежонок трогательно вставал на задние лапки и пил через соску. Детям страшно желалось сфоткаться рядом с ним в этой позиции. Щелкнув кадр, Энгештер говорил медвежонку «Лопнешь, эй!» и, чмокнув его влажную мордочку и шлепнув по затылку, отнимал бутылку. Мазакваль, животное ведь, возмутила эта картина, и она невзлюбила брата Хозяина. Собака была убеждена: если книжница, к которой так неравнодушен Хозяин, узнает, что жестокий снимальщик — родной брат Хозяина, это может произвести на нее неблагоприятное впечатление. Подумаешь, великое дело снимать на снималке! Этим нас не удивить. Мы с настоящим Художником кусок хлеба делим.

А потом медвежонок взял да и окошел. Отравился молоком. Рассеянный Энгештер забывал переставить банку с молоком в тень. В смерти Боро он винил себя. Он так к нему привык! Где я теперь нового найду, *иц дида пход ма****, расстроился Энгештер. Не только расстроился, но и напился в сванском ресторане, и не ради удовольствия, а с горя.

Но недаром Энгештер любил повторять русскую поговорку: «*Имей сто рублей, но имей и сто друзей тоже*». Друг помог ему и тут. У того был знакомый некроман Гуревич, который еще заформалинил ему тещу, когда та умерла. Золотые руки имел этот Гуревич: со всем, что мертво, он делал просто чудеса. Все чучела в музее тоже исполнил он. В Москву миллион раз приглашали, но он сказал: не хочу, я и здесь свой кусок хлеба всегда имею.

Заказали ему чучело.

— А и не стыдно ли вам! — сказал было старый Гуревич, но друг Энгештера напомнил ему в сильных выражениях, что клиент всегда прав.

Вскоре на Фото-Точке уже другие дети снимались на фоне чучела Боро. Но теперь была *экология*, и этот факт не остался незамеченным. Начальник УБОНа получил замечание. И без того злой, этот начальник даже попытался увеличить долю, которую ему отстегивал Энгештер, так что Энгештеру через друга пришлось напоминать, где работает его жена.

Экология при эртобе приобретала вес и авторитет. Именно она и сблизила власти и неформалов. Несмотря на то, что неформалы требовали слишком многого — независимости, эртобы и т. д., власти вскоре поняли, что можно

* Ты, большеголовый! (минг.).

** Термин из игры в нарды.

*** Мингрельское крепкое выражение.

сотрудничать и с ними. И неформалы поняли, что во имя конечной цели можно использовать средства, которые находятся в руках у властей.

Одно дело заменить первого секретаря ЦК. Иное дело поколебать *мясокомбинат, УБОН, или нефтебазу.*

Пришла эртоба, и кресла закачались. Раньше, чтобы занять место мясного магната, надо было идти с деньгами наверх. Сейчас это стало возможно через неформалов. Вот проводят неформалы митинг. Первый вопрос, как и положено, — эртоба и сепаратизм. А вторым вопросом можно провести экологию. Мясной магнат имярек завез к нам мясо из Чернобыля, говорится на этом митинге. Имярек *начинает водиться*. Он пытается сначала по старинке, в кабинетах доказать, что мясо не из Чернобыля. Но доказать это невозможно; он представляет накладные, из коих явствует, что мясо на самом деле из Краснодара, но накладные ха-ха-ха! Его старания только сильнее убеждают публику, что мясо из Чернобыля. Свой народ хотел отравить ради денег! Не верят коммуняге, потому что он *начал водиться*. Имярека снимают.

Или надо заменить начальника УБОНа всей Грузии. Прекратить устаревшую практику бритья в парикмахерских, заявляется на митинге вторым вопросом. Не может нация подвергать себя риску заразиться СПИДом, а красноперому — лишь бы деньги!.. И начальник УБОНа *начинает водиться*. Существует сложившаяся культура нашего южного человека в парикмахерской. Это — целый ритуал, товарищи! Опасное лезвие свистит и сверкает, гуляя по-над ремнем, а тем временем обыватель отдыхает душой под запахи одеколонов. Радио лопочет в углу. Разнежившийся в кресле клиент ведет с парикмахером философский диспут. Беседы отмечены идеализмом и бескорыстием, как на платоновых пирах. Другого Платона, древнегреческого. Приводя все эти доводы, начальник УБОНа чуть не становится сам философом, но... место теряет.

Видя *эти движения*, начальник нефтебазы уже сам приходит к неформалам на шапочный поклон.

В народе растет авторитет неформалов. Люди начинают видеть их силу. Люди воочию убеждаются в силе эртобы. Мясокомбинат, УБОН и нефтебаза в их сознании всегда были оплотами стабильности; кто поколебал их основу — за ним реальная сила. Народ начинает верить в возможность победы.

Эртоба становится бизнесом. Будучи советским человеком, или антисоветским, что принципа не меняет, покорный обыватель превращается в покорного бунтовщика. Его неприязнь к соседу обретает идеологическое оформление.

Но не будем отвлекаться на политику. Энгештеру удалось и свою ставку в УБОНе отстоять, и свое чучело. И дело было не в том, что жена работала у Лагустановича. Позиции властей слабели, а Лагустановича вообще отправляли на полную творческую деятельность. Теперь Энгештер был сам с усам: он вместе с другом вступил в Национал-демократическую партию, а также восстановил членство в Обществе Ильи Праведного и Справедливого.

...Только в голодной Индии съедают павлинов, во всем остальном мире они окружены почетом и поклонением. Они царские птицы, они птицы сераля, их обожествляют, изображают на гербах и символах. Даже у алчного Джушкуняни племя их пользуется вниманием. Гордый сын изысканного племени...

Но чур с подробностями! Павлин Вишнупату был заодно с Мазакуаль. Рассекречивать, как собака управлялась с птицами, повторяю, не входит в задачу нашего повествования; повествуем мы о людях, а не о животных, птицах и приматах. Если животные, птицы или же приматы, как, например, гамадрил Спартак со счастливой юностью и печальной старостью, все же выступают в нашем повествовании, то только для того, чтобы еще выпуклей показать судьбы простых людей.

Когда Хозяин вывел книжницу на кофе, Мазакваль с другом своим Вишнупату находилась поблизости незаметно, но неотступно. Как хотелось собаке, чтобы Хозяин, выйдя с книжницей из книжняка, пошел бы не сразу по набережной, где они непременно поравнялись бы со снимальней его брата, а догадался пройти с ней другим путем, подальше от этой глупой снимальни. Печально знаменитая снимальня находилась в непосредственной близости от книжняка, и книжница знала о ней наверняка, но зачем ей показывать, что там promышляет не кто иной, как родной брат Хозяина. Придет время — узнает, но раньше срока — зачем?

Могель же пожадничал; он повел абхазку так, чтобы невзначай поравняться с Фото-Точкой брата. Он хотел показать братану, что не успел приехать, а вот уже с кем гуляет. Рассчитывал и на то, что брат незаметно сунет ему денег.

Не хватало тонкости у Хозяина! Он не понимал, что теряет, а что приобретает. Ведь понятно должно быть, что книжница человек культурный и все, что она там увидит, только отвертит ее.

— Абхазы и грузины — братья! — сказал Энгештер, обрадованный успехом брата.

Он решил непременно сфотографировать Могеля и книжницу.

Однако это стало непросто для всех.

Если хочешь, чтобы получилась хорошая фотография, нельзя снимать против солнца, иначе на заднем плане кадра выйдет какой-то разноцветный веер, напоминающий хвост павлина с турбазы Джушкуниани. Чтобы не оказаться напротив солнца, надо было оказаться рядом с чучелом. Могелю пришлось изловчиться и так встать с абхазкой, чтобы и чучело в кадр не попало, и брата чтобы этим старанием не обидеть. Что до Энгештера, он не только не желал снимать против солнца, *неожиданное фото* тоже он не признавал. «*Не знаешь, что выйдет!*» — говорил он. Он потребовал, чтобы снимающиеся замерли с заданным выражением на лицах. Абхазка тоже немного стала *водиться*. Пойти на прогулку по набережной с парнем — на это девушка еще решилась. Но сфотографироваться с ним — это, по ее убеждениям, уже означало дать ему надежду.

Мазакваль пришлось поволноваться. Это мы о ней забываем, она о нас не забывает никогда. Они с Вишнупату давно были тут как тут, разумеется, незаметные. Вишнупату обещал оказаться в кадре в самый последний момент. Раньше, живя в Великом Дубе, Мазакваль слыхом не слыхивала о *йоге*. Она была в восторге, несмотря на то, что воспринимала по-собачьи лишь внешние стороны этого учения, как, например, умение своего родовитого друга перемещаться в пространстве и во времени. Его Божественная Милость был очень демократичен и того же требовал от Мазакваль. Князь был характером очень скромнен, но обмануть его — никогда не обманешь. Вот сегодня, например, когда Мазакваль попыталась *за просто так* прихватить с собой на прогулку по городу Арсена, а нужен был ей петух из-за его гоготка, стимулировавшего павлина распушить хвост! — Вишнупату пригрозил в шутку коготком и сказал: «Оставь парня, пусть лучше он зря не теряет времени, пока находится на турбазе, а что-нибудь сочинит». Мазакваль же, будучи по природе кроткой и смиренной, стеснялась друга. Она не могла сказать ему открыто, что именно эффект от его пышного хвоста ей нужен сегодня. Получилось бы, будто Мазакваль не ценит всего, что ей открыл друг, что она по-прежнему привязана к внешним деталям. Видимый мир, данный человеку в его ощущениях — это *майя* — иллюзорный покров, который накинута на глубинную сущность бытия.

Правда, Вишнупату сам азартно включился в дело. Для него все их похождения были не делом, а увлекательной игрой. Как он прост в быту,

восхищалась Мазакуаль, и как заносчивы те, кто не достоин, быть может, *камандалу** ему подносить. Павлин видел, заранее прощая, что собака была застенчива и хитровата: она комплексовала вместо того, чтобы сказать определенно, что ей нужно.

Предложить Вишнупату попасть незаметно в кадр — на это Мазакуаль еще решилась. Но считала неприличной фамильярностью предложить почтенному йогу еще и хвост распускать. Вишнупату и без того целый день пробродил по городу с ней, простой дворнягой. Или князь должен был догадаться сам, или нужен был фальцет.

Но и тут все сложилось как надо. В самый последний момент, щелкая кадр, сам Энгештер воскликнул фальцетом:

— *Птичка вылетает, слушай!*

Павлин был на месте и немедленно распустил хвост. Кадр наконец щелкнул: Могель и книжница, видать, замерли, как этого требовал Энгештер.

Теперь фото должно было получиться таким, как предполагала Мазакуаль.

О дне согласия

О, влажная страна! О, слезами залитые пороги!

Никогда не был так счастлив Могель, как в этот день на кратком жизненном пути!

В тот же день, когда он уговорил книжницу со странным, но таким ласковым именем Наала выйти с ним *на кофе*, исполнилась его мечта. Они так и не выпили кофе, но с ними произошло много чудесных приключений, и все завершилось тем, что Наала произнесла желанное:

— *Пусть спросит у моего отца.*

Многое в этой главе покажется невозможным и фантастическим. Но еще витязь Хатт из рода Хаттов говорил, что нет ничего невозможного в бесконечном нашем мире. *Все есть*, говорил витязь Хатт. Мне самому трудно объяснить, каким образом патриархальная и застенчивая девушка, хоть и студентка-отличница, могла в первое же свидание дать согласие юноше на его предложение руки и сердца, когда, ко всему прочему, они имели несчастье принадлежать двум народам, которые уже, собираясь на площадях, открыто угрожали друг другу. Многие вы поймете, прочитав эту главу, многому я сам не в состоянии дать объяснения, а что-то, не скрою от вас, милые читательницы, является предметом моего изначального умолчания. Но прошу вас поверить мне на слово, прошу вас последовать вместе со мной за нашими героями, и давайте будем счастливы, как и они: чайки сидят в ряд на перилах причала для катеров, море спокойное и густое, а там, где его синева сливается с синевой неба, идет, словно парит, белый корабль.

Чудеса начались с первых же шагов прогулки, когда Могелю, смущенному и не знающему, о чем говорить, как развлекать спутницу, пришла в голову непривычная мысль: преподнести бы ей цветок. Но где его взять, не срывать же на клумбе! И вот, как только они присели на лавочку, Могель вдруг рядом с собой, с противоположной от Наалы стороны, нащупал золотистую азалию. И преподнес.

Наала решила, что он припас этот цветок, пряча от нее до сих пор, зарделась и пригрозила ему пальчиком.

Честный Могель хотел было признаться, что никакого цветка он не припасал, но ведь это было бы глупо — рассказывать ей, что он сам не знает,

* Сосуд для омовения у индийских отшельников.

как цветок оказался рядом, или делиться своей догадкой, что это дворняжка следует за ними, незаметная, а вместе с ней, возможно...

А тут она вспомнила, как в тот памятный вечер, когда он случайным прохожим гостил у них в доме дедушки, Могель прочитал стихотворение.

— Вы любите поэзию?

О, влажные пороги. Опять бы Могелю признаться, что он прочитал единственное стихотворение «Лоза братства», которое знал наизусть, — что в этом предосудительного? Вместо этого он стал читать. Бывало ли с вами такое, друзья, чтобы одна половина ваша вдохновенно читала стихи, незнакомые другой, и другая удивленно ее слушала? А с Могелем именно такое и произошло.

*Если в дверь постучит коробейник
И одарит за так бараклом,
И цветком оглушит репейник,
И срастется любовный разлом,*

*Если люк обернется пещерой,
Где стрекозы трепещут слюдой,
И развеется плащ темно-серый,
Точно знамя страны молодой,*

*И другие чудесные если
Станут яслями, верой, ковшом,
Это значит, надежды воскресли
И, как дети, пришли нагишом.**

А когда они встали и прошлись еще немного по берегу, кого же видит Могель восседающим на уединенной лавочке в тени олеандров? Павлина, приятеля Мазакуаль. Ясно, что и плутовка где-то рядом. Следит, стало быть, — переживает. Могель просто подмигнул птице в знак того, что узнал ее, и хотел пройти мимо. Что же делать, поди объясни девушке...

— Вы знаете этого *старика-кришнаита*? Он здоровается с вами.

О, влажная страна! Как теперь себя вести? И почему павлин — и вдруг старик.

— Молодые люди, не найдется ли у вас немного времени, чтобы побеседовать со мной? — говорит павлин.

— Конечно! — восклицает Наала, словно это дело обычное.

И вот они сидят на лавочке, одесную и ошую от него.

— Вы — кришнаит? — спрашивает Наала.

— Я Брахмавиданта Вишнупату Шри, — отвечает странное существо. — Я прибыл из Тибета и проживаю инкогнито на турбазе Джушкуниани. О моем присутствии здесь, помимо племянника Рабиндаранта, знают лишь три моих новых друга — Мазакуаль, Арсен и ваш благородный спутник.

— Вы мне не рассказывали, Могель, — произнесла девушка с упреком.

— ?

— Ваш друг это подтвердит, — проговорила птица, — я прибыл сюда, потому что этот благословленный край — один из мощных энергетических полюсов. Но сегодня брамины встревожены, что край этот волнуется.

— И вы можете нам помочь?

— Все, что происходит на земле — это всего лишь тень того, что в горнем мире уже произошло, — загадочно произнес павлин.

* Стихотворение Татьяны Бек.

Пауза. Мимо шла женщина, держа за руку ребенка.

— Мама, мама! — воскликнул малыш. — Погляди, у девушки на плече сидит павлинчик!

Он хотел сказать это матери по секрету, но колокольчик его голоса был слишком звонок.

Мать обернулась, посмотрела на Наалу с удивлением, но, считая невежливым уставиться на незнакомых, оторвала взгляд и пошла прочь.

— Простите, — в свою очередь удивилась Наала. — Неужели вас кто-то видит как павлина?

— Я тут инкогнито, — вздохнула птица.

«Я тоже, я тоже вижу только пав...» — заклокотало внутри Могеля, и он поднял глаза на... От неожиданности его даже передернуло. Вместо птицы рядом с ним на лавке сидел старик с белоснежной бородой, закутанный в белоснежное покрывало и с белоснежным родом башлыка на голове. Он вспомнил: Старушка говорила, что именно так выглядят Ангелы. Было ясно, что это — чудо, которое бывает в жизни раз. Хотелось его спросить о самом главном. А что есть самое главное?

— Самое главное: не упускать из поля зрения Золотую Пяту Отца, — произнес старик.

— Так всегда говорит мой дед! А он — неграмотный.

— Твой дед *Батал* — просветленный человек. Чтобы постичь сущее, нужны не образование, а любовь. Он последний из тех, кто знает. А вообще у вас тут забыли знание. Нынешние ваши старики суетны и щеголеваты.

— Что нам следует делать? — спросила Наала взволнованно.

— Ты, дитя мое, и ты, — сказал старик, взяв их руки и вдруг соединив их, — любите друг друга. И ничего не ставьте выше любви. И тогда вас не разлучат. Вас ждут большие испытания, потому что благословенный край, где вы живете, стал волноваться. И если вы не забудете, что ничто не главнее любви, вас не смогут разлучить, и вы не погибнете.

— Пусть спросит у моего отца, — успела-таки сказать патриархальная девушка.

— Спрашивайте у Отца, чью Золотую Стопу вы видите, — сказал старец и...

...когда промелькнули в белесой синеве яркие оперенья и когда прошестели крылья в вечерней тишине, она поняла, что голова ее покоится на плече юноши.

...Мазакваль была счастлива не менее Хозяина. Особенно она была благодарна друзьям. Она только цветок подсунула Хозяину, остальное сделали они. О миссии Его Божественной Милости и говорить не приходится, но и Арсен нашептал на ухо Хозяину один из лучших своих стихов.

О пленниках мирской суеты

Финское зеркало в резном багете отразило Матуту. Он встал, чтобы узнать, что за шум на улице, и, проходя мимо зеркала, отразился в нем, высокий и неприятный. Это финское зеркало в резном красивом багете льстило Матуте. Он приобрел его сам для *Оффиса*. Все есть у меня, считал Матута, — и авторитет, и деньги, а в последнее время и семейное тепло. Здоровье тоже, несмотря ни на что, пока — тыфу! тыфу! — не подводило. Он только досадовал втайне, что в свое время не вышел ростом. И еще ему казалось втайне же, что в его зловещем обаянии было больше обаяния, чем зловещести.

— *Клянусь моей Даро*, я очень добр! — злился иногда Матута про себя.

А финское зеркало с резным багетом ему льстило: он отражался в нем высокорослым и неприятным.

Оффисом в городе называлось целиком все это предприятие, которое особенно приблизил к сердцу Матута. И хотя это было транспортное предприятие, где и парторг был, и начальник, только в бумагах оно значило как такое-то предприятие, а в городе прочно за ним укрепилось звучное название *Оффис*, которое властно вторглось в нашу жизнь и нашу речь намного позже. Матута в последнее время часто бывал тут и даже оборудовал в собственном вкусе просторную комнату, давшую название *Оффис* всему предприятию. Ему хотелось время, которое оставалось у него до того дня, когда он удалится от всех дел, чтобы последние три года жизни посвятить душе, провести в свое удовольствие. А оставалось чуть больше месяца. Вчера Даро сказала ему со слезами на глазах, что во второй половине августа он может начать отсчет последних трех лет жизни.

Матута, когда приводил Дарико в дом, больше всего беспокоился, что ее не примет мать. Дом был единственным местом, где мать могла гордиться генеалогией. У нее и у сына что по материнской линии, что по отцовской были только княжеские крови. И хотя она переживала, что сын бобылем и без наследника, но всегда говорила ему:

— Ты должен жениться на княжне!

— Хорошо, мама, — с легкостью обещал ей сын, потому что профессия взбрыняла брак, и он не собирался жениться.

И на тебе — привел в дом женщину, да еще цыганку.

И вдруг матушка поладила с баронессой-чавелой!

— Жаль, что слишком стара, — шутила мать. — Не то неплохо зарабатывала бы на гадании.

Потому что сноха научила ее раскидывать карты. Карты ее развлекали. Но и пугали.

— Доченька! Дарушка! — позовет она бывало.

Сноха прибежит.

— Это *смерть*?

— Нет, *исполнение желаний*, мама. Это хорошая карта.

Однажды свекровь спросила сноху:

— Ты мне скажи, Дарушка, смогу ли я умереть, не увидев вашего несчастья?

— Карты этого не показывают, — солгала она свекрови.

Не сказала она несчастной старухе, что много плохого припасено ей и на старость лет.

Матуте было немного жаль и маму, и чавелу. Они или все сидели дома, или ходили в церковь. А в церкви священник корил их за пристрастие к гаданью. Они уверяли Матуту, что им вдвоем вовсе не скучно, тем более, что у них есть кошка. Матута купил им «Самсунг» с широким экраном, видак, музыкальный центр и даже компьютер «Пентиум», хотя ни они, ни он им пользоваться не могли. Мама решила, что компьютер в доме излишество.

— Подари его гуманитарному институту, там он нужнее! — велела ему мать.

Матута тут же сообщил в институт, чтобы приходили и забирали компьютер.

— Как записать, от кого подарок, — спросил смущенно завхоз института, раскладывая бумаги на письменном столе Матуты из мореного тиса.

— От заслуженной учительницы Абхазии Анчабадзе Веры Александровны, — сказал Матута не сердясь.

Машину унесли. Но вскоре Матуте намекнули, она недоукомплектована. Он купил от имени матери еще и лазерный принтер. А еще у института денег

не было на охрану: компьютер все время воровали. Матута дважды всех поднял на ноги и сделал возврат, а в третий раз не успел...

— А какой это день недели? — спросил хладнокровно Матута, когда чавела открыла ему день, от которого ему можно было отсчитывать свой срок земной.

Какой это день недели? Сию минуту! Дарико стала раскладывать карты. Матута захохотал и просто справился в календаре.

— 16 августа 1989 года — это будет среда. А в первую же субботу, то есть 19 августа, на третий день, мы обвенчаемся в Лыхненской церкви.

Дарико, которая никогда, ни разу перед этим даже не намекнула Матуте, что ей хотелось бы видеть узаконенными их отношения, сейчас так бурно проявила радость, словно было забыто, что по всем предсказаниям на третий год после названного дня ей суждено стать вдовой *на один день* и ни о каком венчании турихе не говорили знаки судеб. Она была счастлива просто от благородного порыва ее гаджио. Она бросилась ему на шею и закружила жигана, паря сама при этом в воздухе.

— Мама пойдет, Даро-дур! — прошептал ей жарко на ухо Матута и поставил чавелу на ноги. И несмотря на то, что он был крепок в руках и в ногах, а чавела — легка, словно перышко, Матута слегка запыхался.

— Мама на рынке! — воскликнула Дарико, подталкивая его к клавиесину. Она сегодня прощалась со своим гаджио.

Когда-то Матута ушел на срок за клавиесин, который стоял у полковника Коявы, который на нем не играл, а сам Матута не только играл, но и мечтал стать композитором. А вместо этого, дел де марел три года, пробыл 19 лет там, где пасут медведей. Теперь-то клавиесин у него был.

Чавела усадила его за клавиесин. Ей хотелось сплясать под песню своего отца. Эту песню Бомборов Кукуна сам пел под гитару в торжественные дни, и весь табор плясал под его гитару и хриплый баритон, а потом раздавались подарки и прощались долги.

«Я — цыган с тоскою в сердце и с серьгой в ухе.

Перестали песни петься что ли с бормотухи.

*«Хоть за то, что славим Бога в стольких поколениях —
примостись, моя Тревога, на моих коленях.*

*«Ай, как выйду при народе, я, Мануш-Саструно, —
пальцы верные забродят да по жестким струнам.*

*«Хоть за то, что мы страдали, мялись у порога, —
примостись в кибитке старой, ты, моя Тревога!*

*«Я — цыган. Люблю раздолье. Никогда не плачу.
Расскажу я вам о Доле, а Тревогу спрячу.*

*«Хоть я вроде тоже что-то для чего-то что-ли:
не бывает доли доброй; есть лишь злая Доля.*

*«Ай, отдам за злую Долю всех своих красавиц,
коли с этой красотой в таборе остались.*

*«Хоть за то, что Доля злая далеко-далёко,
ай, живи, огнем пылая, ты, моя Тревога!*

*«Я — цыган с тоскою в песне, старый, одинокий.
И единственный мой вестник — ты, моя Тревога!*

— Ай-й-й! — сказал Матута и оторвал свои пальцы от клавиш.

— Ай-й-й! — сказала Дарико и замерла вполборота, замерла с трепещущим платком в руке.

— Хорошо, что я не ушла на рынок, — сказала Вера Александровна.

Она стояла в дверях. Дарико подбежала к свекрови, обняла и стала целовать ей руки.

— Погонишь с вами! — смутился Матута и ретировался в другую комнату.

И, конечно, женщины заплакали. Они ведь не сомневались в предсказаниях.

Так был отмерен Матуте жизненный срок. И, конечно, Дарико не суждено было умереть венчанной вдовой. Карты не солгали и на сей раз. Но все это в будущем. А сейчас.

В ожидании, когда подъедет кто-нибудь из близких, с кем можно будет поехать обедать в эшерскую пацху, Матута сидел в офисе Оффиса, дистанционной переключая телек с огромным экраном.

Брали интервью у большого министра, нашего земляка. Приятно же, когда там свой гуляет по буфету!

— Что скажешь, Седой? — проговорил Матута и прибавил звуку.

— *Я истосковался по лозе!* — четко произнес министр-земляк.

Сделав это честное и горькое признание, министр грустно-грустно заглянул интервьюеру в самые глаза. Может быть, для покаянного признания он выбрал именно этого молодого журналиста потому, что тот был из передачи, популярнейшей в силу своей неформальности? Кто знает. Но странно, что журналист *не понял*, о чем ему сообщали. Иначе он не преминул бы *ухватиться и развить*.

Министр запахнул халат. Ибо разговор происходил в салоне его персонального самолета, куда во время перелета в одну из африканских стран он взял с собой юного журналиста. Вот как гуляли наши люди под занавес СССР!

Кто из политиков, тем более задействованных в прежней системе, не заслуживает лозы, но не все способны в этом признаваться, и еще признаваться публично! Но министр всегда был непредсказуем. Конечно же, он, опытный дипломат, и сейчас произнес эту фразу с двояким смыслом. Журналист же был молод, неопытен и счастлив: он понял в услышанных словах именно внешний их смысл-маску: государственный муж устал, и всему предпочтительнее для него вернуться в родные пенаты, чтобы мирно ухаживать за виноградной лозой.

Замечательно, что смелое покаяние выходило из уст самого популярного министра, когда те дела державы, которые были вверены ему, шли особенно хорошо. И министр, заметив, что молодой человек не обратил на его крик души внимания, решил слова эти и вовсе стереть с его памяти. Следующая фраза его как бы отождествляла сказанное им намеренно именно с виноградниками.

— *Пусть лоза еще подождет,* — сказал он, сопровождая свои слова характерным жестом, словно ласково отстраняясь от справедливых, но преждевременных розог.

И вдруг, незаметно для интервьюера Седой остановил на Матуте свой печальный взгляд. Это был взгляд начальника. «Атас, органы!» — мгновенно отреагировал Матута. Все восемь фрейдистских состояний зажглись в нем, как восемь лучей Звезды Жигана. Он уже вел себя так, будто был там, где небо в клетку. Матута выдержал взгляд, но уже знал, что начальник не простит ему этого.

Так поймал свой последний срок Матута Хатт, который никогда ни перед кем не опускал глаза.

*Села она,
о, Матута,
погадать про тебя на зеркале.
Села она,
о, отважный Матута,*

как это делала часто, —
но свеча
замерцала,
загасла,
забылась.

Только вызнать хотела:
ой, не дальни ли,
ой, не опасны ли
ждут тебя дороги, Матута;
не обманет ли удача;
не припозднится ли прибыль;
не нахмурится ль лоб твой, Матута;
не разлюбишь ли свою чавелу, —
а то не томиться ль тебе же
в казенном доме,
а не тосковать ли ей же
по тебе у оконца, —
но свеча вдруг
замерцала,
загасла,
забылась.

Но вскоре свеча
замерцала,
загасла,
забылась:
и не шуриание юбок,
и не звон монист,
и не дальняя дорога, Матута,
и, ой да не казенный дом,
и не тоска у оконца, —
в глуби зеркала
отразилось: народ!

Но вскоре свеча
замерцала,
загасла,
забылась,
исчезло прекрасное ее лицо,
и в глуби зеркала, Матута,
и в темно-синем свечении зеркала —
отразилось: беда!

Чтобы узнать, что за шум там на улице, Матута встал, отразился в зеркале, прошел к выходу и встал в дверях. Шурясь от яркого солнца, он прислушался к немолчному журчанию в колонке бензина, который в городе был только у него. Он стоял, высокорослый и неприятный, настроение у него было отменное. Бензин только у него, сейчас кто-нибудь появится, и Матута пригласит его в эшерский ресторан, чтобы самому туда не ехать. Так, что там за шум, братва?

Кто-то пререкался у входа со вневедомственной охраной. Это был неправильный поступок. Вход на территорию Оффиса был перегорожен всего лишь шпагатом, но перед кем охранники его опускали, а перед кем нет, — это решалось не ими, это решалось в городе вообще, потому что зависело,

есть ли авторитет у человека за рулем. Так что, когда некий нахал, не слушаясь охранников этих, все же въехал дерзко на территорию, охранники только замахали ему вдогонку руками, а остальное их не касалось. Если человек против их воли въехал на территорию, стало быть он бросил вызов действующему тут неписанному табелю о рангах, и наказывать его должны уже хозяева Оффиса.

— Кто этот котлоед? — громко спросил Матута, но никого не оказалось рядом.

А машина — неслыханная наглость! — на скорости, поднимая пыль, проехала по территории, резко затормозила, еще больше поднимая пыль, и остановилась перед Матутой! Да, ребята вышли из цехов, да, поспешили сюда, но котлоед уже стоял тут, а пыль, которую он поднял, лезла в растворенные окна. Говорить тут было нечего, потому что и без разговоров было ясно: котлоед. Матута вбежал в комнату отдыха, и, когда он возвращался оттуда, финское зеркало с резным багетом отразило холодный никель Стечкина. Котлоед был обречен.

Сам он, еще об этом не зная, решительно выскочил из машины, но тут что-то случилось с его решительностью, когда он встретил лицом флюиды Матуты. Вернее, он потерял решительность не сразу: «*есть здесь справедливость...*» — он сказал решительно, а «*...в конце концов*» добавил, уже постепенно сникая, и последние звуки прошептал так нерешительно, что снова стало слышно, как сладостно журчит и переливается в колонке бензин.

— *Держи, она твоя!* — сказал Матута и выстрелил. Пока ребята подоспели и остановили его, Матута думал, что залетел на двести штук тогдашним курсом, тем более, что Агура из монтажного, видя, что Матута начал стрелять, долго не думая, выстрелил тоже, и тоже зацепил котлоеда, так что надо было выкупать заодно и надежного парня: у него портился кандидатский стаж в партию.

Но все обернулось сложной стороной. Котлоедом оказался известный актер и неформал Александрэ Бобонадзе. Он поймал две пули, одну от Матуты, одну от Агуры, и обе в ягодицу. Замять дело оказалось непросто в условиях гласности. Всё МВД и вся прокуратура сочувствовали Матуте, так сильно успел Александрэ Бобонадзе насолить силовым структурам своими принципами справедливости и горькими упреками в отсутствии единства. Но дело получило огласку. Оно стало принимать политический оттенок. На второй же день телевидение показало обезображенную сепаратистами задницу актера.

— Ты думаешь, мы сами не хотим денег! — сказали органы и смущенно арестовали Матуту.

Там, где видно небо в клетку, суждено было ему заняться душой. Его судили, дали пять лет за *хранение оружия* и отправили в Гегутский лагерь. А вскоре на Грузию дверь закрылась, так что Матуту близкие больше не увидели.

О медовом месяце

— Тогда чего же ты тянешь? Как раз сегодня — суббота! — воскликнул Джушкуняни. — Она согласна?

Могель хотел признаться в своих сомнениях, но что-то в нем властное заговорило и сказало:

— Да!

Джушкуняни немедленно позвонил секретарше.

— Всех наших, которые в баре — сюда! — распорядился он.

Неформалы явились, не понимая, чем вызвано внеочередное заседание.

— Браки между абхазами и грузинами по-прежнему показывают доволь-

но высокий процент, несмотря на разгул сепаратизма. Это ли не верное свидетельство того, что народ апсуа не разделяет идеи так называемых вождей? — сказал Джушкуняни.

Затем он немедленно позвонил в Пицунду, в дом творчества газеты «Правда» и заказал люкс на двоих. Выделил машины, дал Могелю тридцать тысяч рублей. Могель протестовал было, но Джушкуняни по-отечески сказал:

— Вернешь, когда разбогатеешь. То, что отдается на дело — возвращается с прибылью.

Затем он отдал своему заму распоряжение, где надо взять для молодых хорошее *терджольское* шампанское и деликатесы. А это был Годердзий, приятель Энгештера.

— В путь!

Сказано — сделано. Молодые люди расселись по машинам и так быстро рванули в сторону книжняка, что Мазакуаль, все слышавшая, радостная, и мечтать не могла поспеть за ними. Вишнупату, летя наперерез через залив, едва удалось их опередить.

Неформалы предложили подняться всем вместе, на случай, если девушка начнет упорствовать. Но потом было решено, что Могель пойдет один и поговорит наедине.

С сомнениями и волнением открыл Могель дверь, а в просторную залу входил уже с павлином на плече, видимым ему, да еще ей.

Несмотря на то, что было начало марта, самого переменчивого и злого месяца в субтропиках, все две недели простояли изумительные солнечные дни. Номер молодых был расположен на восьмом этаже. С одной стороны было видно море. С другой пицундская реликтовая роща. С третьей — озеро Инкит. Когда было безветрено, но море волновалось, волновалось и озеро, подтверждая слова экскурсовода, что озеро связано с морем подводным каналом. Одним словом, рай. Холодильник был полон. Пришли поздравить все неформалы зоны города Гагра. О политике — ни слова.

По утрам перед завтраком молодые гуляли по выложенной широким кафелем дорожке между самшитовым пролеском и пляжем. У дорожки, над песком пляжа были заросли тростника, совершенно похожего на бамбук, только ломкого. И так получалось, что именно ближе к девяти, когда отдыхающие выходили прогуляться перед завтраком, из тростниковых зарослей выходили сизые улитки и пытались пересечь дорожку по направлению к самшитовым зарослям. И на каждом шагу, раздавленные неосторожными подошвами ног, растекались их жидкие тельца.

Наала шла, осторожно ступая, чтобы не раздавить улиток, а Могель постоянно отвлекался, и только легкий скрип под ногами и легкое скольжение напоминали, что он опять забыл посмотреть под ноги. Сколько смеху было!

Могель купил Наале белые джинсы.

Две недели прошли незаметно. Однажды, когда, к счастью, Наала куда-то выходила из номера, позвонила Джозефина и сообщила новости.

Родные Наалы, узнав, что она вышла замуж, в сердцах поклялись, что проклянут ее и вычеркнут из памяти. Но проклинать не стали — это обнадеживало.

Так часто бывает, что долго не видят послушницу, но потом появятся дети, лекарь-время тоже сделает свое дело, не надо торопиться, говорила невестка с родственной грубостью. Более опасно другое обстоятельство: есть там один парень, который давно имел на Наалу виды. Он когда-то предпринимал неудачную попытку ее похищения, но Наала проявила тогда характер и не осталась с ним. После этого он был зол и отстранился от нее, но сейчас,

когда Наала вышла замуж, парень этот снова загорелся и, по имеющимся у нее сведениям, поклялся, что найдет ее и уведет от мужа. Джозефина предполагала, что он уже знает, что молодые где-то в зоне города Гагра, и для безопасности им следуют поменять место пребывания. Она же в свою очередь почти вырвала у Григория Лагустановича обещание арестовать этого парня, потому что за ним замечено, что он причастен к транспортным преступлениям. Сейчас дело за железнодорожной милицией, которой поручено поймать этого парня с сообщниками на факте. Одним словом, Джозефина звала молодых пожить у них на квартире. А там будет видно.

Не впадая в панику, Могель, однако, послушался невестки и на второй день уехал из Пицунды в Сухум. Тут он изловчился втайне от Джозефины предупредить Кесоу, не от себя, конечно, чтобы тот поберегся транспортных органов, которые заводят на него дело. Могель предполагал не задерживаться в Сухуме, а повезти жену в Мингрелию. Это ничего, что он приедет в Великий Дуб раньше, чем обзаведется «Москвичом».

Но в Сухуме инкогнито соблюдать стало трудно из-за широты души и тяги к дружеским застольям, свойственным натуре Энгештера.

Энгештер был рад, что брат женился, и невестка ему нравилась. Вот он и хотел сказать ей, что переживает за случившееся в Бзыби.

А случилось то, что автобус, который возвращался с митинга, проведенного неформалами на границе с Россией, забросали камнями. Никто, к счастью, не пострадал, но газеты неформалов назвали инцидент бзыбской трагедией. Слово трагедия в тот период с легкостью пускалось в ход, словно таким образом люди пытались задобрить судьбу, чтобы она уберегла их от настоящих трагедий.

Энгештер и хотел-то сказать, что абхазы с грузинами братья, и что рука, бросившая камень в грузина, пусть и принадлежала абхазу, но направлялась Кремлем. Но нэпсе не давала ему договорить: прерывала на первых же фразах и шутливо, с родственной грубостью тащила из комнаты молодых.

— Сколько раз я предупреждал! — сказал он.

Наала заплакала.

— Зачем слезы, дочь моя! — растерялся Энгештер. — Я просто хочу сказать, что предупреждал... — пытался он объясниться, но появилась Джозефина.

— Та-ак, оставить молодых в покое! — и вытащила его за шиворот.

Но не мог же Энгештер сидеть и спокойно смотреть телевизор, когда невестка его неправильно поняла!

И он — снова к молодым, в порыве братских чувств забывая, что невестка его слова воспринимает слишком эмоционально.

— Можно? — произносит он шутя. Конечно, можно, разве не пустит Наала старшего брата мужа!

— Налъете мне стопку, или нет? — удобно усевшись в кресле, шутит он. Потому что, если невестка не нальет, кто же нальет!

Испуганная Наала опять все понимает по-своему. Ей кажется, что деверь пришел с упреками. Какие могут быть упреки, когда он так рад за брата, когда невестка так пришла к нему по душе! Разве не видно, что он с самого начала запросто: придет, сядет в кресло, шутя, словно сами не предложат, попросит стопочку и, наконец, хочет объяснить, — а кто поймет его лучше, чем брат с невесткой! — объяснить, что предупреждал он: доведет Кремль братьев до вражды.

Опустив голову, Наала сдерживала слезы.

— Почему ты расстраиваешься, Наала, дочка! Я просто...

Подоспевала Джозефина.

— Паразит! Ты опять за свое! — говорила она и выгаскивала смущенного и недоговорившего Энгештера прочь.

— Почему ты не даешь молодым покоя? Или если тебя, дурня, послали, мне на позор, в Народный фронт задавать провокационный вопрос — ты и вообразил себя деятелем! Где и кого это ты предупреждал? Скажи сначала мне.

— Годердзия предупреждал сколько раз, — воскликнул Энгештер смущенно.

Вот что он имел в виду: что часто, сидя за бутылкой вина с другом-свагом Годердзией, предупреждал его, что доведет Кремль братьев до вражды! Ну, не перейди после этого на гекзаметр!

*Дева и ты, что сегодня вкусить наслаждение земное
с милой избранницей жаждешь — внемлите!*

*Сей муж безобразный,
скифу подобно, из чаши вино неразбавленным выпив,
суетны речи заводит, внимать не желая, упрямец,
увещеваньям супруги. Даруй ей терпенье, Паллада!*

Энгештер не преминул дать зазнавшейся пиндоске достойный ответ в ритме шаири:

*Вот в духане интуриста я сажу рублей на триста,
А душа, как говорится, все о древностях скорбит.
Между тем жена без денег. Я в глазах ее — бездельник.
Дом: подвал, четыре стены. Сына улица растит.
Мне семья моя — ограда. Но когда прощаю брата,
На семьдесятом разе не могу уже простить!
Белый голубь в небе черном. О, не верит он ни в чем мне.
Не садится на плечо мне. Я не знаю, как мне жить.*

Джозефина была ласкова с невесткой.

— Будешь уставать от шумных гостей... Это *мой дурень* под предлогом, что брат женился, тащит всех своих приятелей. Сразу запретить не могу: обычай. Придется и тебе потерпеть пару неделек.

Заметив с самого начала, что невестка печальна и задумчива, она вынесла изящную, несколько старомодную туфельку.

— Это моя туфелька. Фирма «Цебо». Пропала в мой медовый месяц, в шестьдесят шестом.

Обувка пахла, как старый черпак из винного погреба. Наала не поняла.

— Возьми и спрячь! — сказала она, предлагая Наале обувку.

Наала не поняла.

— Когда гости пожелают выпить за невестку из ее туфельки, не надо тебе свою обувку переводить. Предложи вот эту, — объяснила Джозефина золовке.

Наала не согласилась. Но когда во время ежевечерних застолий подходило время поднять за невестку как за хорошую хозяйку, то есть мастерицу накрыть стол и гости неизменно требовали туфельку, чтобы выпить из нее, Джозефина с несвойственной ей расторопностью бежала за исторической туфлей.

Шеф Джозефины, с которым у нее были не только служебные, но и человеческие отношения, имел дачу как раз в Хаттрипше, откуда Наала была родом. Джозефине было известно, что предпринимают родные Наалы, после ее замужества. Она потрудились донести до них, что муж Наалы как только они поженились, увез ее в деревню Великий Дуб и молодые задержатся там надолго.

Но не прошло и недели, как Наала не выдержала и собралась в библио-

теку повидать подружек и узнать от них новости. К тому же они так просили помочь в составлении письма. Наконец появилась возможность рассказать непосредственно Кремлю о всех злоключениях Абхазии. А Могель...

О служителях Мамоны

Вишнупату с удовольствием выполнял просьбу своего четвероногого друга. В его задачу входило проследить, не пойдет ли деревенский парень в библиотеку, которую четвероногая смешно именовала книжняком. Она полагала, что этот парень мог быть серьезным соперником ее нелепому Хозяину в борьбе за сердце юной библиотекариши.

Но Кесоу — а именно за его перемещениями надлежало павлину пронаблюдать — пошел не в библиотеку, а прямохонько направился к кофейне, где собирались люди его стаи.

Дело в том, что Кесоу тоже решил заняться бизнесом. Какого кара он будет мучить себя по вагонам, когда легко можно поймать неплохие деньги на посредничестве. Уже начиналась Великая Распродажа. Пошла охота за цветными металлами. Несколько маленьких ручейков этого, пока еще не бурного, но живого потока зажурчало в портах Абхазии. Хотя эти ручейки заходили в закрытые военные порты, как река в песок, но успевали все-таки промелькнуть перед народным взглядом, и народ тоже пытался успеть зачерпнуть из этих ручейков.

На сухумской набережной, в кофейне перед гостиницей «Рица» шел оживленный торг. Наименование и количество предполагаемых товаров имели характер сюрреалистический, а суммы назывались такие, словно речь шла не о долларах, а о пенициллине. В основном тут гуляла красная ртуть, но предлагались и змеиный яд контейнерами, и золото с серебром килограммами. Местная публика пыталась совершить сделки с абхазами из Турции. Это были потомки *мохаджиров*; их предки были депортированы с Кавказа сто двадцать лет тому назад, по окончании столетней войны и завоевания Кавказа. Сейчас, когда дороги открылись, они прибывали на «Кометах» взглянуть на историческую Родину. Эти прибывшие, как правило, не были коммерсантами и только вежливо обещали все разузнать по возвращении в Турцию и про красную ртуть, и про змеиный яд, и про золото с серебром. Но, продолжая слышать журчание утекавших через закрытые порты богатств, народ не оставлял попыток разок шапкой зачерпнуть из этого потока.

Тут были только посредники; никто из постояльцев этой кофейни товара не видел в глаза. Конечно, забегали порой в эту кофейню и те, кто эти товары видел — забегали пообщаться с народом и узнать политические новости. Но они молчали, а немолчный народ все пытался продать пару тонн красной ртути или стронция, читатель, чтобы хоть немного заработать, потому что, смущенно признавались они, жизнь пошла тяжелая и приходится заниматься незнакомым, еще вчера презираемым промыслом.

У Кесоу, в отличие от остального народа, товар имелся. Он предлагал *семьдесят центнеров оленьих пантов*, и лежали они не в Норильске, а тут, у доверенного лица в подвале дома. Совсем недавно они с Никой вынули товар из ереванского товарняка. Хотя до вскрытия вагона ящики улыбнулись ему, все же Кесоу тогда не хотел товар брать. Потому что улыбались они, помнится, ему прежде ни кара незнакомой, какой-то северной улыбкой. Но Ника настоял, и ящики забрали. Их вырвут у нас с руками и ногами по пятьсот пятьдесят баксов за килограмм, сказал он. Ты что, Кесоу, братуха, тебе только туфли, а я давно уже мечтаю поймать красную ртуть!

Однако товар лежал и гнил у Пахи в подвале под висячим балконом. Ни

барон Кукунович, ни комсомольцы, ни Хачик не хотели его брать, потому что не поняли, с чем его едят.

И вот Кесоу решительно подошел к группе мохаджиров, которые стояли, окруженные народом. Вырвав из круга пару человек помоложе, он предложил им свой товар. Скосив \$500, он назначил скромную цену в пятьдесят баксов.

Объясниться на абхазском языке, не приспособленном ни к торговле, ни к научной терминологии, оказалось непросто.

Есть в России такое место, куда и не падал взгляд Всевышнего: оно называется тундрой. Там даже летом снег лежит, и земля остается мерзлой. Даже олени там такие смиренные, что женщины их доят как буйволиц, а мужчины запрягают в свои арбы, тоже как буйволиц.

И вот, извините меня за выражение, но когда у них, у оленей, начинается гон, у самок, извините меня за выражение, внутри рогов образуется сок, который я вам и намереваюсь продать!.. Сейчас я вам объясню, зачем. Из этого сока, который образуется в оленьем рогу, изготавливают лекарство, которое помогает американцу, извините меня за выражение, кашлянув у порога, увереннее заходить в покои своей жены.

Слушатели были простые люди; они удивились этим сведениям об оленях, хотя один из них нечто в этом роде слышал в турецких кофейнях. Молодые ребята оказались, однако, с деловой хваткой. Они пригласили Кесоу в свой номер тут же, в гостинице «Рица», и не успел Вишнупату влететь в номер через исторический балкон, а они уже звонили в Турцию по спутниковому телефону.

Их ответ оказался самым неожиданным для Кесоу. Мы все им объяснили, но *Стамбул не понял*, сказали они.

Стамбул не понял, что ему хотели предложить!

— Я же вам объяснил, что средство — для американцев, а не для турок! — воскликнул Кесоу. — Турок и без оленьих рогов способен кашлянуть на пороге семи спален. Это у американца может возникнуть проблема на пороге одной-единственной спальни, если жена не взбодрит его словами: *«Ты должен и ты можешь это, Майкл! Прими только пантокрин фирмы «Word & Deed!»*.

Но недолго продолжался торг: народ позвали в Народный фронт Абхазии. Все, кто ощущал себя народом, понуро побрели туда, а простые любители кофе ретировались в другие кофейни, так что «пяточок» в две минуты опустел, и кофеварщик Акоп, прикрыв створку своей будки, стал поджаривать кофе на барабане. Кесоу отправился с остальными. Ему хотелось раз и навсегда узнать политический расклад.

А Вишнупату как раз там и должен был встретиться с другом.

Перед особняком, где располагался абхазский Народный фронт, уже собралось немало людей. Вишнупату устроился на слоновой пальме перед особняком, с вялым любопытством наблюдая за кипением страстей. Кесоу тоже смотрел с вялым любопытством. Толпа гудела и требовала Григория Лагустановича. Чувствовалось, что это был вельможа, которому доверяли. Имярекба по общему поручению вступил с ним в телефонные переговоры. Лагустанович пригласил народ к себе. Тут же выделились слуги народа, готовые пойти к правительству. Это были представители интеллигенции, всегда и во все времена осуществляющие живую связь между народом и властями. Желавших пойти к властям и рассказать им о проблемах народа оказалось много, и Имярекба разделил интеллигенцию надвое: одну часть отправил к властям, оставшуюся подрядил сочинять резолюцию.

Письмо было готово и зачитано довольно скоро. Кремлю только надо было протянуть свою длинную руку, столь нелюбимую неформалами, и взять его. Имярекба сделал в ней лишь несколько стилистических правок,

таких, как «*четырёхступенчатая иерархия народов*», «*под знаменами антинародной и бесчеловечной политики меньшевиков*», «*поднаторевшие на антисоветизме*» и, наконец, «*соблазненные лживыми идеалами*». Тем временем вернулась делегация от Григория Лагустановича.

Собравшиеся сгруппировались под слоновой пальмой у входа в особняк, чтобы услышать их. Депутация, однако, отказалась выступать на улице. Не митинговать же нам на солнцепеке, словно мы — неформалы, сказали они. Вообще, как заметил Вишнупату, абхазские революционеры себя *неформалами не считали*. Они не признавали и идею эртобы, хотя название их организации означало на абхазском то же самое: единение. Предложено было подняться на второй этаж, в актовЫй зал. Кесоу пошел со всеми.

Там, в зале была привычная, ставшая родной обстановка: партер на сто мест для народа, на возвышении — стол президиума и трибуна с гербом, а на заднике — хитро улыбающийся с портрета Ленин.

Устроившись за столом президиума, гонцы долго спорили, кому выступить за всех, поручали друг другу эту почетную обязанность и, наконец, принесли взаимную вежливость в жертву нетерпеливости народа, остановили свой выбор на почтенном писателе. Писатель в подробностях рассказал, как замечательно приняты были слуги народа народной властью, причем оговорился и сказал «*слуги от народа*»; все отметил, вплоть до учтивости секретарши Григория Лагустановича; поведал, как выслушаны были посланники; вкратце пересказал смысл выступления каждого из делегации, а выступили там они все. В зале было очень жарко. Люди обмахивались газетами Народного фронта, но никто не выказывал нетерпения. Наконец, касательно конкретных дел, писатель сообщил, что Григорий Лагустанович твердо обещал принять все необходимые меры, вплоть до подробного доклада в Кремль о всех творимых в Абхазской АССР безобразиях и в свою очередь предложил народу сочинить письмо в Кремль, на что толпа восторженно заголосила, что готово, что готово уже письмо!

Хорошо говорил писатель, а Кесоу сначала это не нравилось. Но ему пришлось очередной раз убедиться в своем излишнем скептицизме. Он увидел нечто, что в другое время могло быть свидетельством того, что у него *поехала крыша*. Но нынче на дворе — время мистическое, полное знамений.

Вокруг головы оратора вдруг вырос огромный нимб, подобный вееру павлиньего хвоста. Писатель заговорил еще более вдохновенно. Нимб вокруг его седой головы переливался тысячей неземных цветов. Кесоу решил, конечно, что это действие анаши. Он решил ретировался. Отправлюсь-ка я на грузинский митинг, послушаю, что там говорят, подумал он. Опять же, подумал об этом про себя. Не произнес ни слова. Но зал сегодня был объединен единым порывом. Общение происходило на телепатическом уровне. Поэтому многие повернулись к нему и стали увещевать:

— Не надо ходить на митинг! Мы должны опасаТЬся провокаций! Мы должны проявлять терпение и выдержку!

«*Нет мира под иширами!*» — подумал Кесоу, еще раз кинув взгляд на странный нимб вокруг головы писателя.

Как всегда бывало на всех абхазских собраниях, не обошлось и без *провокаций*. Как гласит народное выражение: не плавают корабль без арапа. В зале был грузин. Он сам себя обнаружил, когда все и так было ясно, — письмо написано, насчет провокаций люди предупреждены, — и Имярекба лишь формально сказал: «Есть еще вопросы?» — «Есть!» — сказал непрощенный гость.

Задавая вопрос, он пустил в ход известный прием неформалов: первый вопрос был почтительный и скромный — экологический, а второй, что каверзный, был припрятан за пазухой этого первого, откуда торчал лишь его хвост, как хвост украденного петуха в грузинской сказке.

Сначала вышел скромный экологический:

— Есть ли у вашей организации план борьбы с варварским обычаем бритья в парикмахерских, чреватый заражением нашего древнего народа СПИДом? — а затем, с зачином «и второй вопрос», появился хвост петуха:

— Предполагает ли ваша организация перспективу отделения республики?

— Провокация! Надо терпеть! — зашептал зал.

Но Имярекба легким движением успокоил горячие головы и ответил неформалу:

— У нас есть обширная экологическая программа, и в ней изложены все вопросы, которые на сегодняшний день представляются более важными, чем проблемы циркулен. А на второй вопрос я отвечу так. Наше общественное движение так и называется: Народный фронт Абхазии в помощь перестройке. А советской власти, по нашему твердому убеждению, хватит еще на нас, на вас и на наших внуков, как сказал недавно Григорий Лагустанович, который, занимая большой государственный пост, не оторвался от народных нужд.

Аплодисменты были заслуженными. Неформал — а это был не кто иной, как плут-Энгештер — был посрамлен из-за своего неверия в перспективы могучего СССР и вскоре ретировался.

Это был не первый митинг, проведенный неформалами в Сухуме, столице сепаратистов, а второй. Первый прошел в сельхозинституте. Энгештер, брат Хозяина, побывал на этом митинге. Он вернулся разочарованный. Подняли флаги, из Тифлиса подоспели голодари, даже милиция погоняла немного: неформалы планировали помитинговать в центре города, но это им не дали сделать: пришлось идти в сельхозинститут. Но люди, которые столько мучились, не то услышали, чего ждали: ораторы, эти тбилисские пижоны, говорили только о братстве. Один из них даже на абхазском сказал несколько слов о том, что если Кремль по-прежнему будет вводить братьев-апсуа в заблуждение, то Грузия поднимет меч и защитит своих братьев. Люди же ждали жареного и потому стали расходиться. Энгештер послушал-послушал, несколько поиререкался с этим любителем абхазской словесности, а потом ушел с приятелем в сванский ресторан.

— Ты держался бы от них подальше, дурень, — сказала несколько грубовато, но правильно Джозефина, когда вечером он пришел недовольный и хмельной.

— Ты в мои дела не лезь, а то я тоже в твои дела начну лезть, — пригрозил Энгештер Джозефине.

— А не за счет ли моих дел ты Фото-Точку перед ЦУМом имеешь? — тут же ответила Джозефина Энгештеру.

— А я вообще не хотел Фото-Точки!

Возмущенная Джозефина перешла на гексаметр:

*Выслушав дерзкие речи супруга, слабы чьи познания,
так говорила Эллады дитя ему белоколонной:*

«Сколь неразумен в речах ты, о муж безобразный!

*Дом твой не полон ли нынче и амфор, и чаш золоченных,
не возлежишь ли с друзьями, свободный, в театре и в бане?
Много ли благ ты имел, находясь в своей влажной Колхиде,
брата разрезав на части, откуда бежала Медея?*

*Уж не жене ли ты должен смиренно гласить благодарность,
в варварских странах рожденного неуча что приласкала,
в дом тебя смело ввела и дала возлежать с мудрецами,
коих же вскоре сменил ты на колхов и скифов*

в тавернах?!»

Так упрекала супруга Эллады пленительной дочерь.

Тут Энгештер тоже не выдержал и ответил жене своей не менее решительным шаири:

*Как, шагнув через порог, я увлажнил порог слезами,
Ты поведай в песне строгой, сладкозвучный мой чонгури.
Эй, несите меня ноги, находя дорогу сами,
В княжий дом, где ждут и знают о печальном балагуре.
Княжья дочь с глазами лани мне подаст вина в тиале.
У прохладного марани я оттаю от печали.
А как встану утром ранним, снова путь мой к зорьке алой.
Ты — чонгури мой трехструнный. Я — бездомный Коч-Кочана.*

Разговор пошел вот с таким оттенком. Хозяину, конечно, это не понравилось, и он, чтобы не слушать, оделся и вышел за сигаретами. Когда он вернулся, брат и невестка продолжали выяснять отношения. «А квартиру кто сделал? А брата твоего кто прописал?» Мазакуаль как резанет это слово! Она так не любила упреков, что подумала: я сама устрою его на турбазу Джушкунияни!

Хозяин повернулся и пошел снова в город, не заходя на квартиру.

«Я убью его», — слышал он, удаляясь, голос брата.

«Это ты его убьешь! Да Мато таких, как ты...»

Во дела!..

«Тебя я убью!»

Могель не стал дальше слушать. Он ушел. За Энгештера он был спокоен; тот и курицы бы не убил.

Вот, бранятся, думал он с горечью. А я-то считал, что брат состоятельный и благополучный: хочешь красивую жену — на! Хочешь трехкомнатную секцию в центре Сухума — на! Хочешь перед ЦУМом Фото-Точку с медвежонком — на! Как недешево дается все это внешнее благополучие, думал Могель. Ему было неприятно, что он заглянул за ширму взаимоотношений брата с женой, хоть было и любопытно немножко. Ему было неприятно, что все эти разговоры слышала Наала.

Это было вскоре после возвращения из Пицунды. А теперь он был так счастлив; ему было только уладить с родными Наалы. Добрая Джозефина обещала через своего шефа похлопотать. Она настояла, чтобы молодые пожили у них. Сегодня Наала пошла в библиотеку, повидать подруг и узнать новости из отчего дома. Оставшись один, Могель отправился без цели бродить по набережной. На душе у него было блаженное спокойствие. Ему ни до чего не было дела, кроме своего счастья. Он не знал, что в городе напрягуха, и преданная Мазакуаль в сопровождении павлина инкогнито следят за ним.

Прогуливаясь, Могель остановился у ресторана «Диоскурия», того самого, который установлен на развалинах старинной крепости. Когда-то построенный с шармом, но ныне имевший обветшалый вид, этот ресторан сейчас не действовал вовсе, и можно было выйти на его балкон, как на смотровую площадку. Могель так и сделал. Он свесился с балкона. Море было тихое и бледное. Сухум при древних греках назывался Диоскурией, а потом ушел под море. Могель узнал об этом, как-то присоединившись к экскурсионной группе. Именно тут в ясную погоду можно якобы различить на дне моря следы городских кварталов с колоннами и мраморными памятниками богам.

— Пытаетесь увидеть Диоскурию? — раздался вдруг рядом чей-то голос с таким сильным акцентом.

Это был Казимирас из Каунаса. Одет он был просто, даже длинные его волосы были стянуты самой простой бечевой.

Познакомились с прибалтийцем. Разговорились. На вопрос, местный ли

он житель, Могель ответил утвердительно: он уже был прописан на улице Джгубурия. Имея тайную мысль, что прибалтиец пригласит его к себе, — а Прибалтику увидеть он всегда мечтал, а с Наалой съездить туда: вот было бы здорово! — Могель разговорился с ним и даже предложил ему выпить бутылочку сухого вина на террасе «Амра». Но все было закрыто. А закрыто было потому, что должен был состояться митинг; власти, опасаясь эксцессов, запретили всем значным заведениям работать, а по телеку крутили американские боевики, чуть ли не «Рембо». Тут еще прибалтиец, словно угадав сверхзадачу Могеля, сразу же предложил ему непременно позвонить, если он случится в Каунасе, а так просто случиться в Каунасе Могель не мог. Адресами все же обменялись; Могель дал свой сухумский адрес и телефон (разумеется, братнин), а Казимирас — каунасский. Могеля удивило, что у прибалтийца фамилия русская — Лодкин, но он не решился поинтересоваться — почему. От Казимираса Могель узнал, что на митинге будет выступать главный лидер грузинских неформалов. Могель и Казимирас вместе отправились на митинг. Могель бы не пошел, еще в Великом Дубе он на митинги был не ходок, но ему хотелось увидеть и услышать главного неформала, специально прибывшего провести митинг. А Наала, уж точно, разговорилась с подружками и еще не вернулась из библиотеки.

О городских площадях

Когда Мазакваль нашла Хозяина в обществе иностранца, увешанного съемочной аппаратурой, она подумала было появиться перед их взглядом в сопровождении Вишнупату, чтобы иностранные туристы знали, что здесь тоже носом воду не пьют. В конце концов, для людей это обычная экзотическая птица. Но потом решила: не до эффектов. Ей следовало быть неотступно рядом с Хозяином. Вишнупату нужен был ей сейчас не для дешевых эффектов, на которые столь падка человеческая стая, а как друг и советчик. Не хотелось Мазакваль, чтобы Хозяин вляпался в политику. Ох как не доверяла она неформалам, ох как опасалась, что они втянут его в свои дела! Но пойти ему позволила, понимая, что он не должен совсем отрываться от той породы людей, к которой принадлежит по рождению, что надо и ему их сегодняшнее безумие поддерживать, только в меру.

О, современники мои, и сам я, грешный; не избежали мы участи жить в годину перемен, о чем так молил своего Бога когда-то некий восточный мудрец!

Итак, все по порядку.

Поскольку они были собака и птица, органы не стали к ним придираяться. Они спокойно пересекли святая святых — площадь Ленина и пошли на знакомый баритон Гостя, главного неформала. Удобно расположились на борту грузовика, чтобы и трибуну было видно, и Хозяин был в поле зрения.

Мазакваль, между прочим, когда по движениям в городе догадалась, что будет митинг неформалов, по наивности условилась встретиться с Его Божественной Милостью у Народного фронта Абхазии. Хорошо, что она побывала и тут. Она многое поняла. Абхазы клацали зубами, как и предупреждала Старушка. Они голосили, что не позволят поднять знамена эртобы, под которыми когда-то потопили в крови *абхазскую комму*ну. Хозяина тут она, конечно, не нашла, но уяснила себе вещь самую неприятную: ярость, свойственную людским стаям в последнее время, они уже стали направлять друг против друга, а не против непонятной и далекой руки Кремля. Мазакваль пожалела, что позволила Хозяину пойти на сборище. Если даже дело не пойдет слишком далеко, все равно Старушка будет огорчена.

«Я не позволю им осквернить площадь вождя!» — сказал Григорий Лагустанович и на бюро и позже — делегации от народа. Еще с раннего утра всем АТК было дано распоряжение выгнать свою технику. К моменту, когда митинг начал собираться, площадь была оцеплена кольцом из грузовиков. Собравшиеся, а среди них было немало горячих голов, решили опрокинуть пару грузовиков и вырваться на площадь. «У-ба-ни! У-ба-ни!»* — скандировала толпа.

Митинг сгрудился под тесным кольцом грузовиков, загородивших выход к площади Ленина. Люди стояли прямо на проезжей части улицы, а трибуной для ораторов послужила крыша сапожной мастерской. Это была немалая победа эртобы, если старый Климентий позволил попирать ногами свое рабочее место. Но иначе и быть не могло: сама профессор Имярекидзе присутствовала и сам Гость, главный неформал, вел митинг.

И вот появились на крыше сапожной будки профессор Имярекидзе, Гость и местные неформалы. Гость урезонил людей, и решено было начать работу прямо тут, на улице Кирова.

Самое замечательное, что увидел тут Кесоу, — это павлин. «Неужели неформалы это предусмотрели?» — удивился он. Павлин стоял на крыше грузовика оцепления. Как только оратор переходил на фальцет, павлин распускал свой пышный хвост. А когда оратор спускался к доверительному шепоту, птица тут же складывала хвост, как складывают веер. Это зрелище, а в особенности то, что все остальные относились к нему как к чему-то привычному и заурядному, поразило Кесоу. Он уже не сомневался, что у него *измены* от анаши, которую дал ему утром Ника Хатт.

Несколько отстраненно от митинговавших стояли любопытные, числом не меньше самих митинговавших: не один Кесоу послушался Народного фронта Абхазии. Он пополнил толпу зевак и стал наблюдать за происходящим.

Кесоу впервые видел *несанкционированный* митинг. Толпа собралась здесь та же, что и на обычных маевках. Митинговали, в общем-то, законопослушные люди, которые решились прийти только потому, что поверили, что власть меняется и приходит новый закон. Поэтому на лицах людей под упорным и вдохновенным выражением читалась неуверенность. То и дело митинговавшие опасно косились на зевак, несмотря на то, что сейчас был эмоциональный пик: речь держал сам Гость.

— Пусть поднимут руки те, кто за нашу эртобу! — загремел он.

Павлин тут же отреагировал пышным веером. Все подняли руки.

— Теперь пусть поднимут руки те, кто против.

Не было таковых. Павлин сложил веер.

— Один все-таки против! — провозгласил оратор.

Все удивленно стали коситься друг на друга. Пауза. Тень недоверия к соседу прошла по толпе.

— Вот он стоит за оцеплением! — сказал оратор, указуя на памятник Ленину.

Ленин действительно стоял со вздернутой рукой, словно голосовал против эртобы. Но справедливости ради надо отметить, что он стоял в такой позиции с тех пор, как его изваяли, в том числе и когда голосовали за эртобу. Так что это восклицание оратора было всего лишь ораторским приемом. Но толпа восприняла этот прием весьма эмоционально. Для того времени это было дерзостью.

— *Кришнаиты — агенты Кремля!* — провозгласил очередной оратор.

* Площадь (груз.).

Кесоу настолько обомлел, что почему-то обернулся на павлина. Павлин тоже был удивлен: он особенно пышно распустил хвост.

— ...Кремля и ЦРУ!

Прием с поднятой рукой Ленина Мазакваль разочаровал: на всех митингах, на которых она побывала с Хозяином в Великом еще Дубе, все ораторы этот прием пользовали. Но она не знала, что Гостя упрекать не в чем: он сам и придумал этот ораторский эффект; совершали плагиат прочие мелкие сошки эртобы, которых Мазакваль могла видеть и слышать до сих пор.

Новый же друг Хозяина отреагировал на прием таким образом. Он попросил Могеля подержать камеру (он все снимал) и, достав из сумки блокнот, что-то занес в него на лабасском языке. Могель, по правде говоря, насторожился. Сработал инстинкт, присущий любому советскому человеку: поймать за руку шпиона империализма.

А записал журналист такое свое наблюдение: *«На Кавказе войны начинают не вожди и не полковники, а историки»*.

Следующий прием тоже был знакомый и испытанный. Впереди под трибуной началось движение. Все стали на цыпочки, вытягивая шеи. Там требовали воды, требовали кареты скорой помощи: женщина упала в обморок. Имярекидзе одернула главного неформала, чтобы он не пропустил момента. Но Гость сам был начеку.

— Этой женщине не поможет медицина. Ей не хватает воздуха! — воскликнул он. — Ей не хватает воздуха независимости и эртобы!

Камера опять переключалась в руки Могеля, а гость полез за блокнотом. Могель и вовсе насторожился. Гость заметил это. Сделав запись, он взял камеру и сказал, улыбаясь, Могелю:

— У Грузии и Прибалтики одно дело. Но Грузия имеет огромный опыт борьбы с тоталитаризмом. Есть чему поучиться нашим лидерам!

Публика сегодня могла быть вполне довольна. Главной темой был сепаратизм. Сепаратизм и рука Кремля.

— Сегодня здесь собралась лучшая часть сухумских грузин! — провозгласил оратор.

Того, кто стоял рядом с Хозяином, держа один конец транспаранта, Мазакваль знала по турбазе Джушкуняни. Его здесь знали все. Это был Александрэ Бобонадзе. Породистый и фактурный, он волновался, как скакун на старте. Печать бледности лежала на его лице: он еще не оправился от пулевых ран, нанесенных ему сепаратистами. Всего, что он тут видел и слышал, было явно недостаточно для его темперамента. Ему не то что держать край транспаранта, ему бы поймать руку Кремля и с хрустом выломать ее. Долго так стоять он не мог.

Вручив не глядя конец транспаранта рядом стоящему, он направился к трибуне, по пути разрезая плотную толпу, как лемех культиватора разрезает почву. Через минуту он оказался между лидером и митрополитом с мегафоном в руках.

Человеком, которому Бобонадзе вручил палку не глядя, оказался Могель. Еще недавно не желавший идти на митинги неформалов, сейчас он не только стоял на самом агрессивном из всех митингов, на которых ему приходилось бывать, но и держал транспарант, гласивший, что сепаратистам нет места на земле Давида Возобновителя. А когда он, как бы движимый инстинктивным желанием донести до кого-нибудь всю нелепость и случайность ситуации, только покосился на толпу любопытных, — тут же встретился глазами с деревенским соседом Наалы, через кого он с ней и познакомился и кого к ней ревновал немного. Могель сначала смутился, но потом отвернулся решительно и зло, хотя это не помешало ему предупредить парня, что на него заводится дело в транспортной прокуратуре. Он чувствовал, что уже «мур-

мурти надэ», как поет Радж Капур в кино «Бродяга», что в переводе с индусского означает: «нет пути назад».

Между тем его друг Казимирас куда-то исчез. А речь того, от кого Могель принял эстафету, не оставила никакого сомнения в том, что *мурмурти надэ*.

— Друзья! Друзья! — воскликнул он. — Я вас люблю!

Внизу его тоже любили.

— Тут такие горячие головы!.. — продолжал Бобонадзе, справляясь на ходу с волнением; трудно все-таки выступить перед толпой: это нечто, отличное от выступления со сцены. — Тут такие решительные люди, такие самоотверженные и бесстрашные, что я боюсь...

Теперь он уже освоился, и пауза, которую сейчас выдерживал, именно как пауза воспринималась публикой.

— ...Я боюсь, что *прольется кровь!* — сказал он.

— *Пусть прольется! Пусть прольется!* — сначала отозвалось несколько человек с разных сторон, а потом вкрик подхватила и вся толпа.

— Я знаю, что такое кровь!

— Да! Да! — с поспешностью реагировала толпа, словно испугавшись, что Александр Бобонадзе станет демонстрировать рану.

Павлин пышно распустил свой веер хвоста, реагируя лишь на характер звука и по своей оторванности от жизни воспринимая все происходящее лишь как представление. Между тем именно сейчас впервые публично прозвучала мысль о возможности кровопускания.

— Я не хочу, чтобы пролилась тут кровь! — воскликнул Бобонадзе.

— Нет! Пусть, если надо, прольется! — любя его, возразила публика актеру.

А дальнейшее его выступление было насыщено фактами и только фактами. Речь Бобонадзе была образна. Его разоблачения сепаратизма не выходили за рамки проблем культуры, но каждая его фраза горела над толпой, как «Мене! Текел! Фарес!».

— Вот вы говорите о руке Кремля! — продолжал он. — Но не дремлет Персия! Вспомните 56-й год. Апсуа сепаратисты отпраздновали приход к власти Моссадыка. Вспомните 78-й год. Апсуа сепаратисты устроили кровавые поминки по усопшему своему имаму — аятолле Хомейни! И знаете, кто является лидером паниранской группировки в Абхазии?

Увы, люди знали!

— Фазиль Искандер! — выкрикнули из толпы.

— А вы завтра собираетесь за него голосовать?.. Не отдавайте свои голоса сепаратистам!

— Не отдадим!

Нет мира под инжирами!

Кесоу был, как всегда, спокоен и тверд, но сердцем понял сегодня: эти люди не доведут до добра. Они не доведут до добра, а сами уйдут в кусты. Надо вооружаться, подумал он, будет война. Все это Кесоу не вдохновило. Он решил, что все здесь уже понятно, и уже собирался уходить, когда взгляд его упал на белый транспарант. Транспарант этот с одного края держал тот самый мингрельский парень, которого он искал!

Кесоу встретился с ним взглядом. Парень густо покраснел, но тут же отвернулся, стараясь изобразить на лице упрямое чувство собственной правоты.

«Он не виноват, пойми его, он не виноват! Он здесь случайно!» — внушал ему кто-то беззвучно.

Это говорил с ним самый обычный пес. Вещий пес свешивался с борта того самого грузовика оцепления, на крыше которого работал павлин-нефор-

мал. Слезы смолой застывали на обеих сторонах мордочки пса. Полнейший сюр, как говорят в Москве!

«Какой-то патлатый притащил сюда Хозяина, а тут ему всучили еще этот дурацкий лоскут!» — снова галлюцинировал затуманенный анашой слух Кесоу.

Ждать было нельзя! Мазакуаль видела ведь, как нехорошо удалился тот деревенский парень. Собака понимала, что дело здесь не в том, что Хозяин — участник митинга, а еще ему всучили этот дурацкий лоскут. Тут нечто более важное...

Как она могла об этом забыть! Ведь это тот парень, который виды имел на книжницу, новую Хозяйку Мазакуаль! Как она могла это забыть! Нельзя было медлить!

Нельзя медлить ни минуты! Она соскочила с грузовика, чтобы подобраться, подобраться к Хозяину, чтобы предупредить его о надвигающейся опасности. И в эту минуту толпа зашевелилась и задвигалась.

Потому что профессор Имярекидзе и Главный неформал почувствовали, что с выступлением этого местного честолюбца ситуация принимает излишне воинственный характер, и снова взяли ситуацию в свои руки. Решительно вырвав у артиста мегафон, Главный неформал произнес:

— Друзья! Давайте все вместе последуем к собору. Постоим и помолчим у врат храма. Кто знает, может быть, в молчании родится истина!

И закончил на этом митинг.

Толпа зашевелилась, перестраиваясь с митинга на шествие. И вдруг треклятый транспарант повис на руках Могеля. Это державший его с другого конца выпустил из рук свою палку.

Могель проделал то же самое. Он решительно отошел к столбу между мостовой и тротуаром, чтобы пропустить толпу. Идти к храму он уже не собирался. Гречь наполнила всего его изнутри, и к горлу подкатил ком. Толпа шла мимо него.

«Не ты виноват, а я: не доглядела!» — почувствовал, как услышал, он. Но голос удалялся.

Мазакуаль чуть не затоптали. Она не только не попала к Хозяину, не только не успела его предупредить, но сама едва вырвалась из-под ног движущейся к храму толпы. И потеряла Хозяина.

А прибалтийский приятель Хозяина прошел к тому месту, откуда, по его мнению, могли появиться ораторы, покинувшие крышу Климентиевой будки. Но ораторы, очевидно, вышли с другой стороны. Пожать руку Главному неформалу и выразить ему свое восхищение Казимирасу Лодкину не удалось. Зато замечательного актера и оратора он нашел.

И вот уже Казимирас Лодкин и Александрэ Бобонадзе, оба высокие и статные, пожимали друг другу руки. Лишь на секунду Бобонадзе отвлекся и поднял голову к небу, почуяв там что-то враждебное, басурманско-кришнаитское. Это пролетела над ними Вишнупату, в тревоге разыскивая своего друга Мазакуаль.

Все иллюзии, что обойдется без кровополития, разбились в прах.

О вкрадчивых шагах беды

Толпа отхлынула, и вскоре на мостовой остались поверженные и растоптанные транспаранты. С горечью во рту и с комом в горле Могель продолжал обнимать холодный телеграфный столб. Он чувствовал, что действительно *мурмурти надэ*.

Наала: она же все узнает!

Мазакуаль уже не было на борту грузовика. Неужели она бросила его и пошла со всеми к собору? А ему так хотелось сейчас заглянуть в ее ясные, всепрощающие глаза. Рассеянно шагая, он направился в сторону турбазы Джушкуняни. Если собака где-то рядом, а не поддалась стихии митинга, она сама выйдет на него.

На проходной ему пришлось выдержать контактный бой с органами. Мент его знал, поскольку Могель бывал тут часто, но нынче ему было велено пускать строго по разрешению Джушкуняни.

Если бы в это время не подъехал Александрэ Бобонадзе, кстати, на служебной «Волге» с антенной, Могелю пришлось бы еще долго пререкаться с органами. Но тут же все уладилось.

— Я полностью согласен с тем, что Вы, дорогой и незнакомый мне патриот, провозглашали на своем транспаранте! — сказал актер несколько торжественно.

Могеля аж передернуло: не Бобонадзе ли всучил ему конец транспаранта, когда душа позвала его на крышу сапожной будки!

Но возмутиться он не успел. Из машины с антенной вышел знакомый прибалтинец.

— А вот вы и нашлись! Мир тесен! — воскликнул он, тряхнув гривой и подавая Могелю мужественную руку.

Видя *эти движения*, мент уступил.

— Гость немного отдохнет, а потом будет беседовать с нами, — щедро открыл тайну Бобонадзе. — Идемте!

Неофитам всегда просто делиться контактами: ревность к учителю наступает позже.

Видеть Главного неформала в узком кругу — это было соблазнительно!

А Мазакуаль и в голову не могло прийти, что Хозяин пойдет на турбазу Джушкуняни. Он же видел того деревенского сорвиголову! Как он мог не встревожиться? Где он? Почему он забыл слова Старушки: «Берегись абхазов: они хищны и клацают зубами!»

Еще до прихода на улицу Джгубурия Мазакуаль знала, что все погибло. Собаку нюх не подведет.

Она подошла к дверям с медной табличкой. Она подала условный знак, каким они с женой Энгештера пользовались, когда Мазакуаль приносила птицу. Джозефина открыла дверь, но не произнесла, как обычно, стихов. Она была заплакана. Мазакуаль никогда не навязывалась в дом к Энгештеру. Отдаст птиц Джозефине и — прочь. И Джозефина сразу шла с птицами к складу, не зовя собачку в дом. А сейчас Мазакуаль без излишних церемоний прошествовала в квартиру и — на кухню, чтобы спокойно выслушать женщину. То ли взгляд у собаки был такой, то ли еще отчего, но она умела разговорить людей.

Нюх не подвел. Наала уехала.

Не этот сельский сорвиголова ее увез, как предполагала Мазакуаль; она сама, узнав в книжняке, что умерла тетушка, собралась и уехала. И, похоже, это конец.

Потому что ей уже успели донести, что Могель — Могель, от которого Джозефина никогда не ожидала такого, — стоял на митинге с транспарантом: «Сепаратисты — вон из Грузии» или чем-то в этом роде.

А на чем она уехала в Хаттрипш? Ведь весь транспорт был пущен на ограждение площади Ленина, чтобы его не смогли осквернить неформалы!

— Ведь чертов митинг уже закончился, все соседи вернулись, просветленные, *словно бы на агора́ они слушали речи Перикла!* — Джозефина едва сдерживалась, чтобы не перейти на гексаметр. — Куда же запропастились и тот, и другой? — сетовала она, уже обыкновенной прозой. — Может быть,

она, моя милая, стоит все еще где-то на дороге и ее еще можно вернуть или по крайней мере убедить не ехать одной. Я бы сопровождала ее, чтобы ее там не принудили остаться. Григорий Лагустанович дал бы машину, а то и поехал бы с нами: у него как раз дача в Хаттрипше.

Джозефина была в отчаянии. Она так полюбила эту деревенскую простушку!

Все ясно. Мешкать было нельзя. Мазакуаль пулей выскочила на улицу.

Гостю был отведен генеральский особняк. Он требовал номера поскромнее, но охрана на особняке настояла: тут ей проще было нести службу.

Охрана была демократическая — никаких органов, только поклонницы лидера.

У ворот особняка приятелей встретила миловидная девушка в бикини и черных колготках. Она сообщила, что пресс-конференция начнется не раньше, чем через час: после каждого мероприятия Главный неформал уединялся на несколько часов для размышлений и молитв.

— Я могу ее сфотографировать? — спросил Казимирас.

Александрэ перевел.

— Ни в коем случае! — сказала девушка и повернулась к ним спинкой в бронзовом загаре, демонстрируя подвешенный к боку кольт.

Приятели решили пойти в бар, чтобы скоротать этот час.

Сегодня турбаза была практически закрыта. Бар тоже не работал. Накрывали на стол. Столы были сдвинуты и сервированы стаканами, завернутыми в розовые бумажные салфетки. После пресс-конференции здесь должно было состояться застолье. Неформалы сгрудились у стойки, мешая женщинам. Александрэ Бобонадзе сразу попал в дружеские объятия, и вскоре его было не достать.

Ликование, которое вызвал приход Александрэ Бобонадзе, сравнимо было разве что с ликованием во время его сегодняшней речи. Приняв немедленно поданный бокал с шампанским, он провозгласил тост за эртобу и выпил.

Ребята были предупреждены, что Гость не охоч до застолий и бражничества, что у него с детства европейские привычки, но они решили, что свое гостеприимство продемонстрировать надо. Александрэ Бобонадзе, артист ведь, с порога подал идею: стол накроют на сто персон, но за него сядут только Гость, да еще почтенный Дурмишхан, а остальные будут стоять над ними и ухаживать. Такие традиционные знаки уважения должны были растрогать сына мингрельского дворянина. А потом, когда Гость и хозяин встанут, можно сесть самим за стол и погулять.

— Куда мы спешим! — заголосили все, согласные с артистом.

Прибалтийский журналист был представлен, и у стойки все подняли тост *за вашу и нашу свободу*.

— Прибалтийцы и грузины — братья! — сказали ему.

— *Чок гюзель!** — ответил Казимирас растроганно.

— Как сестричка? — спросил Могеля Годердзий. — Давно приехали из Пицунды?

— Приехали третьего дня. Собираемся в Великий Дуб.

— Поселяйтесь тут. Выделим вам люкс.

Могелю пришлось признаться, перейдя на грузинский, что возникают сложности с ее родней.

— Стало быть, они — сепаратисты, — провозгласил зам.

Могель промолчал.

* Прекрасно (тур.).

— Необходимо проводить, — как это по-русски, бичо? — четкую грань между народом и между отдельными его представителями, которые народу засоряют голову. Первые — наши братья, а о вторых четко было выражено на транспаранте, который ты, мой юный и надежный друг, вознес сегодня над шабашем сепаратизма.

Прибалтийский гость еще раз восхитился, насколько здесь, на Кавказе, самые простые люди мыслят широко, четко и политически грамотно.

Выпили.

— Я тебе покажу петуха, какого ты не видел! — предложил Годердзий и повел Могеля на кухню. — 8 кг живого веса!

Казимирас тоже вызвался сходить.

— Бутылку прихватим с собой, — не забыл друг Энгештера.

Он лежал на столе, безголовый, еще не ошипанный.

— Тит! — сказал Годердзий. — Откуда здесь эта собака.

Могель не ответил. Собака, прежде чем выйти вон, заглянула в глаза Хозяину с кротким упреком.

— Я застрелил его на рассвете, — сказал Годердзий, демонстрируя свой «Макаров». — С десяти шагов и — в голову.

— Необыкновенная окраска перьев! Я могу его сфотографировать? — спросил Лодкин.

На сей раз ему разрешили воспользоваться снималкой.

Схватившись за горло и сдерживая душившие его рыдания, Могель выскочил из бокса. Словно мигом освободившись от наваждения, он тут же стал тосковать о Наале. Еще он вспомнил, что Кесоу видел его сегодня на этом митинге с нелепым транспарантом в руках, вспомнил выражение лица, которое было при этом у соперника.

Могель спешил. И он уже знал, что к Энгештеру ехать смысла нет. В Хаттрипш и только в Хаттрипш!

Ни секунды не задумываясь, перочинным ножиком, как умеет это каждый парень в Великом Дубе и не только, он открыл машину с антенной, на которой приехал Бобонадзе, ножиком же завел ее и выехал на большой скорости из турбазы Дурмишхана Джушкуниани. Органы, которые видели его час назад беседующим с хозяином машины, не заподозрили его в угоне и лишь поспешно открыли ворота.

Вылетев на трассу на полной скорости, он чуть не сбил узкого желтого велосипедиста. Старика за рулем спас опыт: он успел ретироваться в кювет.

Что могла сделать Мазакваль? Что дворняжка могла тут сделать! Она не успела его предупредить! Она не успела...

Последний раз его, мчащегося по трассе, видели павлины, которые летели вдоль моря.

А Мазакваль? А что Мазакваль могла сделать? Она не успела, Старушка! Она осталась.

На рассвете кто-то, увидев кровь, принял ее за зарю!*

Прежде чем выйти на пресс-конференцию, главный неформал решил окунуться в море. Преодолевая сопротивление очаровательных охранниц, со звонким щебетом напоминавших, что его здоровье принадлежит не ему одному, он переделался в пляжный костюм.

Когда патрон не внял их просьбам, девушкам пришлось поторопиться, чтобы самим уже успеть снять теннисные костюмы, соответствующие уединению в особняке, и надеть пляжные. А когда охранницы одна за другой высы-

* Из стихов абхазского поэта Геннадия Аламии.

пали на пляж, на ходу пристегивая кобуры, вдруг обнаружили, что потеряли подопечного. Гость такое проделывал часто, но местность здесь чужая. Не теряя присутствия духа, телохранительницы разделились на две части: одни остались на пляже, другие же кинулись искать лидера на территории.

Позади бара в огромных котлах варились мясо и куры. Девушки еще раз раздраженно напомнили сухумским друзьям, что Гость мяса не ест, тем более в пост.

Но где же он сам?

Легко скользя на скейте по выложенной отличным кафелем дорожке парка, Гость вынырнул из-за беседки с камелиями к пруду. И пресс-конференцию для этих сухумских деятелей, которые вообразили себя диссидентами и именно в Грузинскую Хельсинкскую группу и рвутся, тогда как при стагнации все были законопослушными работниками редакции «Сабчота Апхазети», разных союзов, УБОНа и мясокомбината... пресс-конференцию он проведет так, что девушки из охраны позабавятся. Он будет кружить перед ними на скейте. Сделает круг и поравняется с ними — пусть успевают задать вопрос. Он сделает следующий круг и, возвращаясь, бросит короткий и гениальный ответ. И — снова круг. И так — несколько кругов-ответов, пока не устанет. Кататься на скейте.

Эта задумка развеселила усталого революционера. Он прибавил скорость и вынырнул к пруду. В пруду плавали банальные лебеди. А банальных павлинов не было. Отлетели, видать, в другую сторону парка. Гость не любил всяких экзотических птиц: милее его сердцу были гордые орлы, летящие в небе. *«Будьте прокляты, вороны!»* — вспомнил он стих любимого им Важа Пшавела.

Вместо экзотических птиц, призванных усладить взгляд усредненного туриста из российской глубинки, лучше бы здесь гуляли простые крестьянские кормилицы — индейки и цесарки. Но, впрочем, когда Грузия будет развиваться как свободная демократическая страна под руководством своего первого президента, — и, очевидно, последнего, потому что затем будет восстановлена монархия, а сам Гость вернется к занятиям по исторической филологии, — тогда мы поднимем курортный сервис на такой уровень, чтобы природными красотами Грузии наслаждались уже западные толстосумы...

То, что он увидел на берегу пруда, заставило Гостя притормозить. То, что увидел Гость, еще раз убедило его в правоте своего дела. Такое видение дается только избранным и, записанное в летописи, остается в потомстве.

Живописно расположившись под раскидистой магнолией, вели беседу удивительные мудрецы. Каждому из них было не менее тысячи лет. Здесь были великие даосы, йоги, суфии, хасиды, воины Кастанеды. Это был некий синклит мудрецов всех времен и народов. Инстинктивно Гость стал искать глазами представителя своего народа. Был, кажется, и представитель.

Смело выступив вперед, Гость спросил:

— О, сограждане по Вселенной! Скажите мне, мученику и ратоборцу века двадцатого: когда победит эртоба?

Но собрание небожителей не отреагировало на его слова, словно оно проходило в другом измерении, куда не доносились звуки его гордого вопрошанья.

Гость повторил вопрос. И снова ответа не получил. Он стал раздражаться, он крепко сжал в руке скейт, и неизвестно, что бы предпринял следующим шагом, если бы его не опередили преданные черные колготки. Они искали его по всей территории турбазы, все больше и больше приходя в отчаяние. И вдруг, увидев, что патрон окружен какими-то дикарями, одетыми во власяницы, очевидно, абхазами, а сам беззащитен в шортах и со

скейтом в руке, девушки не растерялись, мигом распределили роли и стали стрелять, думая лишь о том, чтобы не задеть патрона.

И разомкнулась связь между двумя измерениями.

Павлины взлетели в воздух и исчезли в вечерующем небе.

Таким образом, появилось сразу несколько свидетельниц небывалого случая: Гость был допущен на Великий Синклит Мудрецов и беседовал с великими пророками.

О пресс-конференции уже не могло быть речи. Гость уединился, чтобы в молитвах и размышлениях отдышаться и прийти в себя.

О волчьем овраге

Старый Батал встал перед гробом и сказал:

— Следуй за мной, дочь моя!

И направился впереди процессии к фамильному кладбищу, которое было расположено тут же, в саду. Он шел смущенный, что пережил дочь и хоронит ее. Много раз он услышал в эти предпохоронные дни: почему ты не умер, почему ты дожил до такого? Тающий воск свечи капал Баталу на пальцы, но старческая рука не чувствовала жжения.

Бросив горсть земли на гроб дочери, старик обернулся и стал искать глазами Платона. Платон тут же подошел к нему. Старик положил ему руку на плечо и заглянул в глаза выцветшими от старости, когда-то синими глазами. Платон почувствовал, как в него стала вливаться неведомая сила. Он понял, что старик вскоре последует за дочерью.

И Батал сказал:

— Беда пришла к народу за безверие и за грехи.

Люди, услышав это, недоумевали, почему первые слова старика у гроба дочери были не о ней, несчастной. Они ведь не знали, что он вскоре последует за ней. Загадочными и странными показались людям слова старика. Безверие и грех — эти понятия для одних были старыми, поповскими, для других — старыми и книжными.

О, пот лица, ты так застилаешь глаза, что не видать надвигающейся беды!

А вечером над Хаттрипшем пролетели павлины. Целая стая диковинных птиц, которых обычно можно было увидеть только в садах городов. И даже самые старшие не припоминали, чтобы райские птицы летали косяками по небу Абхазии. Станным кругом неслись они, без вожатого впереди. Конечно, первым увидел их бригадир. Он божился, что царские птицы сели стаей на зеленой лужайке старца Батала, закрытой от глаз высокой цитрусовой изгородью. Они побыли там некоторое время и улетели в сторону моря. Это было воспринято людьми как знак. Бригадир растолковал это событие таким образом. Павлины — это символ изобилия, о чем он сам читал в газете «Аргументы и факты». Их появление недвусмысленно указывает на то, что директор Обезьяней Академии Массикот сдержит свое слово и в этом же году начнет строительство дворца культуры для деревни, как и было обещано, когда филиал создавался восемь лет назад.

А спрашивать у самого Батала было неловко, потому что именно на второй день с утра старик оделся в белое и лег в постель в зале, где выставили по его требованию большую железную кровать.

Вот вам и дворец культуры!

Наале после двух похорон недолго дали побыть дома. Уже Григорий Лагустанович через своих людей справлялся о ней. Наала уверила родите-

лей, что не собирается возвращаться к мужу, но все же женщины посоветовались и решили, от греха подальше, отправить ее в соседнюю деревню к родичам.

Родичей семья Батала имела в каждом селе. И то, что при своеобразной ссылке Наалы выбор пал именно на эту соседнюю деревню, еще раз доказывало, что эта деревня была захолустьем, хотя лежала она по соседству с Хаттрипшем, хотя и по ней проходили железная дорога и автотрасса, а территория Обезьянней Академии наполовину относилась к ней. Захолустье означает не оторванность от бела света, а отсутствие главного — света, исходящего от Золотой Пяты. Жители этой замечательной деревни из поколения в поколение хранили и пестовали свою темноту с ревностью, с какой в иных местах хранят и пестуют цивилизацию. Выходцы из этой деревни, работавшие в Сухуме поэтами и кандидатами наук, воспевали эту дикость и демонстрировали гостям ее первозданную красоту; она сохранилась только в нравах, но не в пейзаже, ибо мало первозданного в бесконечных чайных рядах и возвышающихся над ними однотипных двухэтажных домах — без единого висячего балкона! Зато составы товарняков целые и невредимые проходили через эту деревню, потому что жители, занятые выполнением сокобязательств, должны были хорошенько отсыпаться ночами, чтобы еще до появления утренней звезды с песней труда встать меж чайными рядами, и ни одна комиссия, ни один корреспондент из Сухума не могли заставить их врасплох. Все, что присуще было абхазам в старину, деревня бережно хранила в богатом музее при дворце культуры, который они-то заставили воздвигнуть академика Массикота, по домам оставив только трудолюбие и столь редкое нынче умение удивляться самым обычным вещам.

И хотя телефонов было мало (они были установлены только в семьях представителей председателя клана), но новости сообщались по старинке: умеют наши крестьяне, встав на холмах и перекликаясь зычными голосами, передавать информацию. Вскоре вся деревня узнала о том, что внучку Батала, которая, чтобы сбрить ей голову и выколоть ей глаза, осрамила на старости лет своего уважаемого деда, свела его в могилу, а родителей повергла в слезы и печаль, выскочив замуж без благословения за мингрельского неформала, неформала, неформала... Эту негодницу, наконец, сумели забрать у мужа, а мингрелы грозятся ночью приехать за ней на танках, и что привезли ее к родичам, живущим около оврага за волчьим логовом, то есть в самом центре деревни, около правления.

Общественное мнение, хранимое женами, верными постылым мужьям, и девицами, целомудренными от невостребованности, привела в негодование эта весть. Пусть едут на танках хоть среди бела дня, мы девицу не отдадим! Эти люди были не только храбрецы. Эти люди, в отличие от древнегреческого мудреца, знали, что знают все.

И вот в одночасье новость перелетела через все овраги, рытвины и ложбины. И теперь каждая женщина деревни, желала она, или не желала отрываться от сбора зеленого золота, а также от семейных дел, которые тоже у женщин оставались, должна была посетить эту семью у волчьего логова и выразить ей свое возмущение поступком Наалы. Глаза у женщин этой деревни служили зеркалами душ. В глазах их, узких горлышках души, отражалось содержимое: застоялая, тухлая тоска.

— Что она сделала, что она сделала! — считала своим долгом пробормотать каждая женщина, проходя мимо Наалы, но пряча при этом горлышко души.

Хозяйка благодарила соседок за то, что пришли выразить сочувствие. Тут же неизменно подчеркивалось, что семья старца Батала не заслуживала такого удара. И уходя, женщины снова повторяли «что ты сделала!», но уже обращались к Наале. А то ведь неприлично обращаться сразу, пока не позна-

комились! Затем, по-прежнему пряча глаза, прикасались к ней кончиками натруженных пальцев. Они, конечно, сочувствовали ей, но это сочувствие надо было скрывать, как этого требовали обычаи: эта странная смесь колхозного устава, навыков, полученных от общения с многочисленными почетными гостями председателя клана, а также веры в светлое будущее.

Наала сидела у окна и глядела на дикую хурму у края волчьего оврага. Каждый раз она вздрагивала и холодела от прикосновения этих пальцев. Спрятаться, уединиться ей было негде, потому что в осеннюю стужу вся семья собиралась у камина в отдельной пристройке, а двухэтажный дом стоял, пустой и стылый, в ожидании дорогих гостей. Облетевшая осенняя хурма, прозрачная и изящная, как на японских рисунках, только и утешала взгляд девушки.

Склон, изуродованный чаем, эта нежная хурма — а за ними даль, и только даль, которая сейчас не радовала девичьего взгляда. Где найти слово, которое способно было бы выразить ее тоску? Я не найду такого слова!

На склоне появился всадник. Он как-то враз очутился на косогоре, как унылый призрак. Это был отважный бригадир из села Хаттрипш. Неужели и он — сюда? Да, он был именно сюда!

Бригадир не только объяснил хозяевам, что поступок Наалы — свидетельство непокорности молодежи, но подчеркнул, что он его отчасти понимает, поскольку сердцу не прикажешь, как остроумно было написано в прекрасной газете «Аргументы и факты», и, ища поддержки у Наалы как у образованной девушки, встретился с ней взглядом, но что-то ему не понравилось, ибо он добавил:

— Но почтенный Батал был просветленным старцем!

Наала приняла решение.

Родственники к ней относились хорошо. Переживали, что она ничего не ест. Попросили бригадира уговорить ее съесть буйволиную простоквашу, которую можно резать ножом, как сулугун. Бригадир порезал ножом и съел простоквашу. И Наале тоже строго рекомендовал. Она отказалась: разве молодежь слушает старших!

Прибегала к Наале маленькая девочка, ее соседка по Хаттрипшу. Она как раз гостила по соседству. Хозяйка Наалы повелела этой девчонке: «Уговори землячку поесть!» Всякой еды было навалом, но Наала не ела ничего, как будто хозяевам было жалко. А хозяевам все было не жалко.

Эта замечательная девчушка, казалось, все понимала. Хотя что может понимать семилетняя. Чувствуя детским умом, что это возбраняется, хотя ей никто не делал замечания, девчушка подкрадывалась к Наале, когда этого не видели хозяева, и, поцеловав ее, отбегала прочь. Глаза у нее были такие же большие и синие-синие, как у самой Наалы. Сегодня девочку увезли в Хаттрипш. Наала через нее передала весточку Кесоу.

К вечеру поток сочувствующих женщин резко увеличился, но и прекратился скоро, как только дымчатая мгла покрыла изящные рисунки ветвей хурмы и стало темнеть. Зимой в деревне не смотрели телевизор, потому что телевизоры стояли в нетопленных гостевых домах. И люди ложились рано.

Вскоре и домашних стало клонить ко сну.

— Ложись и ты. Что же тебе, бедняге, мучиться-то, — сказала хозяйка. И это прозвучало так, словно она сказала: «Что же тебе, бедняге, мучиться! Ты и так, несчастная, осрамила перед людьми и старика, и родителей, и нас всех!»

— Можно я немного посижу одна? — попросила Наала.

— Конечно, конечно, — сказала хозяйка сочувственно. — Только перед сном не забудь завязать огонь.

Завязать огонь — это значит засыпать угольки на ночь золой...

Неохота рассказывать!

В Хаттрипш приехали поздно, но девчушка, чувствуя, что это важно, нашла Кесоу и передала от Наалы весть.

Не прошло и получаса, как Кесоу уже пытал ее.

— Так она и сказала?

— Да, так и сказала, что просит простить ее.

Он еще порасспрашивал умную девчонку о ситуации, в которой пребывала Наала в этом колхозе, только коротко и быстро. А потом забежал домой, сунул за пазуху наган и — к Нике. Еще развалюху пришлось чинить, еще бензин доставали в Академии — так проходило драгоценное время. Машины, и на прекрасном ходу, были у многих, но дело это было такое, что нельзя было посвящать в него чужих. Только к полуночи они прибыли в соседнее село, подъехали наконец к дому у волчьего оврага, но уже издалека, завидев, что весь дом освещен, поняли, что опоздали. Потому что Наала... Когда все легли, она завязала огонь, как велела хозяйка, потом переделалась во все чистое, надела купленные ей в Пицунде Могелем белые джинсы, чтобы не предстать после в неприличном виде; потом незаметно покинула придел и вышла к оврагу, где стояла уже облюбленная ею днем хурма, и на уже облюбленной ею днем ветви повесилась на шелковом ремне, дура.

Господи, прости ее, грешную!

Кесоу после этого ушел из села и ушел, как оказалось, навсегда. Два года он был в Москве. Возвратился в Абхазию, когда начала создаваться Национальная гвардия. Но в Хаттрипш он больше не приезжал.

14 августа 1992 года началась война. Хаттрипш находился у трассы, и вся его низинная часть была оккупирована в первый день.

А 14 декабря 1993 года Кесоу, боевик и командир, летел по вызову в Гудауту на российском вертолете. Кроме него на борту был еще один боевик, а все остальные были женщины и дети, выбиравшиеся из блокады. С Кесоу вместе летела его русская жена Наташа, которая скоро должна была родить ему сына. Борт, в котором находился шестьдесят один человек, был сбит над селом Лата. Все сгорели.

Витязь Хатт из рода Хаттов дал имя вашему селу, когда после солнечного изгнания люди вернулись в низовья.

Вы же переименовали его в краснознаменный колхоз!

Глаза даны человеку не для сбора чая, а чтобы иногда поднимать их к небу.

Не всем дано узреть Золотую Стопу Отца, а только чистому сердцем. Но к небу воздевать глаза нужно всем.

Должно искать глазами в горнем мире над нами Золотую Пяту Отца.

А вы из-за чайных своих рядов только и видите мелькание копыт лукавого!

Никогда не заглядывала справедливость к вам. Ишак справедливости упирается у входа в вашу деревню и не идет вперед ни шагу.

Еще другие не хотят справедливости, но на людях лгут, будто следуют ей.

Вы же считаете справедливость пережитком старины и открыто смеетесь над нею.

Скоро придет враг, и некому будет принести вашим же сыновьям в окопы кусок чурека, потому что вы разбежитесь по горным деревням.

Вся ваша жизнь — обида на матушку-землю, что не справляется с требованиями ваших желудков. А если нивы тучны урожаем, то печалуетесь, что трудно убирать.

Когда люди сеют просо, вы сеете соль. И муха съедает ваш посев на корню.

Сегодня вы к своим грехам прибавили еще один.

И я, Платон, получивший знание от Батала, говорю вам, что не спасетесь, пока зубами не вырвете все корни чая.

На уютной зеленой лужайке, в тени раскидистой шелковицы сидел Платон, беседуя с Баталом.

— *Егей, жизнь!* — услышал Платон.

Это Батал пригласил живого старца присоединиться к молчаливой беседе. Но когда Платон стал следить за его мыслью, как мы следим иногда за движением лосося вверх по Кодору, по редкому мельканию на зыбкой поверхности красного гребня его хребта, он увидел, он услышал упрямо плывущее вверх по реке раздумий видение *народа и беды*.

— Да, жизнь, *вообще!* — ответил Платон. — И не ведал я, что такие испытания суждены народу, вообще!

.....
.....
— *Знание остается. Туда, где Полнота, мы ничего не забираем с собой, кроме личных и общих грехов.*

— Вообще, — сумрачно пробормотал Платон.

О базаре

Летний вечер. На райцентровском базаре в сутолоке торговли неожиданно раздался страшный вопль.

Все, кто был на рынке в этот оживленный час, — и торговцы, и покупатели, — перепугались: не начались ли уже *столкновения*, которых, естественно, опасались, считая, однако, их неизбежными.

Нет, по хорошему поводу был этот вопль! Это был крик радости, это был глас исполненной мечты!

Это вопил Паха.

— Ядри его бабушку! Эй! Уй! Нашел!

В лавочке Исаака, в самой неприметной на райцентровском базаре лавочке, где продавался всякий утиль, она и стояла в углу, моя хорошая! Немудрено, что ее не заметили: моя золотая была завалена всяким хламом. Может, так и доехала, незаметная-милая, из алчного Сухума. Она! Это она! И *каландаши* на месте, и *дырка* у загривка! Эй! Уй!

— Что ты разорался, дурак, что это ты нашел? — рассердился Исаак.

— Давай, вытаскивай вон ту лошадку, а я мигом за деньгами! — сказал Паха и выбежал из лавки.

Он шел, бедолага, и громко радовался. Весь день был сегодня такой, что — тьфу! тьфу! — одни удачи. Вы слышали, чтобы у нас в райцентре раньше продавали такую штуковину, которую кладешь в сумку и она, как лягушка, сохраняет холод? А он в этот день и нашел, и купил такую штуковину. Целый час по рынку слонялся, держа сто стаканов мороженого в целлофановом кульке, и это мороженое, благодаря штуковине, как было твердое, так и оставалось, несмотря на жару. А еще лошадка. Дети с ума сойдут от удовольствия! Враз, в один день он исполнит оба своих обещания сыновьям.

Он влетел в почтовое отделение, сообщая знакомой девушке номер и серию лотерейки:

— Давай, дочка, ищи «Запорожец»!

— Так она к нам и попала, — вздохнула девушка и с вялым неверием в фарту взяла первый попавшийся билет. И тут же изменилась в лице. Ибо, если так решит Отец наш небесный, то все будет складываться, как в кино. Этот первый билет и был тот, номер и серию которого назвал Паха.

— Вот и получай свой «Запорожец», а мне дай ровно 504 рубля, на них я покупаю кое-что, попроторнее машины!

— Ты что, дурень! Деньги возьми в долг, а выигрышем просто поделимся! — воскликнула честная девушка, но Паха, не слушая ее, выбежал и поспешил к Исааку.

И вот через минуту, держа за пазухой лошадку, Паха возвращался домой аршинными шагами, потому что нервов у него не хватило бы ехать на медлительном автобусе.

А столкновения как раз в этот день и начались.

Мазакуаль, моя старая свидетельница, уныло бредя по городу, вышла на одно из людских сборищ в тот момент, когда это мирное сборище должно было превратиться в воинственное.

Это были абхазы, пикетировавшие школу, чтобы воспрепятствовать приему документов в филиал. Люди запрудили улицу Чавчавадзе. Тени от деревьев не хватало на всех. Люди изнывали от жары. По обрывкам речей Мазакуаль поняла, что все ждут некоего Лагустановича, который обещал подойти в четыре часа, то есть скоро.

— В четыре приду с указом, запрещающим открытие всяких филиалов, — сказал он, — или же стану рядом со своим народом.

Собачьим нюхом Мазакуаль чувствовала, что тот, кого ждут, не станет рядом со своим народом и ни к чему хорошему это не приведет. Она пустилась наутек от того места. Но не пробежала и двухсот человеческих шагов, как наткнулась в парке Руставели еще на одно сборище, уже людей другой стаи.

И тут как раз держал речь Александрэ Бобонадзе.

Так что ясно было Мазакуаль, что и отсюда надо рвать когти.

И она едва успела. Бобонадзе имел речь, а поодаль избивали какого-то снимальщика. И две девицы, которые это увидели, — в визг:

— Там абхаза избивают! Где мужчины!

Появления мужчин Мазакуаль не стала ждать. И правильно сделала. Там произошла жестокая драка. Погиб человек. И тут же весть об этом распространилась по всей Абхазии.

Но описывать начало гражданской войны непросто, тем более когда она тебя самого по живому... Можно прослыть необъективным.

Я — и вдруг необъективный, дорогие мои читательницы!

Но все же проще обратиться к документу, которым мы располагаем. Это очерк, опубликованный по горячим следам во внеполитическом журнале «Word & Deed», издаваемом не у нас, а за границей, причем чисто творческой организацией.

«... Поводы для ссор на Кавказе в высшей степени гуманитарные. На Кавказе войны начинают не вожди, и не полковники, а историки. И сейчас резня началась из-за университета. Дело в том, что к этому времени всюду шел процесс разделения гуманитарных организаций и фондов по национальному признаку. Первыми отделились от писательского союза Абхазии грузинские писатели, создав филиал грузинского союза. Его примеру последовали другие творческие союзы. И наконец — университет. Что тут такого, спросит европейский читатель. Дело в том, что в СССР — система централизованного финансирования, и абхазский университет, как и любое учреждение Абхазии, получал дотации на содержание из Тбилиси. Так что создание филиала Тбилисского университета означало фактически превращение абхазского из государственного в бесхозный. 15 июня собрался абхазский митинг, где было заявлено, что эта акция — последняя в звене разрушения автономии прав Абхазии, и если она приведет к кровополитию, то ответственность ложится на противоположную сторо-

ну и т. д. Власти, явившись на митинг, заверили публику, что этого не произойдет. Само решение о создании филиала университета, кстати, было подписано тбилисским чиновником в субботний день. Кровополитие началось 16 июля, когда, наперекор местным властям, в филиал начался прием документов. Абхазы блокировали школу, арендованную под этот филиал. Увлечшийся политикой актер Бобонадзе собрал митинг через квартал от места, где собралось чуть ли не все абхазское население Сухума. Все условия для столкновения были созданы: оно началось около 16 часов местного времени...»

Паха шел, ничего этого не зная. У первой же деревни его остановила толпа, вооруженная штырями и палками.

От него потребовали ответа на то, о чем думать Паха больше всего не любил: кто он по национальности. Он был мингрел, стало быть, грузин, но родился и вырос в Абхазии и среди абхазов. А тут поди разгляди глазами, затуманенными счастьем, чей стоит пикет: грузинский или абхазский! Кроме того, обостренной интуицией, которое человеку даруют ангелы в момент, когда он может получить п... лей, он просекал, что национальность — повод, чтобы придраться, а причина — то, что давно никто не ехал, и у толпы уже чесались руки. И Паха поступил, как ему казалось и как кажется мне самому, разумно, закричав: «А какое это ваше дело и какое это имеет значение, ядри вашу бабушку!», но тут ведь важно было еще, на каком языке он это прокричал. В общем, начали его бить.

Паха решил терпеть, но лошадку отставил в сторонку от греха подальше. Долго его били, ядри их бабушку. Долго он терпел. Но тут гнедая моя и залетная была замечена, и кто-то пнул ее, ретивую, ногой. На глазах у изумленного Пахи ка-ак подскочит моя пышногривая и статная, ка-ак упадет в яму. Хорошо еще — в мягкую яму. Этого не следовало делать сим великовозрастным хулиганам. Они переоценили свои силы, было же их не более дюжины мужчин. А разъяренного Паху вы можете себе представить! Как буй-вол, — именно как буй-вол, а не кроткий наш буйвол; буйволом он был до гнева! — он налетел на мужиков, раскидал их в разные стороны, где они падали пожестче, чем его лошадка!.. Но и голова у него была на плечах: понимаемая, что, опомнившись, они его одолеют, он сделал то, что делать не собирался — как сел на лошадку, как слопал еще по пути десяток стаканов мороженого! Но то он слопал по рассеянности и, опомнившись, перестал, а тут первым делом надо было саму лошадку спасать. Он сел на нее, сунул каландаши под загривок, и — поминай как звали!

Достигнув безопасного расстояния, он все-таки слез с лошади и снова взял ее в руки, хотя она прекрасно выносила его тяжесть. Везла же она невесомо и мягко, как верховой волк.

О гневе народном

Тот самый бригадир, который, помните, чуть было не арестовал Могеля как курограда, примчался к вечеру в Хаттрипш. Он был взволнован. Он клятвенно заверял, что все абхазы в Сухуме зарезаны, некому даже подобрать трупы и псы лакают человеческую кровь. Сам он унес ноги, подобно Гаруну бежав быстрее лани. И хотя в селе ему всегда не верили, сейчас маловерие было подобно малодушию. Услыхав дурную весть даже из ненадежных уст, следует ее проверить.

Как часто, путая суетливость с деловитостью, именно суетунов мы выбираем себе в бригадиры!

Подобные же Гаруны оказались в каждом абхазском и грузинском градах и весях.

В одночасье Абхазия стала подобна встревоженному улью. А тут еще выяснилось, что в тысячах людей дремал нереализованный автоинспектор.

Тут опять предпочту я, милые читательницы, вернуться к вышеупомянутому очерку.

«Как только произошла первая кровавая стычка в парке, абхазы переместились на площадь Ленина и заняли оборону. Тут они выдержали несколько вооруженных нападений. С обеих сторон применялось автоматическое оружие и взрывные устройства. Утром чрезвычайное положение было введено по всей Абхазии, но чтобы до прибытия войск МВД СССР из Тбилиси предотвратить более серьезные столкновения в столице, власти решили, и решили правильно, вывезти одну из двух враждующих групп из столицы. Легче было удалить абхазов, которых было меньше числом. Это не составило труда, как только Народный фронт, получив право от властей на своеобразный тактический обман, пообещал, что в городе Гудауте мужчины получают оружие и будут десантированы по предусмотренному плану, тогда как женщины и дети в той же Гудауте будут в безопасности.

Большого побоища в Сухуме избежать удалось, но тут начались безобразия на дорогах. Люди, вооружившись кто во что горазд, высыпали на трассу. Останавливали машины, проверяли документы, мужчин вытаскивали из машин и избивали. Уже стали появляться удалцы и герои.

Взаимный страх и подозрительность завладели умами. Сосед стал дозревать соседа, с которым прожил рядом целую жизнь, в намерении устроить в его доме погром. И, раз так, сам морально готовился к погрому же.

До погромов все-таки не дошло: я свидетельствую. И не слыхал я также о фактах изнасилования. Сказывались еще традиции добрых взаимоотношений в быту между этими двумя народами, весьма сходными по обычаям и одинаково формально ортодоксальными христианами, а по сути атеистами. Избиений же было много. А главное: был преодолен некий моральный рубеж: абхазы и грузины вступили в отношения кровников.

Отсутствие информации способствовало нарастанию зла. Хотя, с другой стороны, хорошо, что люди не смотрели телевизора и не читали газет: все стояли на уличных пикетах. А в средствах массовой информации началась самая что ни на есть вакханалия. Политики и газетчики тут же перевели на проценты соотношение жертв по национальному признаку. Список погибших перевалил за второй десяток. О жертвах, в основном, в процентах и сообщалось. Число непосредственно погибших в уличных беспорядках увеличивалось за счет несчастных, с кем мафия свела под шумок старые счеты.

Не видать было сил, действительно призывающих к миру».

О кровавом рассвете

После смерти Хозяина Мазакваль стала падать духом. А после отлета Его Божественной Милости она стала попросту опускаться. Могла Мазакваль, конечно же, поехать к Старушке, если та еще жива, но столь длительные расстояния домашние животные не могут преодолевать самостоятельно. Она вдруг, враз потеряла жизненную цель. Единственным живым чувством, которое оставалось в ее груди, было желание мести. Жажда мести живуча не только в сердцах людей, но и в любой Божьей твари. Вяло, но она все же продолжала искать обидчицу. И сейчас держала утку, которую припасла на обед, но могла пустить и на наживку.

Взглянув в глаза красному, пугающему восходу, с совсем не утренним

унынием в сердце Мазакваль свернула с набережной и вышла на проспект Мира в городе, где совсем уже не было мира.

«На рассвете край неба кровав, красная всходит трава. На рассвете кто-то взглянул на кровь, принимая ее за зарю» — вспомнила она слова Арсена. Мазакваль, несмотря на свою неграмотность, признала и полюбила поэта — одна из первых вслед за эстетиками-павлинами. Так и не получил Арсен признания при жизни, зато после того, как он трагически погиб, попав на стол к неформалам, отовсюду стали выискиваться его закадычные друзья, а чуть ли не каждая вторая смазливая курочка между реками Гумиста и Келасур не стесняется публично заявлять, что именно она могла претендовать на место хозяйки в его сердце, думала Мазакваль, раздраженно торопя свою утку. Даже люди разных стай стараются перетянуть его, мертвого, каждый на свою сторону. А между тем Мазакваль, знавшая его в последнее время ближе всех, может засвидетельствовать, что Арсен Междуреченский был поэт до мозга костей и совершенно чужд политики.

Навстречу ей шли два человека с носилками. Судя по тому, что они были без белых халатов, это не были санитары. А главное, человек, которого они несли, был уже не человек, а труп. Они несли *свой труп*. Они несли его как-то торопливо и оглядываясь, словно опасались, что даже труп у них могут отнять. Такая вот картинка курортного городка в разгар сезона! С еще более испорченным настроением она пошла дальше.

И вдруг — кого она видит!

— Прошмондовка! Пани-курва! Регина!

Вот она где идет! Идет сама, и хозюк ее не сопровождает.

Ну что ж! Мазакваль, вперед! Утка на месте, злость на месте! Держись, обидчица.

Но мстительному пылу собаки было суждено угаснуть немедленно, как только она увидела врага с близкого расстояния. И где та холеная *кекела**, которая брюзливо и походя укусила ее на пляже? Навстречу ей шла сломленная псина, навстречу ей шла *обиженная*. Она шла, проклиная себя и целый свет, и голодные пяточки ее глаз были полны слез.

— Что с тобой, дуреха? — спросила Мазакваль, смело выйдя ей навстречу.

Было трудно понять, узнала ее Регина или нет, но она так была рада какой-нибудь знакомой морде, что тут же подскочила к ней и стала радостно ее обнюхивать.

Шестой день не ела ничего! Ни гамбургера, ни копченой колбасы, ни педигри! Хозюк бросил ее и уехал!

Уехал, видите ли, в Гудауту!

Не имея никакого желания разговоры разговаривать с ней, Мазакваль уступила бывшей неприятельнице утку и пошла прочь. Целую утку, если эта чистоплюйка догадается ее разгрызть, а то вполне может статься, что она ни разу не пробовала сырого мяса, а все по-господски: свежесваренную или копченую птицу. Ничего, голод всему научит!

Читатели! Недаром говорят в народе: сделай доброе — и брось в воду. И воздастся тебе само. Что касается Мазакваль, горняя благодарность настгла ее на первом же повороте.

— Мистер Лоткэнз! Мистер Лоткэнз! Кэйс! — воскликнула иностранного вида барышня, присев перед дворняжкой и так смело почесав ее за ухом, что самой Мазакваль это польстило и она смягчилась. — Вы только посмотрите! Сдается мне, что это *кромфорлендер!*

Парень, которого она звала, стоял неподалеку, что-то переписывая в

* Прозвище кокетки (груз.).

блокнот со стенда неформалов. Он немедленно примчался на зов и тоже сел на корточки перед дворнягой. Концы его седых, но довольно густых волос, стянутых пестрой лентой, приятно щекотнули ее по мордочке. Патлатый тоже потрепал Мазакуаль по шее. Это были новые для Мазакуаль ощущения, никто не ни разу в жизни ни за ухом не почесал, ни по шее не потрепал. А дальше — лучше!

— Вы правы, леди Юнон. Все характерные и типичные приметы налицо. *И это наиболее ценная и редкая разновидность — жесткошерстная!* — и погладил собаку по шерсти.

— И бронзовые пятна расположены удивительно симметрично на белом фоне. Вернейший признак, — девка тоже погладила собаку. Его и ее пальцы встретились на жесткой шерсти Мазакуаль.

Слушай, Мазакуаль, слушай!

— Но откуда в этой дыре взяться кромфорлендеру, который и на Западе-то редкость! *Они — врожденные охотники.*

Слушай, бедолага, и не дыши!

— Я могу вам это объяснить. В начале века в Мингрелии, а именно в Зугдиди, жил сын маршала Мюрата, женатый на грузинской княжне. Он был большой знаток редких собак. Породы, завезенные французом, потом вполне могли оказаться в руках простолюдинов. А попасть ей, *сучке моей...*

Эта непристойность покорежила слух девственницы Мазакуаль. Но ничего, ничего, терпение!

— ... из Зугдиди сюда попасть — дело нехитрое. В этом городе чуть не половина населения из Зугдиди.

— Но, позвольте, а как она могла сохранить породу?

— Разве вы не знаете? Кромфорлендер — порода собак чрезвычайно гордых...

Совершенно верно!

— ... особенно в том, что касается вопросов секса. Скорее дочь испанского гранда выйдет замуж за простого мучачо, чем дама этой породы согласится на случку с кем-либо, помимо своей породы.

Точно так, безо всяких преувеличений! Молчи, Мазакуаль!

— Ну что, *Дуэнья?* — патлатый потрепал собаку по голове.

Дуэнья — так Дуэнья. А чем оно хуже прозвища Мазакуаль, и кто это прозвище помнит!

— ...поедешь с нами в *Атланту?*

В Атланту — так в Атланту, подумала собака, только выговорить не могла. Не знала она, что это за деревня, но: куда угодно, только подальше от этих мест!

Осень витязь Хатт из рода Хаттов проводил в горах со стадом коз. Уже становилось холодно; он разжег атасва, то есть огонь. Он сидел у атасва, глядел на небо, давая названия созвездьям.

Молния ударила дуб. «Атасвис», — сказал он, что означает: «бьющий огонь».

Осенью он был в горах со своим стадом коз. Он залег в тени, играя на свирели, — и вдруг заметил, что козы его оживлены. Он заметил, что козы оживлены, потому что попробовали незнакомого ему цветка. Желая узнать, что это за цветок, столь ожививший коз, он сам попробовал сока его лепестков. Хатт попробовал этого цветка. Козы продолжали плясать, а он лег ниц на землю.

Вот встану я — и, куда ни пойду, куда ни прочерчу себе дороги от места, где лежу в печали, а от точки, где я лежу в печали, я могу прочертить сонмище лучей-дорог — и повсюду мои лучи-дороги перерезает смерть. Смерть — это круг, внутри которого я заперт.

И от этой догадки он почувствовал себя одиноко. Познав свою запертость в круге жизни, за чертой которого смерть, он почувствовал такое одиночество, что его потянуло к людям. Он поспешил к ним.

Уже становилось холодно. Встав на косогоре, он увидел людей, собравшихся вокруг огня. «Атасваз», — сказал он, что означает «сбравшиеся вокруг огня», а сегодня это слово понимается как «кольцо». Ибо нельзя вокруг огня рассесться иначе, чем кольцом, то есть кругом.

Люди, сидевшие вокруг огня-атасва, тянули руки к его теплу. Их руки, как спицы, тянулись от круга к центру, где точка огня.

Люди заметили его. Они встали и побежали ему навстречу. Обступили его кругом, ибо обступить нельзя иначе, чем кругом, и тянули к нему спицы рук.

— Учитель людей! Тот раз ты нам показал, как разводить огонь. Нам стало и теплей, и счастливей, и уверенней. Что принес и что покажешь ты нам сейчас? — спрашивали они его.

Когда-то было ему так одиноко, что в сердцах он высек огонь из кресала и принес его людям. А сейчас он видел Атасваз, он видел Круг жизненного плена, и сейчас он задыхался внутри этого круга.

Но люди ждали и надеялись. И Хатт сказал им:

— Я покажу вам Золотое Колесо!

И научил людей пользоваться колесом.

Эпilog

О запахе звука

Когда Лагустанович почувствовал, что приближается неоднократно воспетое им в поэмах *Ничто*, в которое должен человек буквально кануть, когда угаснет свет этой жизни, прекрасной и полной борьбы, он стал неторопливо прощаться с близкими и родными. С некоторыми, самыми любимыми, он попрощался несколько раз. Кое-кто, чего тут таить, считая, значит, что смерть — это нечто, имеющее отношение к именитому родственнику, но не к ним, счел, что Лагустанович их несколько утомил. Но смерть имеет обыкновение хотя бы раз в жизни являться даже к тем, кто и думать о ней не желает.

Имярекба, которому передали, что Григорий Лагустанович зовет его к смертному одру, не сразу смог выбрать время и пришел только на третий день. Но и Григорий Лагустанович в свою очередь не умер, а дождался, коли звал.

По просьбе умирающего их оставили наедине. И только тогда он заговорил: — Я должен сообщить тебе нечто важное.

Имярекба даже подумал: если речь пойдет о кубышке партийного золота, что может быть припрятана старым государственным где-нибудь у родичей в горах, то оно не помешало бы — он отдаст его в Народный фронт, не все, конечно, часть...

Но речь пошла о другом. Кубышка, если была, досталась Хасику и только Хасику.

— Тебе должно быть известно, кем я тебе прихожусь.

— Известно, — ответил молодой ученый, предполагая с некоторым раздражением, что сейчас старик заговорит о своих стараниях в его воспитании и карьере.

— Ты должен сейчас узнать, кто тебе настоящая мать.

— А разве она не умерла?

— Нет, твоя мать живет и здравствует. Твоя мать, да будет тебе известно — член-корреспондент Академии наук Грузинской ССР, депутат и. т. д, и. т. п. — Имярекидзе, — перечислил Григорий Лагустанович со свойственной ему педантичностью, рискуя не успеть договорить.

Тут я должен, даже прерывая умирающего, еще раз подчеркнуть, милые читательницы, и не в сносках подчеркнуть, а непосредственно в тексте, что все имена здесь вымышлены, даются как сатирические образы и не следует искать им жизненных аналогий!

— Был я тогда завотделом обкома компартии по агитации и пропаганде и курировал всю работу, касающуюся идеологии. Время, безусловно, было сложное. Некоторые ошибки и перехлесты мы сами признали, однако боролись же. Письмо, написанное нами в ЦК ВКПб в 46-м... В 46-м — я подчеркиваю... — вдруг Лагустанович вспомнил, что времени мало, и печаль выступила на мужественном его лице. Он вернулся к теме:

— Когда у нас родился ты, — мне было проще это устроить, — я отдал тебя на воспитание своему фронтовому другу, который как раз был завотделом гагрского торгового куста.

— А почему же вы с ней не поженились?

— Это было невозможно. Вся ее жизнь отдана ее народу, а вся моя жизнь — моему.

Григорий Лагустанович замолчал, тяжело дыша. Но замолчал он не на точке как бы, а на точке с запятой, поэтому Имярекба опять подумал, что теперь старик уже напомним о своих нелегальных стараниях в его воспитании и становлении. Но опять недооценил деликатность Лагустановича.

— Ты принес счастье в семью, в которую попал. До тебя у них три года не было детей, а после тебя в течение шести лет родилось семеро. — Старик перевел дух и горестно добавил: — А несчастлив был я. Мне самому в конечном итоге пришлось взять Хасика на воспитание. Но что из него получилось! Не работает, не учится, не женится.

Старик снова умолк. Имярекба ждал, чтобы задать несколько важных для него вопросов. Но когда Лагустанович пришел в себя, он сразу заговорил сам:

— Знаешь, когда я был по-настоящему счастлив? Месяц в детстве, когда кочевал с цыганами. *Помогай им...*

Плачьте, романэ! Плачьте, семь жен Бомборы Мануш-Саструно! Умирает начальник, депутат, ваш защитник-найко! Скоро начнется война! Вас пограбят и выгонят из Старого Поселка. И вместе со всеми *сухумскими*, вместе со мной, вашим современником и сопечальником, вы покинете город, громко голоса и горько плача. Уплывет ваш табор на грязной барже, покидая родную бухту!

А Григорий Лагустанович опять забылся, придя же в себя, опять не дал спросить. Надо было успеть о политической ситуации.

— Как он там, твой брат, среди диких горцев! — кажется, забредил он. Но взгляд имел осмысленный. Имярекба уже ждал, когда старик напомним ему о дяде, который тоже один среди алчных европейских дипломатов, но Лагустанович об этом не сказал. Но даже на смертном одре государственный и поэт оставил за собой последнее слово:

— Трудное время досталось вам, молодежи. Но устои выдержат, фундамент крепкий. Что мне сказать тебе напоследок? *Надо вольтынить...*

И Григорий Лагустанович умер на руках у раздраженного Имярекбы.

Далеко ли до хвоста земли, мама!

Ника Хатт ехал на своей сборной «Волге» из Сухума, где он сдавал барону Бомборе Кукуновичу туфли «Цебо». У въезда в Гульрипш ему встречалась целая колонна танков. Он сначала подумал, что это русские передвигают технику, но потом смотрит: люки открыты и оттуда выглядывают самые настоящие разгильдяи и оболтусы. Было ясно, что это свои: абхазы или грузины. Но насколько Нике было известно, абхазы танков не имели. Может быть, успели обзавестись? Танки как раз сломались и остановились. Бойцы повыскакивали из машин: кто бросился чинить моторы, кто бросился

ругать технику, а большинство ка-ак налетит на алычу, стоявшую над забором знакомого Нике свана, что в несколько минут на дереве осталась разве что кора. «Кушайте, бичебо*, кушайте, — лишь добродушно приговаривал хозяин. — Тоже мне солдаты, ядри вашу мать!»

«Была бы бузина, он бы вам не позволил!» — подумал Ника. Это мингрел возмутится, если станут грабить его алычу, потому что именно из нее он гонит чачу, а сван предпочитает *арак* из бузины.

Он вышел из машины и подошел к танку. Собственно, это был не совсем танк, это был БМП, но тогда еще наши люди так не различали технику, как различают сейчас.

— Учения идут? — спросил танкиста по-грузински Ника.

— Ты — грузин? — обратился к нему парень с вопросом на вопрос.

— Нет, абхаз.

Пауза. Боец с застенчивым любопытством изучал абхаза, который и зубами не клацал, и по-грузински говорил.

— *Восстанавливаем территориальную целостность Грузии*, — успокоился и объяснил он.

Ника не понял.

— Войной пошли на нас?

— Почему *сразу* войной?! Выпьем воды из древней грузинской реки Псоу и вернемся. Святой отец тоже с нами едет, — сказал боец, поправляя на голове шлем.

В этот поход, действительно, грузинские отряды доехали до Псоу, пограничной речки между огромной Россией и маленькой Абхазией, поп освятил воду реки, бойцы из нее шеломами почерпали, и армия вернулась в Тбилиси без конфликтов, если не брать в расчет инцидента на турбазе Дурмишхана Джушкуняни, где подвыпившие бойцы расстреляли и зажарили двух лебедей и князя Рабиндраната.

Князь Рабиндранат приходился кузеном Его Божественной Милости. Во время длительных голоданий махатмы кузен был ему постоянной опорой. Махатма как закутается, бывало, в сари и прижмется к камандалу, — орел голода с высоты своего полета не замечал его тщедушной фигурки — и незаметно проходило сорок дней, а у князя продолжалось опасное отсутствие голода. И тогда приходил к нему Рабиндранат, и пением на лютне услаждал брата и ласково уговаривал его прервать голодание. Но мы отвлеклись, а тут разворачиваются плохие дела в нашем *мире отражений*.

Ника больше не стал говорить с танкистом. Он вспоминал слова Кесоу, что надо готовиться к войне. Тогда он не придавал этим словам значения. Теперь же он разглядывал танк как врага, который в скором времени пойдет на него. Он разглядывал его хладнокровно и с ненавистью и так сжимал кулаки, что ногти впивались в ладони. Обошел несколько раз кругом. И тут же успокоился.

«*Это же — трактор!*» — подумал он. — *Как можно его бояться! Я возьму его голыми руками, если понадобится!»*

И он поехал, морально готовый воевать. Придет война, и буквально на третий день Ника Хатт с двумя приятелями действительно голыми руками возьмут тяжелый танк Т-55.

А парень, с которым он перебросился парой слов на грузинском, подумал про него:

— Вот нормальный абхаз, не сепаратист. Этот не станет с нами воевать, а скажет спасибо, что мы принесли ему свободу!

Нас так учили!

То был еще 1989 год.

* Парнишки (груз.).

Наспех запахнув тогу, Legat pro praetore Легиона Белых Орлов стремительным шагом вышел к портику дворца.

Одна пола его халата зацепилась за пояс, обнажая мохнатую ногу. Претор был крепок, но упитан, как и положено патрицию, часто меняющему походное седло на пирушественный триклиний.

Казимир Остапович Лодкин, украинский журналист и представитель творческой организации «Word & Deed», тут же отметил эту деталь и решил ее запомнить, чтобы написать о ней с иронией в московской газете, которая его заблаговременно прислала в Сухум, хотя в Москве никто еще не знал о готовящемся вторжении.

Начинали происходить дела. Так что становилось интересно и журналисту, и чемпионке Эстонии по стрельбе Юноне Петерсон. Они успели стать свидетелями трехдневного боя в центре города с применением вертолетов, артиллерии и танков. Казимир Остапович сделал много набросков, а Юнона успела испытать подаренный претором СКВ* с оптикой. А на этот момент, на утро 18 августа 1992 года, *по взаимной договоренности*, абхазы уже отступили за реку Гумисту, западную границу Сухума, грузины уже не отошли за Келасур, восточную границу. Но в город еще не вошли.

Прежде, чем выйти на балкон, Легат Про Преторе предусмотрительно разъяснил своим гостям:

— Знаю: вас несколько озадачит то, что я сейчас намерен сказать моим орлятам. Но если я не скажу им этого, ситуация выйдет из-под контроля.

Журналист заметил зеркало. Зеркало было прислонено к перилам балкона как бы невзначай, но скорее всего было выставлено вчера. Журналист догадался, что сходство с легионером ему предлагается. Но он мог быть и слишком подозрительным. Все-таки, прежде, чем выйти послушать историческую речь, Лодкин иронически накиннул на плечо пучок прутьев, связанных бордовым ремнем — символ ликторов. Пучков всего было шесть, потому что именно шестерым ликторам положено сопровождать претора, но они к этому моменту куда-то разбежались.

Претор приготовился говорить. Он полагал, что его друзья остаются в покоях, потому что в зеркале наблюдал только за собой, упуская задний план. Иначе он как воспитанный человек ни за что бы не извергнул воздуха в их присутствии.

Оратор глотнул в полные легкие свежего утреннего воздуха субтропиков. Но, читатель, походная жизнь сопряжена со случайной кухней и, стало быть, с проблемами желудка, а генерал был мужчина уже немолодой (по традиции претор должен быть не моложе сорока трех лет), хотя и полный сил и здоровья; одним словом, в тот момент, когда сладостно подтянулся, он выпустил газы, причем так резко, что полы его кизилового цвета халата затрепетали, как знамя. Будучи воспитанным человеком, он тут же подумал о гостях, не услышали ли они непроизвольного звука. Но тут внизу столько танков выпускало газы, что вряд ли они что-то учуяли. Танки выпускали еще смрадный запах солярки, в котором, как он надеялся, должен был потонуть запах звука, но дело в том, что *запах звука* изучен не до конца.

Оратор выдвинул вперед именно обнаженную ногу в сандалии и выкинул вперед руку — не ту, которая была сунута за ворот халата, а другую, правую. Внизу, готовое ему внимать, его воинство скребницами чистило танки. Замерев в великолепной позе, легионер ждал, когда станет достаточно тихо. Журналист вышел послушать, а Юнона, ввиду деликатности своего нахождения здесь, осталась в отдалении.

Оратор начал речь. Она была коротка:

* Снайперская винтовка Калашникова.

— Сограждане! — воскликнул он.

Во-первых, он действительно чувствовал всю *волнительность* момента; во-вторых, с этим сбродом, который где и как он набирал, ему ли не знать, с ними надо говорить театрально, иначе они не воспримут; в-третьих, еще надо было перекричать танки. И вот, когда он вскинул руку и воскликнул «Сограждане!», снова у него случился выхлоп газов.

Орел, отвлекшись на красоты, не поймает зайца. Если бы претор Легиона Белых Орлов, как истинный эстет, залюбовался утренней панорамой города, которая открывалась ему с балкона дома Смецкого во всем великолепии,

*он увидел бы,
как этим утром
прозрачен и влажен
триколор горизонта:
синий, белый, синий —
море, воздух, небо;*
*он увидел бы,
как на мгновение,
словно в негативном изображении,
белые крылья чаек
становятся черными,
когда они
в ленивом утреннем полете
пересекают снопы солнечных лучей;*
*он увидел бы,
как белесый туман,
уступая свету и теплу,
хочет уйти,
но некуда ему уходить
в беспредельной открытости,
и части его,
причудливо собираясь там и тут,
пытаются притвориться лоскутами облаков;*
*он увидел бы,
как над классической дугою бухты
и над зелено-белым городом
день принимает очертания
прямо на глазах, —*

он бы точно прозевал зайца. Но именно о зайце наживы в неподвижном ландшафте испуганного города должна была пойти речь в этот момент, потому что война требует предельной концентрации воли и несовместима с сантиментами.

— Сограждане! Перед вами город. Он — ваш... — И претор говорил твердо.

— Опять пукнул, — сказал журналист Юноне. Оба, как выяснилось, с самого начала все слышали.

— Не люблю интеллигентного жеманства, Кази! — воскликнула Юнона с сильным прибалтийским акцентом, но на правильном русском. — Мне больше по душе слово: «пернул». *Война идет!*

Война пришла.

Мария Игнатьева
Стихи, присланные из Испании

* * *

Не хочу говорить на чужом языке.
Я уже на своем не упомяну
Слов иных. Бестолковее рыбы в реке,
То-то глубже ушла, да — бездомней.

Отступая от слов человеческих, губ,
Я попала в затопленный ящик,
Где ракушечьим слухом уловлен испуг
Всех живых и во сне говорящих.

1991

* * *

Он вышел навстречу мне, будто слепой,
Толкаемый ветром в мальчишечью спину.
И так обреченно упал предо мной,
Что я его больше уже не покину.

О, темная, темная женская страсть!
С какой она мукой умеет припасть
К больному. Огромное чрево земное
Объемлет убитых, отрекши себя.
А мы обнимаем любимых, губя
Спасенье свое за небесной чертою.

1989

* * *

Душа научилась любви человеческой,
И не унижением кажутся ей
Людские насмешки и узкие речи,
А просто усилием темных вещей.

Среди человек мы живые — как вещи,
Но мертвые в нас зачинают детей.

1990

Мария Юльевна Оганисян (Игнатьева) родилась в 1963 году в Москве. Закончила журфак МГУ и аспирантуру филфака МГУ, защитила диссертацию по литературе Франции и Испании XVII века. Работала в ИМЛИ. В 1990 году уехала в Испанию, живет в Барселоне, преподает русский язык в Государственной школе языков. Стихов своих никогда не печатала.

* * *

Нечесанных, немых,
Нас здесь научат жить,
Рожать на вдох и выдох,
И даже водку пить —

Глоточками, как птицы,
Чирикающая впад.
И нечего сердиться,
Никто не виноват.

1995

* * *

Пасха, Пасха на снегу —
разноцветные скорлупки...
Похристосуемся! — в шубке
мой сыночек...
Не могу!

1995

* * *

Нерифмованное слово,
Засидевшаяся в девках,
Таня выскочить готова,
За любого, за другого.
Как кошмарная издевка
Над (себе же) откровеньем
(Нет... другой... кому... на свете...),
И (с таким остервененьем —
Хрясть — искатели жемчужин)
Любит бакенбарды эти,
Называемые мужем.

1993

* * *

Было время — я не знала,
Что горит на солнце кровь,
По-испански не читала...
А теперь — не прекословь!
Русскоглазая девица,
Отворяй заёмный кров
Ясноокиим, смуглолицым
Победителям быков.
(Бычьё голову не мучит
Ни отчаянье, ни страх!)
А тебя они приучат
К красной розе в волосах!

1995

* * *

Соловей поет соловьище...

Я не соловью пою, а ворону.
Дурочку в сандалиях разорванных,
Учит меня жить по эту сторону,
Где стихов не слышно на версту.
Я ушла из песенного города,
И теперь, как пугало, расту,
Прилепившись к жесткому шесту.

«Отпусти», — неслышно, неуверенно
Говорю бесчувственной материи.
Без тебя — свободна и потеряна,
А с тобой при деле, да раба.
Умереть — веселая судьба,
Здесь, где из оливкового дерева
Сочиняют легкие гроба.

1990

* * *

Господи, густой, густой
Воздух города. Настой
Света, темного по праву.
Обреченно пей и пой
Средиземную отраву.

От зари и до зари
Обреченно говори
Тем наречьем, на котором

Пели рыцари, цари
Говорили с Христофором.

Трубадуршей завозной
Воспеваю горький зной,
Что готически украшен
Морем в обмороке башен
Богородицы Морской.

Cavaller

А. Ч.

В этом городе дождь как подарок.
Обрубив золотые хвосты
Сотне солнц, издающих из арок
Оглушительный рёв духоты,

Он срывает с церкви черепицу,
Он смывает колечко с руки.
Победить в состязаньи. Жениться.
В Палестину сбежать от тоски.

* * *

Все валится из рук. Я опасаюсь,
Что не смогу сегодня удержать
Твое лицо средоточеньем воли.
Мне весело, что я собрать пытаюсь
Упавшие на пол крупы соли,
Как будто бы их жалко потерять.

* * *

Если б только на десять минут
Мы смогли отложить попечение
О земном, как святые поют,
Мы бы вышли к иному сечению
Наших буден, в которых темно
Прижимаются лица к событиям,
И занятие жизнью равно
Равнодушно-бесстыжим соитиям.

1990

* * *

Эта боль, этот страх, этот ужас —
Пробуждение ночью, в тоске,
Эта богооставленность хуже,
Чем убийство младенца, ни с кем
Не поделишься этим, не встанешь
На колени, а только замрешь.
И как будто кого-то обманешь
И проклятую ночь переждешь.

1989

* * *

Обласканное тканью средиземной,
Ликует тело. Ты ж,
Душа, плененною царевной
О том грустишь,
Что в роскоши тюремной
Не спишь, не дыш...

* * *

Ах, пропади оно пропадом,
это житье.
Да не покажется ропотом
это нытье
Господу моему.
Знает он — почему.

* * *

Знает Бог, чего хочу.
Видит Он, чего ищу,
И куда иду, сжимая
Несветящую свечу.

* * *

Уложили снежок золоченой парчой
На чугунных крестах, колченогих дорожках.
И вдыхая апрельской зимы преизбыток,
Очумели грачи, а зиме — нипочем.
В самодельной избушке на сломанных ножках
Подрались, и не вымели чашек разбитых.

Во земле иберийской, в обидах земных,
Разгребая осколки домашнего скарба,
Иногда уколую о булавку такую,
Что, заплакав, забуду своих и чужих.
Арестантской походкой сбежавшего краба
Поспешу по песочку в чащобу морскую.

1992

* * *

На востоке вытянулась степь.
Вьюга по глазам ее стегает.
По степи слепая ходит смерть.

Погоди ж, она тебя узнает
Здесь, где ты от первого лица
О другом рассказываешь байки.
И договорит их до конца.

Баю-баю, матери — китайки.

Тихий звук приходит из-за гор,
О, родимый — то ли колыбельный,
То ли погребальный. Как простор
На снегах равнины беспредельной.

1992

* * *

Так: напрягая обстоятельства,
Косноязычней Агни-Йоги,
Я предаю себя ручательству
Глухой заснеженной дороги.

Ее ухабинам, колдобинам,
Ее словам неодолимым,
Родным — в сочувствии особенном
К поющим тайно нелюдимам.

Sant Pau d'ordal

Не из прежней ли жизни привычен
Возникает передо мной
Этот вид из окна — ограничен
Виноградником, небом, горой.

Арарата сухой отголосок —
Камня хруст под копытом осла,

А на лицах крестьян — горбоносых
Моих прадедов тень пролегла.

И рядами размеренных кочек,
В коих легкое зреет питье,
Точно хмелем рифмованных строчек
Утешается сердце мое.

* * *

Душе моя, печальные иконы
Взирают на усердные поклоны
Из сумрачных кивотов, словно из
Окошка ночью выглянули дети
И слушают, как ветви клонит ветер
И бьется о невидимый карниз.

1988

Армения

Море сумрака, марево рани —
Самый сирый пейзаж на земле.
А в горбатой моей Эривани
Солнце пляшет на желтом осле.

Белым тупом притупленный воздух
Умыкает гору у границ,
И оттуда, как йоги на гвозди,
Улыбаясь, я падаю ниц.

День стоит как худой недоносок,
Удивительно бледен и сер,
Только горло хранит отголосок
Заколоченных чутких пещер.

И монахов ночных бормотанье
Бередит инородную речь.
Море сумрака, марево рани
Я поэтому в силах сберечь.

1987

* * *

Let us go then, you and I...

T. S. Eliot

И потому, что я всегда спешила,
бабушка головой качала,
и у меня не было подруги.
Девочки благосклонно
отвечали: со следующего кона.

А когда я им кричала:
ну, побежали, побежали! —
они принимались играть в классики,
опоздавшие приносили битку,
и все девочки
прыгали по клеточкам.

1982

* * *

Вернуться. Топтаться в прихожей,
Вчерашний начать разговор.
И речью уже не похожей —
На братьев моих и сестер —

Не надо, не плачьте, я дома —
Смотрю, узнавая живых,
Но лица пусты, незнакомы,
И сердцу не больно от них.

1989. 1996

* * *

Без упрёка и боязни
Я гляжу на образа.
Но пугают одноклассниц
Незнакомые глаза.

Темно-лунные, родные,
Проклинающие вся,

И над собственной гордыней
Насмехающиеся.

Хорошо, что их лелеют
Озорные молодцы,
И в утробах тяжелеют
Легкокрылые птенцы.

* * *

Март. Жиреет вдохновенно
Черно-рыжая земля.
В этом воздухе — измена,
В этом куполе — петля.

И стесняется на деснах
Обнаглевших холодов

Мясо вымерзших, тифозных
Бритых наголо холмов.

Чахнут в сдавленном восторге
Крики-выстрелы ворон,
Но ведет святой Георгий
Наше войско без погон.

Паша Саровская

А юродивая сядет
На пол перед стульями,
И косыночку разгладит,
Вышитую пулями.

Завернет в нее солому...
Тишина подвальная.
Кукла вымершего дома.
Бабка повивальная.

1995

* * *

Начинается: «жили да были» —
Деревянная сказка. Вранье
Начинается. Жили да выли
Про дремучее время свое.

Вот и мы теперь тут поживаем,
Волочась костяною ногой,
И самих себя воображаем
Персонажами сказки родной.

1994

* * *

Я знаю, что в далекой стороне,
Где вещи называются иначе,
Он точно так же плачет обо мне,
Как я о нем. А я о нем — не плачу.

За ужином, в объятиях, во сне,
Иль покупая свежую газету,
Он точно так же помнит обо мне,
Как я о нем, дописывая это

Четверостишье. Выровненный ряд
Знакомых слов, построенных в колонку,
Меж ним и мною тянет наугад
Заправленную ловко фотопленку.

Я вижу сквозь нее неясный свет,
Людей неинтересные движенья,
И в глубине — размытый силуэт,
Как собственной беды отображенье.

1993

Барселона

Евгения и Иосиф Кунины

Октаэдр

Фантастический роман в двух частях.

Об «Октаэдре» и о его авторах

Лежащему перед вами роману в наступившем 1997 году исполнится 75 лет. Рискну все же сказать: мало какое из рождающихся сегодня произведений поспорит с ним в молодости. Ощущение подлинной веселости будет сопровождать вас от первой страницы, с велеречивого анонимного письма-угрозы, которое получает молодой герой. Изысканные эпитафии окажутся тонко задуманными «обманками», приходящими в комическое несоответствие с происходящими событиями...

«Октаэдр» не только весел, а еще и занимателен. Написан он в нечастом в нашей литературе жанре авантюрной фантастики, или фантастического детектива (точнее — фантастико-иронического). Тут и лихо закрученная интрига, и магия, и научная фантастика, и восточная сказка, и постоянная ирония (чего стоит один только комтур-индус, появляющийся всюду в виде шоколадки). Чуть не каждая страница чревата непредвиденными событиями и неожиданными поворотами. Правда, в последних главах, когда события примут уже нешуточный оборот и масштаб поистине космический, станет не до веселья.

Фантастические события романа недаром происходят не в будущем, а в том настоящем, в котором живут авторы-повествователи и их предполагаемый читатель. Герои со странными иноплеменными именами и таинственное Братство, объединяющее их, погружены в реальную обстановку Москвы и отчасти Петрограда начала двадцатых годов. Йонг Лохинвар ежевечерне ходит к любимой на Мясницкую, вот только живет она в доме 52, а последний дом на Мясницкой имел в те годы № 50... Ноктий, вернувшись в Петроград из Германии, тут же по неисправности документов оказывается в ЧК... И ночные допросы там ведет усталый следователь-латыш с прокурорным голосом...

Постепенно у читающего рождается подозрение, что авторы хорошо знали не только описываемую обстановку, но и своих героев. Однажды, когда мне привелось расспрашивать их обоих о романе, Евгения Филипповна так и сказала: «Мы просто собирались вместе каждое утро, садились и начинали думать: а что стало бы с нашими друзьями, если...» Но отложим разговор о прототипах — лучше, если вы узнаете о них, уже прочитав роман, из послесловия. А вот рассказать о самих авторах стоит уже теперь.

Брат и сестра Кунины начали писать свой роман летом 1922 года на даче в подмосковном Звягине. Были они тогда оба студентами: восемнадцатилетний Иосиф учился в брюсовском Высшем литературно-художественном институте, а Евгения (ей шел двадцать четвертый год) — на лингвистическом отделении факультета общественных наук Московского университета. Оба писали стихи, видели себя в мечтах профессиональными литераторами. И все окружение их — от седовласого Брюсова до юных сверстников — составляли литераторы или люди, дышавшие литературой.

Об атмосфере таланта и беззаботного веселья, соединявшей Куниных с их друзьями-сверстниками, а отчасти и об их тогдашнем общественном настрое дает представление половина тетрадного листка в линейку, найденная мною в сборнике стихов их друга Бориса Лапина, сохранившемся в их домашней библиотеке. С одной стороны листка — общее послание Куниных, написанное рукой брата, с другой — приписка сестры:

«Милый Боря!

*Неожиданные дела вызывают нас в канцелярию Сатаны. Исправление и про-
дление существующих контрактов и пр.*

*Если обойдется без особых недоразумений с обитателями вышеуказанной кан-
целярии Ф.О.Н.-Сатаны, то утром грядущего завтра дня Вы найдете нас дома. В
противном случае — пишете некролог.*

Верные до гроба

Кунины

10/X-22 г.

*Вчера были в Институте: В<алерий> Я<ковлевич> в семинарии по Всеобщей
Истории популяризовал 1-ю главу «Учителей». В утешение слушателям в качест-
ве всецелительного гарнира В. Я. сообщил несколько соображений о роли экономи-
ческого фактора. Однако ни логической, ни гастрономической связанности 2-ух
блюд не отмечено. Это марксизм в приглядку.*

На обороте:

Дитя моего сердца! Принесите «Театр и студию», будьте добры.

Женя

Р.С. Бусики кланяются

Р.р.с. Мама кланяется

Р.р.р.с. Папа кланяется.

.....n+1. Не берите Принца Кошатиц!».

Страшный «Ф.О.Н.», приравниваемый в письме к сатане, это факультет обще-
ственных наук МГУ, а «Учители» — малоизвестная книга Брюсова об Атлантиде
«Учители учителей». Лапин, получив послание, расписался под ним, пародируя цар-
ские резолюции: «Прочел с удовольствием».

Но и беззаботному веселью, и мечтам о литературной деятельности был отмерен
недолгий срок. Иосиф, по его собственным воспоминаниям, имел неосторожность
зайти посмотреть газеты в не закрытое еще Союзное бюро меньшевиков (все на той
же Мясницкой, благо, и жили они по соседству, в Мясницком проезде), там ему
предложили записаться в молодежный социал-демократический кружок. Не бывавая
еще ни разу на его заседаниях, он был арестован и сослан в Козьмодемьянск.

Не дождавшись сына, 46 лет от роду умирает сердечница-мать. Чтобы прокор-
мить отца и брата, Евгения Филипповна сменяет мать у зубоорачебного кресла.
Иосиф Филиппович, досрочно вернувшись, благодаря хлопотам Пастернака, в Мос-
кву, поначалу еще думает о труде литератора. Когда в 1925 году на дому у Сергея
Заяицкого группа московских писателей договорилась создать серию книг по истории
России для детей и подростков, Кунин написал большую повесть «Асмуд и племяши»
из жизни XII века. Но коллективный замысел не был реализован, а самому Иосифу
Филипповичу не дано было не только печататься, а даже закончить институт. Он
стал сначала библиографом в справочном отделе Госиздата, а затем редактором в
журнале «Советская музыка», где проработал до «борьбы с космополитизмом».

Не став профессиональными литераторами, брат и сестра сохранили высокую
причастность к литературе. Их дом был одним из тех прибежищ, где в самые труд-
ные времена спасалась наша культура. Здесь находили приют бездомные, утеше-
ние — обиженные. Здесь сберегали рукописи ушедших. Так, только благодаря само-
отверженности Куниных была сохранена и расшифрована недавно опубликованная
замечательная мемуарная «Повесть об одном десятилетии» Константина Локса.

Поэзия лучше уживается с другими занятиями, чем проза, и Евгения Филиппов-
на никогда не переставала писать стихи. Пятидесятые годы оказались благоприятны-
ми и для прозаической работы. Музыкальная эрудиция и литературная культура
сделали Иосифа Филипповича одним из самых известных наших литераторов-музы-
коведов. Сначала в серии «Жизнь замечательных людей» были изданы его биогра-
фии Чайковского и Римского-Корсакова, потом, уже в семидесятые и восьмидесятые,
вторая книга о Римском-Корсакове и книга о Мясковском вышли несколькими изда-
ниями в издательстве «Музыка». Книги эти были переведены на несколько языков.

Евгения Филипповна изредка публиковала свои переводы (в их числе была
переписка Мюссе с Жорж Санд). Ее авторский дебют в центральной печати состоял-
ся в февральском номере «Знамени» за 1990 год, где был опубликован сокращенный
вариант ее воспоминаний о Пастернаке и стихи, ему посвященные. Дебют оказался

счастливым. В конце 1994 года издательство «Отечество» выпустило наконец первую, но зато весьма объемистую книгу ее стихов и переводов «Самое дорогое». «Новый мир» (№ 3 за 1993 год) напечатал ее лирическую трагедию «Франческа да Римини», а за большую подборку стихов, помещенную в № 10 за 1995 год, присудил ей свою годовичную премию по разделу поэзии.

Теперь приходит черед и «Октаэдра». Думаю, что эта веселая затея молодых лет достойна соседства с более поздними серьезными книгами авторов и доставит немало радости читателям, обогатив наше представление о русской прозе двадцатых годов.

При подготовке романа к публикации в моем распоряжении были: а) выправленный авторами машинописный экземпляр 20-х годов, в котором отсутствуют начало первой и две последние главы, а ряд сохранившихся листов поврежден; б) позднейшая перепечатка полного текста, которая не прошла авторской вычитки; и не разобранные машинисткой места текста в ней вообще пропущены. Восстановленные мной гипотетически слова и фразы заключены в угловые скобки. В случаях, когда поврежденными оказались более пространные куски текста, восстановление не представлялось возможным. Эти, впрочем, очень немногочисленные случаи отмечены подстрочными примечаниями. Отмечу, что авторы колебались в жанровой квалификации «Октаэдра», именуя его то романом, то повестью.

К сожалению, авторы романа не увидят его напечатанным — летом минувшего года скончался Иосиф Филиппович Кунин, а в марте этого года — Евгения Филипповна Кунина.

*Но хладный октаэдр вдохновенья
Небосводит души озеро...*

С. Бобров

Часть первая

Глава I

Тротуарные пробойны

*Вам поклон учтивый отвесил
Тот, чьих глаз сумрачных пара
Промерцала из-за стекла.*

Н. Асеев

Злоокающий умышленник! Если ты, монстр любострастия, немедля по получении записки сей, гнусных на пиитиссу Лиспетс видов вовсе и навеки не оставишь, то ожидай получить в ближайшей скорости смертоубийственную пулю прямо в сердце, почему и пропозируется тебе особенная осторожность и непредительность.

Всегда к твоим услугам готовый

Аноним

Дата

Удары, громко раздавшиеся над твоей головой, любезный читатель, дали тебе некоторое понятие об акустических эффектах, сопровождавших разламывание двери барона Нортиса в 8 часов пополудни еще не описанного дня. С последним ударом обе половины двери слетели с петель, и в вихре крутящихся кулаков, палки и щепок Йонг Лохинвар переступил порог.

Сидевший за вечерним чаем барон спокойно вынул ложечку из своего стакана, извинился перед изумленным гостем и уже встал, чтобы узнать о

причине необыкновенного шума, когда в комнату, в окружении помянутого вихря, ворвался юноша, с которым хозяина связывали узы давней вражды.

— Чем обязан? — учтиво обратился к нему барон.

— Мерзавец! Инсинуатор! — загремело в ответ, и кулак, только что покрывший себя неувядаемой славой при разгроме двери, с неменьшей силой опустился на доску стола. Сервировка грянула оземь. С мелодичным звоном бьющегося стекла слилось звяканье металла — все это, однако, мгновенно заглушил тяжкий грохот рухнувшего самовара. Клубы дыма скрыли место катастрофы. Струи кипятка неотвратно заливали пол и осколки посуды, и драгоценный томик Goodstyle<?>, не вовремя вынутый любезным хозяином. Впрочем, никто из присутствовавших не пострадал. И тогда с дивана поднялась маленькая фигурка, и удивленный голосок протянул: «Папа, что нужно у нас этому глупому человеку? Это и есть бандиты, папа?» — На что барон отвечал мягко и сердечно, как и всегда говорил с детьми: «Ступайте в свою комнату, сэр. Я объясню вам это потом».

Фигурка удалилась, а барон, опустившись на стул, повторил чуть строже свой вопрос:

— Чем могу служить?

— Удалите посторонних! — рявкнул Йонг.

— Вы правы. — И, обратившись к гостю, Нортис произнес с изысканной вежливостью: — Дорогой мой, я крайне сожалею, что невольно сделал вас свидетелем этой совершенно нестерпимой сцены. Позвольте...

— Но помилуйте! Оставить вас одного с этим безумцем?

— Благодарствую, но не рассчитываю затруднять вас. До скорого свидания, дорогой. — И барон уже отворял двери перед удалявшимся приятелем. — Итак?

— Вы — гнусный инсинуатор! Я требую удовлетворения! — вновь загремел Йонг.

— Не знаю, — с саркастическим недоумением развел руками Нортис. — Не знаю, доставляет ли вам какое-либо удовлетворение эта картина, — он указал кончиком папиросы на дымящиеся развалины, — и какое вам желательно еще, но разрешите предварительно осведомиться о причинах вашего вторжения...

— Сожалею, — бросил Лохинвар, мимоходом глянув по указанному направлению. — Ваша записка достаточно объясняет все. — И он швырнул барону уже знакомое нам послание.

— Ну и что? — спросил Нортис, поднимая глаза с прочтенной бумажки.

— Как, и вы осмеливаетесь... — начал Йонг.

— Не имею чести знать ваших отношений с госпожой Лиспетс...

— Да ведь это же ваши гнусные измышления!

— И, насколько ими не интересуюсь, я считаю, что факт...

— Но позвольте, кто же иной...

— Самый факт приписания мне этой безграмотной и безвкусной записочки является достаточно оскорбительным. И если...

— Но стиль XVIII века... — уже слабее пустил Лохинвар.

— И это вы называете стилем XVIII века?! — барон начинал терять терпение. — Повторяю, это безграмотное писанье...

— А-ах, — протяжно завыл Йонг, и палка с набалдашником слоновой кости выпала из его дрогнувшей руки. Он не поднял ее.

— Постойте, постойте... Лиспетс... XVIII век... пирушка... — он усиленно потирал лоб вдруг похолодевшими пальцами. — Лиспетс... XVIII век... — и в ужасе откинувшись назад: — Я крайне сожалею! Это неслыханная ошибка... я... я... очень извиняюсь.

— Прошу, — негромко произнес барон, корректнейшим жестом указуя на дверь.

— Но... я крайне извиняюсь... Это...

— Прошу, — так же отчетливо повторил хозяин. Папироса слегка дрогнула меж его пальцев.

Слова застыли на языке Йонга. Окоченелым жестом поднял он палку, автоматически повернулся и выбежал прочь...

— Идите сюда, сэр. И скажите Мавруша, чтобы она убрала все эти вещи.

Но появившаяся с другого хода Мавруша уже причитала над распаявшимся самоваром.

На перекрестке двух людных московских улиц и поныне показывают еще не починенные выбоины в тротуаре. Местная легенда связывает их возникновение с промчавшимся здесь однажды экстраординарно взволнованным молодым человеком. Ширина и глубина расщелин заставляет, однако, усомниться в достоверности предания.

Глава II Читательская пуговица

*Один из них сон и призрак
со звездой на лбу.
Он похож на меня и
не спрашивает судьбу.*

Б. Лапин

Теперь, читатель, мы отведем тебя в уголок и, взявшись за твою пуговицу, потолкуем конфиденциально. Не подумай, ради Бога, что наш милый Йонг незадолго до начала повести вырвался из сумасшедшего дома или не позже IV-й главы будет нами туда отправлен. О, нет. Странное, на первый взгляд, поведение его мы объясняем исключительно той упорной борьбой, которую вот уже год приходилось ему вести с бароном Нортисом и организацией, чьим членом — ах, впрочем, об этом позже. Ожесточение с обеих сторон было велико, и кое-какие Лохинваровы мероприятия заставляли, с точностью почти астрономической, предугадывать контратаку. Отсюда неверно адресованный скандал. Отметим, что канун злополучного дня был ознаменован товарищеской пирушкой, на коей наш герой со всем пылом своих двадцати лет влюбился в поэтессу Литс. При девяностоградусной атмосфере собрания такое его настроение не прошло незамеченным, следствием чего явилось уже приведенное нами послание. Со всем тем Йонг был юношей пылким и благородным, просвещенным и великодушным. Любитель спорта, многообещающий поэт, неизменный носитель костюмов английского образца — таким рисуется он дружескому взору авторов.

Кто же его таинственный противник, загадочный аноним, автор злополучной записки? Напрасно Лохинвар, еще в виду неостывшего трупа баронского самовара осененный внезапной догадкой, ищет обидчика по всей Москве. Пламенный обожатель Лиспетс Литс, восходящая звезда Учмраксажи*, очаровательнейший из смертных, когда-либо укрывавших лицо опечаленного херувима под широкополой художнической шляпой, сам испуганный своей необдуманной выходкой, скрылся за пределы московской досягаемости, куда, впрочем, доступ читателю будет своевременно открыт.

Барон же Нортис — о, барон был человеком могущественным. Столь могущественным, что мы не удивились бы, если бы одна гневная мысль его, окружив злосчастный предмет неудовольствия тончайшей, смертоноснейшей

* В аббревиатуре «Учмраксажа», предложенной авторам Б. Лапиным, иронически обыграно название известного учебного заведения 20-х годов Вхутемас. (Здесь и далее — прим. публикатора).

ядовитой атмосферой, плотным и тягостным облаком вражды, превратила бы его в жалкую невесомую кучку пепла, которую первый же ветер развеет по лицу ошеломленной земли. Да, мы не удивились бы даже и в этом маловероятном случае. Впрочем, барон был человеком мирным. Могущество его направлялось в другую сторону. Пленные силы природы призваны были служить высшим целям той организации, основатель и глава которой — стойте, стойте, довольно.

Что, бишь, мы хотели сказать? Дело в том, видите ли, что барон, являясь, — позвольте, как же это?..

Могущественная организация, имея... Но да Бог с ней, с этой организацией. Долго ли до греха. При магических средствах главы — итак, мы умолкаем. Семейные обстоятельства (жена, дети) не позволяют нам подробнее распространяться на эти любопытные темы.

Осмелимся заметить только, что последний визит Лохинвара не вызвал прилива нежности в Нортисе. Говорят даже, что по уходе посетителя барон занимался некоторое время рассмотрением кончиков своих ногтей. Затем с уст его слетела сентенция, крайняя экспрессивность которой препятствует ее опубликованию.

С почтением

Авторы

Глава III Под пятисотсвечной звездой

*Какой приятнейший приют
Для магов и скитальцев.*

С. Бобров

Человек с сумрачными глазами в тысячный раз метнулся на нарах. Муть забытья перелилась за ним. В розоватом воспаленном небе качалась и плавала однообразно и нестерпимо слепящая звезда. Он отворачивался, жмурился, закрывал лицо руками — но в незакрывавшиеся глаза бешено вливалось качающееся розовое небо, и звезда, расплавленная звезда, ныряла вместе с ним, втекала в зрачки, заливалась в мозг струйками светлого свинца. От нее, от звезды, вздымалось по жилам удушье, под ударами молотов распадались виски, рот жадно пил горячую пустоту. «Бежать» — и он бежал — вниз, все вниз, и холм гулко топал вслед. — «<Бе>жать» и «жа-а-а» визжал в уши ветер, и каскадом пронзающих звезд сыпал воздух.

— Мать твою в затылок! Здоров орать. Пить тебе, что ли?

И грубые голоса уже лезли по стенам, кривлялись и кашляли, суповыми мисками сгребали осколки звезд и плескали ему в лицо.

Но вода, проливаясь из поданной соседом кружки, смочив лоб и веки, потушила пожар разгоравшегося кошмара. Он очнулся. Невдалеке сосед укладывался на нары. В полупустой камере повисала душная тишина. Бред, едва отхлынувший, вновь закипал, чтобы в безумном нарастании сомкнуться над головой обессиленного узника.

Дверь заскрипела. Струя свежего воздуха ворвалась в камеру. На пороге стоял, ослепленный невыносимым светом, стройный юноша в серой накидке и мягкой шляпе. Узник вскочил на ноги. Этот вошедший был единственной устойчивой точкой среди крутившегося бредового потока. Как утопающий за соломинку, как машинист перед катастрофой за тормоз Вестингауза, схватился он за накидку незнакомца.

Из-под широкополой шляпы глянули глаза опечаленного херувима, и тихий голос произнес:

— Очень рад. Гюй Кларенс, скульптор.

Человек с сумрачными глазами крепко сжимал ему обе руки, и через несколько мгновений, справившись со спазмой, душившей ему горло:

— Ноктий. Меня зовут Ноктий, — выговорил он.

И они сели на нары.

— Я ничего не соображал. Вы, верно, испугались?

— Нет, что же. Я как-то сразу понял, если не все, то...

— Ну да, ну да! Главное, эта звезда, то есть лампа — она с ума сводит. И днем, и ночью, а окон нет.

— Так что, Вы, собственно, не отличаете ночи от дня?

— Вот. Я спутался что-то уже давно. Я здесь... постойте... недель шесть... семь... А какое число сегодня?... да, в таком случае меньше, гораздо меньше... Месяц. Я здесь совсем сбился. — Ноктий виновато поглядел на собеседника.

— Но я так рад, что Вы пришли — первый человек за все это время. Эти, — он указал на храпевших соседей, — с ними трудно. Хотя они ко мне расположены, покровительствуют даже: вода вот, и вообще. — Ноктий провел ладонью по еще мокрому лбу.

— Они бандиты, вероятно? Конечно, Вам с ними тяжело. Как Вы сюда попали, собственно говоря?

— Довольно нелепо. Приехал из-за границы и с парохода — сюда: бумаги показались подозрительными. И жду. Лампа вот только... непереносимо... пожалуй, с ума сойду...

— Ну что Вы! Вас скоро выпустят, наверное. Вы не политик?

— Нет, какое там. Я ведь из России давно. Жил в Англии, в Германии, занимался философией, отчасти мистикой.

— Да? — спокойный и кроткий Кларенс слегка оживился. — Что же, что нового? Там, кажется, большой подъем?

— Не совсем так, — презрительно как-то поморщился Ноктий. — Спячка, барахтанье... Да, впрочем, вы ведь не специалист, надеюсь? — он глянул в лицо собеседника.

— Нет, просто поинтересовался. А что, Вы мистиков не любите?

Но вопрос остался без ответа. Ноктий молчал, сдвинув брови, сосредоточенно что-то обдумывая, и вдруг, прервав свое молчание, заговорил отрывисто и безудержно.

— Странно и страшно, по существу, что вот так все вышло. И неожиданно. Вы вот говорите, что скоро выпустят. Не знаю... Говорят, и годами сидят. Ходатайствовать за меня некому. Друзей я не впутывал — здешних порядков не знаю и ожидаю самого плохого. Так что никто не подозревает, где я. А друзья в Москве, и близкие друзья. К ним, собственно, я и ехал. То есть еще... Девушка, которую я люблю. Три года назад, в Вюрцбурге — впрочем, это безразлично. Глаза у нее необыкновенные. Я тогда был женат и не мог с этим порвать. — (Пауза.) — Словом, теперь все иначе. Она в Москве, мне нужно к ней. А я... — а впрочем, не знаю, к чему весь этот разговор.

Снова он впал в хмурую задумчивость и снова внезапно вышел из нее:

— Ну, а Вы, как Вы сюда попали?

Кларенс помолчал.

— Да так, пустяки все. Уладится. Да и вообще, не так у нас страшно, как вам показалось. Обойдется и с Вами. А пока давайте-ка спать. Возьмите мою шляпу, от света — она защищает. Вот так. Спокойной ночи.

— Прекрасно. Спокойной ночи. Вы — славный мальчик, господин Кларенс.

Ноктий пожал протянутую ему маленькую твердую руку. Через несколько мгновений они мирно спали, не слыша бормотанья разнервничавшихся

бандитов, в жаркой сгущающейся атмосфере камеры, под нестерпимым светом пятисотсвечной звезды...

Дверь заскрежетала. Холодный воздух ворвался в камеру.

— Гр-р-гражданин Кларенс, к коменданту! — зычно раздалось с порога.

После усиленного света коридоры казались темными. Сонный юноша в серой накидке и без шляпы шагал за конвойным среди гулкого стука отдававших удары плит. Переходы были бесконечны...

Рама комнаты. Стол, над ним склоненная кожаная куртка и стриженная белобрывая голова. Бумаги, и поверх — револьвер.

Вялые лампочки, и в раскрытые окна — крыши, а над ними — чуть розовеющее небо. Прокуренный воздух зыбкими клубами стынет подо льдом рассвета. Глаза слипаются — зевота, дрожь...

— Вы — гражданин Кларенс? — вопрошает неокрашенный латышский голос, и на Гюя обращается долговязое лицо. Оно до кошмара просвечивает <?> — бледным высохшим клопом.

«Он беспигментен!» — врезается в сонный мозг Кларенса.

А бледные глаза уже удивляются:

— Вы гражданин Кларенс?..

«Протей, Протей — тьфу!»

— Да, я.

— Вы художник? Это о вас пишет?.. — и комиссар протягивает Гюю газету с красно-подчеркнутой подписью авторитетнейшего покровителя российских искусств.

— Ах, это? Да, обо мне, конечно, — Гюй теперь только вспоминает, что в его портфеле случайно остался номер «Известий» с восторженным отзывом о его работах.

— Вы лично знакомы с Анатолием Васильевичем?

— Да, приходилось встречаться.

Длинный и, должно быть, склизкий нос протeya одобрительно кивает.

— Дело здесь у вас, — бесцветная рука шевелит бумаги, — нэсэрьезное. Курить у пороховых складов, товарищ, нэ следует. Здесь можэтэ, — комиссар протягивает портсигар и прикуривает. — А у порохового склада нэльзя, — и тощие губы принудительно растягиваются в улыбку. — Идитэ.

— Товарищ Сыпин, гражданин просятя в камеру за шляпой.

— Пусть идет.

Ноктий не спал. Сумрачные глаза его с тревогой остановились на вошедшем.

— Ну, как?

— Выпускают, — ответил Гюй сонно и радостно. — Я пришел проститься и пожелать... Шляпу оставьте, пожалуйста, здесь. Ну, всего...

— Постойте. Если только можете, телеграфируйте в Москву. Это той девушке.

— Могу, конечно. Говорите скорее, что и кому.

— Секунда... Вы говорите, меня скоро...

— Да, да, конечно...

— Тогда так: «Москва, Мясницкая, 52, Лиспетс Литс...

— Что...?!

— Тише. Лиспетс Литс. «Все улажено. Еду. Люблю. Ноктий». Весьма обяжете. Спасибо за все.

Рассвет разгорелся и растаял, день входил в колею, а Гюй Кларенс, скульптор, все ходил по полужнакомым улицам Петрограда. Потеплевший ветер откидывал и путал кудри на его непокрытой голове, солнце согрело его

закоченевшую фигурку, и прохожие все чаще оглядывались на бледнейшее лицо опечаленного херувима, а он все шагал и шагал... В девять часов утра дверь главного телеграфа, наконец, закрылась за ним.

Глава IV В гостях у адресата .

Бывало, пройдешь адресатом повестки...

Адалис

Жар спадал. Йонг Лохинвар, старательно и чуть фальшиво высвистывая «Интернационал» (почему «Интернационал?»), крупно шагал вверх по Мясницкой. Почему по Мясницкой? Да потому, что именно в эти часы — восемь пополудни — он заходил обычно к Петти Литс, по крайней мере, со дня, начинающего нашу повесть. Раз заглянув в аквамариновые Петтины глаза, он открыл в их созерцании новый и неожиданный источник чистейшего блаженства, в летейских струях которого потонули: возмущенный Нортис, возмутительный Кларенс и еще с полдюжины добро- и зложелателей неотложного порядка. Любовь ли это? Ленъ было прикидывать и расшифровывать. Просто было очаровательно сидеть рядом, глядеть в ее глаза и, часами раскуривая крошечную трубочку, болтать, мастерски и бесконечно. Так просиживали они до поздней ночи, и каждый раз Йонг, вместе с протянутой для поцелуя ручкой, получал веселое и сонное приглашение: «Приходи скорее, Лохинвар!».

Последняя ступень последней лестницы, и Лохинвар — о, черт! — слишком поздно отгалкивается от надвинувшейся от Петтиных дверей массивной движущейся статуи.

— Осторожней, черт побери, я не резиновый!

— Смотреть надо, — кротко поучает вниз сбегаящий женский бас.

Лестница слегка подрагивает. А Лохинвар уже вбегает в дверь.

— Йонг, ты? — Петти кубарем слетает с кушетки ему навстречу и, уцепившись за руки — раз, раз, раз, — они бешено вращаются по комнате. Окна бликами вальсируют вокруг.

— Уф! — и Петти комочком свертывается на кушетке, а Лохинвар падает в услужливо подвернувшееся кресло. Разбушевавшаяся комната с трудом приходит в себя.

— Что у тебя за Юнгфрау* разгуливает по лестницам?

— Юнгфрау? — глаза расширяются, — ах, это Джеральдина! Ха-ха-ха, да она и есть Юнгфрау, и очень милая.

— Самодвижущийся постамент! — Лохинвар потирает ногу, — откуда ты его добыла?

— Говорю тебе, это — Джеральдина. — Петти переметнулась на подоконник и упрятала ножки под платье. — Тут целая история. Я тебе расскажу. Дай! — она потянулась за папиросой.

— Началось так. Были мы с Люсей в цирке, еще на Рождество. Все было, как водится, — лошади, клоуны, и промежду этим прочим вышло созданище в стиле Афины Парфенос, и таких же размеров. Копья у нее, правда, не было, но зато она действовала гирями, взбиралась на трапезии, и раскачивалась там так усердно, что чуть не обвалила потолок. И со всем тем лицо у этой Афины было премилое. На том и кончилось. Потолок уцелел, и мы ушли. Вьюга была отчаянная, за два шага ничего не видно. Вдруг в переулке: «Стойте, барышни!». Люся, ты ее знаешь, висит у меня на руке и визжит. Из

* Юнгфрау — горная вершина в Альпах.

вьюги — прямо на нас — двое, престрашные, — «Скидавайте пальто!». Люся, конечно, «Ах!» во весь голос — и в обморок. Это у меня-то на руке! Я стою столбом и сверкаю глазами. Не помогает... «Скидавайте пальто да поскорей!» Люся в обморок вторично. Револьверы сверкают, пурга метет. И вдруг — вообрази мой ужас — бандиты с револьверами, во всеоружии, поднимаются на воздух и с воплем застревают в нем. «Неужели левитация?» Тут и у меня волосы на голове зашевелились. Люся, в промежутках между обмороками, письменно и печатно удостоверяет свою смерть от разрыва сердца. Кровь стынет... а бандиты, крепко стукнувшись лбами, низвергаются на мостовую, теряя при этом револьверы, шинели и сознание. Картиночка!

И с наслаждением причмокнув вкусное словечко, рассказчица продолжала:

— В следующую минуту Афина, взнеся Люсин барахтающийся труп ad astra, мерным шагом удалялась с места происшествия. Я бежала позади, цепляясь за кушак ее шубы. «Парфенон» был недалеко, угощение нас ожидало прямо прекрасное, а хозяйка, вопреки своим размерам, оказалась образцом всех человеческих добродетелей.

— И даже сверхчеловеческих, — молвил Йонг, возвращаясь к ушибленной ноге.

— Нет, Йонг, она, правда, очаровательна, а меня обожает.

— Ну, конечно, — как же иначе! — промурчал Лохинвар. — Впрочем, я в восторге от вашей дружбы. Кстати, — и они затонули в клубах дыма и зыбях веселой болтовни.

«Телеграмма! Москва, Мясницкая, 52, Лиспетс Литс». Лохинвар, проврившись в кошельке, протянул телеграфисту мелочь.

«Покорно благодарим! Приятного вам удовольствия. Распишитесь, гражданин».

«Литс», — черкнул Лохинвар, пока Петти нерешительно вертела телеграмму в тоненьких розовых пальчиках. Почтальон исчез. Йонг закурил, часы миниатюрным японским звоном вывели одиннадцать. Петти вертела телеграмму.

«И зачем он пожелал...»

Бандероль* слетела.

— Петти, тебе воды? — Лохинвар, спрыгнув с подоконника, стучал графином по краешку стакана. — Пей!

— Нет, нет, нет, нет! — Лиспетс, отталкивая и расплескивая воду, прижимала к груди скомканную телеграмму. — Нет, нет, нет! — ее зубы стучали...

— Лохинвар, зажги свет, — выговорил особенно четко металлически-тусклый голос, и холодные пальчики судорожно вцепились в руку вконец растерянного Лохинвара. Он вздрогнул.

— Сейчас, сейчас.

Электричество вспыхнуло.

— Что это было, Лиспетс?

— Служебный идиотизм... — голос был еще холодноват, но уже начал оживать. Она подошла к зеркалу.

— Нет, на кого я похожа! — волосы, рассыпавшись, легли под гребешок. — Понимаешь, какие-то там бумаги, которые я тысячу раз вернула... и из-за них поднимать историю! Они мне трибуналом угрожают, эти идиоты. Посмотри, — она не протянула ему телеграммы.

* Здесь: лента, которой оклеена телеграмма.

— Я верю, — нерешительно произнес Йонг, закладывая руки за спину. Он терялся все больше и больше.

— Этого только не доставало! Понимаешь... Да нет, уладится, правда? — она воткнула последнюю шпильку, поправила завиток и повернула к Йонгу бледное, но уже спокойное лицо. — Правда?

Йонг молчал, уклончиво пыхтя трубкой: «цок-цок-цок, туп-туп-туп» — докуренная трубка выколачивалась о подоконник, — оба стояли перед окном.

— Так ты говоришь... — Петти пристально глянула в убегающий взор гостя.

— Я говорил, — с усилием становясь на рельсы, начал Йонг, — я говорил... По существу это, конечно, спорно, но небезынтересно отметить.

— Да, да, ну...

— Как тебе сказать? Да, так научных обоснований здесь пока...

Странно пустой и безотносительный взгляд Петт сжал ему горло. Она не сразу заметила молчание. «Этого только не доставало... Да, да, я слушаю, очень интересно...»

Йонг, наконец, решился.

— Я ухожу, Петт. У меня еще дело... Нет, нет, необходимо... Я ухожу...

— Прощай, Йонг. Приходи скорее, — она крепко сжала его руку.

Он ушел. Петт сидела неподвижно, уронив голову на руки. Внезапно она выпрямилась, вытягиваясь струной. «Этого только не доставало!»

И мелкие кусочки телеграммы пригоршней полетели под стол.

В слепом ужасе шарил Лохинвар по темной передней, не находя двери. «Но ведь я же вошел сюда. Не может же дверь...»

Замок щелкнул.

— Уф! — и лестница взвилась кверху.

Улица была пуста. Порывистый ветер рвал полусорванную афишу. В небе неистовствовала облачная погоня.

«Ффу, черт», — он вдохнул холодный воздух и на мгновение почувствовал себя лучше. Но это возвращалось. Что «это»? Ощущение было таково, точно его сорвало с якоря. Крошечной лодчонкой чувствовал он себя, — крошечной, беспомощной лодчонкой, затертой до неба вздымающимися валами. Одиночество — и ужас, ужас с четырех сторон. Он боялся обернуться — лихорадка била его. Из внезапного мрака надвинулись забытые было зложелатели неотложного порядка, и все, все сразу ломилось в его сознание. «Кларенс — но, черт возьми, разве можно спокойно идти по улице? А если эта смертоубийственная пуля... — и где он прячется!

Этак по улице... — ах, и еще Нортис! И письмо, и скандал. И письмо — как я мог послать его!» — Он готов был застонать от досады — сердце щемило, как стиснутое пинцетом.

Следующая волна страха смыла последние остатки самообладания. Лохинвар кинулся бежать! Впервые в жизни он был охвачен невыносимой безудержной паникой. Это была галлюцинация — он знал и все же не смел обернуться — за плечами его несли Нортис, страшный, гневный, оскорбленный Нортис.

Бешеный лай привел его в себя. Собака, очевидно, нагоняла его — лай приближался.

Раз! — она вылетела из-за угла прямо в ноги Йонгу, но знаменитая палка с набалдашником из слоновой кости сделала свое дело.

«Злющее животное, — решил Лохинвар. — Однако, спасибо: по улицам не бегают», — краска залила его щеки.

Ночной тротуар звучал четко под шагами. Старательно и чуть фальшиво Йонг высвистывал «Интернационал».

Глава V Лязг ножниц

*Настежь дверь. Из непомерной стужи
Словно хрипкий бой ночных часов. —
Бой часов: — Ты звал меня на ужин,
Я пришел...*

А. Блок

Ah, padrone!

«Don Giovanni»

— Но, Гюй, милый, зачем Вы об этом говорите? Я всегда относилась к Вам хорошо.

— Вы обижаете меня, Кларенс. И это после такой разлуки!

— Да что с Вами, наконец? Почему сегодня, почему по телефону?

— Вы сами отлично знаете, что из всех...

— Гюй...

— Слушайте, Гюй... Ах, Боже мой.

— Но, Гюй, милый, вы меня пугаете. Вы меня запугиваете.

— Ну, конечно. И потом... Хорошо. Я...

— Ноктий, ты? Вы?

— Что? Петти, ради Бога! Где Вы, где ты?

Телефонная трубка вырвалась из рук Лиспетс и с грохотом и звоном забарабанила о стену: вошедший молча и взволнованно жал руки хозяйке.

— Три года, Лиззи. А мир задыхался в отсветах твоих глаз. Как я рвался в Россию — в Россию! В твою Россию! Жена —

— Она?..

— С этим кончено... — (Пауза.)

— Все позади, а сейчас твои живые ручки — вот они, не во сне — я боюсь выпустить их. Если бы ты знала, Лиззи! Сколько раз мы стояли так, вот точно так же, твои руки в моих — и я вдруг просыпался под шум моря, под хорьям-бы поезда, под бормотанье разнервничавшихся бандитов. Лиззи, дорогая! — он замолчал. — И сколько раз я ломал перо и отшвыривал ручку, когда с белой страницы на меня взглядывали твои глаза. Не со страницы — это ты!

А Петти, глядя в упор на его странно осунувшееся, постаревшее лицо, чувствуя на своих пальчиках тесное, но чужое пожатие, с ужасом отклонялась назад.

«Боже мой, но ведь я не люблю его нисколько! Вюрцбург — как давно!»

Он сел, наконец. Он говорит и не сводит с нее глаз. Надо остановить. Петти бледнеет.

— Ноктий, Вы, — она не могла продолжать. Еще слово... Отчаяние прорвалось в ее взгляде.

Ноктий спохватился: что-то произошло.

— Лиззи, может быть... я не сказал... — он беспокойно поднялся.

— Да нет, Ноктий, я... я...

И, всплеснув руками, она разразилась судорожным плачем. В первый раз за все три года Ноктий почувствовал себя на земле... И земля шаталась под ним. Сон о Лиспетс кончался. Настоящая Лиспетс, не со страницы, не та — чужая, измененная...

«Эти три года ... Для меня они сливались в путаницу дней. Их скрепляло только одно. Я верил в Лиззи моих снов. Другой не было. Но теперь...»

— А я была, — горько сквозь слезы бросила Лиспетс. — И как Вы могли забыть это? — она отняла руки от мокрого лица. Слезы проходили. — Я

была и была одна. И было ужасно — до безумия, до самоубийства. Вы и этого не знали! А я росла и менялась. И вы — тоже изменились, Ноктий!

Сон о Лиспетс кончился. Лиспетс была вот эта — бледная, трепещущая, жестокая Лиззи. Но он любит ее. Кошмар сползал.

— Но теперь забудем это, Лиспетс. Да, ты не та, но я люблю тебя новой. Все равно, ты — моя, Лиззи. Что может разлучить нас?

— Я не забуду, Ноктий! Я... люблю.

Каменное спокойствие пало на душу Ноктия. Лицо опечаленного херувима — славного мальчика там, в камере, — встало перед ним.

— Гюй Кларенс, скульптор... — губы его подергивались.

— Да, откуда?.. — (Какая мертвая походка у Ноктия!)

Телефонная трубка вырвалась из рук Гюя Кларенса и с грохотом и звоном забарабанила о стену. А Гюй уже мчался по Мясницкой. Почему по Мясницкой? — Ну, знаете! Наконец, это его личное и, смеем сказать, интимное дело.

Впрочем, он сам не побоялся открыть свою тайну на следующий же день сотруднику ЗАГСа, и даже в присутствии двух свидетелей, не считая Лиспетс Литс, — виноваты, Лиспетс Кларенс.

Кажется, они были счастливы!..

Йонг Лохинвар был безутешен... ровно пять с половиной дней. По истечении этого срока он женился на величайшей женщине своего времени. Она носила гармоничное имя Джеральдина. По частным сведениям, он неоднократно имел случай убеждаться как в человеческих, так и в сверхчеловеческих добродетелях своего самодвижущегося божества.

Итак, и они были счастливы.

Барон же Нортис — о, барон был человеком могущественным. Столь могущественным, что, пожелай он, — и мы, авторы (подумать: авторы), провалились бы в тартарары — нет, хуже!

Дело в том, видите ли, что организация, членом и даже главой которой все-таки (нельзя же отрицать) являлся и является барон...

Ну, как вам сказать? Организация, которой... и вообще. Существуют опасения, что целью орг... орган... А главное, — силы, беспредельные силы, которыми располагает...

И если бы не она — скажем прямо: конец повести был бы иной; и даже с восклицательным знаком иной! К о н е ц!

Глава ГА ЖЕ*

...И земля шаталась под ним. Сон о Лиспетс кончался. Та девушка — Лиззи Литс — изменилась. Ее не было.

— Лиззи, о чем ты?

Детское всхлипывание, склоненная вздрагивающая фигурка разрывали ему сердце. Землю и небо он отдаст за эту милую, живую, страдающую Ли. А она сидит и плачет. Что он знал о ней до сих пор? И, вглядываясь в эти плечики, вздрагивающие от рыданий, он постигал, как она катастрофически близка ему.

— Не плачь, детка!

Она отстранилась. Рука, гладившая ее волосы, соскользнула.

— Лиззи, ты меня не любишь!

*Этой отсылкой авторы дают понять, что в предшествующем (набранном курсивом) отрывке описано лишь *воображаемое* завершение эпизода Кларенс—Лиспетс—Ноктий, а о подлинном его завершении будет рассказано далее.

— Я замужем, Ноктий... Я...

— Что ты, Лиззи. Это невысказано! — у него перехватило дыхание. В ужасе и жалости Петти метнулась к нему.

— Ноктий, ты не понял. Я люблю тебя. Но...

Ноктий молчал.

— Я не могу... я связана...

— Если ты его не любишь, — голос Ноктия рос и отвердевал, — если ты его не любишь...

Петти схватилась за голову — она запуталась.

— Как это возможно?

— Так вышло... Он тоже поэт. Было... нет, я не могу его бросить.

— Ах, так. Тогда... — он вышел.

— Слава Богу, кончилось! Ноктий, прости! Я не могла иначе!

Долгая пауза.

— О, трубка еще лежит. — Гюй, Вы? Вы слышите? Гюй! Гюй! — она вздохнула с облегчением: он ничего не слышал.

Кларенс стоял, стиснув зубы.

«Поэт? Лохинвар? А я думал... А знаете вы, вы оба, что она все-таки будет моей!»

Трубка спокойно и точно опустилась на рычаг.

Глава VI Замок Саламандры

Огромная лестница синего камня уходила в высоту. Плотнo сомкнутые ступени ее повисали над пропастями... Меж двумя тьмой налитыми безднами подымался сине фосфоресцировавший марш лестницы, без стен, перил и опор тяжелой и устойчивой массой лежавшей в воздухе. Преломленная под прямым углом тяжкой, бронзовым плитняком выложенной площадкой, она уходила налево, под колоссальную арку. Отсюда начинался путаный лабиринт, заставленный пропастями, спусками под уклон, спиральными лестницами, коридорами, мостами и переходами. Здесь путь вступал в восьмиугольную залу, убранную иссеченными медными колоннами, пол в том же бронзовом плитняке хранил следы бушевания стихий, борозды и шрамы, выжженные молниями, сплавленные и волноподобно вздыбленные плиты, согнутые, искорверканые щиты на стенах, а в центре вырастала хрустальная перевитая колонна, изливавшая чистый золотой свет в не достигающую купола залу. Далее тропинка меж голубых обелисков приводила к круглой площадке с прозрачным, как воздух, конусом посредине. На острие конуса держался огромный опаловый переливающийся шар, казавшийся текучим. Далее — алебастровая зала, перегражденная скалой. По ту сторону скалы за полированной стеной беззвучного водоската начинались тайники. Спиральная белого мрамора лестница вела на самый верх — в астрологическую башню. Левее темнела пятиугольная зала со звездным полом и низким малахитовым потолком. Капители опрокинутых колонн опирались на пол, базы поддерживали темный малахит. Три серебряные спирали бледноватыми светочами поднимались кверху.

За тяжелой шелковой занавесью, расшитой страусами и змеями, сидели у овального столика барон Нортис, Великий Комтур Вечного и Всевластного Братства Пентаграммы, и Гюй Кларенс, посвященный II-й ступени.

— Видите ли, дорогой мой, — говорил барон, — Второй Комтур Братства...

— Второй Комтур, — позвал Кларенс спокойно и торжественно, наклоняясь над вогнутой полированной поверхностью.

И отшатнулся: из глубины металлического зеркала глянули сумрачные глаза Ноктия — глянули и скрылись. «Наваждение». Гюй отчаянным движением протер рукой по глазам, сдергивая воображаемую паутину. Зеркало не отражало ничего — оно открывалось в небытие.

Кружение головы.

— Второй Комтур Братства!

Лицо Ноктия выступило в глубине...

Этого быть не может!.. Это просто так!

Третий Комтур отсутствовал. Слоновая кость кресла белела на пурпуре ковра. Рубчатые хрустальные колонны змеили белый переливчатый свет. Великий Комтур и Ноктий сидели рядом на возвышении. Ниже — посвященные IV ступени.

Заседание кончалось.

— И конечно, — говорил Нортис, — построение замка есть мистический этому аналог. Шествие Братства через бесчисленные врата мысленных постижений поляризуется в архитектурных конструкциях и магических воплощениях. Полагаю выводы очевидными.

Он умолк. Свет, заключенный в витые колонны, вибрировал и переливался. Кресло Третьего Комтура блистало белизной. Пурпур стен волновался и пламенел.

— Еще одно, — барон положил перед собой распечатанный конверт.

— Мною получено на днях несколько запоздалое, — взгляд на дату, — послание. Выключая личные выпады, имеем: «Неистовый идиотизм вашей организации... элементарная позитивная магия... низкопробнейшее шарлатанство... вы, сидящие между двух стульев с самодовольной улыбочкой... бандит... Далее угрозы.

Шелест и движение в зале. Ноктий приподнял брови.

— Письмо подписано: Йонг Лохинвар.

— Кто, кто? — движение в зале росло.

— Йонг Лохинвар. Предлагаю Братьям обсудить положение. К сожалению, Третий Комтур по неизвестным причинам, — Нортис обернулся к пустому креслу налево, но плитка шоколада стукнула с размаха о стол, и Чарминдрао Рао Нмагавата занял свое место. Потолок щелкнул, смыкаясь.

— Мерзавец! — еще задыхаясь, выговорил новоприбывший. Его астрологическая тиара негодующе покачивалась, щеки пылали, черная борода развевалась. — Не угодно ли, — оправившись, Рао немедленно протянул Ноктию шоколад. — Вам как гостю...

— Разрешите...

— Не разрешаю! Помилуйте! Меня, меня, — колпак его вновь затрясся. — Отмщение!!

— Мы ждем, — Нортис притушил папиросу.

— Мне, Комтуру Братства, — несмываемое оскорбление! — (Он заорал на два голоса.) — Мальчишка, щенок, пощечину!!

— Да кто же, кто?

— Этот безумец, разбойник, Лохинвар!

— Успокойтесь, Чармин. Кара не замедлит. Но нам важно выяснить...

— Фу-у-у. Петти Литс, не угодно ли! Этот цепной юноша вообразил, что я — да что об этом говорить!

Собрание гудело. Пентаграмматисты повскакали с мест.

— В таком случае разрешите. — (Нортис постучал по столу костяной дощечкой.) — Ранее мне представлялось излишним осведомлять Братство.

Но ввиду явной систематичности рассматриваемых зловредных действий, в частности, по отношению к Комтурам, я позволю себе... — (Он прикоснулся, припоминая, ладонью ко лбу, затем быстро начертил что-то на клочке бумаги и, мгновение помедлив, поставил подпись: Кларенс.)

— С неделю назад Йонг Лохинвар явился ко мне, обвиняя в составлении следующей записочки: если ты... по получении... на пиитиссу Лиспетс... вовсе и навеки... то... смертоубийственную пулю прямо в сердце. Подпись: аноним.

Бледный, как слоновая кость его курульного кресла, Ноктий сдвинул брови.

— На основании чего, — Нортис окинул взглядом присутствующих, — молодой человек истребил мой чайный сервиз и распаял самовар. Но это — частности. Суть в оскорблении Пентаграммы. Не должно оставлять безнаказанным... Я, со своей стороны, предлагаю...

— Смерть! — Чарминдрао вскочил с места.

— Смерть, смерть, смерть!!

Собрание бесновалось; свет в колоннах перебежал тревожней. Пурпур стен польхал... Нортис обратился ко Второму Комтуру:

— Полагаю, что Вам в этом деле трудно...

— Смерть, — сказал Ноктий.

Печать Пентаграммы опустилась на приговор.

Глава VII Бомбардировка призрака

*И содержимое жилетного кармана
Полетело за окно.*

С. Бобров

Ночь была темная. Дождь лил как из ведра. Было необычайно мокро и тепло. Заседание Этнографического общества затянулось. Пожалуй, было три, когда Лохинвар выбрался на улицу. Прошагать по лужам предстояло около четырех верст. И он шагал.

Темный предмет мелькнул перед его носом и тяжело плеснулся в воду, обдав грязными брызгами Лохинварову физиономию. От изумления Йонг даже не выругался.

«Любопытно, — он наклонился и поднял книгу. — Ого, да это Пушкин». Электрический фонарик сказал больше. В верхнем углу стояла размашистая подпись: Й. Лохинвар.

Да, это была Мясницкая, и Петти избрала странный способ приветствия. На этот раз он выругался, и довольно крепко: его Пушкин! Однако падение железной шкатулки, едва не задевшей Лохинваровой головы, отстранило и самую идею приветствия. Раз, два, три — туфля, чернильница, подушка — дождь был не из обыкновенных. Тарелка вдребезги разлетелась о тротуар.

— Однако, эти шарики — ах, это яблоки. Они могли быть вежливее.

Пачка папирос. Все.

— Петти! Эй, Петти!

— Молчание.

Лохинвар засвистал и кинулся в подъезд. Темно. Он тыкался в стены (откуда тут стены) с видом человека делового и не привыкшего к подобным препятствиям. Он отплеивался, как мог, лаконично. Он, наконец, стоял наверху. Дверь была отперта (ну и человек!). Темно. Лохинвар вбежал, даже не постучавшись.

— Где ты, Петт? Что такое?

— Молчание.

— Слушай, если ты... — топот босых ножек, и из темноты к нему на грудь свалилось что-то живое, теплое и цепкое. Горячие руки сжали его шею.

— Йонг, ради Бога, Йонг!

Томик Пушкина шлепнулся на пол — надо же было обнять ее. Она дрожала и бормотала невнятное.

— Ну, Петтинька, милая!

Йонг шагнул, опустил в кресло и усадил Петти к себе на колени. Петти у него на коленях! Он притянул ее к себе и поцеловал. Все это было до сумасшествия диковинно и восхитительно.

Лиспетс внезапно оторвалась и соскользнула, ее ножки застучали по полу. Йонг с протянутыми руками поднялся за нею.

— Подожди зажигать, — она устраивалась под одеялом. — Можешь.

Японский фонарик осветил картину полного разгрома. Распахнутое настееж окно, стол, залитый дождем и чернилами, опрокинутая этажерка, книги на полу. Поодаль — размокший Пушкин. Йонг сбросил пальто и закрыл окно — он чувствовал, что нужно что-то сделать. Петти сидела на постели, подобравшись и устремив в одну точку неподвижный взгляд. Она думала.

— В чем, наконец, дело, Петтинька?..

— Призрак... — (Пауза.) — Вот что, Йонг. Ты должен на мне жениться!

— С величайшим счастьем. Хоть сейчас.

— Ах, ты не понимаешь. Жениться юридически.

— Да?

— Йонг, иначе я погибла. Йонг, меня преследует один человек — мучит, убивает. Я больше не могу. — (Она заломила руки.) — Он и сейчас был здесь, но не живой. О, это он нарочно! Ты не уйдешь, Йонг? Он вернется. Как я боюсь!!

Ее зрачки были огромны.

— Нет, Петти, я не уйду. Успокойся.

— Это Ноктий. Тот самый Ноктий!

— Какой Ноктий?

— Тот, телеграмма — помнишь?

«Служебный идиотизм», — пронеслось в уме Лохинвара. Он промолчал.

— Ах, Йонг, Йонг, спаси! Он убьет меня.

— Ну, Петт, успокойся. Пока я с тобой — тебя никто не тронет. И если тебе нужно, — он заколебался.

Петт моляще уцепилась за его руку.

— Хорошо: я обязуюсь защищать тебя ото всего мира, включая самого себя. Решено.

— И завтра же мы с тобой едем в комиссариат или куда там еще нужно?

— Хорошо, завтра. Только не выбрасывай больше в окошко моих книг.

— Решено! — уже весело сказала Петт. — А теперь дай мне папиросу, карандаш и бумагу. И сиди смиренно, только не уходи. Я буду писать.

Лохинвар кивнул. Затем он поднял Пушкина и, присев на кушетку, стал набивать свою трубочку.

Глава VIII Мастерская скульптора

*Впервые луна эти цепи и трепет
Платьев, и власть восхищенных уст
Гипсовую эпопеею лепит,
Лепит никем не лепленный бюст.*

Б. Пастернак

Прометей Пирофор. Он был изображен сидящим. Согбенный тяжестью грядущих тысячелетий, знающий все, все принявший, скорбный и неслом-

ленный Прометей. У ног его валялась раздавленная полая камышинка. Свершилось. Рок довершит остальное. Он устало клонил голову. Сумрачные глаза вперялись в пространство. Эллинская прелесть лица казалась подернутой облаком философского раздумья. Гюй доканчивал работу. Вторую ночь он провел без сна. Лицо его осунулось и побледнело, но быстрые движения были точны и спокойны. Конец!

Он отер лоб рукавом. Статуя была готова. Сбросив кожаный фартук и отступив на несколько шагов, Гюй в упор глядел на Прометея.

— Второй Комтур Пентаграммы! Ноктий!

Сумрачный взор Огненосца жег ему сердце. Как он хорош! Гюй топнул ногой. Да, это его Прометей. Он превзошел самого себя. Как хорош! — Гюй сдернул со стола что-то продолговатое, блеснувшее сталью.

— Здесь! — и он вогнал кинжал в мягкую массу по самую рукоять.

В следующую секунду запачканное глиной лезвие тупо звякнуло оземь. Кларенс, до крови закусывая губу, шатаясь, отошел к окну. Кончено! Прометей сидел, слегка согнувшись, положив голову на руку. Глаза его задумчиво устремлялись вдаль. В левой стороне груди зияла широкая рана. По краям глина была слегка разворочена.

— Да, вот, я Вам сейчас покажу.

Нортис встал и подошел к книжному шкафу.

— Минутку. Это кажется, на третьей...

Он рылся в книгах. Глухой шум сзади заставил его обернуться. Гость его, бледный и бездыханный, был навзничь распростерт на диванных подушках.

Барон почувствовал, что он близок к обмороку. У него перехватило дыхание.

Гюй Кларенс, скульптор, снял с этажерки небольшой ящичек, надел шляпу и, не глядя на Прометея, вышел из комнаты. Деревянная лестница заскрипела под его ногами: он нес большую тяжесть.

Глава IX Лохинвар бреется

*И радиотелеграф тонкий
Скомандовал: перелет.*

С. Бобров

«А жена моя все-таки очень мила. Юридически, впрочем. Т.е. более идиотского положения...» — он щелкнул пальцами. «Достойно кисти Айвазовского, если верить Чехову (скверный писатель, между прочим, но это неважно). "Йонг, милый". — Черт возьми! Еще бы не милый. Где ты найдешь другого такого дурака? "Приходи скорее, Лохинвар". — А ты не Лохинвар, позволь тебя спросить?»

Он вынул часы.

«Кажется, единственное, чем можно ознаменовать сей высокаторжественный день, — опоздание на Мясницкую. Тем более — кстати, почему я не выбрит? Ах, да! — с самого утра свадебные хлопоты. И все-таки любой из этих «очередных» брачующихся идиотов умнее меня. Меня, Лохинвара! — это чего-нибудь да стоит».

Он начал бриться. Однако по мере того, как мыльная пена вместе с недостойными отпрысками бороды покидала его свежие щеки, душевное состояние бреющегося улучшалось.

«В конце концов, — рассуждал он, — вечно это продолжаться не может. Или Петт полюбит меня — что было бы решительно самым естественным финалом, — или — или я разведусь с ней. Мужьями это как будто практикуется — в затруднительных случаях, конечно. И потом...» — он добрился.

«Без пяти семь, и двадцать минут ходьбы. Я опоздаю на...»

Внезапно столик высоко подпрыгнул, склянки со звоном брякнулись на пол. Тяжелый семейный портрет, описав дугу, летел вниз.

Секундой позже Лохинвар, забыв, что он не носит шляпы, на бегу нахлобучил фуражку и понесся по странно опустевшей улице.

Глава X Бегство в Египет

*По лестнице черной легко босиком
Свершить замечательнейшую экскурсию.*

Б. Пастернак

«...Крышка гранитного саркофага медленно стала приподниматься. Потом она съехала на бок, и мумия царицы Гатшопситу торжественно сошла с возвышения. Она приблизилась плавно и бесшумно, и ее деревянная тяжелая рука опустилась на плечо Луи. Юноша упал на колени. Неизреченная благодать сияла в глазах царицы. Ее губы шевелились. Великие тайны жизни готовились слететь с них...»

— Какая скучища, — Джеральдина продолжительнo зевнула.

— Ты ничего не понимаешь, Джильдочка. Читай дальше.

— Да, так, «тайны жизни готовились слететь с них. Голосом, исполненным материнской нежности, она рекла: «Луи, вернись!» Вслед за этим каменные плиты стали с ужасным грохотом отрываться от стен. Пирамида разваливалась на куски. Пол исчез. Луи с отчаянным замирающим криком рухнул в бездну. Все смешалось...»

— Ну и страху навел! И охота тебе, Петтинька, читать такие вещи.

— Джильда, не болтай. Или ты не видишь, что мне страшно? — Петти бледнела и хмурилась. Отчего? Все сошло благополучно. Йонг был безукоризненно мил (в конце концов, он на редкость славный малый), чего еще? Ноктий? Ноктия нет, да и попробуй он показаться... Разве она не Лиспетс Лохинвар? А все-таки! Она поеживалась. — Джеральдина, расскажи что-нибудь. Ну-у, расскажи!

— Ах, Петт, Петт! И чего ты куксишься? Смотри, сколько тебе развлечений: в Совете мы были, в очереди стояли, народ видали.

— Скучно что-то, Джильдочка. Расскажи что-нибудь хорошее.

— Ну, что тебе рассказать? Поедем, вот, за границу, хочешь? Меня как раз в турне приглашают. Побывали бы в Америке, в Китае, дальше бы поехали. Веселее, чем здесь киснуть. Поедем, а?

— Ты с ума сошла, Джильда. Мне — за границу? Оставить друзей? Нет, милочка, не хочу.

— Скульптора жалко?

— Джильда, дрянь, не смей!

— А я думаю ехать. Жаль случай упустить.

— Джеральдина! Неужели ты...

— Ну, что «ты»? И поеду!

— Подписала?

— Подписала!

— И ты меня бросишь — одну-одинешеньку?

Но Джильда уже помирала со смеху.

— Ах, ты, мой дурачок! Поверила? Да как же я без тебя уеду? Конечно, не подписала. А все же в случае чего...

— Противная девчонка, — Петти вытянула губки.

Джеральдина, как котенка, подбросила ее наверх и, поймав в свои объятия, расцеловала. Петти смеялась. «...Уложили львицы львят — баю-баюшки-баю».

Петт, как младенец в зыбке, качалась высоко в руках великанши. Бережным движением та опустила на кушетку драгоценную ношу: «Спи!»

Сквозь дрему Лиззи едва различала склоненное над нею лицо.

Оглушающий громовой тарарах, вклучь рвущиеся стекла (дзык!), бряцанье и треск сорванной люстры, рев, крик, звуковой ужас. Дом трясся, вещи летели. Черный дым и багровый столб огня были за окном. Петти, голову в руки, задыхаясь, падая, кинулась к двери — дым! — к черной лестнице и вниз, вниз, срываясь со ступеней. Кто-то сзади подхватил ее в плед и, укутав, понесся дальше. Она отбивалась.

— Извозчик, Ярославский вокзал!

Позади были пламя, дым и начисто пустые улицы.

— Совершенно особый стиль. Короче говоря, гениально.*

— А мне говорили — архаика.

— Гениальная. В этом — все.

— Любопытно.

— Уберите это словечко подальше. Менее всего любопытно. Страшно, если хотите. Да и сам он таков.

— Кларенс? А с виду такой кроткий.

— Кроткий. Но человека убьет без всяких, если нужно. Эгоцентрист до мозга костей.

— Любопытно взглянуть...

— Предпочту воздержаться... Впрочем, вот он сам.

Гюй подошел, приподнимая шляпу.

Часть вторая

Глава I

Пентаграмма в действии

*Некоторых мучает,
Что летают мыши.*

Б. Пастернак

Трудная вещь — древнеперсидская грамматика, особенно, если ею заниматься под свежим впечатлением взрыва адской машины и исчезновения собственной, хотя и фиктивной, супруги.

Холодный и сердитый дождь хлестал по стеклу замазанного уже окна, вата между рамами белела снегом и зимой. Мягкая темная портьера отгораживала комнату от заоконного мира слякоти и мерзлого ветра. Внутри было очень тепло, жарко; свет от лампы целиком падал на письменный стол. Комната оставалась в полумраке и от этого казалась еще пушистее и мягче.

* Эта сцена — диалог на выставке, где экспонируется скульптура Прометея работы Кларенса.

Ковер на стене, ковер на полу, персидская тахта. В глубине старинная кровать с высокими столбиками и под балдахином. На двух стенах — друг против друга — шпалеры книг. И все-таки персидская грамматика очень трудная вещь.

Лохинвар отложил в сторону словарь и потянулся. Стук дождя — мерный, дробный — наводил поневоле на успокоительное и чуть дремотное мироощущение. Все было позади.

«Странно... Можно подумать, что я перешагнул во вторую часть романа: так все туманно и далеко».

Он потянулся вторично.

Было далеко за полночь, но спать не хотелось. Лохинвар уютно подремывал и покачивался в отклоненном назад кресле. Теплая тишина плотно заполняла комнату. В углу что-то мелькнуло.

— Здравствуйте, мышь. Вы — как: во сне или наяву?

Нет, это не мышь: голубой блик зигзагами шарил по полу, потом неуловимым движением переметнулся на стол... Потом глаза Лохинвара резнул ясный голубой свет, соскользнул, вернулся, мгновение помедлил, решительно откатнулся в сторону кровати — и скрылся. Зато на полу у изголовья появилась золотая точка. С легким и мелодичным жужжанием выросла она в стебель и, достигнув высоты человеческого роста, рассыпалась огненным фонтаном. Жужжание оборвалось. Беззвучный пламень тек неудержимо.

Постепенно и спокойно огнем стал блекнуть, собираясь в то же время в прежнюю гибкую золотую колонку. Комната потемнела. Кровати не было.

— Хорошо сделано, — сказал Лохинвар. — Начисто.

Внезапно, как под дуновением ветра, колонка перегнулась неожиданным уклоном, и огненная струя мгновенно пробежала по книгам. Затем все потухло. Йонг встал и подошел к полкам. Ряды испепеленных, но не шелохнувшихся книг, целая библиотека кожаных пепельных переплетов. На корешках еще читались тисненные заглавия.

Глубокое огорчение выразилось на лице Йонга. Он махнул рукой:

— Ну, это уж черт знает, какое хамство!

Глава II Пентаграмма в диалоге

Я улыбнулся сколько только мог сочувственно и напомнил ему о прелестной истине, полагавшей, что два раза повторенное два дает в сумме четыре. Сияние истинного блаженства разлилось по его фигуре.

С. Бобров

— Я, конечно, не имею в виду погрешек вроде современной нам культуры. Но и мистическая традиция недостаточна. Излишне напоминать вам, что Пентаграмма — единственная реальность в мире призраков и фантазмов. Силы природы, реорганизованные Братством...

(«... Что время, что самоубийство ей не для чего, что даже и это есть шаг черепаший... Что время...»*)

— ...Реорганизованные Братством — подлинный фундамент будущего. Духовная революция...

(«... Что самоубийство ей не для чего... Петти... Лохинвар... Ноктий убит. Все ни к чему. Что время...»)

* Строки из стихотворного цикла Б. Пастернака «Разрыв».

— ...Что, однако, осознано не всеми членами Братства. Для вас полагаю, наши пути очевидны.

(«...Что даже и это. Безусловно. Ни к чему. Убежала... Что самоубийство ей не для чего... что даже и это...»)

Удивленный Нортис поднял глаза на собеседника.

— Что? Виноват, вы, может быть, утомлены.

— Д-да. Я много работал эти дни. Меня занимает другое... («Нет, невозможно. Но Пентаграмма...»)

— Идея личного мистического постижения, личного подвига. Вот почему миф о Прометее...

— Но Прометей — Пентаграмма!

— Прометей — личность. («...А Ноктий убит. Конец!»)

Он сдернул влажную простыню, облежавшую статую.

— Прометей! — всегда спокойные глаза Нортиса вспыхнули голубым блеском. — Ноктий!.. Гюй, вы великий художник.

Он подошел к статуе.

В левой стороне груди зияла широкая рана. По краям глина была слегка разворочена.

— Комтур, — голос Кларенса звучал глухо. Скульптор стоял спиной к окну, руками слегка опираясь о подоконник. — Великий Комтур! Я убил Ноктия два дня назад. Я очень любил его. Я не мог иначе. Все было ошибкой. Я устал. Делайте со мной, что хотите.

Нортис, очень бледный, перевел на него пронзительный взгляд. У скульптора были блуждающие глаза и вконец измученное лицо. Он, кажется, шатался.

— Петти Литс? — сквозь стиснутые зубы выговорил Комтур.

— Любовь. Это было мое право.

Молчание.

«Что даже и это есть шаг черепаший...»

Глава III Запечатанный конверт

...новое Замбези!

...новый Берингов пролив!

С. Бобров

Комната — небольшая ротонда в стальных фанерах. Судьи — Первый Комтур Пентаграммы и два посвященных IV-й ступени. Подсудимый — Кларенс.

Недолгий допрос кончался.

— Еще одно. Ваше отношение к этому шагу неизменно?

— Да, все оказалось бесцельным. Но это было неизбежно.

— Вы не имеете чего-либо прибавить?

— Нет.

— Посвященный, взгляните сюда.

В руках Нортиса блеснул прозрачный ограненный янтарь.

Глаза Гюя ожили: «Ноктий жив! О, Ноктий жив!» Вслед за этим кровь схлынула с его щек. Он опустил камень на стол.

— Комтур, вы правы. Этого нельзя было делать. Я думал, что знаю себя. Я ошибся.

Нортис наклонил голову.

Кларенс оставался один — недвижим, устремив глаза на огонь светильника. Суд совещался в соседней зале, но подсудимый забыл об этом. Он

думал о том, что Ноктий жив, что это — чудо и что чудом этим возвращен ему мир. Магический янтарь не лгал. Это было хуже, чем ошибка, — это было заблуждение. Но теперь — все позади. Жизнь простиралась перед ним утренней тропинкой, освобождающейся от последних клубов рассветного тумана. Путь был бесконечен.

Гюй не заметил вошедших.

— Посвященный! — Нортис стукнул по столу костяной дощечкой. — Вы совершили тяжкое преступление. Во искупление его Вечное и Всевластное Братство налагает на вас достойную кару. Вы вернетесь сюда, только выполнив предписание Пентаграммы. Следуйте за мной.

Он повел подсудимого галереями и переходами замка. Они остановились в Зале Медных Щитов у хрустальной перевитой колонны, изливавшей чистый золотой свет.

— Этот пакет, — сказал Нортис, — вы вскроете через семь дней. Отправляйтесь немедленно. Запад. И клянитесь...

Он не договорил. Гюй уже надорвал конверт.

«Воздвигайте новую Атлантиду!»

— Клянусь! — Кларенс коснулся ладонью колонны. Лицо его было нечеловечески прекрасно.

Ослепительное пламя пробежало по витому хрусталу — волна золотого света озарила темный купол. Затем все стихло.

— Ну, дорогой мой! — сказал Нортис, разводя руками.

Глава IV Атака

*Горячим грохотом железных сковород
Вас отрезвит ли военный случай...*

Н. Асеев

«Дзжаннь! Дзжиннь! Дзжиннь! Дзжаннь!»

Звенящий пронзительно шарик плавал по волнам колеблемой тьмы.

«Дзжиннь! Дзжаннь!»

— Тревога!

Ночь, мгла, мертвая комната.

— Тревога!

Воздух задыхался. Он метался и изнемогал под звон плившего шарика.

— Тревога!

Сознания не было. Жизни не было. Смерти не было. Вздох. Первый вздох. Певучий ужас плыл в воздухе.

«Дзжиннь!»

Встать! Тело не подчинялось. Голова покойно оставалась на подушке.

Первая мысль: Пентаграмма. Первое чувство: Тревога. Первое движение: встать!

Пространства неслись мимо. Нестерпимая боль в сердце оставалась за пределами сознания.

Полет.

Лестница синего камня... Она не светилась. Ноктий бежал по знакомому лабиринту переходов, теперь погруженных в ошеломляющий мрак. Внезапно грохот обвала потряс замок. Воздушная волна отбросила Ноктия назад. Спотыкаясь, кинулся он по спиральной лестнице вверх.

Верхние залы были также вслепую темны.

Он бежал дальше. Отдаленные взрывы следовали один за другим. Пол

под его ногами дрожал и колебался. Уже через несколько мгновений Ноктий сбился с пути. Какие-то новые анфилады вырастали перед ним — гул шагов тысячекратно повторялся громадами пустоты.

Ощущение плоскости перед самым лицом заставило его отшатнуться. Некоторое время он шарил в темноте, всюду наталкиваясь на твердые поверхности: выхода нет! Внезапно и очень близко грянули залпом тысячи орудий. Стены шатнуло.

Вслед за этим из непроницаемой тьмы стали выдвигаться смутные очертания. В темноте выплыло темное тело колонны, затепливаясь тусклой фосфоресценцией. Свечение усиливалось, зеленые жилки бежали вверх, заключая ствол в каркас бледного сияния. Свечение усиливалось. Стены колонны, крутой поворот — и белые ступени. Наверх — астрологическая башня, внизу... Ноктий бросился вниз. Зала направо — низкий малахитовый потолок, опрокинутые колонны и пламенеющие с каждым мгновением сильнее серебряные спирали. Дальше!

Небольшая голубая комната.

Здесь все было в порядке. Нортис сидел за квадратным столиком с матовой доской, сплошь загроможденной рычажками, колесиками и винтами разнообразнейших форм. Барон наклонялся над полированной дощечкой. Быстро глянув на вбежавшего Ноктия, — «Садитесь!» — он указал на место рядом и продолжал подвинчивать какой-то шуруп.

Заглушенный далекий взрыв...

— Кто? — спросил Ноктий.

Нортис пожал плечами: «Зала зеркала разрушена... Полагаю, Лохинвар. Но не он же один... Простите...» — Он вновь пригнулся к столику, переводя рычажок. Фиолетовое сияние наполнило комнату и медленно растаяло.

— Ага! — произнес Нортис. — Средство действует. Теперь все налаживается. Надо...

Дверь раздвинулась. В комнату, отдуваясь, вошел Третий Комтур.

— Фу-у. Как дела?

Нортис кивнул.

— Вот что. Сектор Цет еще нехорош. Будьте любезны, — он обернулся к Ноктию, — Зала Созвездий, эбен под куполом — знаете?

— Да, да, конечно.

— Прекрасно. А вы, Чармин...

«Эти проклятые колонны». Лохинвар путался, блуждал, ругался и вдруг, хватив своей палкой хрупкую хрустальную колонку, произвел совершенно неожиданный эффект: колонка разлетелась мгновенно, осыпаясь мелким стеклянным порошком. И прежде, чем Йонг успел шевельнуться, началось нечто невообразимое. Свет погас — и во внезапной тьме загрохотали со всех сторон чудовищные обвалы. Пропasti разверзлись под его ногами, какая-то пластинка задела его и пронеслась мимо.

«Эмч, амч, умч, макарако, киочерк», — Лохинвар чертил над головой магические круги. Глыбы и осколки валились справа и слева, отклоняемые невидимой рукой.

«Эпс, апс, эпс, чоги-гуна-зиморо», — красный свет озарил ему путь. Среди непрекращающегося разрушения Йонг зашагал дальше. Дорога назад была ему неизвестна — все было завалено. Он пошел вперед. Отвага наполняла его сердце.

«Так или иначе, а баскервильских собак стрелять надо!»

Колоссальная стена медленно начала надвигаться. Лохинвар не верил глазам. Он свернул в узкий проход и очутился в следующей зале, но и она перестраивалась. Куски стен летели. Случайно опрокинув металлический

треножник, он прекратил это движение. Обвалы гремели позади. Йонг мчался коридорами. «И где эти поджигатели? Эй вы, колдуны — позитивисты, трусы, истребители библиотек!»

Огромный опаловый шар показался в отдалении.

Дзум! — он разорвался в водопад фиолетового пламени, потоками хлынувшего по сторонам.

Ослепленный, ошеломленный Лохинвар повернулся и понесся, преследуемый лавиной фиолетового огня...

«Настоящее лиловое помешательство», — Йонг несся. Он успокоился, только достигнув подземелий. Нестерпимый блеск погас.

«Хватит. Теперь очередь за мной», — он исчертил пол кругами и трегольниками и двинулся наверх. Но пути не было. Все было преграждено бесшумно и безостановочно двигавшимися стенами. Перестройка шла.

Возвращаясь из сектора Цэт, Ноктий столкнулся с Чармином Нмагавата.

— Ну как?

— В относительном порядке. Не знаю только, где этот Лохинвар. Там его нет.

— Безумный малый, — ответил Чармин, обмахиваясь тиарой. — И ведь как набедокурил! Откуда его только принесло!

Ну, если бы не Нортис...

— Да-а, с таким капитаном... А вас, Ноктий, я рад видеть живым. Не угодно ли? — он протянул плитку шоколада.

— С большим удовольствием.

Глава V Дядя из Мазендерана

*Пора бы вспомнить вам, милейший Перегринус,
О злой, о горестной земной судьбе моей.*

С. Бобров

На свете не было ничего, кроме адской головной боли и подавляющей разбитости во всех суставах. Боль ехидно варьировалась: то она стягивала череп каменным обручем, то кидалась в виски, то стучала булыжником по затылку. У Лохинвара не было сил регистрировать все ее штуки. В краткие светлые промежутки сознание его неизменно возвращалось к пережитому — и находило, увы, лишь поводы к бессильным проклятиям — прежде всего себе, а затем, конечно, и Нортису с братией (иначе Братством). Атака была явным безумием. Ему еще чертовски повезло — можно было и остаться в подземельях навсегда, а это не прельстило бы ни одного уважающего себя человека. Но теперь, теперь... Понятно, они не оставят его в покое. Он может причислять себя к мертвым с таким же комфортом, что и к живым, — даже с большим. Ругательства. Пауза. Ругательства. Мысль его заработала интенсивнее.

А раз ему угрожает опасность, следовательно, он не может считать себя в безопасности. Отсюда: надо принять меры.

Он вскочил и подошел к столу. Что бы предпринять? Перед ним лежала раскрытая книга. Взгляд нашего героя упал на эпиграф к пятой главе второй части.

— А, ведь это идея. Шахриар... да, да, да, да. Превосходная мысль.

Он извлек из-под умывальника две круглые медные пластинки и начал мерно звякать ими, приговаривая слова не понятного для автора значения. Занятие это увлекло его чрезвычайно.

— Хватит, сын мой. Я уже здесь, — промолвил волшебник, подымаясь с тахты. — Но что с тобой? Ты бледен и уныл.

— Я умираю, отец мой. О, эта головная боль! — (Приступ мигрени возвратился с удесятеренной силой.)

Спокойная прохладная ладонь опустилась на лоб Йонга:

— Факр-аш-эля-амаш-эн-стей.

Боль как рукой сняло. Лохинвар чувствовал себя вновь бодрым и здоровым.

Они закурили, усевшись на тахте. Йонг, сколько только мог кратко, поведал старцу события последних дней.

Шахриар задумался.

— Вот что, сын мой, — начал он, пуская клубы душистого дыма. — Нелегкую ты затеял борьбу. Ибо равно нам обоим ненавистное Братство обладает несокрушимой мощью. Но я рад тебе помочь, зная тебя за юношу пылко и благородного, просвещенного и великодушного. — (Лохинвар вежливо поклонился.) — Итак, ложись на меня. Я сумею изыскать средства, коими твоя безопасность будет обеспечена, а пока прими в знак моей неизменной дружбы это небольшое чудо.

И, порывшись в карманах своего восточного халата, старец вытащил волшебный жезл. Затем он подошел к книжным полкам с еще не убраным сброшюрованным пеплом и, коснувшись сожженных книг, вновь возвратил им жизнь.

— Как мне благодарить тебя, отец! — воскликнул Лохинвар, опускаясь на колени.

— Полно, дитя. Положись во всем на меня и спи спокойно.

Добрый волшебник плотнее запахнул свой халат и исчез.

Глава VI В страну рахат-лукума

*Глава сия посвящается
Марику Б.*

*...Серьезное путешествие через лисий
рукав папиной шубы и прямо...*

— В Конфетбург, так и есть...

С. Бобров

Генри Нортису Младшему снился ужасно интересный сон.

— Господин Носорог, а вы часто гуляете со своими детьми?

Носорог отвечал утвердительно: он был очень славный.

— Господин Носорог, а с кем они еще играют?

— С маленькими львами, тиграми и крокодилами. Им очень весело, и я вожу их в зоологический сад.

В это время пришли три маленьких зверя, они стали на колени и кланялись Носорогу и самому Генри. И они дали себя погладить, а потом превратились в воздушные шарики — красные и большие-большие. У них оборвались веревочки, и — ах — они улетели.

Генри хотел заплакать, но дядя Носорог погладил его по голове, посадил на спину и поехал очень скоро.

Генри стало плакотно.

— Папа, мне слишком быстро.

— Спи, спи, дитя мое, — сказал Носорог, но Генри открыл глаза.

Носорог был волшебник с длинной белой бородой, одетый в пестрое.

— Спи, спи, дитя мое, — повторял он, укутывая мальчика в козий мех.

Тут Генри заметил, что очень холодно, что он не у себя в кровати, и что они едут все-таки слишком быстро.

— Где папа?.. — осведомился он, освобождая ручку.

— Э-э-э... Папа отпустил тебя погулять и покушать сластей. Мы летим на волшебном облаке в страну рахат-лукума. Ты знаешь рахат-лукум? Нет? Это шоколад. Попробуй-ка.

Волшебник опустил в ладонь Генри целую горсточку мягких розовых штучек. Это было удивительно вкусно. Генри развеселился.

— Дядя Носорог, а мы, когда приедем, мы пойдем к папе, да?

— Меня зовут Шахриар, — сказал озадаченный Волшебник. — Я никогда не замечал в себе сходства с носорогами. (Он вынул карманное зеркальце и на всякий случай посмотрелся.) Папа приедет после — он знает дорогу в эти места. А пока давай рассказывать сказки — сначала я, потом ты. Жил-был...

Сказка показалась Генри очень занимательной. Потом он рассказал волшебнику еще лучшую. Волшебник очень радовался. Потом стало теплее. Генри освободился от мехового одеяла, сел на него по волшебному (поджарив ножки) и получил мешок самых диковинных сладостей.

Волшебник дремал, греясь на солнышке.

Генри Нортис Старший внезапно проснулся, в безотчетном страхе. Дрожащими руками он накинул халат и, бесшумно ступая, пробежал в детскую. Все было тихо. Он чиркнул спичкой. Генри нет. На полу, у кровати — скомканное одеяло. Нортис присел на кровать, у него шумело в ушах.

— Мавруша!!

Храп.

— Мавруша!

— А-я? Что, барин? Генри? Да он тут, тут!

— Нет его!

Мавруша зашлепала к выключателю. Свет вспыхнул.

— Никого! Господи Иисусе! Генри! Генри! — она заглянула под кровать. — Барин, голубчик, да что ж теперь будет? Генри, Генри! — она бросилась в коридор.

Барон не мог говорить. С закушенной губой, прижатыми к телу руками, с непреодолимой мелодной дрожью он пошел к себе. На кровать — страшно, он сел к столу. Светало. Стояла тишина. Мавруши не было...

— Нортис, милый, что случилось?

Барон не отвечал. Ноктий крепко потрянул его руку.

— Слушайте, Генри, опомнитесь. Мы вернем его. Не волнуйтесь же так. Мавруша, где детская?

Через несколько минут он вернулся.

— Вот. Под подушкой записка: «Успокойтесь. Никакого вреда Вашему сыну не причинят, с условием, что ни один волос не упадет с головы Йонга Лохинвара».

— Лохинвар! — произнес барон, сжав руки.

— Надо вернуть ребенка, — сказал Ноктий решительно. — О Лохинваре позаботимся потом. Вот второе, это лежало около кровати. Теперь мы знаем, кто...

Нортис выхватил книжку «Апология» Апулея, изд. Кщара, 1893. Персидскими буквами на ней было выведено имя похитителя: Шахриар.

— Дайте, дайте, — барон взялся за хрустальный прибор, вынутый Ноктием. — Я сам, — но прибор выскользнул у него из рук и разбился вдребезги.

— Там, в шкафу, есть другой.

Ноктий погрузился в исследование движения стрелок по хрустальному циферблату.

— Так. Все, — он записал что-то, — я отправляюсь. Ждите нас не позднее вечера. И не тревожьтесь.

Нортис сидел в кресле, взгляд его был неподвижен.

Облако понемногу опускалось все ниже, пока не село на мягкой зеленой лужайке. Волшебник слегка посапывал.

— Дядя Ноктий, ты тоже здесь?

Генри соскочил с облака и бросился на шею Ноктию, сидевшему на камне.

— Скоро приедет папа. А мне было очень весело. Этот Носорог... — он запнулся, — этот волшебник кормил меня шоколадом, какого нет даже у дяди Чармина. Он розовый. Только это не шоколад.

Ноктий несколько судорожно обнял ребенка и поцеловал его даже немного больно.

— Едем, — сказал он.

Волшебник всхрапнул, проснулся и протер глаза.

— Молодой человек... — он остановился, изумленно глядя на Второго Комтура Пентаграммы.

— Вы забыли у нас книжку, Шахриар. Очень кстати. Благоволите получить, — голос Комтура звучал резко. — А я беру обратно Генри.

Волшебник слегка смутился.

— Н-да, Апулей... — он сунул его в карман. — Впрочем, если бы я не заснул. Ну, прощай, дитя мое. Клянйся папе. Неправда ли, тебе было весело со мной?

— О, конечно, дядя Носо...

Волшебник поспешно перебил его:

— Так прими же от меня на память эти сласти.

— Прощай, дядя... спасибо.

— Я прилетел на облаке, — пояснил Шахриар изумленному Йонгу (в комнате стоял сплошной туман). — Вот что, сын мой: едем в Мазендеран, и немедленно. Там я обучу тебя всему, что знаю сам. Ты молод и одарен. Через год... Здесь же оставаться нельзя.

Лохинвар кинул прощальный взгляд на свою напрасно возвращенную библиотеку, уцепился за руку Шахриара, и они полетели.

Глава VII История Петти

Раз за ними гнался англичанин.

С. Бобров

Итак, вы думаете, что в Китае более нет принцесс?

Очевидное недоразумение. Ибо откуда иначе мог взяться нижеследующий разговор:

— Я преклоняюсь перед благословенным Вашим решением, прекраснейшая принцесса. Но...

— Свет вашей мудрости сияет, как солнце и как звезды, о мандарин моего сердца. Только к чему супруга Ваша посетила не далее, как вчера, кладезь добродетели при императорской конюшне, воплощенный в ее управителе Он-Чи-Пхи?

— Небесная пронизательность ее светлости изменила ей на сей раз. Всем

известно, что не моя достойная супруга посетила вчера достойного моего друга Он-Чи-Пхи, но дама свиты ее Светлости Ну-Ли-Ван. Впрочем, заморская княжна О-Литс не могла исчезнуть без...

— Мандариннейший мудрец мой! Оставьте О-Литс в покое. Она под защитой драконнейшего из наших драконов.

— Как? — сказал пораженный мандарин.

Но серебристый смех принцессы был ему ответом.

— О-Литс-Петти Чанг не вернется к вам никогда. Она останется у меня, дабы усладить мой светлейший слух небесной гармонией своих непонятных песен. Вот она, — принцесса торжественно отдернула занавес, скрывавший Петти... скрывавший отсутствие Петти!

Пока равно влюбленные мандарин и принцесса изъясняли друг другу свои взволнованные чувства, Петти и Джеральдина уносились за пределы Китая.

Хуже было в Буффало. Здесь начальник станции решительно отказался дать им вагон. «Одно из двух, — говорил он. — Или вы, мисс Литс, выйдете за меня замуж — и тогда к чему вам путешествовать? Или вы откажетесь — и тогда я отстраняюсь от всякого участия в вашей судьбе». В момент всеобщей железнодорожной забастовки начальники станций представляют из себя немалую силу. Спасло произведшее фурор выступление Джеральдины в клубе «Христианская любовь» Общества покровителей жертв персидского порошка. Джеральдину пробовали вынести на руках, но это оказалось технически невыполнимым. Восхищенные покровители предоставили в полное распоряжение беглецов автомобиль Общества. Было это весьма кстати, ибо директор цирка (свирепая морда с рысьими баками) циркулировал по городу в поисках очаровавшей его директорское сердце Петти.

Потом пошло глаже. Чикаго, Питсбург, Афины, Калифорния. Джеральдина всюду имела блестящий успех. Петти тоже. Испортили дело индейцы. Появились они на сцене черт знает где (Петти так никогда и не узнала, где именно), разграбили поезд и увели в плен наших героинь. Индейцы оказались очень милыми людьми — вели себя, как полагается индейцам, охотились, курили, говорили «брат мой», вообще жили в вигвамах. На ночь для тренировки читали Фенимора Купера. Вдобавок сын их вождя, Черный Мадаполам, считал Петти своей невестой и трогательно о ней заботился. Она, видимо, оказывала благотворное воздействие на его лучшую цивилизованную «ю».

Однако в одну совершенно исключительную ночь Черному Мадаполаму пришла в голову несчастная и не достойная его благородства мысль прогуляться под окнами Петтиногo вигвама. Увы, огромная Джеральдина, рыгчавшая, как самый дикий зверь, бросилась на него, и в мгновение ока Черный Мадаполам был разорван в клочья...

Так кончился безмятежный период существования наших путешественниц. Наутро индейцы окружили их вигвам, нечеловеческим воплем выражая свое возмущение. После этого они собрали кучи хвороста и начали сжигать пленников живьем, когда Джеральдина с Петти на руках опрокинула десятка два воинов и скрылась в лесу. Племя гналось за ними по пятам с барабанным боем, томагавками и прочими аксессуарами.

Положение было трагическое. К счастью, необычная музыка привлекла внимание путешествующего англичанина. Этот джентльмен выказал незаурядное геройство и неустрашимость. Взбешенным индейцам он рекомендовал действовать законным порядком. «Напишите заявление в местный суд, — говорил он вождям. — Остальное приложится».

Несокрушимая логика англо-саксонца оказала влияние на разгоряченные умы дикарей. Они уступили.

Дальнейшее путешествие осложнилось присутствием неизменного и неотклонимого спутника. Англичанин сопровождал их всюду: на Миссисипи, в Мексику, Венесуэлу. Он был молчалив и очень вежлив, но совершенно

неотвратим. Нужно ли говорить, что он был влюблен в Петти? Бежали они от него дважды. В Боливии — аэропланом, и в Нью-Орлеане — на извозчике. Оба раза неудачно. В последний момент англичанин спокойно присоединялся к компании. Петти со злости выкуривала весь его портсигар и ругала его, поминая Лохинваровы уроки, на языке ему недоступном. В конце концов джентльмен надоел ей.

Пароход «Ипполитта» тонул. Тьма, холод, возня на палубе и гомон тысячи голосов. Пароход тонул очень быстро. Джеральдина, в дождевом плаще и спасательном поясе, устроила Петти у себя на спине под плащом и кинулась в плавь. Минут через десять воронка от погрузившегося парохода затянула их.

— Джильда, а ведь англичанин, должно быть, потонул!

Их завертело с ужасающей силой.

Вниз!

Глава VIII Падение Саламандры

Такая, одним словом, Рибейра...

С. Бобров

Это случилось ровно через год после отъезда Лохинвара в Мазендеран. Барон Нортис мирно сидел перед голландской печкой, помешивая железной палочкой восхитительный пунцовый уголь (печь топилась березой). Был вечер. Генри спал в своей комнате и видел во сне носорогов. Барон покуривал папиросу и думал — ни о чем он не думал. Внезапно на белой кафельной полировке взору его блеснули огненные письма. Мгновением позже они исчезли. Барон продолжал курить. Потом, бросив о печь недокуренную папиросу, поднялся довольно решительно и, застегиваясь на все пуговицы, прошел в переднюю.

В голубой комнате они встретились — Нортис и два Комтура.

— И вы тоже? — спросил Чармин несколько смущенно.

— Да, записка.

Всем было не по себе. Нортис хмурился.

— Не нравится мне вся эта история, вот что я вам скажу! Сгоряча затеяли!

— Положение трудное, — тихо сказал Ноктий. — Но жалеть не о чем. Мы поступили правильно.

— Правильно? Мальчишку — к смерти? За шалость?

— Однако, сколько мне помнится, решение было достаточно единодушным, — Нортис говорил с некоторым раздражением.

— Да ведь Вы, Генри, собственно, не высказывались тогда.

«Это и было ошибкой», — подумал Великий Комтур.

— Да... А вы, Чармин, что скажете?

— Дикая нелепица, не угодно ли. Ахинея: приговор по-пустому, смерть не действует, теперь катит в гости. Мазендеранские штучки!

— Да, нехорошо.

Нортис подошел к столику.

— Ну-с. За дело! Вызываю посвященных. Вы, Чармин, осведомите их. Ноктий! Проверьте оборону. Разведка у меня, — он наклонился над полированной доской.

Белая зала Саламандры вмещала сотни пентаграмматистов. Безмолвно слушали они речь Третьего Комтура.

— Великий час наступил. Нам предстоит защищать то, что для каждого из нас дороже жизни. Пентаграмма в опасности. Заклятый наш враг, Лохинвар, угрожает разрушением Замку. Силы его колоссальны. Никогда, со дня основания Братства, не было оно столь близко к гибели. Надежда одна — на соединенные в геройском порыве силы братьев. Ваши Комтуры — на постах славы. Все возможное и невозможное будет сделано. Исполним свой долг, свою радостную обязанность, свое священное право — умрем за Пентаграмму!

— Обещаем! Клянемся! Обещаем!

— На оборону, братья! Наверх!

Все аванпосты пришлось очистить. Уже через полчаса стало ясно, что о защите наружных укреплений нечего и думать.

На этот раз Йонг был не один.

Нортис стянул оборону к центру. У него были свои планы. Пока что перестраивались башни, опрокидывались залы, двигались колонны.

Лохинвар повел бешеное наступление. По знаку его жезла каскад огненных духов ринулся в бой. Они возникали из земли, из воздуха, из шпилей самого замка. Огромными факелами падали они на стены, сжимали в смертельных объятиях башни и выступы, прожигая камень и в пар превращая металл. В несколько минут Саламандра была охвачена широким кольцом живого пламени.

А высоко над нею в темном воздухе гарцевал на пылающем коне Лохинвар, уверенными мановениями жезла направлявший атаку. Огнеупорный плащ его развевался по ветру. Огненное храпевшее чудовище взмахами копыт рассекало воздух. Йонг твердою рукою натягивал поводья. Он поспевал всюду, мгновенно восстанавливая колеблемое осажденными равновесие, бросая все новые силы в наименее защищенные места. С одного взгляда угадывал он положение, хладнокровно и беспрестанно ведя приступ.

В замке царило смятение. Даже Комтуры, приготовившиеся к любым неожиданностям, были удивлены силой нападения. Нортис, однако, не отчаивался. Ничего непоправимого пока не случилось. Оборона продолжалась. Опаловый шар снялся с конуса, вознесся на шпиль астрологической башни и, покачавшись, рассыпался струями фиолетовых брызг. Замок потонул под пеленой блистающего дождя. Огненные духи бледнели, гасли и свертывались в этом сиянии. Нортис мог торжествовать.

— А, — сказал Лохинвар. — Лиловое помешательство. Старая история, — он махнул жезлом.

Серые бесформенные клубни стали вытягиваться из земли. Их колоссальные тела влачили по скалам, прилипали к стенам замка, сминая их в комья. Фиолетовое сияние гасло от их прикосновения. Это были духи земли. Башни валились на головы защитников. Ничего не могло противостоять тяжелому напору гигантских слизней.

Нортис был озадачен. Залы обваливались одна за другой, ряды осажденных редели, часть приборов уже не повиновалась центральным рычагам. Ноктей и Чармин из сил выбивались на своих постах. Нортис решил.

— Переместим центр тяжести, ничего не поделаешь.

И, повинуясь плавному движению рычажка, замок медленно описал 180° вокруг своей горизонтальной оси и оперся о скалы шпицами своих башен. Внутри все осталось по-прежнему. Только наружные защитники заметили перемену. Зато нападающие, потеряв равновесие, бессильно повисали в воздухе, сшибаясь и сталкиваясь, попадали под беспощадно двигавшиеся стены и расплюснутыми мокрыми клубками падали на землю.

— Неплохой ход, — заметил Лохинвар. — Это что-то новое. Но все же... — и по его знаку новые полчища огненных дьяволов метнулись на приступ. Замок едва успел перевернуться. Пламя уже бежало по залам.

— Водал! — задыхаясь, крикнул Нортис.

Все три Комтура с величайшим усилием повернули саженное колесо водяного затвора. Кругом все накалялось от приближавшегося пламени.

— Ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-а-а-а, — сверху, из-под неба плеснул исполинский душ, заливая стены замка, сбивая и унося духов в потоках воды. Живые огни со свистом и шипением гасли. Клубы пара окутали место катастрофы. Целые смерчи его возносились к небу, а оттуда все бил и бил неиссякаемый водомет.

Конь Лохинвара на две версты взметнулся вверх. Казалось, и эта атака окончилась неудачей. Далеко внизу по земле неслись бешеные реки, размывая скалы, унося в своем течении размокшие трупы слизней и потухшие уголины духов огня. Саламандра стояла твердо под непроницаемым водным балдахином.

Лохинвар побледнел. «Они решительно поумнели за год. И все-таки пора кончать».

Торжественные слова заклинания...

<Зала> наполнилась черными духами космического <происхождения>*. Черный водопад низринулся вниз. Впереди <на своем коне мчался> Лохинвар.

Пелена воды мгновенно исчезла: H₂O разложилась и <черный водопад> разлился бушующим черным пожаром.

Голубая комната потемнела. Стены шипели и плавилась <Комтуры оставили замок> в последний момент и присоединились к толпе посвященных, уцелевших от боя.

Все погибло. Саламандры не существовало.

— В подземный ход! — крикнул Нмагавата.

Нортис кивнул — говорить он не мог. Лично для себя он предпочел бы остаться. Но все равно.

— Ступайте, я задержу их, — Ноктий повернул наверх.

Ш-ш-ш-а-а-а — водяная лавина на минуту отделила подземелья замка. Когда она рассеялась, беглецы уже скрылись.

Ноктий нагнал их в глубоком тоннеле. Издали доносился шум океана — глухой, древний, непобедимый.

Глава IX Дуэль

*Бьются Перун и Один,
в прасини захрипев.*

Н. Асеев

Вставало солнце — белесое сплющенное солнце с резко вычерченной желтой короной. Небо — серый аспидный купол — накренилось над землей — твердое, гладкое, подернутое туманом. Моря не было видно, но соленый холодный ветер дул, не переставая.

Йонг сидел на выступе скалы, положив голову на руки. После желанной победы он переживал состояние полной подавленности. Горечь во рту, пустота в голове и ощущение странной непривычной легкости.

— Который час? Что, что?!

Судя по часам, время шло назад, и притом с поражающей быстротой.

* В этом месте страница оригинала повреждена, и фрагмент текста утрачен.

Минутная стрелка серым вихрем неслась по циферблату — справа налево, справа налево, часовая чуть медленнее бежала туда же, путаясь у нее в ногах.

Это не было порчей часов.

Йонг почувствовал себя очень не дома — и не на земле. Во всяком случае не на человеческой земле 1922 года, а где-то в чужой вселенной.

Ветер дул, не переставая... И по ветру, то низко пригибаясь, то взлетая в серую высь, несло что-то белое, тонкое — несся листок бумаги. Ближе, ближе, с каждым порывом ветра полоска листка падала вниз — вот-вот — она легла на колени Лохинвара. Он рванулся назад почти в помешательстве.

«Лохинвар! Я Ноктий, Комтур П.Т.Г. Я требовал для тебя смерти год назад. Я спас защитников замка сегодня ночью.

Ты отнял у меня Лиспетс. Ты уничтожил Пентаграмму. Сегодня в полдень мы встретимся насмерть. Ноктий».

В полдень!

Ветер дул, не переставая. Солнце склонялось. Древний хмурый океан катил волны серой громадой. Беспенные, они набегали на берег и устремлялись назад.

Горизонт уходил в бесконечность. Горизонта не было. Небо не смыкалось с водой.

Берег был пуст — ужасающе, непоправимо. Ни одно живое существо не могло ступать по этим камням и пескам.

У самой черты прилива темнели два пятна — продолговатые, неподвижные, мертвые.

Ветер дул мимо них. Он дул, не переставая. А с моря бежали беспенные волны.

Смерть!

Глава X Атлантида

*Протяни мне холодные ручки.
Мы теперь отдохнем.*

С. Бобров

Руины Саламандры. Уступ горы. Шум невидимого моря — и ветра. Нортис лежал у подножья гранитной глыбы. Все перемешалось, думать <было не> о чем. Кучка последних посвященных Пентаграммы с ним.

<Вдруг у одной из колонн разрушенного замка появился Кларенс.> В руке у него что-то мерцало. Колонна раскололась, <и> изнутри забил лучезарный источник. Гюй протянул руку и опустил в струю мерцавший предмет. С тихой музыкой из источника стал расти золотой дым, окутывая <тонким облаком> воздух и землю.

Это был сон!* Голубое небо сверкало и зарилось <в раме золотого> света и розового горизонта. Музыка умолкла. Это не <был сон! Гюй подошел ближе.> Был ли это Гюй? Его лицо херувима светилось неземным блеском. А голос его звенел, как луч.*

— <Учитель!> Клятва исполнена. Священный Октаэдр открыл нам Атлантиду.

* Фразам, отмеченным звездочкой, предшествовали утраченные небольшие фрагменты текста.

Нортис протянул ему руки. И они вошли в Атлантиду. Несколько накренный носом вниз, неся воздушный корабль в голубизну.

Петти и Джеральдина стояли рядом.

Закат. Розовая пыль. Золотой воздух. И вот внизу — неясные очертания. Город, облака, мираж? Корабль неся вниз, и оттуда нежнейшая музыка привечала его.

— Господи, до чего же хорошо!

— Тсс! Джильда... Это Атлантида.

О некоторых символах и о прототипах героев «Октаэдра»

Вот так, страшным катаклизмом, чуть ли не гибелью всей цивилизации, а вслед за тем — созданием новой, лучезарной — кончился поначалу невинно-шутливый роман. Все оказалось глубоко связано с тревожным временем, в котором выпало жить юным авторам.

Нам осталось выполнить обещание, данное в предисловии, и рассказать, откуда пришли в роман некоторые из его основных символов и главные персонажи.

В конце романа уцелевшие герои входят в некую «Новую Атлантиду». Такое название носит неоконченное утопическое сочинение Френсиса Бэкона. Как раз в 1922 году оно было издано в новом русском переводе, и брат и сестра Кунины, по книге и лекциям Брюсова хорошо знавшие о «старой» Атлантиде, не могли не обратить на него внимания. Выбор для лучезарного нового царства бэконовского имени немало говорит о симпатиях и взглядах молодых авторов. Ведь, в отличие от Мора и Кампанеллы, Бэкон рисовал подчеркнуто *некоммунистический* вариант будущего, опирающегося прежде всего на мощь знания.

Пентаграмма — широко известный магический символ. Достаточно напомнить, что у Гете именно начертанная мелом пентаграмма мешала Мефистофилю выйти из кабинета Фауста. Но названием таинственного братства в «Октаэдре» она стала... благодаря ритмическому сходству с совсем не магическим словом «центрифуга». Этим техническим термином были названы издательство и литературная группа футуристического толка, объединявшие в десятых годах Боброва, Пастернака, Асеева, из чьих сочинений, кстати, взяты почти все эпиграфы в «Октаэдре»... Связь технического термина с творчеством любимых поэтов оставалась непонятной, загадочной, не смог ее прояснить, в ответ на прямой вопрос Куниных, и Пастернак, и литературная группа недавнего прошлого мало-помалу обрела в сознании молодых авторов черты «таинственного общества». Стоящие после имени Ноктия в его последней записке буквы «П. Т. Г.» так же соотносились с названием «Петроград», как инициалы главы «Центрифуги» Боброва «С. П. Б.» с довоенным названием города «Санкт-Петербург».

Но в подлинно художественных произведениях даже случайно обретенная деталь получает обычно внутреннюю мотивировку и символическую нагрузку. «Пента-» означает «пять» — и в обеих сюжетных коллизиях «Октаэдра» участвуют по пять персонажей. В борьбе Лохинвара с Братством Лохинвару и Шахриару противостоят три комтура (это высшее орденское звание заимствовано, по признанию авторов, из «Крестonosцев» Г. Сенкевича). В любовной коллизии задействованы Лиспетс (она же Петт и Лиззи) Литс, Джеральдина и трое влюбленных: Лохинвар, Кларенс и Ноктий.

Основных персонажей, восходящих к реальному окружению авторов романа, тоже пятеро. Начнем со старших.

Барон Нортис — это уже упомянутый Сергей Павлович Бобров (1889—1971), ученик Брюсова и Белого, еще до революции издавший поэтические сборники «Вертоградари над лозами» и «Алмазные леса», литературоведческие исследования «Лирическая тема», «Новое о стихосложении А. С. Пушкина», «Записки стихотворца». Почти одновременно со своими молодыми друзьями он стал писать романы приключенческо-утопического толка — «Восстание мизантропов» (1922) и «Спецификация идитола» (1923).

Ноктий — это Константин Григорьевич Локс (1889—1956), литературовед и философ, однокашник и друг Пастернака, учитель Жени Куниной по

московской гимназии Потоцкой и обоих авторов по «практическому классу» прозы в Брюсовском Литературно-художественном институте. Его жизненный и творческий путь был в последние годы описан К. Ю. Постоутенко («Вопросы литературы», 1992. Вып. 2) и Е. В. Пастернак и К. М. Поливановым (альманах «Минувшее», 1994. Вып. 15).

Прототип очаровательной Лиспетс — Аделина Ефимовна Адалис (1900—1969), поэт, участница всех послеоктябрьских педагогических начинаний Брюсова и адресат его поздней любовной лирики. Кунины познакомились с ней на занятиях в Профессиональной школе поэтики. Женя начала брать у нее уроки стиха, но учительница быстро стала и на всю жизнь осталась близкой подругой. Ей посвящена упомянутая в предисловии книга стихов Куниной.

Прототипом Гюя Кларенса был близкий друг авторов Борис Матвеевич Лапин (1905—1941) — впоследствии известный прозаик и журналист, а в юности — поэт-экспрессионист, участник литературного объединения «Московский Парнас», успевший под его маркой издать два сборника: «Молниянин» (1922, совместно с Е. Габриловичем) и «1922-я книга стихов» (1923). Недавно фрагменты этих книг были переизданы в «Антологии авангардной литературы» А. Очеретянского и Дж. Янчека (Нью-Йорк; СПб., 1995). Более поздние его стихи были лишь однажды собраны Константином Симоновым в книге: Б. Лапин, З. Харцревин. «Только стихи...» М., 1976.

В той же «Антологии авангардной литературы» впервые за семьдесят с лишним лет переизданы и стихи другого друга Куниных Теодора Марковича Левита (1902—1942). Он являлся прототипом Йонга Лохинвара (само имя заимствовано авторами из поэмы Вальтера Скотта «Мармион»). Несмотря на возраст, в Литературно-художественном институте он был не студентом, а преподавателем, подавал блестящие надежды как критик и литературовед.

В «Октаэдре» погибают лишь двое из основных персонажей, остальных ждали сияющие чертоги Новой Атлантиды. В реальности безвременная смерть ждала также двоих: военный корреспондент Лапин не захочет бросить своего большого друга и вместе с ним погибнет под Киевом, а Теодор Левит годом позже умрет в тюремной больнице в Казани. Остальные трое проживут много дольше, но и их жизнь будет далека от безоблачности. Литературная же судьба не сложится у всех пятерых.

Сергей Бобров уже в тридцатые годы был вытеснен из литературы. Многие поколения читателей знали его только как автора веселых книг о математике для детей, и даже изданная посмертно в 1976 году чудесная автобиографическая повесть «Мальчик» не возродила интереса к его творчеству.

Константин Локс, в двадцатые годы авторитетный критик, в тридцатые отступивший в историю литературы, затем должен был уйти и из этой области и ограничиться переводами Бальзака и вузовским преподаванием.

Адалис, на первый взгляд, повезло больше. Она много сделала в переводе персидской, азербайджанской, китайской поэтической классики. Ее оригинальный сборник «Власть» был отмечен Мандельштамом, а через 10 лет неизданная «Вторая симфония» удостоилась высокой оценки Твардовского. Но даже в пору наибольшего общественного интереса к поэзии ее лучшие книги «Города» (1962), «До начала» (1964), «Январь — сентябрь» (1970) прошли незамеченными. Предсказание Тарковского, писавшего после ее смерти: «Слава непременно догонит ее тень», — пока не сбылось, и сегодня ее творчество совсем забыто.

Проза Лапина трижды была собрана в больших «Избранных», однако, несмотря на признание ее значения многими собратьями по литературе, тоже не нашла пути к читателю. Его поэтическое наследие, видимо, в основной своей массе и вовсе не издано.

Наконец, творчество Левита попросту выпало из читательского обихода и не известно даже историкам литературы.

Так распорядилось жестокое двадцатое столетие пятью человеческими и творческими судьбами. Тем дороже и интереснее должны стать для нас на его исходе те черточки характеров и поведения этих ярких людей, что запечатлены в причудливых образах написанного 75 лет назад романа «Октаэдр».

*Публикация, предисловие и послесловие
Сергея Гиндина*

Андрей Сергеев

О Бродском

Бродский пришел ко мне на Малую Филевскую в начале 1964. Открываю дверь, вижу стоит ражий рыжий парень. Широкоплечий, здоровенный, внушающий доверие. Сует крепкую сухую ладонь — пожать одно удовольствие.

До этого о Бродском я слышал сколько угодно. Фатально и довольно долго избегали меня его стихи. Сам я никаких усилий не делал, потому что хорошее — придет само. В Паланге в 1963 Найман похвалился, что у него с собой Бродский. Я тут же получил пухлую пачку листов и пошел на днюн читать.

«Холмы»,

«Черный конь»,

«Ты проскачешь во мраке...»,

«Я обнял эти плечи...»,

«Рождественский романс» и так далее.

Два часа читал под елкой — устал. Но все стало совершенно ясно: вот новый, ни на кого не похожий, крупный, замечательный и очень близкий мне поэт. И, естественно, я спросил:

— Толя, а какой он, Бродский?

— Такой чахлый еврейский росток.

Ничего себе чахлый росток! Мы прошли в комнату. Я усадил его на свою любимую качалку, слово за слово пошел разговор. Иосиф был по делу — Ахматова дала ему мой телефон: Иосифу хотелось попереводить что-нибудь *чистое*. *Чистыми* тогда считали переводы с западного языка и не прогрессивного автора. Говорили мы о деле и, конечно, не о деле часа два.

Пришел он ко мне утром в тот день, когда собирался в Ленинград. Было как-то известно, что его должны посадить. И Анна Андреевна, стараясь его охранить и хорошо зная нравы, советовала ему задержаться в Москве, потому что дело местное, ленинградское, пройдет кампания — забудется. Но зов, который сильнее всякого разума, требовал его пребывания в Питере. Через день или два там его и забрали. А потом был суд — он описан у Фриды Вигдоровой, потом — Норенское.

Анна Андреевна дала мне адрес. Не хотелось писать ему абы как, да и цензору лишнего сообщать не хотелось. С месяц я муслил свои листочки. Обычно я письма пишу одним махом, а тут у меня даже черновик сохранился:

Москва. 16 апр. 1964.

«...Вся штука в том, чтобы ничего не потерять из того ценного, что уже имеешь. А для этого, Ося, прошу вас, будьте терпеливы и мужественны. Быть мужественным это не совершать ни детских, ни стариковских, ни женских поступков. Я продолжаю наш с вами разговор. Все, что я сказал насчет переводов, остается в силе. У вас в нашем деле отличные перспективы — не то, что у австралийской антологии, которая уже который год гянется-не дотянется — но конечно выйдет и, надеюсь, при вашем участии. Книжку-то вы мне, наверно, зря передали. Все в силе. Черкните мне — коли захотите, я вам пришлю австралийских стишков получше. А пока — дело высокое — шлю вам Браунинга. Не теряйте времени на метания — почитайте, приглядитесь — чудный ведь поэт. Потом вместе сделаем — тьфу-тьфу, чтобы не сглазить!»

Почта минимум неделя туда и неделя сюда, еще не знаем, сколько наши письма валялись в соответствующих инстанциях. Через месяц пришел ответ.

От руки. 16 мая 1964.

«...Живется мне не весело, но я не очень обескуражен (физически меньше, чем психически). До последнего времени не было возможности работать, а в ближайшие дни она, нав[ерно], совсем исчезнет, в связи с «так называемой посевной» — и попросту с жарой и комарами. Такие уж тут места...

(Мне кажется, райская была бы жизнь, если бы мы вместе взялись за что-нибудь; хоть за Браунинга!)

Стали оттуда доходить и стихи. Анна Андреевна показала мне «Инструкцию заключенному». Как-то я провожал Марину; у самого метро она достала машинопись «Двух часов в резервуаре». Читать у метро на улице — это не метод. Чтобы быть на высоте, я сказал, что здесь влияние Одена. Хотя стихотворение понравилось, его метафизический message я оценил позже.

Письма наши — продолжение того первого разговора, когда мы за два часа обсудили все, что только возможно. Он писал гораздо более раскрепощенный и своей натурой, и фактом уже состоявшейся ссылки.

Машинопись. 14 мая 1965.

«Я не мастер писать короткие стихи. Вернее, даже если они и удаются, они дают повод для таких вот, не имеющих со «мною» ничего общего толков. Динамика, статика, моторное и духовное движение — все это ералаш. Поэтому и обидно посылать Вам отдельные стихи. Потому и тяжело мне тут жить, что самое главное писать не удастся. Не меньше 200 строк — и тогда вы почувствуете, с кем имеее дело. «Холмы», «Большая элегия», — все это только экзерсисы. Реален только «Исаак и Авраам». Да и еще одно большое стих[отворение], но оно в другом роде и запрещено. Ну, что-то я сильно раскрутился. Словом, все, что Вы говорили насчет тех стихов, что послал Вам — правда, да только они — не я. Если года через полтора меня выпустят (по половинке), надеюсь, покажу Вам мое «пусть прекрасное» место в поэзии.»

Переписке уже год с хвостом. Письма его замечательные — мужественные сетования и очень много конкретности. И вдруг письмо совершенно смятенное.

Машинопись. 13 августа 1965.

«...Как хороший туземец, я все сижу и жду советника юстиции Джеймса Кука [когда-то он просил прислать ему в Норенское мой перевод «Пяти образов капитана Кука» Кеннета Слессора — А. С.] с подозрной (надзорной) трубой из обвинительного акта. Но так как мне не на что обменять «свою свинью» (Ницше), то, боюсь, я скоро стану плохим туземцем. И если в один прекрасный день я сам, шэйкспира и шэйкспауэря, не отправлюсь открывать один меловой остров за другим, то, м. б., я сколочу пирогу и спущусь в ней по Марининской системе в Язу. И меня линчуют, Андрей, под Вашим окном, на Филевских холмах, на глазах у Вас, Вашей жены, Вашего соседа-метафизика, или кто он там [Саша Пятигорский — А. С.]. В год от Рождества Христова 1965. А?

Детские, старческие, женские — говорите Вы — поступки. Можно было бы пошутить насчет пола и возраста одновременно. Но, знаете, скучно. «И не такие, как я...» — уес, барин — не такие. Теперь, знаете, после смерти Ф[риды] В[игдоровой], мне что-то больше не хочется благоразумия, не хочется этого русского долготерпения — тем более, что мне-то самому этого и не нужно. Тем более, что я — еврей.

Андрей, сегодня я праздную труса. Стихи у меня не пишутся, и я обнаружил, что не хочу их писать. И что, когда я их не пишу, я — ничто. И что, значит, безразличие ко мне так естественно. Примем же слабые решения — мы, которые сами учили других мужеству. Одно уже принято: письмо Вам. Скажу по секрету: я похож на Броунинга. Я хотел дотянуть до его возраста, но теперь — плевать. Знаете, как узнаешь, что ты уже стар? Это когда твой конвоир моложе. В Вологде мне тыкали автоматами в рожу двадцатилетние мальчишки. Мировая, скажу Вам, тема. А теперь — прощайте. Я не очень хорош сегодня и завтра, боюсь, буду еще хуже. Чертовски хочется поболтать с вами, сидя в качалке. У меня ничего не осталось, даже

формальных привязанностей. О Вас думать приятно. Знаете, долго занимаясь собой, устраивая все в себе, понемногу дичаешь. Верней, становишься инородным телом, и на тебя начинают действовать все эти мировые законы: сжатие, вытеснение etc. Старая мысль, но такая горькая. Нечего Вам послать; но поэт я (был?) хороший...»

Получил Иосиф мой ответ или нет, не знаю. Но через несколько дней он вдруг сваливается мне на голову. Анна Андреевна и не только Анна Андреевна ждали его в Ленинграде, но он в Ленинград на сей раз не стремился.

Дни наши протекали таким образом. Часов в десять пьем чай, потом обсуждаем весь мир и окрестности. После обеда разговор продолжается. После ужина минут пятнадцать-полчаса Би-би-си и опять разговоры — до 12. Я с вот такой головой ложился. Но самое замечательное, что Иосиф мог говорить сколько угодно, никогда не повторялся и никогда не скатывался на какой-то недостаточно высокий для него уровень. (Был у Иосифа черный момент в биографии, когда он слал из ссылки рифмованный рыцарский роман — вот это было за пределами добра и зла.)

Встанешь утром:

— Андрей Яковлевич, вот послушайте... — (меня он с приезда называл на Вы и Андрей Яковлевич — такой у него был для меня иероглиф). Или, убравшись из дому рано, оставляя на столе какой-нибудь коротенький стишок, который сочинил ночью — ночью и поколобродить мог, и под душем постоять, и водку допить.

Я ночь проведу без
вас, о друзья, но с
водкой, чей дух — бес —
щечочет мне нос.
Я — капитан, чей
фрегат, осудив дурь
моря, забрел в ручей,
пятясь от бурь.
Ах если бы Джеймс Кук
знал бы, как я борюсь
с водкой — тогда б юг
презрел — и открыл
Русь.

Похвальное слово дивану Сергеевых

Диван Сергеевых, на,
прими благодарность за
ночь с девятого на
десятое, за
много других от
Бродского И. А.
В тебе все прекрасно от
пружин до подушки. А
я так люблю все
прекрасное. Просто до
безумия. Вот и все.
Ля, соль, фа, ми, ре, до.

[Или где-нибудь на полях:]

Наташа Ростова,
героиня Толстого,
перелив из пустого
в порожнее...

Царь, царица и царевич
раз пошли гулять,
а навстречу шел Гуревич,
подцепивший блядь...

Я плохо переношу присутствие постороннего человека в доме. Но с Иосифом было легко, очень легко. Никаких закидонов, никаких претензий. Ну, конечно, способствовало то, что я его просто обожал. Несколько недель прошли абсолютно мирно, любовно.

25-летний Иосиф пришел ко мне, имея законченное представление о русской поэзии. Как и обериутам, ему не мог не импонировать нетронутый пласт поэзии XVIII века — Ломоносов, Тредиаковский, Сумароков. Он любил идею оды, длинного стихотворения, ему нужны были их полнозвучие, громогласность, он сам так писал. Он делал лирическое высказывание на 200—300 строк, и это вызов поэтике XIX — начала XX века, когда культивировалось стихотворение строк на 20—30. И никогда у него не многословие.

Александр Сергеич был, конечно, хороший и на языке постоянно. Но больше все-таки Иосиф любил Баратынского, так и говорил: «Баратынский — мой любимый поэт».

Со средней полки снимали Библиотеку поэта — безобразные синие х/б б/у. Из закрытой части стеллажа — старые нежные книжечки — кого угодно, весь серебряный век. Первоиздания какого-нибудь Кузмина: не первоизданий тогда не было. Иосиф безмерно восхищался Ахматовой, хотя говорил, что ее стихи ценит меньше, чем ее саму. Цветаеву восхвалял при всякой возможности, наверно, видел в ней мотор, работающий на соизмеримом числе оборотов те же 24 часа в сутки. Придавал несвойственные ей черты: необыкновенный ум, мудрость, видит на сто верст в глубину и на сто лет вперед. К моему любимому Пастернаку отношение у него было напряженное. Бездоказательно предположу: его настораживало, что теми же чрезвычайными средствами, какими Цветаева вызывала вихрь, Пастернак устанавливал райскую погоду. Для отбреха же Иосиф говорил, что терпеть не может пересказов евангельских сюжетов в стихах, имея в виду стихи из романа — ну, и блистательно опроверг это позже собственными стихами.

Проза ему, по-видимому, была нужна мало, о ней практически не говорили. Как Анна Андреевна, Толстого не любил. Федор Михалыч был вроде как старший товарищ, из своих.

Мы перебрали всю мировую поэзию и в основном сошлись. Впрочем, и расходясь не спорили, он просто излагал свое. Кроме русской, мы больше всего любили англо-американскую. В середине стеллажа толстыми, жирными массивными корешками стояли английские книги, несколько полок. В руки он их брал редко, стоял, рассматривал, говорил: «ролл-ройсы». На Фросте мы обнялись и расцеловались. Однажды он даже сказал:

— Когда я выходил в люди, я мечтал научиться писать, как Найман. А потом прочитал Фроста и понял, что мне так никогда не написать.

В Норенском он выдумал гениальную систему самообразования. Брал английское стихотворение, которое в антологии или сборнике ему почему-либо приглянулось. Со словарем по складам переводил первую строчку, точно так же расшифровывал последнюю. Мог ошибиться, очевидно. А потом подсчитывал число строк и заполнял середину по своему разумению. Лучшей школы стиха не придумать. «Дерева в моем окне, в деревянном окне» — примерно такая переделка фростовского «Дерева у окна». В деревне он начал читать по-английски — как может человек, интересующийся поэзией, жить без английского?

Когда я ему послал в Норенское три австралийских стихотворения, он их разобрал, два из них, Флексмора Хадсона, перевел замечательно, они пошли в антологию. Несмотря на предостережение Ахматовой «Переводить это все равно, что есть собственный мозг», он все-таки не отказывался от идеи перевода. И при первой встрече и много раз потом мы говорили о том, что не худо бы вдвоем сделать книжку Браунинга, вроде бы и дело новое, и проходимо.

В первый час знакомства с рукописями Иосифа в Паланге я увидел в его стихах Эдвина Арлингтона Робинсона. Впоследствии он сказал, что, разбирая поэму Робинсона «Айзек и Арчибалд», он преобразовал внутри себя героев в Исаака и Авраама. И в поэме, и в Библии старик и мальчик путешествуют долго, но так как Иосиф читал мучительно, со словарем, путешествие показалось ему бесконечным, на многие тысячи строк. Его «Исаак и Авраам» — действительно тысячи строк, а 500 строк

моего перевода, как в оригинале, ему показались до обидного куцыми. Робинсона он знал еще по великой антологии Зенкевича и Кашкина «Поэты Америки — XX век». Одена Иосиф по-настоящему полюбил уже после того, как с ним встретился.

Американская проза его не увлекала. Не могу себе представить его отпадающим от Хемингуэя, модной фигуры, необходимой в бытовании шестидесятников. Иосиф, не будучи шестидесятником, Хемингуэя видал в гробу. Позднее его восхищали переводы Мики Голышева из Фолкнера, которые, как он говорил, обновляли русский литературный язык.

Всех нас тогда тянуло в сторону Америки. Вышедшим из-под Сталина казалось, что всему плохому нашему противостоит все хорошее американское. Кому-то Америка нравилась через книги, кому-то через кино, кому-то через джаз. Нравилась красивыми одежками, которые мелькнули во время войны. Добропорядочностью, надежностью. Совершилось великое открытие, что Америка — это не то, что оплевал Чарли Чаплин и ему подобные, — серая, отвратительная страна, над которой не восходит солнце, но замечательная страна замечательных людей с потрясающей природой, — и все это есть в великой американской поэзии, лучше которой на Западе в этом веке не было. Появлялось ощущение второй родины — что есть запасная родина.

Другая страна интересов Иосифа в то время — Германия. Тут его влекла мрачная эстетика германизма. Когда однажды он попал на одесскую студию — пробовался на роль какого-то комсомольского босса, — он первым делом снялся не в лысом гриме, а в вермахтовском мундире, по-моему, с крестами. Помню, мы с ним ходили на «Нюрнбергский процесс» в кинотеатр «Украина» на «Багратионовской». Как он реагировал на большого американца Спенсера Трейси, на обожаемую немку Марлен Дитрих! Вернувшись на Малую Филевскую, мы крутили немецкие пластиночки — чехословацкие, лицензионные, с ходкими немецкими певцами. Иосифу страшно нравились тогдашние звезды — Петер Александер, Удо Юргенс. Была такая песня «Was ich nicht sagen kann, sagt mein Klavier», медлительная, и в ней было некое походное движение, так что эту лирическую могли бы петь солдаты. И мы слушали по нескольку раз и фантазировали, что вот немецкие танки идут из Парижа на Балканы, брать Югославию. И сидят на броне такие рыцари вермахта, в пыли, поют эту песню. «Компарсита» (тогда на этикетках писали еще не «Кумпарсита») тоже была немецкого происхождения — мы с Иосифом слушали ее по многу раз и вспоминали бездарный геббельсовский фильм «Восстание в пустыне» — там она впервые предстала нашим детским ушам.

Иосиф говорил, что обожает джаз, что иностранцы нанесли ему джазовых пластинок (джазовых у меня не было); утверждал, что лучше всех в Ленинграде знает Моцарта — хотите верьте, хотите проверьте.

Я пытался показать Иосифу город, который он совершенно не знал. Оказалось, что смотреть он не способен. Грандиозная удача, можно сказать, прорыв: я сводил его в свой любимый Донской монастырь, который был благодатным тихим местом, за исключением неуместных могол старых большевиков над рвом с расстрелянными. А так — могилы патриарха Тихона, Чаадаева, пушкинская родня, вообще масса хороших людей. Стильные надгробья XVIII века. И еще чудесная скульптура Андреева — Христос. Иосифу там очень понравилось. На обратном пути из Донского долго шли пешком, в приподнятом настроении, рассуждали, строили планы — насчет нас самих, насчет того, что будет. Как удастся прожить, просуществовать в условиях максимальной социальной и материальной несвободы, что удастся написать, перевести, сделать — без утопий.

Иосиф зачастил в Москву, останавливался и у меня, и во множестве других мест, чаще всего у своего лучшего московского друга Мики Голышева.

В разных домах, при любом стечении публики много читал свое. Начинал он обычным своим голосом, отрубал строку от строки по живому мясу анжамбеманов, разогревался от строки к строке, повышал голос до крика — куда исступленнее, чем видно по поздней кинохронике. И эта исступленность была как в маленькой комнате, так и в большой аудитории.

Читал предпосадочное (редко), сочиненное в ссылке, новое:

«Одна ворона (их была гурьба...»),

«Пророчество»,

«Послание к стихам»,

«Одной поэтессе»,

«Письмо в бутылке» и т.д.

На моих глазах росла гениальная постройка «Горбунова и Горчакова». Не менее гениальной оказалась не дописанная из-за посадки поэта «Снег, снег летит...». Наверно, это и была та самая *запрещенная*, о которой он упоминал в письме. Иосиф показал ее очень не сразу, обтерханную, засаленную — блины пекли.

Я не жалел слов, когда нравилось. Когда не понравилось стихотворение «Прощайте, мадемуазель Вероника», раскритиковал как написанное на холостых оборотах, почти обидел. Вообще страшно много делал всяких замечаний, которые он практически не учитывал, но выслушивал без скандала.

Некоторые его стихи выдают один присест. А длинные огромные стихи писались — вот такой напор идет, за день он иссякнуть не может. Назавтра рождаются какие-то новые видения того, что уже сделано, и — исправлений множество. Переделывал он свои стихи основательно, пристрастно переделывал. Печатал стихи на машинке — не любил писать от руки, потому что писал размашисто — печатал через один интервал вровень с левым обрезом убористые-убористые строфы, так чтобы на страницу влезло как можно больше; огромное стихотворение в несколько столбцов, два, или даже три, помещалось на одной, двух, может быть, трех страницах. Никогда на обороте не писал — ему нужно было видеть текст как картину. По картине и правил. Выразительно марал перьевой самопиской, разгонистым почерком. Яростно зачеркивал, вписывал, заполнял поля, — и мог бутерброд маслом вниз уронить на рукопись совершенно элементарно.

Иосиф страшно много ловил из воздуха. Он с жадностью хватал каждый новый item и старался его оприходовать, усвоить в стихах. Можно сказать, ничего не пропадало даром, все утилизировалось — с невероятной, ошеломляющей ловкостью.

В Москве Иосифа очень скоро повезли к Надежде Яковлевне Мандельштам. Он принял ее на ура — и саму, и книгу. Захлебываясь, с восторгом, с улыбкой: «самая веселая вдова в мире». Н. Я. говорила про Иосифа нежно: «Ося второй, Ося младший», что не мешало в другой раз сказать: «обыкновенный американский поэт».

И у Н. Я., и в других домах, куда ходил Иосиф, собиралось общество. Общество бывало разное. Когда про Иосифа говорилось «великий», кого-то это скандализовало. Даже многие из тех, кто потом пел Иосифу дифирамбы, тогда смотрели на него как баран на новые ворота.

Но и при нормальном понимании, и без понимания к нему относились с открытой душой. Нельзя сказать, что всюду он сразу попадал в центр внимания. Конечно, он много и замечательно говорил — хотя все-таки это был не тот блеск, какой в общении с глазу на глаз.

В откровенно дружественных домах Иосиф был сама ласковость. Когда ласкали его, он почти мурлыкал и мог сказануть такое, что прямо противоречило его обычным словам и утверждениям. По-моему, Иосиф чрезвычайно зависел от собеседника, иногда чуть ли не попадал в рабство — на десять минут, полчаса. Но вот уже, развивая тезис или отвечая, он вскидывал голову и в сослагательно-мечтательном наклонении выдавал что-нибудь безапелляционное. К тому же в характере у него был дидактизм, и самые невинные вещи он мог выговаривать четким вразумляющим тоном.

Иосифу не было свойственно обдумывать в разговоре следующий шаг — свой или ближнего. К счастью, он не находил удовольствия в том, чтобы по-бытовому перечить всему на свете. Но были вещи, которые он безоговорочно не принимал.

При мне Иосиф редко бывал спорщиком, врагом собеседника. Только однажды я видел, как он убивал. Столярова, секретарша Эренбурга, пригласила Иосифа и нелепо соединила с литературоведом Пинским.

Кончилось тем, что Пинский выкрикнул:

— Пастернак, Ахматова, Заболоцкий — я бы хотел, чтобы они умерли в 29-м году!

Иосиф, выдержав хорошую театральную паузу, с нажимом спросил:

— А о чем они писали после 29-го года?

Пинский сказал, что он так не может. Иосиф нравоучительно-назидательно:
— А я могу. После 29-го года они писали о Боге. Вам *это* не нравится?

Иосиф не был профессиональным остряком, хотя часто бывал шутлив. Иной раз, брякнув что-нибудь замечательное, сам собой восхищался, удивлялся и повторял вполне наивно и трогательно. Хихикая, выдавал любимые присловья:

«Дело вот какого рода —
Бога нет, а есть природа».

«Мойше, не дергай папу за нос и вообще отойди от покойника!»

«Первая статья конституции Ганы: Каждый мужчина по природе полигамен».

Стихотворцем-импровизатором не был. С ходу при мне только раз выдал двустихие. Принес Саше Пятигорскому фотографию Вивекананды (Иосиф успел в юности отдать какую-то дань индийскому), Пятигорский умилился, Иосиф перевернул фотографию и написал:

Господин Вивекананда,
специальность — пропаганда.

По-толстовски мог определить человека какой-то одной чертой, довести эту черту до общей характеристики, и потом, никогда не меняя, повторять, например, «душный еврей Н. Н.» Конечно, про тех, кого любил, говорил многослойнее.

Однажды мекфистофельски похвастался, как пришел к Эткинду и сказал:

— Ефим Григорьевич, мне очень нужна моя книга [речь шла о первой, вышедшей в Америке — А. С.], я знаю, у вас есть.

Эткинд достал книжку:

— Пожалуйста, пожалуйста.

— Понимаете, Ефим Григорьевич, мне за нее такие хорошие джинсы дают...

Иосиф был много взрослее своих лет. Но и неизжитого детства в нем был вагон. Кто-то ему подарил американские штампованные часы со Спиро Агню (My Hero is Spiro) на циферблате. Он их радостно носил и всем показывал. Увлеченно, подолгу мог обсуждать скульптурные достоинства маузера или парабеллума. Думаю, этого детства хватило до конца.

На лотке перед собой он никогда не держал самоуважение. Всегда отзывался о себе и о своих стихах скорее с юмором, говорил «стишки». Но, конечно, знал себе цену. Неприкосновенность себя и своих *стишков* старался оберегать от вторжений.

— Звонит Клячкин, говорит, приходи на концерт, я твоих «Пилигримов» петь буду. Я ему говорю: моли Бога, чтобы я не пришел, я тебе гитару на голову надену.

Когда по записи Фриды Вигдоровой в Италии и Израиле поставили пьесу:

— Какой-то юный тип там меня изображает — а мне какво?

Иосиф блюл себя, но с самого начала на протяжении лет общения со мной — и, конечно, не только со мной — бывал предельно откровенен. Не боялся говорить с подробностями о своих обидах, претензиях к кому-то, о своей удаче, о горе, оскорбленности, уязвленности. О своей действительно душераздирающей истории — с предысторией, с развитием шажком за шажком. До истории и помимо нее у него было огромное количество увлечений — он рассказывал, что в юности чувствовал себя, как он выражался, мономуужиной. Вот об увлечениях он мне практически ничего не рассказывал. В изображаемое время Иосиф был таким жрецом морали. Помню, когда у него что-то произошло, вряд ли по его инициативе, с женой одного художника, он угрызался и явно раскаивался.

С одной стороны, Иосифа влекла литературная Москва, с другой — он не интересовался ни маститыми, ни эстрадными шестидесятниками, ни союзписательскими новичками, ни андерграундом. Не был читателем ни журнальной прозы, ни поэзии. Максимально официальный писатель, к которому заходил Иосиф, был Эренбург, «ребе». Наиболее продвинутые из союзписательских литераторов любопытствовали насчет Иосифа. У тогдашнего Слуцкого была широта и желание что-нибудь тебе дать. Иосифу он понравился: «Добрый Бора, Бора, Борух». Самойлов, который ненавидел неэпигонские стихи, стал целоваться с Иосифом: за Иосифом стояла Анна

Андреевна. Евтушенко, обладая гиперразвитым чутьем, сразу позвал его к себе и стал хвастаться живописью Юрия Васильева, потом — собой: «Что вы обо мне думаете?» Иосиф сказал: «По-моему, Женя, вы говно». Евтушенко в истерике грохнулся на пол: «Как можно при моей жене!» Это рассказ Иосифа.

Аксенов очень заметил Иосифа и взял на крючок, хотел облагодетельствовать и позвал на редколлегию в «Юность». Иосиф на этой редколлегии, наслушавшись того советского кошмара, в котором жили писатели «Юности», просто лишился сознания. На Малой Филевской говорил, что присутствовал на шабаше ведьм. А на самом деле это был максимально возможный тогда либерализм.

Короткий обморок в «Юности» не изолированный случай. Бывало, что Иосиф вырубался, когда ему делалось морально невыносимо. Может, это предохранительный механизм, следствие голодных месяцев. Он был эвакуирован из Ленинграда зимой 1941—1942, но что-то от блокады осталось. Это именно рескрипт Господа Бога, что спася блокадный ребенок — он родился в мае 1940, а в сентябре 41 уже начался голод, так что обреченным побить он успел. И при том, что он был физически сильный, хорошо развитый, с невероятным заводом, с прекрасными мускулами — казалось бы здоровяк, — какая-то органическая хрупкость в нем все время присутствовала. К здоровью он относился «кривая вывезет», курить не бросал — был неукротимым паровозом. При этом врачей слушался и, когда они приговаривали его лечь в больницу, безропотно ложился и, надо думать, проделывал все, что ему предписывали. Он считал, что жить ему так и так немного. Что при благополучно сложившейся биографии, без особых вмешательств со стороны государства, проживет тридцать с чем-нибудь. Может быть, сакраментальные 37. И совершенно не случайно в 40 лет написал: «Жизнь моя затянута».

Я был некоторым образом организатором трех его поэзоконцертов в Москве. Один родственник наших палангских знакомых пригласил Иосифа выступить в каком-то вузе. Дело было в конце мая или в начале июня, очень неподходящее время, когда студенты заняты сессией, а не стихами, тем не менее, парень позвонил, попросил. Иосиф, естественно, согласился, и мы поехали куда-то, кажется, в Лефортово, по-моему это был Бауманский. Мы пришли в общежитие, в довольно большую комнату — может быть, это была не очень большая комната, сильно наполненная, или средняя комната средней заполненности — мне показалось, довольно многолюдно, человек пятьдесят — семьдесят. И те, кто пришли, слушали его замечательно. Перед этим квантумом студентов Иосиф выкладывался на полную катушку. Не думаю, что они его слушали с очень большим пониманием. Скорее — с огромным вниманием и с уважением, он для них был человек, который в жизни уже какую-то планку взял и в чем-то победу одержал, не только поэт, который свои полтора-два часа что-то вдалбливал. Когда дело кончилось, молодой человек, который Иосифа приглашал через меня, дал мне пук бумажек: «Вот ребята собрали, тут немного, правда». Иосиф был совершенно поражен, потому что никак не ожидал, что ему беспортошные студенты что-то соберут.

Второе выступление. Из ФБОНа мне позвонила необыкновенно милая дама: «Как бы устроить у нас — вы сами понимаете... мы хотим, но не разрешат... Может быть, вы нам поможете устроить вечер переводов: Андрей Сергеев и Иосиф Бродский.» «Прекрасно, замечательно, сделайте такую афишу, я начну, прочту два перевода». Иосиф ничего не говорил, но — красноречивее всяких слов — готовился, старался хорошо выглядеть. Зал ФБОНа был битком, в проходах стояли. Иосиф воздвигся на трибуне, он был необыкновенно вдохновлен обширной аудиторией. Как Зевс Громовержец, метал перуны. Он был хорош, великолепен, все шло на ура, абсолютно на ура. Произошло редкостное взаимодействие обоюдного интереса. Аудитория была просто потрясена. Когда все кончилось, хозяйственница отозвала меня в профком и дала толстенный конверт с деньгами. В то время рубль был еще очень дорогой, а в конверте рублей 600—700, невероятно много. Иосиф почти растерялся. Насчет какого-то гонорара за выступления мысли не было, ни когда он шел к студентам, ни когда во ФБОН.

Третье выступление. В интеллигентнейшей и соответственно либеральнейшей секции союза писателей — переводческой — на регулярных средах давали выступать и оригинальным поэтам, которых не печатали. Помню, СМОГи всем составом читали стихи. Их встретили благожелательно, очень вежливо поблагодарили. Был вечер Сапгира, из-за наплыва публики пришлось переносить в помещение побольше, люди

живо реагировали, аплодировали. Снова среда, читает Бродский. Присутствуют переводчики и не меньше интересантов. Может быть, Иосиф для учтивости и прочел пару переводов. Самое главное, что он начал с тем же напором, как и в два описанных раза. И споткнулся. Потому что встретил непонимание, отчуждение. Прошибить аудиторию не удалось. Кроме того, здесь сидели живые литературные оппоненты — СМОГи. Губанов, когда потом было обсуждение, пытался убивать Бродского совсем по-советски, что было весьма неожиданно. Ну, и я Губанова заткнул по-мильтонски. Лианозовцы тоже Иосифа не любили — это еще очень мягко сказано — за то, что он другая эстетика, но столкновений не бывало.

Иосиф после выступления на среде говорить ничего не говорил. Был в очень мрачном настроении. Лицо выражало всегдашнее брезгливое отношение к союзу писателей.

От друзей Иосиф почти ничего не требовал. Даже не всегда искал в них понимающего читателя. Требовал, чтобы они его не предавали, не делали пакостей. Требовал верности, сам был очень верным другом. Единственная претензия — хотел, чтобы ближние принимали действительность лицом к лицу. Частое и осуждающее слово его — «эскапизм». (В частности, мои занятия нумизматикой считал эскапизмом.) Сам стремился, как он однажды сказал, к стопроцентности или в другой раз другими словами — «прыгать выше головы».

Но и по-своему проявлял галантность, любил, расшаркиваясь, по собственной инициативе, оказывать друзьям знаки внимания. Раза два приезжал (прилетал?) из Питера на мои дни рождения.

В первый раз подарки были:

Плотный лист, изрисованный и исписанный разноцветными словами; четыре фигурных стихотворения: две греческие вазы, куст, елочка + посылка:

Эту маленькую вазу
Вы полюбите не сразу.
Не приводит эта ваза
в состояние экстаза.
Но рисунок мой статичный
(отражая опыт личный)
на поверхности античной,
при содействии «столичной»,
может быть (о это жженье!)
приведет (на помощь, боги!)
в состояние брожения
Ваши мысли, Ваши ноги!

В углах вазопись: шестистолпный храм, крылатый гений с флейтой, красный кораблик.

И машинописный лист:

Андрею Сергееву в день рождения

Теперь так мало греков в Ленинграде,
что мы сломали греческую церковь,
дабы построить на свободном месте
концертный зал...

— и так далее до конца. И дата: 3. VI. 66

Иосиф в разговорах упоминал всегда одни и те же имена: Анна Андреевна — и Найман, Рейн, Бобышев, которые все трое существовали в разных контекстах. Других ленинградских имен при мне он не называл. И на встречу Нового 1971 в Ленинграде позвал только моего старинного приятеля Леню Черткова с женой и всем известным Профферов. Он принципиально не стремился переизнакомить своих друзей. На этом фоне многозначительный в Иосифовой семиотике жест — когда он в ЦДЛ на каком-то просмотре свел меня с Гольшевыми, Микой и Наташей, и сказал: — Я вас хочу познакомить, это самое лучшее, что я могу сделать.

Сам я знакомил Иосифа с кем мог. Главная моя заслуга — интродукция Иосифа в Литву. Об этом написал Ромас Катилюс, написал как было, может, немножко улучшил.

Газета «Согласие».

11—17. 06. 1990.

«...Летом 66-го разговор чаще чем раньше касался Бродского... Чуткий к психологическому состоянию друга, Андрей Сергеев от нас ему постоянно звонил. В какой-то момент, в ответ на реплику Иосифа, наверное, типа «конец света» или «полный завал», Андрей, повернувшись ко мне и моему брату Аудронису, зажав ладонью трубку, шепнул: «Иосифу плохо». Мы в один голос сказали — пусть едет к нам. Андрей передал эту мысль Иосифу, и Иосиф... на завтра же был в Вильнюсе. Вечером, сидя за круглым старомодным столом в нашей столовой, он уже читал нам стихи.»

В Литве Иосиф получил прекрасную замечательную историческую страну, куда всегда можно съездить, и где тебя встретят с распростертыми объятьями.

Из поколения отцов, интеллектуал 20—30-х годов Пятрас Юодялис, такой же безденежный, как Иосиф, вдоволь нагулялся с ним по осенней почти дармовой Паланге и обсудил все проблемы. Его приговор на его манер:

— Иосифас — это молодой Гете.

В израильском журнале стихи «Коньяк в бутылке цвета янтаря» были напечатаны под заголовком: «Пану Пятрасу Юодялису с любовью».

Помимо гостеприимного дома Катилюсов, бывал у Чепайтисов. Тумялис принес пачку отличной машинописи, в ней обнаружили чужие опусы. На одном из листов Иосиф черкнул: «Этих стихов я никогда не писал. К сему И. Бродский».

Самое существенное — он приобрел в Литве собрата-поэта и равноценного собеседника — Томаса Венцлову. Глобтроттер от рождения, Томас бывал всюду, в Ленинграде жил долгими месяцами, так что Иосиф получил почти регулярного напарника.

Весьма вскоре Ромас Катилюс перебрался из Вильнюса в Ленинград. Ромас с его трезвостью и высотой взгляда был всегда объективным судьей Иосифовых поступков. Потому что Иосиф, по своей прихотливости, хаотичности, может быть, невротичности, был способен выкинуть номер. Ну вот, допустим, Иосифа не печатали. В Ленинграде образуется какой-то альманах, то ли день поэзии, то ли еще что-то. Иосифа приглашают, только, конечно, надо бросить кость. В ссылке Иосиф написал послушное стихотворение «Народ», которое, кажется, было напечатано в местной районной многотиражке. В стихотворении нет ничего неприличного, но сказать, что это стихотворение Иосифа, что оно выражает его существенные мысли и чувства — нет, это стихи на случай. И вот Иосиф, поддавшись, выбирает стихи некоторым образом нейтральные — хотя эстетически нейтральных стихов по отношению к... — у него не было. Вот он берет какие-то стихи, более или менее проходимые, и предвзвешивает их стихотворением «Народ». Ромас говорит, что не ему мараться, выходя впервые в печать, что он не должен этого делать. В редакции был, конечно, разговор, шум, но «Народ» не пошел. Только какие-то два стихотворения.

Рубеж 60—70-х — время восхитительных, может быть, даже превосходящих более ранние, стихов Иосифа:

«Конец прекрасной эпохи»,
«Люди и вещи нас...»,
«Я всегда твердил, что судьба — игра»,
«Холуй трясется, раб хохочет»,
«Письма римскому другу»,
«Сретенье» и др.

Зимой 1969-70 я провел два месяца в больнице. Иосиф прислал мне ободряющее письмо с вложением первой версии «Альберта Фролова» (которого я тут же заучил наизусть). Потом объявился сам — на сей раз мы занимались не его, а моими душевными перипетиями.

Когда Иосиф впервые пришел ко мне на Звездный, то потянул ноздрями, огляделся:

— Красиво.

В тот вечер мы с ним куда-то шли, и я надел новый твидовый пиджак. Он сразу: — Андрей Яковлевич, вы хорошо одеты.

И когда я приехал в Ленинград на Новый 1971, опять сказал, что я хорошо одет. Ничего такого он прежде не говорил. Это был его способ выразить согласие с моей новой жизнью.

Форма, одежда — это было для него очень существенно. Ужасно гордился своей ирландской кепочкой. Советским гнушался.

В вечер встречи Нового года я впервые увидел Иосифовых родителей. Очень понравилось, что отец его, Александр Иванович, перед уходом переоблачившись из домашнего в парадное, из босяка превратился в сэра Роя Веленского.

Когда Иосиф впервые видел человека или попадал в новую среду, он вбирал все глазами, ноздрями, ушами, порами кожи. Причем, делал это на удивление тактично — на удивление, потому что не был хорошо воспитанным юношей, как и все наши сверстники. В стихах он проявлял эту сенсуальность в такой степени, что меня, с задатками пуританина, она даже несколько приводила в смущение.

Но, как всякий выросший в эсэсэ, в коммуналке, Иосиф не был человеком изысканных, прихотливых, невероятных вкусов. Говорил: «Мой идеал — это кастрюля с котлетами, и чтобы руками из нее доставать одну за другой». Любил государственные пельмени в пачках по 50 копеек, мог пообедать в любой тошнеловке. Какой-нибудь особенный Шато-де-чего не производил впечатления. Было время, когда и я, и он пристрастились к джину. Может быть, ему нравился джин, а еще больше виски, по той же причине, по какой нравилось все американское.

Мне как-то представляется, что ему было несвойственно влезть в какой-нибудь сидячий или лежащий поезд Москва-Ленинград, он скорее гнал на аэродром. По городу — только такси, когда он был один или когда инициатива была решительно у него в руках. Вместе — мы с ним отлично ездили в метро. В Ленинграде в первый же вечер он повез меня к Ромасу и Эле Катилюсам — на метро до Финляндского и на электричке до Удельной, там мы прошлись на своих двоих.

В Ленинграде он мне показал родные палестины — улицу Пестеля, Пантелеймоновскую, храм с оградой из турецких пушек, показывал двор, где бестолковый Рандольф Черчилль орал, выкликая Исаяю Берлина, который засиделся у Ахматовой. Потом — двор Третьего отделения — «Сквозь узенькую арочку вкатиться в казенный двор и поминай как звали» — эти свои строчки я зрительно зафиксировал на той прогулке. Иосиф торжественно подвел:

— Вот здесь и я сидел, здесь был суд.

Историей в то время Иосиф интересовался только современной, XX века, а политической скорее гнушался. Слишком многое разумелось само собой и выносилось за скобки разговора. Политики как таковой в разговорах было, может быть, процента два. Единственную острую реакцию — активную радость — помню на той же встрече нового 1971, когда объявили, что Кузнецова и самолетчиков помиловали: расстрел заменили сроками. Позже Иосиф сетовал, что в Ленинграде нельзя ни с кем встретиться — вместо «добрый день» говорят «кого посадили?»

Около того времени не раз назидательно:

— Андрей Яковлевич, запомните, если меня снова посадят, прошу, чтобы за меня никто не хлопотал. Так всем и говорите, такова моя воля, это мое персональное дело.

Тема выезда в широкий свет никогда не была темой для разговоров. Совершенно ясно, что каждому из нас хотелось поглядеть мир. Здешнее Иосиф все пересмотрел — в геологических партиях, на Дальнем Востоке, на Крайнем Севере, на Кавказе, в Прибалтике, в Средней Азии. Чего и кого только не насмотрелся в Москве, Ленинграде. Ленинградцы рассказывали, что, придя в гости, Иосиф сидел как на шиле и думал: вот сейчас бы сбегать туда, там, может быть, лучше, — но и там повторялось то же самое.

Иосиф хотел не уехать, а ездить — уезжать и возвращаться. Весной 1968 предпринял нелепейшую попытку. Раз-два у меня на кухне как бы между прочим сказал, что надо сходить в ЦК и поговорить. Потом, что уже сходил — и сказал референту, что мог бы лучше других представлять страну за рубежом. Не дурак референт записал его на прием к Демичеву. И поход, и текст были настолько непохожи на Иосифа, что за ними виделась подсказка какого-нибудь либерального *прогрессиста*. В назна-

ченный день на той же кухне я сказал Иосифу, что он никуда не пойдет. Иосиф был предельно нацелен на визит — но все-таки не пошел.

От руки. 22. VI. 1971.

«...вообразите себе такое крово-стечение обстоятельств: из окон больницы, где я когда-то служил санитаром в морге и где сейчас нахожусь в качестве пациента, я смотрю на окна заведения «Кресты», где я тоже обретался некоторое время и где как раз тогда, в марте 1964, и началось то, результатом чего является мое здесь пребывание: обнаружилась какая-то ерунда с кровью. Но мало того; граница (стеной) с «Сгоіх», больница, в довершение всего, другой стеной, а также своим фасадом соседствует с заводом «Арсенал», где я совершал свои первые шаги — фрезеровщика, сверловщика etc. Это было в 1956 году, 15 лет назад, и сейчас, видя, как в камерах загорается свет, я, имея, кажется, все основания не думать об имеющемся view как о перспективе, испытываю чувства совершенно не ностальгические, но ровно наоборот. Видимо, это и значит «вернуться на круги своя». Впрочем, пес с ним.

Вчера произошел забавный эпизод. Я повел пришедших навестить меня К[атилюсо]в к prison wall с целью сделать им небольшое show и молодой warden заорал на нас в том смысле, что сюда смотреть нельзя, что оштрафует etc, etc. Я хотел ему сказать, что я имею большее право, чем он, смотреть на этот ансамбль, что, в конце концов, это мой дом и проч., но Ханум [жена Ромаса Эля — А. С.], ожидающая 2-го ребенка, увела нас с Р[омасом] прочь, а warden выкрикивал мне вслед, что я иду на обострение.»

Может быть, действительно, Иосиф шел на обострение. Сознательно — или самим фактом своего существования. Власть не могла не оскорбляться всем, что он делал: работал, бездельничал, гулял, стоял, сидел за столом или лежал и спал.

Только что он был в Ереване, в первой машине ехал с академиком, во второй, открытой, везли охапки цветов. По возвращении в Ленинград сразу Большой дом:

— Убирайся, а то за себя не отвечаем!

Говорят, заранее посоветовались с популярным поэтом. И израильская виза наготове. И необходимость ехать на бессмысленную волокиту в Москву. Я видел в окно, как он шагал по нашему двору, — плечи высоко подняты, голова втянута — шагал чугунной походкой грузчика. Ночевать остался у нас на Звездном. Много говорил; напоследок, почему-то, не сразу начав от смеха, прочитал «Чучело перепелки». Не нажимая, сказал, что сделает изгнание своим персональным мифом.

На другой день прощались у Гольшевых — посидели, как на дорогу, — обожавшая Иосифа Микина мачеха Лидия Григорьевна (Мики и Наташи не было в Москве), Марина, Маша Слоним, мы... Иосиф просил не приезжать в Ленинград на провода.

Дальнейшие отношения в письмах.

Открытка от руки. Вена. 20 июня 1972.

«...Лечу вместе с Оденом в London на Poetry Festival... Оден — 10 баллов по пятибалльной системе; я трижды ездил к нему в Кирштеттен на lunch; великий дачник, но не эскапист, как был наш [Пастернак — А. С.]. Считает порнографию реализмом, говорит, что принадлежит к сигаретно-алкогольной культуре, не к культуре drugs. В общем, удивительно похож на А[нну] А[ндреевну] — особенно, взглядом, хотя — слегка обалделым... Морда напоминает пейзаж. Завтра (если нас не хайджахнут) будем читать стихи в L[ondon]. Пустяк, но приятно. Жалко улетать из Европы...»

Машинка вроде бы прежняя. Анн Арбор. 12 декабря 1972.

«...Святофранцисск шикарен, прекрасен, похож на Владивосток и Севастополь, расположен на семи, кажется, холмах, столь крутых, что будь я существом четвероногим, одна пара конечностей была бы короче другой. Подниматься и опускаться жутковато — пешком, а тем более: в автомобиле. Благодаря чему (не хотите ли) здесь и не бывает зимы. Потому что, если бы выпал снег, месту сему пришел бы издец. По причине тяготения моих камрадов [Профферов — А. С.] к люксусовости, был поселен на надцатом этаже Марк Хопкинс Отеля, откуда открывается вид, за который действительно следует платить валютой. У меня в таких местах обычно

возникает ощущение какого-то гротеска: я и это... Я только хочу сказать, что главный в семье Штраусов не Иоганн, ни Рихард, ни тем более Леви, но Джозеф, соорудивший Голден Гейт. Сухой буду, есть на что посмотреть. И вообще я считаю, что город, желая быть великим, должен иметь: выход к океану, уникальный мост или чорч и китайский город, по которому вечером идешь, как по электрическому винограднику, и запахи бросаются в лицо, как цветы...

В Мичиганске, естественно, зима, и это приятно вернуться в систему четырех времен года. Которая — система эта — есть единственная для меня реальность. Кроме, конечно, дня и ночи. Все остальное выглядит приблизительно и временно и не рождает (а может и не требует) серьезного респонс; так что чувства мои как бы дремлют. Что — мучительно. Имеет место только физическое уставание и физический же отдых. Я бы пожаловался еще, но на таком расстоянии Вашу жилетку не промочить.

Жизнь моя проста, незамысловата. Два раза в неделю происходят семинары; по понедельникам и средам. В 10 утра для градюйтс (дипломников) по-русски, в 4 часа пополудни — для андерградюйтс, сиречь просто студентов (плюс профессора из разных депар[таментов] и всякие, кому интересно) по-английски. Этот второй, конечно, есть комбинация моей наглости и ихней терпимости, но чего-то толковое получается. Заставляю, например, независимо от возраста и пола, учить стишок напамять. Ну и объясняю, как могу, что к чему. Думаю, что доходит. Вечером — возвращаюсь в свой пустой дом, пытаюсь чего-то сочинять. Иногда — да, чаще — нет. Готовлю, прибираюсь, смотрю телик; когда нервы позволяют — читаю. Два раза в месяц — минимум — летаю куда-нибудь по оральным делам, как, например, во Фриско. Что до личной жизни, то хватит с меня личной жизни. Тут она была бы, по меньшей мере, эскапизмом, попыткой разгрузить душу, заслониться от — как бы поточнее — от ужаса. Что и желательно, и нежелательно. Я все-таки приучил себя к хандред перцентности...

Сообщаться же почти не с кем, кроме Карликов [Профферов — А. С.]. Потому что слависты с течением времени, как хозяин на собаку, становятся похожи на свой сабджект, и я нахожусь среди тех, с кем это уже случилось. Очень аэропортовские люди, только женаты не на чернявых. Департамент — настоящий зоо; это даже приятно, что такая взрайти имеется: тут тебе и мистики, и бодисатвы, и вегетарианцы, и гомосеки, и просто крейзи. Но у нас он еще хороший. Вот в Калифорнии — так там не зоо, а цирк со своим распорядителем, укротителем и клоунами. Насмотрелся я и скажу, что те, кто нам дома нравился, и есть лучшие.

Вы не поверите, Андрей, но мне скушно. Дело, конечно, в характере моем гнусном, и в языке несовершенном, конечно. Но знаете: все на свете можно вычислить. Человека, пейзаж, погоду, содержание книги. Скажу так: я увидел много нового, но не услышал и не прочел. Не знаю, где происходит самый процесс, но уровень в сообщающихся сосудах одинаковый...

Эмигре меня ненавидят, считают, что я их позорю. Любят поговорить о свободе: психология холуя, сбежавшего от хозяина: все время сапоги снятся...»

Та же машинка. Инисбофин. 21 июля 1973.

«...Инисбофин на местной фене означает Остров Белой Коровы, — и хотя я ее еще не видел, — должен Вам сказать, что коровы и есть главные обитатели сей части суши, где кроме них, коров, есть еще овцы, зайцы, несколько кур, лошади, ослики, псы, кошки и 250 душ местного населения. Я — 251-й и, думаю, первый русский, к[ото]рый на остров этот когда-либо ступал...

В качестве 251-го я был перевезен сюда с «мейнленд» на небольшом баркасе по довольно бурному морю. Думаю, что не испытывал ничего подобного прежде. Дело не только в баллах, но и в утлости судна, чей шкипер (по имени Падди, конечно) — 6 пудов веснушчатого мяса — всю дорогу крестился и орал на трех пьяных молодых, норовивших вылезти из трюма на палубу, где сидел — а вернее — катался от борта к борту, хватаясь за что попало, я, а справа и слева громоздились жидкие трехэтажные вещи...

Я остановился в доме местного поэта, Тома Макинтайра (с к[ото]рым познакомился зимой в Мичиганске, где он преподавал айриш феню). Он живет тут со своим бабцом америк[анского] происхождения, тратя на еду 3 фунта в неделю. Это при том, что норм[альный] обед в китайском, (следоват[ельно] дешевом) ресторане в Лондоне будет 2–2.5 на нос. Выкручивается он просто: ловит рыбу — макрель —

к[ото]рая и составляет 90% их меню. Остальные 10% падают на картошку, свеклу, морковь, выращиваемую тут же, и на хлеб — того же т. е. домашнего происхождения и производства. Имя всему этому одно: нищета, но его никто не произносит. Ирландскому поэту (а Макинтайр — поэт хороший) заработать невозможно... Ср. членов СП... Главный вопрос в семье Макинтайров сейчас: купить или не купить (разумеется, в рассрочку) револьвер, чтоб стрелять диких кроликов, которых тут пруд пруди, ибо есть мясо здесь — хотя бы дважды в неделю — вопрос престижа. Топят торфом, леса нет никакого (винят англичан, к[ото]рые будто бы его свели в 17-м веке). Основное правило: если увидел кусок дерева, — подбери и отнеси домой. Потому что все время холодно, ветрено и сыро, но именно поэтому я сюда и приехал...

На чердаке, где я сижу сейчас и пишу все это при свече, пахнет рыбой; также его пахнет в сенях и в спальне. Из того, что я видел, это не похоже ни на что. По своей бедности и некоторой отверженности это напоминает Норенское, но океан меняет все...

Смешно, что для Инисбофина Ирландия — мэйнленд, ибо для Ирландии мэйнленд — это Англия, для которой, в свою очередь, мэйнлендом является Европа. А он говорит «ни один человек не остров...»

От руки на двух открытках с видами Венеции. 31 декабря 1974.

Хотя бесчувственному телу
равно везде... Но ближе к делу:
я вновь в Венеции — Зараза! —
Вы тут воскликнете, Андрей.
И правильно: я тот еврей,
который побывал два раза
в Венеции. Что в веке данном
не удавалось и славянам.
Я прилетел в Париж, который
завешен как тяжелой шторой,
лефтистами и прочей мразью:
мир, точно Сартр, окосел.
Провел там сутки, в поезд сел
и, вверив взор однообразью
окна, как недруг власти царской,
направился в предел швейцарский...
Тристан Тзара, Джеймс Джойс, другие
творцы (и жертвы) ностальгии
здесь пели о грядущих бурях
простейший применяя трюк:
немецкого не зная, Цюрих
они считали за цюрик.
Я ж, *feeling strange*, в таком пейзаже
не вышел из вагона даже.
Состав бежал быстрее лани.
В семь вечера я был в Милане.
Гулял по местному собору.
В музее видел Пиету —
не знаменитую опору
туризма местного, не ту,
что снята в каждом повороте, —
но смертный крик Буонаротти.
Теперь передо мной гондолы.
Вода напоминает доллар
своей текучестью и цветом
бутылочным. Фасад дворца
приятней женского лица.
Вообще не надо быть поэтом,
чтоб камень сделался объятьям
приятнее, чем вещь под платьем.
Да убедят Вас эти строки,
что я преодолел пороки;

что сердце продолжает биться,
хоть вроде перестать пора;
что — факт, известный не вчера —
Ваш друг — плохой самоубийца;
что он, в пандан Царю Гороху,
свой срам не валит на эпоху.
Се, покидая черным ходом
текст, поздравляю с Новым годом
Вас, Вашу — in Italian — bell"у.
Поздравив, падаю в кровать...
Хотя бесчувственному телу
равно повсюду истлевать,
лишенное родимой глины,
оно в аллювии долины
ломбардской гнить не прочь. Понеже
свой континент и черви те же.
Стравинский спит на Сан-Микеле,
сняв исторический берет.
Да что! Вблизи ли, вдалеке ли,
я Вашей памятью согрет.
Размах ее имперский чую,
гашу в Венеции свечу я
и спать ложусь. Мне снится рыба,
плывущая по Волге, либо
по Миссисипи, сквозь века.
И рыба видит червяка,
изогнутого точно «веди».
Червяк ей говорит: «Миледи,
Вы голодны?» Не громче писка
фиш отвечает: «Non carisco».

[Внизу рисунок рыбы с сигаретой].

Машинка. Нортхэмптон. 21 мая 1975.

«Из двух вещей, составляющих смысл жизни — работы и любви — выжила только работа. Не удивляйтесь, что не видите воплощений: я никому ничего не даю, потому что выяснилось, что некуда — внешне — спешить, а внутренне меня все равно никто не нагонит... Детки бывают славные, девки просто роскошные, но, переводя на язык родных осин выражение «заниматься любовью», я бы делал упор на «заниматься».

...В жизни моей происходит нечто цыганское или лучше сказать — агасферье. Сколько квартир я сменил, сколько гостиниц, мотелей, неприбранных постелей осталось за спиной за эти три года — страшно подумать... Это у меня-то, жильца и домоседа. Невольно возмечтаешь о четырех стенах, хотя бы и звукопроницаемых. Они, поди, уже превратились в трилобиты, эти вещи.

Мне хотелось бы как-то объяснить вам, на что тутошняя моя жизнь похожа. Чтоб каждый день с интеллектуалами я общался, так этого не скажу. Редко это бывает, в связи с неурожаем на оных. Неделю тому назад имел первый за три года разговор про Данте — так это было с Робертом Лоуэллом... Не говорит — бубнит, по звуку невразумительное, по смыслу — весьма дельное. Впечатление какой-то цифры, все время выходящей за скобки. Я не видел человека, держащегося на сигаретах и кофеи больше, чем я. Теперь это Лоуэлл. Хотя единственный человек, к[оторо]го я тут любил и люблю, мертв: Оден. Говорил ли я Вам, что я заказал — вернее, устроил огромную поминальную мессу, в НьюЙоркском Святом Джоне Недоделанном (Сейнт Джон оф Коламбия, в просторечии — Анфинишд), где Уилбер, Уоррен, Хект и др. читали его стишки вслух. Никому почему-то это в голову не пришло сделать. Читали ли Вы когда-нибудь Оден ен masse? Вот чего нашей Музе недостает, этого отвлечения от себя плюс диагноза происходящего, но без личного нажима.

Разговоры, которые веду, из числа тех, без которых всю жизнь обходился. При всем местном тонкачестве, отсутствует элемент приверженности — к идее, какой бы она ни была. Человек может всю жизнь прочить средневековых аскетов без какого бы

то ни было влияния на его личное поведение. Он вам прочтет про Савонаролу, а потом поедет играть в теннис. Это — правило, есть, конечно, исключения; но главное, чем я занимаюсь, в классе и вне, это изыскиванием способов, как взорвать те или иные мозги. Иногда получается, но бывает себе дороже...»

Новая машинка. Анн Арбор. 29 марта 1976.

«...я все больше склоняюсь к мысли, что штатская и отечественная литературы (как, впрочем и самые языки) представляют собой не столько явления противоположных культур, сколько крайности той же самой цивилизации — цивилизации белых. Я всегда грешил этноцентризмом; теперь, при двух-трех фенях, мне и карты в руки. Имеющаяся разница есть разница между аналитическим и синтетическим отношением к действительности. Первое позволяет осуществлять над ней контроль, жертвуя зачастую доброй половиной феномена; второе развивает восприятие (до степеней Льва Николаевича), но за счет способности действовать. Разница — как между тахтой и автомобилем, но общий знаменатель тот же; я, например...»

Машинка. Нью-Йорк. 10 июня 1977.

«Переселился я в Сверхгород, и, как говорят пшеки, по раз первши со времен велкого скачка завелось у меня нечто вроде настоящего шелтера. Совершенно чарминг, как в кино показывают, или как то, чего мимо всю жизнь по улице вечером проходишь, а в окно выдать книжные полочки, слышать Вольфганга Амадея, и еще баба ходит. Баба не ходит, и вряд ли вообще пойдет, кроме оккэйжл или просто цветной домработницы, к[ото]рая пыль у других людей с китайских ваз вытирает, а тут один стакан в раковине моет, не потому что друг накануне вино приносил, а потому что из того же, из чего кофе утром пью, пью вечером белое. Все это в Гринич, само собой разумеется, Вилэдж, в трех кварталах от Гудзона; — стрит оканчивается пирсом, у к[оторо]го на приколе стоят два «либертоса», превращенные местным муниципалитетом в поваренную школу, чтоб удержат нек[ото]рое кол[ичес]тво молодых негритосов от поножовщины и рейпизма. В общем, посвящается Макаренке. Гудзон тут шириною похож на Волгу у Куйбышева, и на той стороне вместо Жигулей — Нью-Джерси, плоский штат, застроенный заправочными колонками. Довольно кошмарное зрелище, этакая технологическая тундра. Но в профиль, то есть, с этой стороны, с Манхаттэна, похоже на поместь второй грэс и ул. Горького, у Охотного ряда.

Впрочем, на пирс этот приходя, смотрю я в другую сторону: в сторону лагуны, образуемой слиянием Гудзона с Вост[очной] Рекой, и там маячит мадам Свобода, проплывают лайнеры, пролетают вертолеты, садится слонечко и т.д. Бессмысленно все это описывать, но как-то ведет когда пишешь восвоися, возникает комплекс форина, какого как-то совершенно нет. Просто, волею обстоятельств, я оказался человеком с четко разграниченным настоящим и прошлым: прошлое означено семьдесят вторым годом и сводится к Евразии.»

Сюжет тех лет. Приятель принес мне чемодан рукопечатных стихов. Из всего понравился Лимонов, и я — учитывая цензора, — написал, что в Нью-Йорке бедствует молодой поэт Эдди Лемон. Post hoc, конечно, ничего не значит, но спустя немного в «Континенте» появилась подборка Лимонова с внушительной врезкой Бродского.

От руки на открытках. Нью-Йорк. 26 декабря 1978.

«О tempoга, о mores, о цорес» Ногае. Меня разрезали и зашили обратно. Грудь и др. части тела выглядят, как «москвичка» 50-х годов. Мог бы гулять голым, надев только лондонку. Операция называется «bypass», по-русски — «объезд» — знаете, когда грузовик лежит на боку. Грязь кругом, трактор надрывается и гаишник руками машет. Ничего, очухался, не курю вот уже 2 месяца кряду (к ляду).»

От руки на открытке. Нью-Йорк. 30 января 1986.

«...есть такая часть (того) света — Инфарктика. Был там трижды (13 дек[абря] прошлого года во второй и 27 дек[абря], уже под ножом и ничего посему не соображая, в третий раз) — что Вам сказать за пейзаж? Много, конечно, белого; но еще больше красного и черного — совершенно, однако, вне-стендалевского пошиба. Если вернусь на круги своя — в чем далеко не каждый день уверен — придется завязать

с рядом уланских привычек, включая одну фабрично-заводскую: курение. Придется завязать, иными словами, с пиш[ущей] машинкой и перейти на вставку (к[ото]рую бычки и заменили). Хотя Мика всегда от руки писал. В общем, не знаю, на сколько меня хватит. Хорошо бы увидеться, как говорил Ваш сосед-Буддильник [Саша Пятигорский — А. С.] еще в этом воплощении.»

В ноябре 1988-го я прилетел в Нью-Йорк. Не успел встречавший меня Томас Венцлова водворить меня на квартиру, как в дверях возник Иосиф:

— Андрей Яковлевич, в этой жизни мы уже увиделись, что же мы будем делать в следующей?

Иосиф ошарашил меня своим ужасным видом. Он был какой-то распухший, большой, белый, не бледный, а белый. Только что прилетел, из Франции что ли. В общем, с самолета, усталый, физически никак не расположенный к заседанию с разговорами. И вот мы втроем немного поболтали вполне легкомысленно. Было, наверное, около одиннадцати, Иосиф сказал очень авторитетным тоном:

— Андрей Яковлевич, одиннадцать часов, пора спать, вы еще не знаете, что такое jet lag [реакция на быструю смену временных поясов после самолета — А. С.]. Ложитесь, завтра утром мне в девять звоните. И приходите, мы вас ждем.

Имелся в виду Иосиф и его кот. Эту фразу я слышал много раз за те немногие дни, что был в Нью-Йорке. Пристрастие к кошкам у Иосифа, наверно, было наследственное: очень легко представить Александра Ивановича — как и Иосифа Александровича, наглаживающих на коленях кота. И гринвичилледжская квартирка была питерского пошиба, ибо сильно смахивала не на две, а на полторы комнаты. Он гордился, что в его полуподвал есть вход сверху с крылечка, другой вход из-под крылечка и третий — во двор, через терраску на полметра ниже земли. На терраске стояла какая-то дачная плетеная мебель. Кот выходил именно в этом направлении. Иосиф острил: «идеальная квартира для адюльтера».

Назавтра утром, когда я ему позвонил, он мне сказал, что лучше всего прогуляться пешком, — да и не по восьмому авеню, а, скажем, по шестому — приятнее, наряднее, столичнее. По-русски подробно объяснил, как к нему пройти, как найти. Дорога заняла не меньше двадцати минут. Я получал полное удовольствие от уютного Манхэттена. Поднялся на крылечко, как мне было сказано, позвонил. Иосиф сломя голову высочил из своего полуподвала по довольно-таки крутой лестнице с резвостью польского улана и с неосмотрительностью такой же. Бурно, динамично провел меня в свою гостиную, усадил. Хотелось все посмотреть, и письменный стол с бюро, и полочку с фотографиями матери и отца, а напротив — огромная рамка, в которую были вставлены многочисленные фотографии друзей — ну и тех, кого ему хотелось видеть. Под торшером — диван, на котором он сидел, так сказать, главное место в комнате. Справа от торшера стойка с полным Брокгаузом — Эфроном, который создавал впечатление очень отечественной квартиры. В углу аккуратно, довольно дизайново лежала стопка книжек «Less than one» — Иосиф знал, что я не большой ценитель его прозы, так что книжка мне не досталась. Осмотревшись таким образом, я сел. И вот этим утром Иосиф был выспавшийся — красивый, молодой, здоровый, подтянутый, меловая белизна ушла, кожа активная, здоровая — все совершенно замечательно.

Какой бывает разговор при первой встрече — разбегающийся.

— Ну-с, Андрей Яковлевич, какие будут первые впечатления? Как долетели?

— На Эйр-Индия. Индусы изуродовали монументальные своды своего «боинга» — все изрисовали мелкими красными фигурками. Несчастные, даже жалко их.

— Андрей Яковлевич, не жалейте. Вас никто не пожалеет.

Он не расспрашивал о нашей политической обстановке, он ее на удивление хорошо представлял. Про Америку — до выборов оставался что ли день — сказал:

— Знаете, я был в Белом доме. Буш — это последний патриций. Дальше будет все попроще.

В мои планы входила Метрополитен-Опера.

— Билеты, кажется, можно достать, если нет, позвоню Барышу, билеты будут.

Мне нужно было отметить в Пен-центре, сравнительно недалеко, в Сохо.

— Пойдемте, я вас провожу.

Погода восхитительная — теплая благодатная осень. Мы шли по умиротворенному Нью-Йорку, я наслаждался курортным воздухом — на авеню с машинами

чудесный освежающий морской бриз. Прошли несколько кварталов, Иосиф остановился у хот-догшика, съел хот-дог, с чувством сказал:

— Вот моя основная еда здесь — как там пельмени.

И назавтра в девять я должен был непременно позвонить. Опять:

— Мы вас ждем.

Накануне мы с ним скакали с пятого на десятое, сейчас это было довольно размеренно обо всем.

Сначала о его тамошних стихах. Я предположил, что он перешел от пятистопника к разностопному дольнику под влиянием всемирных пространств и масштабов; Иосиф не согласился. Что он набрал и высоты, и разнообразия средств. Что стал тщательно обрабатывать почти каждую строку. Самые лучшие стихи:

«Литовский ноктюрн»,

«На смерть друга»,

«Я хотел бы жить, Фортунатус...»,

«Ты забыла деревню, затерянную в болотах...»,

«Зимняя эклога»,

«Летняя эклога»,

«Я пил из этого фонтана...»

Он прибавил:

«Осенний крик ястреба».

Перешли на других.

В России Иосиф, кажется, как и все, отпадал от Набокова. Теперь отнесся о нем сдержанно, недружелюбно.

От Солженицына всегда отгораживался, видел в нем Николая Гавриловича. И сейчас:

— О Солже? Что о нем говорить? Он в «Теленке» о себе все написал. Сам, наверно, не подозревает, что. Жуть!

Иосиф ходил по комнате, проверял корешки, говорил, что вот в возрасте перечитывает, перечитал Анну Андреевну, очень многое понял. Прочитал Кузмина в какой-то раз и тоже что-то нашел. Не то чтобы потрясен, но все-таки.

Я, героически закончив к тому времени «Улисса» по-английски, сказал, что в совершенном восторге. На что Иосиф ответил — мне показалось, нью-йоркским мнением, — что «Улисс» сейчас не смотрится, что он проигрывает «Человеку без свойств». И спросил меня, кого я ценю из новой прозы.

— Саша Соколов «Между собакой и волком».

Иосиф это отмел: Саша Соколов — средний московско-ленинградский уровень, ничего особенного нет, а из новых лучше всех Кутзее. Я не согласился, что Саша Соколов — средний уровень; Кутзее читал «В ожидании варваров» — не понравилось, провинциальный Кафка. Иосиф говорил, что Моцарт сейчас звучит хуже, чем Гайдн, вот Гайдн, действительно... его симфонии...

Иосиф — улавливатель из воздуха. Когда-когда Оден пустил это про симфонии. Перед Америкой я слышал это от знакомого итальянца.

Иосиф говорил со мной с милой открытой душой, но за словами я ощущал такой опыт, какого у меня не было. Он сильно возмужал, вырос, за ним стояла Америка. Но и этот разговор — по-прежнему обмен мнений, никоим образом не спор.

Дошли до его нью-йоркских знакомых. Он говорил, что в очень хороших отношениях с Сьюзен Зонтаг и поэтами Марком Стрэндом и Энтони Хектом. Но в друзьях и «по корешам», что для Иосифа разные вещи и очень смысловозначимые, с Дерекотом Уолкоттом:

— Замечательный человек, вокруг него всегда что-то интересное происходит.

Жаловался, что «в Америке не с кем поговорить», что лучший собеседник на высокие темы был Роберт Лоуэлл, да и тот умер. Про Оден говорил с замиранием, с пиететом — и даже похвастался:

— Знаете, кто поставил мемориальную доску на его доме? Ваш покорный слуга! Я спросил о Шеймасе Хини.

— Мой друг Шеймас Хини — явление чисто литературное.

В середине разговора вторгся почталыон с огромной сумкой корреспонденции, в основном рекламы и проч. Но и первый договор из Худлита. Иосиф посмотрел и дал мне на инспекцию. Я сказал, что по-моему все в порядке, только тираж 25 тысяч при тогдашнем дефиците и спросе надо бы удвоить. Прибавил, что у меня дома есть

самиздат московских студентов — роскошно отксеренный том «Урании» — лучше оригинала.

И естественно возник вопрос, который не мог его не мучить и который я неоднократно задавал себе сам, и поэтому был готов отвечать: приезжать ему или не приезжать. О возвращении в Россию речи быть не могло, только — «приезжать или не приезжать». Я твердо высказал свое выношенное, не с налету мнение, что приезжать ему ни в коем случае нельзя, потому что его живым не выпустят. И друзья, и враги растерзают на куски, как менады. По удовлетворенной реакции было видно, что он хотел услышать именно это, поддержку своего собственного нежелания ехать. Его душа была неспокойна, и я, как, вероятно, многие, внутренне помогал ему закрыть тему.

При расставании он сказал:

— Андрей Яковлевич, завтра я буду занят, мне надо кое-что сделать, но вы нам в 9 часов обязательно позвоните.

Я позвонил.

— Приходите к нам, мы вас ждем.

— Но вы же заняты.

— А, оставьте.

Пришел, смотрю — у него из пишущей машинки торчит лист, начало вступительной речи о приехавшем из России поэте.

— Я умею говорить вступления, день тратить на это не буду.

И слово в слово повторил сказанное в 1968:

— Посредственный человек, посредственный стихотворец.

(В тот же вечер перед аудиторией он назвал гостя не то светом в окне русской поэзии, не то зеницей ее ока. Помню разговор у окна на Звездном еще в 1972. Почему-то было актуально спросить Иосифа, как он относится к стихам одного из своих знакомых. Он ответил: «Поймите, меня настолько не интересуют чужие стихи, что уж лучше я скажу что-нибудь хорошее». И в этот же день в Нью-Йорке: «Все равно меня никто не обскачет».)

— Давайте лучше я вам стишки почитаю.

И он сидел и читал мне «Рождественскую звезду», потом еще несколько вещей, и «Путешествуя в Азии», а под конец — «Представление». Как в былые времена, я горячо сказал, что «Рождественская звезда» очень хорошее стихотворение, «Путешествуя в Азии» совершенно гениально, а «Представление» — ослепительное, и нельзя ли это все получить. Он сказал:

— Получить можно, кроме «Представления», там еще надо кое-что доделать.

Мне предстояло выступать на конференции, посвященной Аллену Гинсбергу. Иосиф оглядел меня:

— Брюки-то надо погладить. — (Вчера был ливень, я под него попал. — А. С.) — Не беспокойтесь, у меня все есть.

В полукомнатке рядом с кроватью стояли медицинский велосипед и гладильная доска типа «чудо техники». Иосиф распрямил брюки под прессом — ему это явно доставляло удовольствие. Было видно, что у нас джентльмен сам всегда очень свежий и ходит в хорошо глаженных брюках.

Всюду во всем я видел и узнавал Иосифа. Америка его преобразовала. Он превратился в нью-йоркского нобиля. Появилась вдумчивая предупредительность англосакса. Он научился формальному искусству общения, сгладились углы, неровности и шероховатости. Но и все лучшее из прежнего было на месте.

На обратном пути я три дня жил в Нью-Йорке у Аллена Гинсберга. И снова к Иосифу заходил, тем более, что с 12-й Восточной улицы до Иосифовой Мортон-стрит прогулка тоже не лишена: На эти дни пришелся усыпительный День Благодарения, когда все закрыто и деться некуда, а вечером обязательно идти в гости и есть индейку. Иосиф повел меня к своим друзьям — американцам:

— Они замечательные люди. Только, Андрей Яковлевич, это не Россия — будет скучно.

И вот уже мы говорили, что завтра я улетаю, кончилась американская гулянка. Что замечательно съездил, все хорошо, пора домой, сколько примерно стоит такси.

— Об этом речи быть не может, вас повезу я.

— Иосиф, вы с ума сошли, день губить. Ни в коем случае.

— Никаких разговоров. Давайте адрес Гинсберга.

Гинсберг прекрасно знал, кто такой Иосиф. Мы с ним договорились, зная Иосифа, что будем его оттеснять от вещей: вещей пустяк, но все-таки четыре этажа вниз без лифта. Так оно и получилось. Иосиф к моим сумкам порывался отчаянно...

Иосиф принес выдирку из «Континента», где была напечатана подборка, включавшая «Путешествуя в Азии», и многие другие стихи. Гинсберг, который всегда старается со всеми поделиться, провел по своим комнатам, говорит:

— Мы ваши стихи можем сейчас напечатать — хотите, маленькой книжечкой?

Иосиф загорелся: такая игрушка! Гинсберг подошел к огромному японскому ксероксу, взял стихи и сделал ксерокс для меня — нормальный, а для Иосифа — размером с записную книжечку. Иосиф тут же загнул поля, со всем тщанием, с любовью, сложил и спрятал в карман. Потом, когда Гинсберг был чем-то занят по делам выхода, сказал, вспомнив Слуцкого:

— На Боруха похож, правда? Есть в нем что-то такое...

Мы спустились вниз к машине, и тут, из соседней квартиры, увидев нас в окно, в сильно похолодавший Нью-Йорк срочно сбежал ближайший друг Гинсберга Питер Орловский, растерянный, в одной пижаме, у него на руке была почему-то перчатка, и он стал протирать ветровое стекло у Иосифова «мерседеса», а Аллен Гинсберг протоколировал каждый шаг мировой поэзии, вращавшейся вокруг него, и своим аппаратом профессионально снял меня с Иосифом и Питером Орловским. Орловский вышел нерезко, я — замерзшей куклой, а Иосиф — парит, не касаясь ногами асфальта.

И вот мы с Иосифом после некоторого драйва приехали в аэропорт. Было видно, что в аэропорт он приезжает в N+ первый раз. Мы оказались в очереди — советские люди и тут образовали очередь и устроили советскую власть. Я говорю:

— Иосиф, тут не на час. Езжайте-ка домой.

— Нет, я постою.

В помещении аэропорта Иосиф курил одну за другой, выплевывая фильтры. Я стоял в очереди взвешивать багаж, мы разговаривали, хотя какие разговоры в последнюю минуту. Вещи сданы, мы идем к контролю, и перед выходом в накопитель, где собираются пассажиры, Иосиф говорит:

— Что, Андрей Яковлевич, в рабство возвращаетесь?

Я сказал «Да» — время было горбачевское, и я себя свободным не чувствовал.

Иосиф оказался за стеклом, несколько повыше, стоял, курил, ждал, смотрел на меня, я смотрел на него, он стоял, смотрел на меня интенсивно, и я подумал, что он здесь физически, а мыслями уже где-то.

Больше в Америке я не был. Хотел Иосифу что-то сказать, прибежал к почте — как и раньше. Только узнав о его женитьбе и потом о рождении дочери, на радостях звонил. Иосиф позванивал, разговоры его начинались так, как будто продолжались со вчерашнего дня — о его путешествиях, передвижениях, самочувствии, кто что читает и т.д.

С днем рождения он почему-то поздравлял меня на день позже, в годовщину своего отъезда.

В 1994, прочитав в «Новом мире» статью о группе Лени Черткова, посмеиваясь и с маленьким вызовом:

— А у Лени стихи лучше всех.

(Я отлично помнил, как в московском метро он сказал: «Красовицкому я многим обязан»).

Не помню, в каком году он несомненно огорчился, что я по-прежнему постоянно подчитываю Пастернака.

В августе 1995:

— Я тут о Фросте сочиняю, хочу все поставить на места. Поглядите, на каком издании у вас печать какого концлагеря.

В декабре 1995 бравурно и почти жалобно:

— Трудно стало одолеть расстояние этак с длину фасада...

Юрий Черниченко Вологодчина—Кубань*

1. Два русских народа

Начинаю Белозерском. Причин тому минимум три.

Первая — отсюда «есть пошла» Русская земля. В лето 862-е варяжские князья Рюрик, Синеус, Трувор, вняв настоятельной просьбе, «сели» соответственно в Новгороде, Белоозере, Изборске. И «пошла»...

Куда? А до упора: берег Аляски, берег турецкий.

Зачем? Да за порядком же, господи. Все было. Свою территорию послы за морем оценивали скромно: ОБИЛНА. А вот с порядком («нарядом», употребляет колхозный термин «Повесть временных лет») дело было швах.

Кто такие варяги? А русские. Они-то как раз русью уже и были. Послы — те пока были славяне, белозерская весь, чудь, кривичи. «От варягов ведь прозвались русью, а прежде были славяне», — не видит ничего странного Нестор-летописец. Значит, искали и самоназвание? Хорошо, не угодили к лопарям. Или к прусам. «Сплотила навеки Великая Прусь» — вот было бы...

«Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами». Вплоть до мощного «Хотели как лучше — получилось как всегда» формула первой летописи оставалась единым девизом — стержнем самосознания. Норманскую теорию опровергают так долго и так всегда окончательно, что самое время — как у Шлимана вышло с Троей — отыскать и предъявить. Списочный состав делегации, скажем. От славян — такие-то, от чуди и веси — следующие... И лодью поднять, что ли. С резной подписью: «Синеус». Стержень — «порядок всегда извне» — и без находок доказан. Опытом. Через петровское окно в Европу пронесли марксизм для РСДРП. Из Скандинавии же прибыл вагон с Лениным. Из стран ОБСЕ — титул «мэр» для Лужкова. А главенство прав человека?.. Впрочем, все хотели как лучше.

Князья порядка разом со словенским языком должны были освоить два источника, две составные части местного менталитета.

а) «Не мучими никим же, но сами ся мучать». Никем же не мучимые, но сами себя мучат. Наблюдение апостола Андрея, от которого морской флаг.

б) «Руси есть веселие питье, не можем без того быти». Перевод лишь портил бы мысль. Вывод кн. Владимира, под 986 годом.

Еще один провидец, не славянин и не чудь, как бы вдгон очертил и третью составную. Но ее, позднюю, лучше относить к самоощущению уже сжатых в колхозы крестьянских масс.

в) «Они не могут представлять себя, их должны представлять другие. Их представитель должен вместе с тем являться господином, авторитетом, стоящим над ними, неограниченной правительственной властью, защищающей их от других классов и ниспосылающей им дождь и солнечный свет». Карл Маркс. Гениальное предвидение роли Аграрной партии и исторической потребности в Лапшине-Стародубцеве. «Восемнадцатое брюмера...»

...Советую главе самоуправляемого теперь Белозерска выложить девиз о земле и порядке на скате могучего вала — травяной покров твердыни граждане выкашивают

* Главы из книги «Дело было в России», издательство «Московский рабочий».

козам. Говорит, крест соборный не на что выпрямить. Завис, как Пизанская башня, неровен час грохнет. Жаль, было б эффективно.

На валу веришь, что земля велика: леса, просторы, Белое озеро, ветер гонит от шведов жемчужные облака. Виден, если чуть подняться над реальностью, краешек Черного моря.

— Надо храбро принимать вещи такими, как они есть, — учит директор Череповецкой птицефабрики Хмелев В. Н., держащий фронт против «ножек Буша». — Трудно поставить себя на место, какое давно занимаешь в чужих объективных глазах. Но реализм открывает перспективу.

Причина вторая. Здесь моя родина, одна из... В начале шестидесятых сделал открытие. До меня о нем знали разве лесозаготовители с Юга да беглые колхозники Севера. Может, Госплан еще и Лубянка. Но, по закону Твардовского, пока чего-то нет в письменности, его как бы нет и вообще. За что с такой пеной и яростью набросились на «Вологодскую свадьбу»? Яшин пишет — моя земля обескровлена. Коллективы читателей опровергают — а у нас так радиоточки и новая МТФ. Нужна была цифирь. Сравнительный анализ крови, мочи, плоти, мозга, духа.

Овечкин дал моему опусу название, Твардовский поставил в четвертый номер «Нового мира» за 1965 год. «Кубань-Вологодчина». Брежнев еще валил на Хрущева, иначе б главлит не пустил. В одной книжке с Виктором Некрасовым, Эренбургом, Лакиным — представляете пульс новичка?

Суть открытия: у колхозной империи есть витринный Юг, а есть потаенный Север, туда и членов политбюро негоже возить, не говоря о Пальмиро Тольятти. Есть крепостные просто — есть крепостные крепостных. Без берлинской стены, без демаркационных линий один народ разрезан на два, и как ты живешь, определено тем, в какой из России оказался.

Все хрущевское десятилетие в Нечерноземье сохранялись сталинские порядки. На Кубани подсолнечник и сахсвекла («председательские культуры») уже давали до четырехсот процентов прибыли, а Вологодчина производила спущенные ей планом зерно-молоко-мясо в голимый убыток. Больше сдал — нищей стал. За вторую Никитину пятилетку скромные вампиры Старой площади сумели высосать из вологодских колхозов 56 миллионов «новых» рублей.

С милого севера в сторону южную,

с одного борта кренившегося корабля к другому скатывались фонды, трассы, удобрения, каналы, кадры, институты, лимиты на звезды-ордена. Богатому черт исправно качал люльку. Дифференту-I (которая «от Бога» и перераспределяется ценою земли) приходовали южные обкомы. Север получал от Москвы проститутток — олимпиада дак, куда их.

В теории лежала, считалось, окупаемость затрат, т. е. выкачка дарового плодородия черноземов. Государственной же, слушай сюда, вложай добавочный миллиард в усть-лабинский гумус, чем в кислый белозерский грунт, до которого еще и не доехать?.. В практике рука мыла руку. Действовало братство еще комсомольских пьянок. Агровожди в затылок шли с Юга (Полянский, Кулаков, Горбачев). Над ними витал предвечный ставрополец Сулов. Юг имел доступ к отдыхающему телу (Пицунда, Кисловодск, Крым). Первые секретари регионов персонально вникали в ящик утреннего винограда к столу, лично готовили морские рыбалки. Снасть звалась «самодур». Один самодур с хорошим грузилом мог стоить перебрса северных рек.

К той поре я стал понимать: ни северокавказская станица, какую звали по хозяину («к Лыскину», «у Майстренко»), ни феодальная магала арычных равнин, где райсом правили райком, аксакал, шариат втроем, ни литовский «колхозас» с резным агитпропом и пятеркой на человек-день, ни чайно-лавровый родовой общак черноморского рая колхозами практически не были. Национальные по форме, криминогенные (чаще всего) по содержанию, они всегда оставляли человеку выход, какую-то кислородную щель под дверь. Мутациями, пародиями на сталинскую сельхозартель были и венгерский, чешский, тем более гэдэровский кооперативы. Не умеешь — не берись.

А чтоб ни выхода, ни лучика, ни дыхательной щели, одно только «широкое использование принудительного, в том числе дарового труда в атмосфере военной дисциплины» (Г. А. Зюганов) — для этого надо на Север. (Экс-кандидат в вожди России одобряет «историческую целесообразность подобного экстраординарного пути». Экстраординарного! Доктор дак...).

Колхозом в завершеном, доведенном до абсолюта виде был только русский

Север — псковская, новгородская, костромская, ярославская, калининская, ивановская, владимирская, вологодская, естественно, земли. С могилами и партийных, и внепартийных святых: Пушкина, Пожарского, Невского, но и Сергия Радонежского, Кирилла Белозерского, Нила с Селигера, Ферапонта, прославленного наивно радостным Дионисием, современником Микеланджело. Словом, территория, вполне заслужившая потрясающее определение Леонида Ильича:

— Нечерноземье — вторая целина.

Не одно зарастание пашни (где-то могло и не зарастать), не только разлом естественной лестницы жизни (луг-сено-скот-навоз-пашня-хлеб), не бездорожье, черные избы без самой идеи отдельной комнаты для супругов, проломанные черепа соборов, буфеты с «дунькиной радостью» на избирательных пунктах, не сами еще намолоты в шесть центнеров или надой по 600 литров на ярославку-холмогорку (обычно на район бывал показной «маяк») составляли апофеоз коллективизации, а — потеря сопротивления. Та степень лагерной притерпелости, когда *такая* жизнь, по золотому слову Белова, стала «привычным делом». Возникли (в итоге убийства или бегства иных) особые смиренные русские, готовые и сено себе косить только по ночам, и кружева плести лишь по председательскому — с печатью! — разрешению, и кукурузу в ржавом болоте сеять, начисто забывшие про вологодское масло, каким еще отцы-матери пробились в Лондон, про расторопную кооперацию, да про северный даже дом, где могли свободно жить душ двадцать. История прекратила течение свое.

Сопротивление южан гнезилось не в председателемском только корпусе, что простреливал «секциями» свежие плодов всю Сибирь до Байкала, а в Москве иначе как в «Москве» не останавливался. Не в одном темрюкском «первом», легендарном чревоугоднике Афанасии Сидоровиче, который черной икрой Азовского моря пробил — через два Совмина и один ЦК — водовод Таманскому полуострову. И вовсе не в мыльных пузырях типа «Кубань-Айова», «ипатовский метод» и т.д., выносивших с Юга в Кремль одного мастака за другим.

Оно двигало станичной согнутой бабкой в глубоких калосах — тащила, голуба, цыбарку жерделей к шоссе: в лесополоске даром, а тут живая денежка. Оно не спало в ветеране труда с литовкой на «велике» — до зари подкосить бригадной люцерки своей сотне кролей. Вновь и вновь поднимало оно после крайкомовских бульдозеров помидорные теплицы и гвоздичные парники, рожавшие в сезон по «жигулю». Оно питалось страстью быть «не хуже людей» (честно — так лучше, богаче!) и проявлялось в желании вызвать зависть. Каждые пять лет оно обновляло стандарт станичного дома, и из куреня в две шибки на улицу развился кирпичный, с фасадом фигурной кладки, пятикоконный дом под белой жестью, с лебедями на сварных воротах и виноградной беседкой над мощеным парадным двором.

Двор этот южный, внутренний, с забором чуть ниже белозерского вала, не был «колхозный двор», как проходил по отчетам. И никогда не бывали *колхозными рынками* базары Сальска, Армавира и Усть-Лабы. Ставили кордоны против вывоза помидоров — товар шел «огородами к Котовскому». Крайком объявлял «предельные цены» — продавали вне рынка, но базар оставался. В Белозерске, Ростове Великом, Красном-на-Волге — да! — рынки замирали на целые пятилетия. А южный базар бывал жив двором!

Двор был, что называется, «моя крепость» и имел подземный ход к тому базару. По станичным обычаям двор и раньше для досмотра бывал закрыт, и что именно попало за забор (кукурузка ли, «семечки», ведро винограда на шабашку, доски со стройки, шифер с пустого комплекса...), проявлял один базар.

Норковые шапки и тяжкая, как доспех, шуба изнутри. Свиное сало, копчения, закрутки типа «донской салат» и пахучее — из жареных «семачек» — масло в мягких бутылках. Яйца перепелок и индоуток, брынза и в белых тазах творог, красное вино Анапы, вяленый рыбец и желтый балык толстолобика, говяжьих туши, гуси живые, помидоры бурые в кадке с вишневым листом и зонтиками укропа в рассоле, как было у вашей мамы — да сходите сами, увидите. Недавно я затащил на кубанский базар актера Таганки Золотухина, он земляк Шукшину. Бумбараш-Кузькин одолел стресс, вдохновился, расчехлил гитару — и через минуту овощные, рыбные, фруктовые ряды, а также армяне подпевали ему, раскачиваясь:

Ой, мороз, мороз,
Не морозь меня...

«Подворщик» — вот термин, до которого социология оставалась немой. Слово дал жизнь тульский губернатор Севрюгин. Кто он, подворщик: крестьянин, фермер, колхозник? Социальный гибрид, товарищи. Плод компромисса, итог перемирия. Сельский житель, которому вставать с солнцем смысл уже есть, а бросать колхоз — нету. Олицетворяет шаткий баланс, когда земля, солярка, деньги из бюджета вполне еще «гос», а наличка уже «инд».

Тип не так уж и юн, он идет от поры, когда Леонид Ильич Брежнев радовался как дитя статье «Жили у бабуси колхозные гуси» в газете «Комсомольская правда». Гусят раздавали старушкам, те потом возвращали колхозу взрослых. Генеральный потребовал — не терять ни дня, освещать систематически! Автора поздравляли, тот чертыхался. Между звонком Брежнева и выходом статьи прошло девять месяцев. Одесский секретарь всучил генсеку отгиск, а срок публикации скрыл. Зубоскалили — чья беременность? Статью написал мой сын.

Сказано у Заверюхи: «Люди не виноваты, что попали в колхозы. Надо войти в их положение». Или, возможно, их вывести. Самим не входя.

* * *

Избирая Президента, Север поднимал Ельцина, Юг — Зюганова. Наверное, 30:40 — отношение сделанного и обманутых надежд. Честности и распада всякой морали. Уверенности в завтра и потери смысла жить. Зерен и плевел, свободы и нового порабощения, достоинства и нечисти. Плясать-радоваться, что на 40 уже здорово, а гнусно только на 30, простительно бедолагам в «Кашенко».

Древнейший в России город Белозерск со своим районом проголосовал: 6.987 человек за Ельцина, 4.711 — за Зюганова. Краснодарский край, алмаз в черноземной короне планеты, отдал за Ельцина 1.116.007, за Зюганова — 1.308.765.

Почему? Могло быть наоборот? Знаете, вполне. Если б нас можно было *умом понять, аришном* тютчевским *измерить*. Тогда бы люди южного рынка (включая и станицу, и Ейск, и Стамбул, и Крит, и экспортные линии Новороссийска) должны были высказаться за курс рынка. За своих фермеров — по 20 тысяч хозяйств на регион. За вольный путь «семячкам» в Европу, за новый порт на стыке двух морей и т. д.

А Север, пять лет получая вдосталь одну безработицу на «оборонке» и неплатежи за русский лен, вполне мог бы подумать: «Опять я крайний? Да идите вы...»

Ну вот, *третья причина* названа. Почему?

У меня с собой заготовки. Параллельные прикидки на поверку и отсев. Потому что и на Кубани я с 1962 года регулярно, а рос в станице Пашковской.

Юг больше получил, но и больше потерял. В 180 триллионах сельских потерь от диспаритета цен (столько называют) минимум треть за интенсивным, широкополым Югом.

Север был зоной позорящего дефицита. Третий века как божж озирался в чужих гастрономах, подбирал крохи от двух столиц. Приход в Белозерск обывденных, постоянных бананов значит отнюдь не то же, что вольный сбыт помидоров в Армавире. Для нечерноземки москвич был другой расой, и миллионы мечтали, как Майкл Джексон, поменять цвет. Лимитой, унижением, фиктивным браком — лишь бы в москвичи-ленинградцы. Похоже, просыпается что-то странное, чего никак не определишь вне ленинского «национальная гордость великороссов». Я знаком с немолодым мужчиной, который свою квартиру у Золотых ворот во Владимире поменял на районный город Меленки, ибо тут тише и разумнее жизнь. Меленкам — третий век, здесь липовый парк, своя интеллектуальная среда, а магазины — они ж везде магазины. У него дочь в Соединенных Штатах, зовет. Зачем? Надо жить дома и в русском языке.

Юг забыл про голодомор и высылку целых станиц, но помнит: зарплата в бригадах являлась регулярней, чем в небе молодок. Юг пережил разрушение высоких технологий: птице-, свино- и прочие комплексы, личное животноводство ЦК КПСС, растащены, как в песне «Кирпичики». Урон никак уж не меньше, чем от разгрома помещичьих имений.

Нас-то уже изучают! Под Белозерском в деревне жила у бабы Гаши (Агафьи) аспирантка одного «плюшевого», т. е. крутого, университета США. Диссертация — что-то про XVII век в Европе, до «Мэйфлауэра». Эта Джин ходила в ватнике, освоила «на троих», приучалась жить без телефона — спутникового и вообще, без шоссе, водопровода, горячего душа, врачей, ватерклозетов, микроволновок и тарелок

антенн, без аптек, газет, а теперь и радио. Ждала для новостей почтарки с пенсией. Провожали Джин сердечно. Если что, наказали писать, не оставят. Международна дак солидарность.

Уж та-то напишет. А нам — слабо?

2. За семью волоками

— Других вологодцев у меня для вас нет, — сказал бы мне товарищ Сталин. По притче он так говорил про писателей, но тоже кому-то взыскательному. Хотевшему не тех, какие есть. После выборов это довольно часто: не тот народ попался.

Земля кончается в Боркове: дальше начинается вода, Андозеро. Впрочем, и Борково кончается тоже. Церковь, где в шестьдесят четвертом были мехмастерские, съедена на печи. В селе, я писал, не было детского шума, горок-санок — теперь нет и домов: осталось четыре избы. Лизавете из Боркова было тогда столько же, сколько и мне, а теперь мне на 32 года больше. И зубов у нее было тогда 32, а теперь на 30 меньше. И мы с лихой Лизаветой, здешним Теркиным, смеемся над этим казусом до слез. На все село, которое, впрочем, нас уже поставило на учет.

В избе она ищет свою медаль материнства — мужик ее, я должен помнить, повесился от водки, когда младшему было шесть месяцев, — а попадают все значки да грамоты. Стоп, свидетельство мелькнуло — свидетельство на право получить землю в собственность. Твое? Да, Кузнецовой Елизаветы Васильевны, земельный пай 4,47 га и 114 баллогектаров. А знаешь, я, может, за этим и приехал. Может, это самое главное в нашей жизни за треть века. Показывай, где твоя земля! Баллы, гектары, имущественный пай — все кажи. И немедленно, сей момент.

Веселость как рукой сняло. Выводит из избы к огороду — и ленинским указующим жестом:

— Вот двадцать пять соток. Всю жизнь мои, теперь всех не обороть. А чужого не брала, отсохни рука.

И кричит соседке, что вышла к поленнице и наблюдает:

— Марeya, по землю приехали! Говорила ж вам — так это не оставят.

Грузная Марeya Агапетовна всем мужикам говорит «батюшко». Очень приятно, оказывается, вроде титулования. Заступается за товарку:

— Каки у Лизки гектары, батюшко, не брала она ничего. Бумага желтенька? Как то агитмассовое, а ты поверил. И мне дали, и Толику вот, он один у нас мужичок, ангел-хранитель, помогает всем и хоть бы рюмку когда, батюшко.

— Ну, по праздникам, — усмехается рыженький ангел, не подаваясь на лесть. И разговор умело переводят на хранительскую помощь четверем живым в Боркове: «дружкой» дровец напилить, к маю сотки вспахать, если телевизор погаснет — тоже.

Я же клоню к тому, что отдали бы они свои пай, скажем, Толику, заключили бы договор с обязательствами сторон, и он тогда бы вам в плату за землю, как нормальный хозяин, сено бы, допустим, косил или пилил березу. В порядке аренды. Добрый совет. Как молодой толстовский Нехлюдов — бестолковым мужикам.

Настороженно переглядываются. Не было печали.

— А Толику-то она на что, батюшко? Вон ее, все Андозеро кругом в земле, а толку? Она ж испустована. От нее теперь урожаяв — как от нас с Лизкой детей.

И смеется. Емко сказано.

— Я и так помогаю, — снимает вопрос Толик.

— Он что, от колхоза действует? Долг перед пенсионерками — или как?

— Долгов пока никаких, обходимся, это он по-соседски, — опасливо косится Лизавета на председательшу. — А если договор да за плату, так нам тут хоть помирай.

— Хоть помирай, батюшко, — кивает Марeya Агапетовна.

Главное, я угадываю, в председательше, которая тут же. Не за эту ли аренду и она?

Но получили же они письмо Ельцина? Красивое такое, три цвета и орел золотой. Каждой семье пайщиков было послано перед выборами. Там обсказано все — можно передать, подарить, завещать, продать, наконец. И подпись президента России, чтоб не сомневались. Вспомнили?

— Письмоношка приносила «пенсия» — не было. Может, сей месяц занесет?

Существительное «пензия» здесь не склоняется. Из почтения, что ли.

Эх, письмо-письмо, замысел-то — на целый манифест! В предвыборной горячке выработан текст, коротко и звонко. «Земля — главное достояние народа. И люди,

работающие на ней, кормящие страну, — опора земли русской». Потом про Указ 337 — «реализовать права граждан» — и варианты: передать, подарить, продать... В конце чуток патетики: «Ваша земельная доля — огромная ценность. Это реальное воплощение лозунга «Земля крестьянам!», это — награда за ваш труд и верность родному селу!» Лично самой крайней в России Лизавете, 1929 г. рожд. За семью волоками, где конец земле — направо первый дом с трубой. Да от кого — от президента, Москва, Кремль! Сквозь толстый изоляционный слой бюрократов — тропой Роскомзема — проникает в колхозные избы, и четверо из Боркова, прочитав и все с лету освоив, кладут его за божницы. Или, высоко подняв над головой, идут с ним голосовать. Шесть миллионов писем — за шесть миллиардов всего.

— Не секрет если, за кого голосовало Борково?

— Не таимся. За Ельцина, батюшко. Он правильно — не дает колхозы растаскивать.

— Как эти... демократы, — поддерживает Лизавета. — Чубайс, Хазбулатов. Наш — мужик прямой.

В защиту себе или нет, но... В Сальской степи, где за один пай земли пенсионер-колхозник получает четыре тонны зерна в сезон, не считая помощи вроде Толиной, такой эпистолярный жанр все-таки будет понят. Может, несколько конфузно для первого гражданина («Ельцин нашего председателя тоже боится — пишет-то мне, не ему»), но поймут.

Север же — строго по Станиславу Ежи Лецу: «В действительности все оказывается совсем не так, как на самом деле». Нравится это мне или нет, а Агапетовна, трижды норовившая сбежать в сороковых, к самому концу века, пройдя как бы внутренний путь писателя Белова, стала олицетворением колхозности.

Тут так. Можете вы представить ее себе... буддисткой? А кришнаиткой? Мусульманкой в шальварах? То-то. Пусть православия в ней не больше, чем в любом вице-премьере со свечой в телевизоре, а иной веры для нее нет. Колхозность ее — род самой общей религии. И представить ее фермершей или — спаси, Господи, — ларечницей какой... Буддисткой все-таки проще. Есть молоко — неси банку, в запуске «Лыска» — не взыщи, но продавать... Не спекулянты. Как говорит один белозерский фермер, стоя на самом краю разорения: «Не торговал — и не буду!»

Деньги — дело начальства. Придет в красный день долгожданная письмоноска с месячиной — раздаст всем поровну, без обид. До того была контора с окошечком — наклонись, получи гарантийное. Еще раньше, когда еще в силе были, можно было и шиш на весь год получить, так-то.

— А ломили как, батюшко, очи рогом вставляли, днем в поле, ночью лён мять, да было бы хоть за что! В борку мешок с току получишь — и дели на всю зиму. А еще за налогом придут — шкуру, яйца, молоко, шерсть. Не сдал — самовар опишет.

Все это почти с ликованием, с восторгом — и явно в укор и насмешку над квелими нынешними.

Может, и ладно, что письмоноска принесла одну «пенсия»? Распоряжение земель Агапетовне — как, наверно, разрешение летать. Дельтопланом, планером, воздушными шарами, а также — при сохранении хозяйственного назначения — вертолетом «Черная акула». Летающий инвентарь и обучение пилотажу — ее проблемы. Ей же решать — куда и зачем.

Колхоз, батюшко, есть порядок. В нем зоркое и строгое начальство. Ельцин — сам по себе идея порядка. Вон губернатора снял. А что, не воруй. Что бы там ни было с подмосковным мостом, берлинским оркестром или Грозным, а он в Кремле хозяин — и должен, значит, быть за колхоз. Идите, княжите — но как следует.

Следует, если дело о собственности, чтобы слово и дело шли от начальства. Прежде всего от председательши, которая с нами приехала. Если она, первая ближняя власть, молчит, то любое подметное письмо будет — как письмо Белинского Гоголю. За председательшей сразу следует Ельцин (в представлениях иерархия жестко сокращена). Но его на всех не хватит, да и измотался, поди, за выборы. Вручать агитмассовое, т. е. 4,47 гектара и странные баллогектары, может разве районный глава. Как минимум.

Он, глава, должен приехать из Белозерска, вызвать Лизавету, объяснить, как и что, и показать, гдеписаться. Без этого все будет самоуправство, прочности никакой.

В Белозерске есть полуподвал со сводами, в нем издавна — может, от Синеуса — находится райкомзем. Через него-то и должна была прийти к Лизавете благая весть о земле. При Столыпине землю раздавала комиссия из уездного предводителя

дворянства, главы земства, окружного суда и волостного начальства. Дело шло — власть! Теперь сидит под сводами Мартынов, юноша внешности старших пионервожатых — без наружных отметин и оптимист. У него и семья уже есть, сынку три месяца, и техникум за спиной. Но считать Мартынова белозерским Столыпиным может только помешанный. Мартынов и брать не брал (из области) того трехцветного письма, да и на что бы его рассылал, если и счета у райкомзема нет. Он и свидетельств «агитмассовых» две трети еще не раздал — недавно назначен!

А загнись Лизавета идейно, стань тратить «пензия» на поездки в район — ждал бы ее с ее медалью страшный удар. Служилый Мартынов землеотвода не делает, им уже занята частная фирма. Отчленилась от конторы землеустройства амебным делением и ищет «новых русских». Те при Белом озере и канале графа Клейнмихеля скупают дачки под застройку.

Лизавета, для которой и поломка ходиков — разор, вдруг узнает: нотариусу 10 миллионов пожалуйста, землемерный чертеж — еще миллион... Испугом моей ровесницы реформа будет не только остановлена — галопом бросится вспять. К власти, ниспосылающей, писал Карл Маркс, и защиту, и солнце, и дождь.

У эстонцев была (теперь — не знаю) особая брань: «Русская работа». О комбайне ростовском, о псковском закрытом дренаже... Смесь неясности в замысле с халтурой в исполнении — плюс не с кого потом спросить. Как, скажем, взятие Грозного Грачевым. Или же сдача его, Грозного... Впрочем, сравнения обидны. Аграрная — земельная — пятилетняя! — реформа есть «русская работа» как эталон! Одна идея самовысвобождения Агапетовны. Одна смена штурвальных... Ручкой доказал: вперед — это значит назад! А что Столыпиным вдруг назначается почти лидер колхозных начальников Назарчук? Затем опять «идите и княжите» деликатному Хлыстуну, прогнанному не понять за что... Слов нет, земельные перемены у нас — как раз та топь, что любого политического недруга засосет без пузырей. Но, так подходя, в 1905 году царь Николай просто обязан был вручить земельное ведомство присяжному поверенному Владимиру Ульянову — тот наверняка бы Лениным не стал!

Пережив сто перестроек и столько же реорганизаций, я мог бы чему-то научиться. В Белозерске, Тотье и Нюксенице колода кадров от тусовки не меняется — ну нет других королей и шестерок. И все же...

Лизавета, если ее зажгли, должна искать в районе дом, где живет именно реформа. Не шустряки с рулеткой, не делители лизинга, но те, которые Лизавету волей-неволей землеустрают. Бесплатно, потому что она полувек своим рабством все оплатила. И в области нужен Дом реформы с соответственным наполнением — для взбадривания на местах, ибо и Столыпин губернаторам не уставал давать тычки. И в Москве тоже. Чтоб человеку было чем грозить: «Поеду в Москву, они тебе покажут». Как ни многогранен Ручкой, а в свои столыпинские дни — ему в шутку передали и реформенный блок — хлопотал о большом аппарате и вместительном здании. Жить в бюрократическом обществе и быть свободным от того общества (ни аппарата, ни строчки бюджета, ни помещения) — значит производить заведомо «русскую работу».

Сам Столыпин, отдав землеустройству русских людей уже десять лет, признавался Государственной Думе (май 1907-го):

— *Разрешить* этого вопроса нельзя, его надо *разрешать*.

Как с почвами Севера. Накормить раз навсегда не выходит — приходится каждый год удобрять. И все разным. Тогда, как писал Прянишников в год рождения Лизаветы, Агапетовны и мой, будут урожаи датского типа: прежде — 30, теперь 80... Любая нормальная (т. е. великая) реформа и должна быть несуразна (ну как это — взять из общины свой надел, загнать его свату-брату, а в какой-то Кулунде получить на семью сто десятин даром!). Иначе зачем бы и Столыпина убивать. Однако же она обязана опираться на реальности дня, быть заподлицо с бытием, иначе выйдут одни бабы полеты на «Черной акуле».

Сейчас Лизавета печет хлеб сама, выгодней муку покупать — обходится буханка на тысячу дешевле. Дрова и руки не покупные. Хлеб не ахти какой, но нисколько не хуже, чем бывал тут в поры, когда печеным кормили свиней. Ставить тесто приходится часто: ее взрослые чады, потерпев крушения в быту, на лето пригребают к матери.

— А вот еще сделали эту альтернативу, — прорывается со своим Агапетовна. — Не носи дитё в дедсад, а сиди с ним сама, сказки сказывай, — вот тебе на руки полтораста тысяч. Ежемесячно! Так что — спиваются бабенки-то!

Это она про свою невестку. Третьего дня та унесла водяной насос, а сегодня утащила утюг дареный. Сын ее уже бросил, сам мальчика под мышку — и в Черепов-

вещ. А эти шалавы, их таких пятеро, баламутят весь Климишин Бор (центр колхоза). Кто ж выдумал ту альтернативу, батюшко?

Колхоз «Мир» после смерти Кирилловича еще обеднел. Пашня заросла гектаров на триста, трудящихся осталось шестьдесят человек на двести пенсионеров, и года полтора назад избрали начальницей местную, Чаеву Валентину, она с техникумом, замужем за трактористом, сынок десяти лет, Никитка, а ей самой — тридцать три.

Значит, когда я сюда стал ездить, председательше было... год? Или вовсе не-сколькo? Однако ж — чувствуется характер, власть, и я говорю Валентине Федоровне «вы». Газета «Правда» после выборов вроде уже согласна на частную земельную собственность, но — одним председателем. «Полноправным владельцем общественной земли может быть только демократически избранный добросовестный руководитель сельхозпредприятия. Вряд ли кто-нибудь из настоящих хозяев крупных сельхозпредприятий упустит последнюю возможность выжить...» Кандидат наук Никитенко, 16.07.96.

Валентина, думаю, упустит. У них с супругом и дом-то не свой, колхозный, они и держатся, зарплатные души, хозяйством матери. У самой ставка 400 тысяч, а муж... В сев — миллиона полтора, а за сенокос — еще с полмиллиона, остальные месяцы — внатруску.

В доме чисто-убрано. Вспоминаю чудное бабье ругательство с Сухоны: «черно-пятая». Сатира на неряху: выйдет из избы на снег — следы видать. Валентина явно из *белопятых*.

Деньги колхозу добывает одна председательша. Скорей даже не деньги, а расчет. Молокозавод должен с апреля, «Русский лён» вообще надул район на полмиллиарда и «северный шелк» сеять нет смысла. Финны отчего-то перестали брать березовый «баланс» — кругляк, бревна. И человек трудящийся (Агапетовна не в счет) может получать в «Мире» когда сливочным маслом, когда шекснинской мебелью, прочной и немаркой, когда — колбасой. И учительницы так, вообще — кто на бюджете. Впрочем, милиция и пожарники — особь статья: при мне зам. губернатора все поступления Вологодчины (360 миллионов) отдал борцам с огнем и рэкетом.

Милиция тут, считается, патриархальная. Во всяком случае в Белозерске выдают за быть такое. Местный капитан милиции поехал плацкартным вагоном в Москву. Там в погонах и форме вечером вышел на Арбат. В один ларек — ему сразу пачку денег, в другой — еще дача... Через неделю он вернулся домой, но на автомобиле «Таврия». Продаю, за что купил.

Безрублевый взаимозачет, петлистый бартер со стороны забавен, по сути — грабеж. Человек не может рассчитывать и планировать. Ну, сложить печь стоит теленка, это понятно. А одеться-обуться? Деньги как бы уходят из бытия. Район и налоги взимает то «балансом» (круглым лесом), то мебелью Пошехонья, а платит культуре-здравоохранению или волжской мукой, или теми же шифоньерами.

Кто не платит — не обязательно беден и гол! Мне показали молзавод у Сиверского озера, который должен поставщикам не меньше белозерского, а спроворил 70-квартирный дом. Начальству и коллективу.

Находясь под воздействием исторической глубины, я все советовал вспомнить славянский метод двух берез. Надоел кто поборами — наклоняют два дерева, фиксируют на ветвях твои конечности, далее — пуск, и на зное время проблема неплатежей исчезает вообще. Нельзя! В целом — интересно, практически — неисполнимо. Несмотря на местное самоуправление Белозерска. И духовную распрямленность, выраженную, например, в жалобе района на губернатора в Совет Европы!

Именно поэтому-то и нельзя, что Подгорнов, губернатор «Хлебное Дело», придавший Вологодчине новую славу феерически наглым заглотом, смутивший остальные восемьдесят регионов объемами хапка, на какие оказалась способна вроде бы неалмазная область, именно за хлебное дело снятый Подгорнов гуляет вне суда и следствия, видит небо без крупной клетки. Потому мелкоте-молзаводу не страшны березы древнеславянской юстиции.

Надой в колхозе «Мир» неудобосказуемый: 1300. В год! От айширской породы, ее завезли от финнов при «второй целине». Краснопестрая рубашка, рога — как у полтавского вола. Зачем, Валентина, к чему, Федоровна, держать триста таких коров, если они в сумме доятя за сотню?

— А вы сбыт обеспечьте, тогда и спрашивайте, — без раздражения или злости отвечает она вам. — Кому молоко-то? Завод начисляет за литр меньше тысячи, и то — с посевной не платит! Сама я в Череповец не повезу. Мое дело произвести,

ваше — найти мне покупателя. Иначе зачем вы там все сидите. — И чтоб не ругаться с заезжим: — Так у нас хоть доярки при деле.

А что — глас народа! Я — кто-то из «там сидящих», из-за семи волоков не разглядеть мой масштаб. Отвечаю за рынок, его подлый нрав: покупаешь всегда задорого, продаешь — дешево. Обеспечить выгодный сбыт при науде в 1300 кило — мой социальный долг.

Я говорю: зла у Валентины нет. Тем более, что и книжка моя наизготовке. «Советский писатель», обкусанное цензурой «Умение вести дом». Перевод слова «Экономика».

— Вот вы мне и надпишите автограф, — требует она. — Что нам делать и как быть.

«Заместившей моего покойного друга Кирилловича... С уважением» и т.д... «Если я буду приезжать сюда с такой же частотой, то в следующую нашу встречу, милая Валентина Федоровна, вам будет столько, как мне сейчас, а мне — все сто. Побегаете вокруг озера?» Читает, смеется. Однако же:

— А теперь надпишите, как нам этот дом вести.

Вот так. Стародубцев вызвал меня отвечать перед последним съездом КПСС. Не имел права, а вызвал... Валентина же право имеет! Писал? Отвечай.

У меня тоже право — поставить мерные рейки. Буйки-бакены на речке времен. Здешних, конкретных. Хотя неконкретного в жизни, наверное, просто нет.

Один вопрос, дорогая Валентина, меж нами, мне кажется, носится, но как бы молчком: «Надолго ли все это?»

Отвечаю:

-- Навсегда.

Мои ровесницы, основной избирательный кадр сельского Севера, вынесли вердикт: пусть будет Ельцин. Мотивы — это уже этнография, психология, жизненный опыт, память поколений, т. е. только мотивы. Ельцин Второй — время для свыкания с несколькими нормами. Их и произнести мне, Валентина, пока очень тяжело. Жестокости они, справедливы, убийственны? А шут их, норм, знает. Свинья носит три месяца, три недели, три дня, овца — пять месяцев.

Хорошо это или плохо? Да никак. Природа.

Достойней быть богатым, но здоровым, чем бедным, а больным. Прежде говорились: «Лучше». Север про себя как бы разумел: «Я вот, может, и беден, и болен, зато...» Теперь никаких «зато»!

Что не продано, то и не произведено. Не продал — как не работал. Не желающий продавать — не крестьянин. В нем и нету той двойственности (работник + хозяин), которая была головной болью большевиков три четверти века.

Производишь в убыток — протянешь недолго, каким бы укладом ты ни ехал. Рынок вездесущ, как воздух. Уж если банан Коста-Рики отыскал Андозеро... Рынок не прощает намолота в 6 центнеров и надоя в 1300 — он не ЦК КПСС, в нем ни комплекса вины, ни секретности, но и ни чувств-состраданий. Кто собирает (доит) в пять-десять раз больше (дешевле), заведомо прав.

Чьи почвы богаче, солнышко щедрее, у кого город и станция ближе, тот в данный момент будет молить Бога: сделай так, чтоб земля не продавалась! Запрет на продажу земли — это мне привилегия в дифференциальной ренте-I навсегда. Дифферента — не заумь, не хитрость ученых, просто избыточный доход от лучших и лучше расположенных земель. Это — «умна жена — коль полна бочка пшена». Сталин, Хрущев, Брежнев не изымали избыточного дохода от черноземов и долгого лета Юга — корабль накренился, и... не знаю, перекиль или нет. Пока ясно: на Кубани и 30 процентов сбора — караул, чрезвычайное положение, а у вас десять на круг — торжество и ликованье.

Северу предстоит война за выживание. Против импортной экспансии с Запада («ножки Буша» давно здесь), но и против продовольственного натиска Юга. Люди здесь ни при чем — воевать будут цены и проценты «навара». Юг не может удовлетвориться своими монопольными культурами — подсолнечником, сахарной свеклой и т.д., он вынужден завоевывать покупателя традиционного северного продукта: молока, говядины и т.д. Брежнева, Хрущева, Сталина давно нет, но перекоп «Север—Юг» унаследован вами. Запрет на переход земли из рук в руки и сохраняет в конечном счете наличие двух России.

В чем реле выравнивания? Цена за гектар чернозема поглотит избыточный доход «семечек» и бахчи, а цена (низкая) белозерского подзола возместит недобор от мало-

го плодородия и короткого лета. Так на всем Божьем свете, ничего тут нового нет. Подумайте — и повлияйте.

Опять-таки, Валентина, никакого умысла у лабинского, кропоткинского, ставропольского председателя против «вятских-хватских» нет, он и в уме той диффренты не держит, а когда выступает — праведно выступает против того, чтобы кровные казахи черноземы перешли в жадные руки «хачиков», «айзииков» и прочих нелюдей. Слова — одно, команды экономики, выгоды, сверхприбылей — другое.

Я говорю: Северу предстоит защищать свое земледелие-животноводство, надеясь, увы, на самого себя. Ныне бюджет пуст, как барабан, а он таковым пребудет все первое десятилетие века. Прежде чем реальностью станут программы исцеления, возрождения, преобразования и т.д., вполне могут произойти новые — громадные! — зарастания пашни и забой скота. Из четверти триллиона вологодской помощи по всем статьям на этот год в село пришло сколько — тридцать миллиардов? Белозерский охранный вал обречен на снос — если уже не развезен. Списывать вам долги еще сколько-то времени будут, но искусственное дыхание — плоховатая норма жизни.

Северное земледелие сильно отсутствием засух. Гарантия отдачи: вложил под плуг — получишь. Никто у вас не сможет отнять монопольных культур — того же северного льна, спрос на него готов на весь новый век. Воевать, так исключительным качеством: не маслом вообще, рынок им забит, а *вологодским*, из топленых сливок, от череповецкого дворянина Верещагина, кооператора-народника, его экстракт трав родился под именем «парижского масла»... Впрочем, сосед Белозерска Кириллов уже привлек московский завод-спонсор и готовит прорыв именно в дорогом, изысканном, монопольном по месту производства товара «дефиците», как сказали бы пять лет назад.

Вам уже свои показывают, как и что надо. Череповецкая птицефабрика не только не обанкротилась — она из конкуренции с заокеанским птицепромом взяла его оружие, его экономические козыри. Что «ножки Буша» продаются, не беда. Что покупаются — плохо! Значит — дешевле, значит — и после перелета через пол-Земли они покупателю выгодней. Директор птицефабрики В. Н. Хмелев не таит, что породы, вакцины, витамины, даже корма вынужден закупать за рубежом. «Вы не патриот!» Не патриот, господа, тот, кто слил воду, распустил птице-, свино-, всякие прочие фабрики, распахнул тем ворота импортному товару — и скрипит зубами про Замбию, Ваньку-Встаньку и отравленный заокеанский харч! Череповецкие бройлеры — да! — выходят из западных технологий и убойных цехов, но это 2,9 кормовой единицы на кило привеса, а тут почти рекорд России. Это почти 8 тысяч тонн птичьего мяса в год, то есть бедному Бушу (наверно, он и не знает про свои «ножки») вокруг Белого озера делать нечего. Впрочем, пятую часть своего вала птицефабрика Череповеца отправляет уже в столицы. Где в качестве и ценах, надо думать, толк знают.

Валя-Валя-Валентина, один отменный огородник, он же главбух райкомхоза в Шексне, угощал меня как-то своими стихами, их ему печатала районная газета:

Нет на свете прекрасней райцентра,
Чем моя дорогая Шексна! —

заканчивалась одна ода. Лукич, спрашиваю, а ты уверен, что так-таки и нет? Может, в Тасмании где-нибудь или Аргентине? Франция опять же...

— То нас не касается, — отрубил поэт. — Я был всюду: Тотьма, Грязовец, Белозерск — хуже. Франция не касается.

И вдруг категория «не касается» исчезает! Сойти с ума: Шексна и Тотьма — свободные составные единого Бела Света. А Белозерск даже самоуправляем. Дай Бог вам, Валя, за жизнь получить от судьбы нечто соразмерное.

3. На обломках самовластья

Мы, «Дни литературы на Кубани», были у Медунова, когда ему позвонил по ВЧ Косыгин. «Первый» не вытянулся у аппарата, как делали иные, не удалился, уважая тайну разговора. «Да, Алексей Николаевич. Понимаем, Алексей Николаевич. Столько трудно будет... Но пятьдесят сделаем, Алексей Николаевич. Нет, это кубанское слово... А когда бывало иначе, Алексей Николаевич?»...

И, выдержав с трубкой на весу паузу, в величии печали повернулся к нам:

— Выручай, Кубань. Прибавить сахарной свеклы... Куба, этот Кастро на нашу голову... А сев к концу, ресурсы — дно видать. Но кому ж выручать? Вот вам и оглобля-тарантас.

«Воткни у вас оглобля — вырастет тарантас» — это не мы, это госплановцы так проезжались. Это они (не мы) спускали Кубани сто разных культур. Мы же лицеизре-ли акт государственной дисциплины. Ни словца о твердых планах, тронном обещании Брежнева. Ни намек на самоуправство. Было сказано — будет сделано. Перед звонком по ВЧ Медунов хвалили писателей Кубани: как уборка, они все на токах, при комбайнах. Нам предстояла поездка в Абрау-Дюрсо.

А театр был хорош! Эсхил и соцреализм разом. На всем синий штамп — «уплочено». Совмин просто требовал доли. Семена, удобрения — всё дадено, построены заводы. Недовольство, отпор — а от кого, собственно? Свекла (умело закрытый план по ней) сулила председателю лично шесть месячных окладов, забудет — напомнит жена. Колхозная тетка цапкой только и зарабатывала: сахар, зерно, грошенята — где они, если не на «рядках»? Одноростковая, без ручного труда, культура потому-то и не приживалась двадцать лет: иммунитет народного интереса. Поупражнявшись два сезона с цапкой в роли свекловодки, я твердо знал: звонок Косыгина живо прибавит городских палаток в лесопосадках и «запорожцев» на межах полей. Степные Армавиры и Кропоткины, особенно их художавый медик и поджарый культработник, расхватывали свекольские «рядки» на лету. Докторицы в жару пололи именно в белых халатах: прохладней.

Может, тут и есть государственная мудрость: взял — отдавай. «Делиться надо», — формулирует теперь Лившиц.

Но тою же самой весной на Вологодчине я жег лен! У Кубенского озера. Всё живое-крепкое из совхозов подалось на металл Череповца и дизели Тутаева. Не поднятый с осени «кормилец-ленок» устранили путем палов. Спичка к тресте — пламя в объектив. Снопик с огнем — и по «Сельскому часу». Мучение напоказ, тогдашний вид забастовок.

Мудрость оказывалась избирательной. Самовластье поворачивалось к кому как. Властвуя, строго разделяли.

«Тарантас» делящей Москвы имел, имел под собой основания.

Здесь долго светится небесная лазурь,
Здесь кратко царствует жестокость зимних бурь,

а качеством почв северокавказский гектар шел за 2,11 условного среднероссийского, с вооруженностью — за все три. ВАСХНИЛ глубоко и всесторонне разрабатывала роковую обделенность родины колхозов в почвах-климате перед иными фермерскими королевствами, но Москва и заказным слезам не верила. Северный Кавказ полвека делался удельным ведомством Старой площади.

Техника, поток удобрений — наружное. От глаз бывал скрыт и колхозным умом нелегко понимался механизм закупочных цен. Раз земля не продается — не покупается и кубанский гектар не окажется во столько же дорожке, во сколько он доходней вологодского, значит — кубанское зерно надо закупать по низкой цене, а северное — по высокой. И тем произойдет перекачка капитала, даром доставшегося южанам, в подъем плодородия Белозерья.

Но Старая площадь, даже записав выравнивание в Программу КПСС, на деле оставляла этот избыточный доход, эту хитрую диффренту-1, станичной номенклатуре. Подаренное (угаённое? отнятое?) всходило дворцами культуры, нарядными ипподромами (см. «Кубанские казаки») и общим «полиморсосом». Политико-моральным состоянием.

Кто спорит, без мозолей ничто не дается, и кубанец как работник тоже минимум в 2,11 раза был вышколенной и надежней усредненного русака. Каждую осень армия северокавказцев посылалась молотить яровой хлеб целины, и мы сопоставляли: Сибирь, да, терпеливей, но кубанцы — совсем другой класс. Гвардия! Айовского «фермера» (на самом деле он был большим банкиром) Росуэла Гарста недаром возили к кубанцу Первицкому — и то сначала в кукурузных полях близ Армавира слышалось откровенное гарство «гы-гы»... Вятские-хватские просто не были бы Айовой поняты: жгут лен — это язычество, жертвоприношение?

— Со мной никогда не может соревноваться никакое нечерноземное хозяйств-

во — на меня природа работает! — с библейской ясностью излагает сегодня суть Александр Алексеевич Шумский, ставропольский, но и кубанский одновременно председатель. Ибо колхоз (без псевдонимов!) «Казьминский» лежит теперь по обе стороны межкраевой административной границы, что едва не привело к сумасшествию ряд крупных чинов прокуратуры и губернской верхушки Кубани. Ко взглядам Шумского еще вернуться.

Придворная интимность отношений учила прощать.

Прощать, не выпячивая, самодурства генсеков — стриптизы казенного разума. Крыть овцематок дважды в год и тем принудительно получать по два окота! Не Павел Первый — просто Хрущев. Во «всесоюзном племзаводе» — тонкорунном Ставрополье... Затопить пресным морем очень богатые черноземы с хорошими урожаями пшеницы, чтобы в плавнях получать дорогой и дрянной рис. «Течет вода Кубань-реки куда велят большевики!» — гигантское двестише на бетоне славило волю Брежнева... Горбачев отобрал колхозные трактора назад в некие МТС, структуры его комбайнерского детства. Эти МХП (межхозяйственные предприятия) степные сатирики расшифровывали «Михаил хреново придумал». Затея, идиотская по сложности, стоила безумно дорого. Умерла, едва «Михаил придумал» Продовольственную программу.

Взамен, за послушность и такт, — прощение воровства. Того вполне еще партийного, с пением «Интернационала» на конференциях и живым Павкой Корчагиным (актер Конкин) в президиумах, воровства, которому до полной распродажи власти, коррупции, предстояло еще изгавкаться от страха наказания. Но в котором, как в эмбрионе, было уже всё положенное взрослому организму!

Уже при Медунове облагали дефицит — поступления в вузы и контроль над трестами ресторанов, раздачу «Жигулей» и т.д. Уже была внедрена дисциплина мафии: стал опасным — найдем везде.

Исчезали бесследно первые секретари горкомов (Геленджик, секретарь Погодин), а второй секретарь крайкома Тарада был держателем общака — к нему стекались дани. Всё было первобытно-общинно, даже трогательно: Тарада набивал сторублевками жестяные канистры, их вмазывали в стены на хуторе, хату сторожил этнографичный дед... Но уже были отращены длинные щупальца, и московский прокурор, проявивший вредное упрямство, был внезапно снят, а Тарада, отданный-таки следствию, столь же внезапно помер в камере. Когда на последней всесоюзной партконференции Виталий Коротич эффектно и драматично вручал Горбачеву папку с главарями мафий, я про себя ахнул: неужто Краснодар? Но нет.

Горбачев спрятал Медунова в панельных дебрях Юго-Запада Москвы. Недавно в Краснодаре отца-основателя торжественно чтити. В России всегда нужно жить долго.

Разница между партийной подкупностью 80-х годов и всеобщей распродажей власти конца 90-х, конечно же, велика. Но это *возрастная* разница! Разница, скажем, между дичком-подвоем — и пышным, разросшимся привоем, покрывшим тенью всю землю под собою. Дерево неделимо. Просто — «они были первыми».

Самовластье в обломках. Деньги уже пять лет как мера всех вещей. Рынок (усеченный, без земли) един и безграничен: хочешь — в Трабзон свои «семечки» сбывай, хочешь — тащи по дешевке постное масло Украины. Можно показать, наконец, кто чего стоит. Показать, по Шумскому, что с Северным Кавказом — если природа по-прежнему работает на него — соревноваться некому.

«Толкач муку покажет». Давайте смотреть.

Ставропольский и Краснодарский края превратились в иждивенцев Федерации — дружной, но небогатой семьи народов. Закон Краснодарского края «О краевом бюджете на 1996 год» велит получить извне на краевые расходы 1.668 миллиардов рублей. И это скромно: если затыкать все дыры — надо бы брать триллиона на четыре больше.

Представляя вкупе как бы среднее европейское государство (под 8 миллионов населения, исключительные условия земледелия, два моря незамерзающих с портами, растет всё, вплоть до неплохого чая, горные леса ценных пород, народу — «как в Китае», курорты, целебные воды, мощная научная база), Северный Кавказ повис на экономике России мельничным жерновом. Если договаривать, такой содержант ей, РФ, сейчас явно не по карману.

С кого получать? А, наверно, с края Красноярского. Или с Башкирии, по-старому назвать. Или собственно с Москвы, юбилей-города, с его коммуналок, оборонки и

профессорской нищеты. Выбор невелик: только семь регионов — в бюджет несуну, остальные — беруны.

Заседая в Совете Федерации, где губернаторов, не поверите, целые ряды, я переводил глаза с региона на регион и глушил в себе вопрос: а зачем? На кой черт, собственно, тому же Красноярскому это шефство над Краснодарским? Такое гагановство в пору выживания. Ну да, на Кубани миллион триста тысяч пенсионеров, отработавший логично норвил бросить якорь где теплей, сытней и устроенней. Конечно, в Ставрополе завод «Нептун» встал оборонный, никак термосы не освоит. И потом — федеральная солидарность, налоговая дисциплина и т.д.

Но разве не долг Красноярска воздать своим страстотерпцам в Дудинке и Норильске за бури-морозы и безвитаминовый стол? Разве свои мертвые оборонные города ему не должны быть ближе? Или отменен общий вневременной закон народов и континентов: я тут получаю настолько больше, насколько здесь хуже условия жизни?

Но — молчок. Стравливать? Взрывать шаткий мир? Еще не хватало.

Наблюдал чапайский эксперимент над соседом по креслу, кубанским губернатором Егоровым, которого указ за указом возносил всё выше, производя и в умницы, и в прозорливцы. Был слух: его вытребовали в Москву на роль аграрного министра, но, пока Егоров летел, назначили агрария с Алтая. Не возвращать же — дали портфель наркома национальностей, как когда-то Ленин — товарищу Сталину. Колхозный стратег естественно натянул тельняшку десантника — чтоб у народов и племен отпали неясности насчет позиции Москвы...

Много было наломано дров, пока субъект кадрового опыта не был за ненадобностью возвращен назад, пятым губернатором Краснодара за последние пять лет, а всё это время мы слушали курс другого незаурядного кубанца: курс антисемитизма «бацьки Кондрата», в миру Николая Кондратенко. Про мировой заговор черных сил, про сионизм-масонство — и разное прочее ценное. Пришлось (ирония судьбы) сколько-то дней пробыть с указанным «бацькой» в главном логове того сионизма. Откуда, собственно, угар и идет, где каша варится. Северную Америку большой теоретик масонства видел в первый раз — как и вообще зарубеж, кажется. И по-хозяйски сразу же вник в проблему негров и прытких нацменьшинств. Молоденькие пастыри от госдепа встревоженно объясняли седому чужестранцу, что за такое у них вполне могут опустить почки. За что, ведь факт же — полно негров! А опустят — и скажут, что так и было. Как раз за негров. Отметелят на месячный бюллетень. Ни хрена себе свободное общество! Вы слышали такие права человека!

Мне помалкивать: повязан.

На Северном Кавказе одной березке уже двадцать пять лет, а под ней наша мама, и мы с сестрой астрем стебли ломаем, чтобы с могилы не унесли. Младший брат — тот в кубанский берег всё внедряет крымскую шелковицу и чубуки — нос-талгия. И учитель мой Овечкин Валентин Владимирович — из станицы Темиргоевской, и «дуглас», каким он спасся из Керчи сорок второго года, упал в кубанских плавнях. И сам я едва ли не половину напечатанного за жизнь взял отсюда. Платят — на здоровье. Содержат — кому-то надо.

Ставрополье почти на две трети живет трансфертом. Трансферт — это деньги, которые *наши*, заботливые, выколачивают из *тех*, черствых жмотов. Негодование ориентировано строго на nord. Обездоливает — богатая, вся в церетелях, Москва.

Но когда великое посольство встает на север за ясаком — край Кавминвод и золотого руна снова пружинист и бодр. Утренний рейс самый надежный. Стекла иномарок черны, как очки слепца, и дешевых машин в порту нет: достоинство гордой бедности. В зале делегаций с зари пахнет жареным пирожком с печенью — персонал солидарен и чуток. Клир считает ящики со «Стрижаментом», уникальной настойкой степных трав. Приближенный бизнес-люди попрытал котлетки сотовых телефонов и норвит занять кресла поближе. Не из корысти, из сочувствия в трудный час. Руководство, словно Ермак, в думках: проигрывает варианты московских приемных, считает подаренные шашки-бурки, братские поцелуи на проводах у трапа Минвод... Определились, кто останется дожимать вопрос в случае успеха штурма? А кто будет «ногами» в Минфин? А кто даст утку в свою прессу насчет скорых расплат? Дел на весь рейс. И двуглавый Эльбрус салютует взлетевшему посольству. Нет, и «Герой нашего времени» — тоже, в конечном счете, про Пятигорск, Кисловодск, про Ставрополье. Азарт, энергия — держись, трехцветная!

А было ли богатство? Может, богатства-то и не было?

На юге всё — крупным шрифтом. Один полуостров Таманский — виноградников больше, чем во всей Армении. Одно Ставрополье — шесть миллионов мериносов, а средний доход от овцы, по австралийскому счету, 40 долларов в год, рекордисты перевалят и за триста. БОС, бройлерное объединение Ставрополья, было одной из удачных попыток переёма высоких западных технологий в совхозный уклад: дешёвые (при бесплатных энергоносителях) цыплята наводнили краевой общепит и уже проникли плановым путем в горбачевскую Москву. О зерне чуть позже.

Эти монетные дворы разрушены неопознанной дьявольской силой. Извне, со стороны. Понимать надо так, что сам капитан «Адмирала Нахимова» в катастрофе не виноват, его при аварии как бы и не было. «Ну — какие еще дела? Порезали половину овец», — замечал при встрече ставропольский глава Кузнецов. Оппозиционно так замечал, с осуждением. Без персоналий: пакостит диспаритет, гадит дикий рынок.

Тонкорунное овцеводство пущено под нож переводом армии с шерстяного обмундирования на хлопок-синтетику. То уходило на солдата под три килограмма шерсти, а теперь, считай, кило. Нет скупщика — нет отрасли.

Виноградарство Анапы, Тамани, Новороссийска съели пенсионерские козы потому, что древняя, интенсивная, высококультурная и пр. отрасль не может без постоянного обновления плантаций, а это стоит денег. Государственных. Не даете — приходят козы. И дешёвая водка теневиков.

Бройлерное синхронное производство, завершённое высоким фанатизмом Виктора Постникова при опеке земляка Михаила Сергеевича, сбито «ножками Буша». Проклятые окорочка на станичных рынках стоят столько, во сколько обходится один корм ставропольских цыплят. На энергию, зарплату, транспорт не остается — и Благодарненская громадная птицефабрика пребывает во мгле, как Россия Уэллса. «Ножки» — праздник пенсионерки — блещут вечной мерзлотой на станичных базах.

Снова о «Нахимове». Ощущение такое: авария место имела, но судить правильнее все-таки министра Морфлота. И Горбачева, конечно: перестройка, дисциплина под откос, всюду бедлам.

Может, рынок вскрыл старые просчеты? Утонуло — туда и дорога? Отрасли, нет, посажены как раз очень точно, с упреждением. Будто предвидели и потерю голицыньских подвалов Крыма, и уход молдавских Кодр, грузинской Кахетии, будто чувствовалось, что ленточка от Темрюка до черноморских субтропиков только и останется на помин длиннющей стране с полюсом холода где-то посередке.

И тонкая шерсть полынного Маныча опять отрастет, потому что, согласно указу Петра I, Южную степь «Бог благословил паче иных краев Российского государства способным воздухом к размножению овец», и семинедельных цыплят здоровые хозяева будут печатать здесь миллионами, здесь, а не в вологодских снегах: теплей и ближе корма.

Это в *данный* момент, при *данном* раскладе сил и интересов, *данные* хозяева властвующих кланов (имена губернаторов Кондратенко, Кузнецова, Дьяконова, Марченко, Егорова, Харитонов, опять Егорова договорились на обломках не писать — какой с них спрос, этично ли искать стрелочника?) при дымовой завесе от таких-то персон в правительстве и Госдуме бортанули и подразорили восемь миллионов народу в Предкавказье. Восемь миллионов — плюс еще меня. Меня лично, целинника, шестидесятника и всё прочее, потому что платил — и впредь платить надо. «Праздник жизни, молодости годы» пробегал в одном пиджачке на все случаи жизни — за кукурузу у Белого моря погасил, вон на локтях квитанция, и за палы на льнах, и за пыльные бури Юга в шестьдесят девятом (всё уровнем жизни, иной валюты не случалось). И тонкому руну в ставропольском «воздухе», орденоносным племзаводам платить будут, уверяю, не губернатор Кузнецов и губернатор Марченко, потому как первый уже торгпред в южной Америке, а второй... да какая разница. Платить за подъем со дна южных отраслей будет тот, кто сейчас отдает забытый долг. Царский. Франции.

Но не увязнуть бы в частностях. На восемь десятых аграрно-промышленный комплекс Кубани опирается на зерно. Спрос — аж сдувает, внутренний и внешний. Диспаритет? Но валить на него, как на покойника, тоже не резон. Даже при провальном урожае нынешнего лета (30 центнеров в среднем по Кубани против пятидесяти, уже достигнутых) себестоимость тонны озимой пшеницы — около 250 тысяч рублей. Продадут же... Гарантировано федеральным закупам (протокол от 1 июля с. г., разо-

сланный по колхозам) — 850 тыс. рублей за тонну пшеницы III класса (приличной) и 714 тысяч за фуражную (из которой, впрочем, тоже пекут хлеб повсеместно). Выходит, рентабельность от трехсот до четырехсот процентов. Была такая доходность от зерна при бесплатном советском горючем? Местами-временами, но как правило — нет. Значит, диспаритет ли винить в падении несущего столба кубанской экономики — зернового производства?

Сбор 1990 года составил 10 миллионов тонн, 95-го — 6 миллионов, 96-го — около четырех миллионов. Оползень урожая на 60 процентов — вообще небывалое дело в зерновом мире. Засуха, даже сильная, уносит 10, от силы 15 процентов. Нужна какая-то особая чума, война, иная уважительная катастрофа, чтобы биржи смогли понять. Катаклизмов никаких: на 87 процентов посевные площади остались за советским укладом, колхозами и совхозами. На столько же, пожалуй, процентов — в прежних номенклатурных руках. Краснодарский край исключил себя из житниц России: четырех миллионов тонн практически хватает ему только на самообслуживание.

— А давайте поднимем производство зерна на шесть миллионов тонн — как раз и выйдет удвоение бюджета, незачем будет просить! — пишет с ясностью киногоеров Простоквашина один кубанский автор.

Другой (кандидат в губернаторы В. Крохмаль) вообще предлагает, пользуясь стечением условий, поднять сбор до 15 миллионов тонн! И обосновывает в «Российской газете» (11 октября с. г.):

— Понятно, что ни уговорами, ни приказами производство зерна не увеличишь. Крестьянин должен быть просто заинтересован, и здесь нужно решиться на неординарный ход — на первых порах пойти на компенсацию из краевого бюджета прямых материальных затрат на производство каждой тонны зерна.

Чи туг мысли прочитаны, желания угаданы — неважно, в предвыборной ли риторике или всерьез? Так сказано ж: *крестьянина*. А он на станицу один: хозяин, распорядитель, теперь предприниматель. Скупщик, продавец, получатель компенсации. Остальных зовут по занятиям (механизатор широкого профиля, скотник-пастух, «на конно-ручных работах» и т.д.) А *крестьянина* хватит и одного.

И заведено это, нечего отпираться, овечкинской школой.

Именно деревенская очеркистика, на которой выросла вся новомирская мысль, подняла на щит, отделив от сотен профессий, эту биметаллическую, двухсосставную фигуру — еще земледельца, уже райкомовца, мученика диктата, команды, инструкций — и погонялу, начальника первой ячейки АгроГУЛАГА. И сделала Прометеем Прикованным, символом ареста ума, разворота, предприимчивости. Порабощают председателя! Дайте развернуться условному Демьяну Богатому («Районные будни»), не мешайте реальным М. Посмитному и Т. Мальцеву Стреляного, И. Снимшикову Лисичкина и Черныченко, мученику Худенко, открытому «Литературкой», честным партийцам Яшина — расцветут сады, заколосятся злаки. Председатель и колхозная хата едины интересами, хороший пред как раз и *представляет*, прямо по Карлу Марксу, безъязыких и забытых колхозников, он-то и есть их «господин, авторитет, стоящий над ними, неограниченная правительственная власть».

«Авторитет». Предвиденье прямо пугает...

Председатель классических очерков еще ездит в седле (Опенкин «Районных будней»). Доход его отличается от средне-колхозного только *в разы*, не на *порядки*. Всеобщий донос и надзор райкомовского ока — секретаря парткома — не велит особо зарываться. Уж кто-кто, а колхозный председатель никогда не зарекался от сумы и тюрьмы: «деревенщики» как раз и специализировались на вырубке перешедших грань. Разве что построит в райцентре избу и на старость выхлопочет «Волгу». А пресловутое пьянство бывало чаще всего данью неутолимой райкомовской жажде. Вводя сухой закон, Егор Кузьмич Лигачев прежде и раньше всего спасал тех, кого видел, знал, кем командовал: партийные кадры. Словом, потреблением-накоплением Прометей принципиально не отличался ни от клевавших его печень, ни от тех, кому дарил огонь. Огонь инициативы.

— Свободу председателскому корпусу! — единственный лозунг шестидесятников, полностью реализованный к концу 90-х годов. Прометей расковался. Заделавшись *крестьянином*, он потерял свою двойственность. Он *хозяин* — сам себе, земле, кассе, станице, времени.

Свежее такое неведомо... В южных парках, в посадках вдоль трасс и прудов, всюду, где растут тополя и ясени, после поры листопада происходит чудо. Листва опала, а ветки покрывает зелень — свежая, густая, правильной формы шары.

Это омела, вечнозеленый кустарник-паразит. Летом за листьями она почти не видна, но с осени до весны имитирует зеленый шум, борется с зимними трудностями. Ботаника относит омелу к семейству ремнецветных, хотя дело, конечно, не в этом. Соки зеленый шар получает готовыми. Дереву, заселенному омелой, долго не протянуть.

Есть основания думать, что освобожденному председателскому корпусу нет интереса возвращаться ни на 6 лет, ни на 6 миллионов тонн назад. Соков хватает.

4. Иностранец Поляков и баба Лида

Ездить по Северному Кавказу в пору, когда все «переверотилось и только укладывается» — интересно и мучительно разом. Плоские пажити в рамках лесополос громадны, гектаров в четыреста; ветроломы лабинских тополей, бейсугские ставки в оторочке камышей, следы *великого сталинского плана преобразования природы*; руины разграбленных «комплексов» в долинах лермонтовского тракта с Ростова на Ставрополь — всё несет на себе печать переворота, когда размеры сотворенного стали как бы непропорциональны для отдельно взятого человека, непреподъемны, как Гулливер — и отощавшего гиганта словно бы запрягают таскать кораблики.

Кубань-Ставрополье-Дон воистину были кормильцами империи. Как и климатически, по языку единая Новороссия — приморская Украина, они являли пригодное к показу колхозно-совхозное естество, и «страны народной демократии», подгоняя всё к европейскому уму-характеру, брали свою коллективизацию именно отсюда.

За кукурузными и иными кампаниями, за сменой властей и курсов приморская степь как-то пропустила момент, когда стала кормить империю — сквозь себя! — уже привозным, иноземным зерном. Через два незамерзающих моря, через Новороссийский порт, Одессу, Батум, Туапсе, Керчь, Поти, Таганрог, Ильичевск, Феодосию время Брежнева-Горбачева всё жадней и жадней всасывало американско-канадский фермерский хлеб, такой губительный, как оказалось, для колхозной идеи. Держава гигантизма, ликовавшая, что нет у Запада трапов под наш ТУ, начисто исключила из достижений самое, может, здоровенное, ошеломлявшее: флот супертанкеров, а каждый вёз сбор малой области, сверхэлеватеры, втягивающие с рейдов по сорок-сорок пять миллионов тонн в зиму, транспортный мост от реки Марка Твена до Колхиды. Ради советских побед в космосе, в Афгане и — ожидалось — в человеческой истории вообще.

Не замечалось. Вблизи, а не виделось! Слон примечен не был. Я снимал с «Мосфильмом» кинокартину про хлебный импорт («маловысокохудожественную», потом сказали в Москве), и даже под Армавиром, где стояла киношная рота, вроде зрячие, зрелые люди мне говорили: такого не может быть.

А оно было. И подымало колхозный домину, при постройке раздавивший миллионы жизней. Подымало так струисто и напористо, что к девяностым годам он скособочился, осел, стал аварийным: или переселяться, или придавит.

Ныне Юг — «красный». В Усть-Лабинске райком КПРФ — в том же здании, где был райком КПСС товарища Пахомова, где ночами я корпел над «Кубанью-Вологодчиной», а по утрам шипал черешню у гаража. И вывеска того же размера, только уже не на стандартном красном стекле...

Коммунистическая суть понимается как порядок, спрос, исправность: ампиловских натужных страстей не замечаешь. «Красность» — в самостоятельности: вы нам не указ. (Кстати, именно усть-лабинский «первый» Пахомов давным-давно выдвинул идею провозгласить Краснодарский край союзной республикой.) Заведующие кафедрами марксизма и командиры полных мотострелковых дивизий, озаренные мыслью, что «казаки — особый народ», внедряют в себя привычку (мусульманскую) сидеть в честном доме в папахах, ищут газыри, заказывают нагайки, прочий этнографичный раритет, а глава администрации в скромной бытовке кажет тебе шашку и фамильное фото на паспорт, где дед, станичный писарь, снят в стройной черкесске, а молодая бабка держит его, главы администрации, отца. Усмешка означает: и с этим у нас в порядке, просто не хочу на «пятом пункте» ставить акцент.

Казачество есть — собственности на землю не будет. Казачество означает общинность. Вопросы наделения будут решать атаманы, «старики». Старики — в основном среднего возраста — скрывали свое казацье рыцарство в недрах партийно-советского

актива и крестятся поныне с запинкой: шут знает, куда сначала — направо ли, налево... Хотя есть исключения.

— Не собственность на землю — суть момента! Не собственность, а мотивация труда! — учат академик-секретарь Шутьков и новый мыслитель из приволжских пустынь Зволинский. Извилины КПРФ и Аграрной партии сплелись: пять лет заморозки на стадии 91-го года, всё как бы надвое — чья возьмет. Под колхоз-совхоз, *естественную норму*, подстегивается *общинность*. Русская? Казачья? А вы нас не делите, не раскалывайте народы!

Пять лет «стояния на Угре». Законодательная власть Кубани разработала *особый порядок землепользования* в Краснодарском крае. Особый — от Конституции РФ, надо понимать, иначе от чего обособляться. Избирателю «бабки Кондрата» *порядок* льстит тем, что направлен против скупки застроечных участков закавказской диаспорой, на побережье и близ городов растлевающей чиновные души в одно платёжное касание. Плодоносные пашни ограждаются как *власть-собственность* аграрной номенклатуры: «Гайдары вас иностранцам продадут!»

И снова скрыт слон. «Стояние на Кубани» прячет действительно гигантский по размаху, невероятный для казачьего менталитета, по-новому криминальный процесс — скупку пашен. Целыми латифундиями, по 5-10 тысяч гектаров в массиве. Скупку степных колхозов «иностранцами» с фамилиями Поляков, Кузнецов, Вдовин, подчас даже здешними уроженцами. Покупки совершаются задаром. Историческое приобретение Манхэттена у индейцев (за 30 старых долларов, так?) выглядит на этом фоне царской щедростью. *За два взгляда* — вот красная цена. «Золото — на бусы», — передал суть в местной газете один кубанский демократ.

Топливо-энергетический комплекс (далее — ТЭК), постигнув в тоях Ямала, что всё тлен и марево, кроме теплой и верной земли, повернулся лицом к деревне. Его «трансгазы», «нефтестрой», «дочерние предприятия» (ДП) и прочее родство, используя артериальную распространенность по весям и регионам, прибирают пашню к рукам. ТЭК превращается в землевладельца мирового масштаба. И в самом деле *особого порядка*: обобщенный Павел Иванович Чичиков покупает в «херсонской губернии» не одну землю, но и села, и мужиков, и инфраструктуру, и рекреацию. Плохого ТЭК не берет. Начав с метода подсобных хозяйств (должен же буровик иметь за «черное золото» фрукты-овощи!), зауральский нефтяник Гулливер, питающий теперь Европу, стал закачивать ненадежные миллиарды прибыли в «матерь всех богатств». В виноградники знаменитого совхоза «Саук-дере» для начала завезен и свален сборный бревенчатый город. Сперва — дачи, там посмотрим. Наружно действие выглядит как шефство фирмы над колхозом (АО, ТОО и пр.). Внутренне легко прочитывается, как «загадочная картинка» в детском журнале, частный интерес. Председатель колхоза, запродавая землю, волю и списочных жителей, освобождается от головной боли (кредиты, диспаритет, социалка). А на социальную арену выходит, как пробный образ Соляриса, неопознанный индустриал-землевладелец. Или газовый Кочубей — «его луга необозримы». Или банкир-помещик. Время найдет название этому типу русской жизни. Раз мы вспомнили пример Манхэттена... В кубанском случае колхозник-«индеец» сталкивается не с фермером-скопидомом, не с трудягой-пуританином, а сразу со «Стандарт ойл компани» — русского, конечно, названия. Ясно, тут уход от налогов, скрытие прибылей, но новизна, мне кажется, не в этом.

В *торговле землей* новизна. В приоритете собственности, который, как факты показывают, есть все-таки *суть момента*. В торговле землей именно сельскохозяйственного, не какого-то побочного, назначения — в крае, который вроде готов лечь избирательными костями за непродажность «матери-кормилицы».

Усть-Лабинский, Ейский, Павловский, Темрюкский, Ленинградский, Белоглинский — районы Кубани с уже оформленной собственностью ТЭКа я не могу перечислить. В других областях — Нижегородской, Саратовской — эти заглоты я встречал как явление пока не частое. На Юге же процесс приобрел массовость и мастерство, а также теоретический оттенок аграрного *выхода*. Кто разорил, тот, дескать, и вытянет. Колхозы (ценой на горючее) пустил по миру, известно, ТЭК, следовательно... Если собирательный Газпром покупает уже, как уверяют, третью сотню колхозов-совхозов, то дело по России перевалило далеко за миллион гектаров пашни. Для масштаба: зерновыми Кубань заняла в нынешнем году чуть больше 1.300 тысяч га. ТЭК отбирает из отборного: особо ценные по отдыхательным и плодородным свойствам массивы даже в этой стороне дифференциальной ренты-I.

Аграрная бюрократия продает *не свое*, а дельцы ТЭКа покупают *краденое*.

Как это делается на Юге...

Хутор Упорный тянется на семь километров. Баба Лида бежала по размокшей дороге в контору, а у бабы большие ноги: она двадцать лет оттянула дояркой. Ей надо было успеть к двенадцати ноль-ноль. Если не сдаст заявление и паспорт, Гришка Поляк оставит ее без «Тюмени». «Тюмень», как и «морфлот», в станицах означали блаженные острова, откуда возвращаются с «Жигулями» и грóшами на дом. Теперь Гришка сам привез «Тюмень» в Упорный. Слухи в хуторах имеют силу закона. Сдавших заявки в срок ожидает рай. Газ в домах, бесплатные пансионаты, харчи к праздникам и мясо на похороны. Но сватъя переказала поздно, и баба Лида Черноокая (такая казацья фамилия) 18 мая 1996 года сдавала по грязи кросс.

— Хоть бы я тогда ногу сломала, чи шо! — смеется она теперь, поздней осенью, когда рай так поблек и облез.

Мы с ней ровесники. Бранимся и миримся. Я живу в райцентре у ее безработного сына. Николай был наладчиком пятого разряда. Пособия ему не платят, и ради заработка он теперь *скубет* кур. *Скубет* и возит на базар Новочеркаска.

Объясняю бабе Лиде, как наши с нею пращурьы тоже когда-то бежали, боясь опоздать, просили чужих людей варягов: земля у нас хорошая, канаву копаешь — сплошной чернозем. Забирайте, только управляйте нами!

— Та мы ж и з́араз як те бараны́! — смеется баба Лида. Она дояркой подняла троих детей и сейчас тащит откуда что может для шестерых внуков. Правда, черевик себе купила. Первые в жизни.

— Во, Италия. Девяносто тысяч, и подошва не лось, а пластик. Кожемит, только легкий.

Когда баба была молодой и красивой (а такое, легко верится, было), то в праздник обувала чувяки на лосевой подошве. От дождя сырмять разокала. Лида страшно боялась дождей. Про богатую колхозную жизнь она говорит: «Та кому б воны брехалы!»

Варяг, к которому она все-таки успела, — это Поляков Г. Н., генеральный директор ДП (дочернего предприятия) «Тюменьтрансгаз». Будучи Гришкой Поляком, хлопчиком с заречного конца, он бегал мимо хаты Чернооких в школу к Марье Андреевне. Не сказать, чтоб хулиганил, Лида знала всю его родню, с матерью всегда здоровалась. А вот когда Гришка уехал в Тюмень, как там выбрался в начальство, как ему пришло в голову купить весь хутор Упорный — не знает. Но приехал он уже таким важным паном, что районный глава Мороз дверцу ему открывал и угощал большим футболом, а Гришка, рассказывали, обещал нашим за победу сто долларов. Каждому.

Заявление, с которым баба Лида бежала, являло собой печатный бланк, до этого розданный и соседнему совхозу «Сасыкский» (где теперь Поляка мать), и ее хутору, по-старому — колхозу «Юбилейный». Поскольку из-за этого листка мы с бабой Лидой два дня ругались, привожу его целиком: тоже фотография времени.

Генеральному директору
ДП «Тюменьтрансгаз»
Полякову Г. Н.

Заявление

Прошу принять меня на работу в с.-х. предприятие (надо было вписать их бывший колхоз. А «кем?» — баба Лида ответить не могла. Она давно на пенсии, как и большинство хутора. Чтоб газ провели — лучше даром. Чтоб давали зерна в двор, кукурузы, ячменя и пшеницы — больше и подешевле. Вообще, чтобы начальство было добрым, всегда можно было прийти и попросить: шиферу на крышу, денег — купить «сахарькю», автобус — чтоб ходил с хутора до базара. Чтоб Поляк, если тут поселится, стал совсем хорошим председателем).

Принадлежащую мне землю 5,13 гектара и имущественный пай безвозмездно передаю в собственность ДП «Тюменьтрансгаз».

Подпись.

Пока конторские учили ее, что где вписать, пяток мужиков из колхозной головки стал булгачить народ.

— Давайте не «безвозмездно», а — в аренду. И оговорим, что за землю и имущество «Трансгаз» нам дает.

Поднялся гомон. Полякова самого давно уже не было, а председатель Пухов-

ский Николай Дмитриевич приказал заводилам (Гуляю Владимиру, инженеру, и Алексею Ляшенку, экономисту) забирать к такой-то матери свои паи и не разводить здесь провокации. Он, председатель, кричал, что солярка уже дороже молока, ремонтировать технику не на что, а социалка просто задушит. В ножки надо поклониться Полякову, что на таких условиях принимает колхоз — долги погасит и сохранит всех людей. Совхоз «Сасыкский» вон как проголосовал сознательно — целиком передался «Тюмени», а в Упорном отдельные паршивые овцы всё стадо портят.

Упорным хутор назвали давно и недаром. Гуляй стоял на своем: обдерут и будут жировать, надо самим хозяйствовать. Ляшенко орудовал цифрами — и выходило, что Пуховский с Поляком и Морозом махинаторы и Остапы Бендеры.

Баба Лида, как кот Леопольд, призвала жить дружно. Решили — «безвозмездно», так нечего крохоборить! Все равно тех пяти гектаров никто в глаза не видал, а тут газ свалится — как клад с неба. Та хибя Гришка Поляк враг родному хутору? Не поверю, хоть режьте.

Речь бабы Лиды Черноокой склонила пенсионеров, и 450 паев хутора отошли предприятю Поляка. Почему оно *дочернее*, если никакой дочки у Григория Николаевича не было, и кто при той дочке сам Поляк, осталось непонято. Упорный, повторю, назван так по праву, и Гуляй с экономистом перетасчили к себе семьдесят человек. Начальство сначала подавляло мятеж, но упорные пригрозили Морозу голодной забастовкой, ездили всем кагалом в Краснодар, подняли *шухирь* на весь край — и Гуляю даже запашки прибавили, чтоб только замолк.

Осенью гуляевский кооператив, убрал и хлеб, и бахчу, и семечки, дал старикам-пайщикам по тонне дармового зерна, а «Трансгаз» только по семьсот кило. Газа тоже никакого не обнаружилось, просто Поляк перегнал в новое имение два стройуправления, стали громоздить коттеджи. В пансионат на море надо теперь, говорят, отправлять по тонне мяса в декаду. Кто его кушает, Упорный не знает. Морозу Вадиму Михайловичу его шустрость перед Поляком (устроил пять тысяч гектаров пашни) вышла боком: на осенних выборах район с треском его прокатил. Но — *люди кажутъ* — бывший глава не тужит: юркнул в «Трансгаз» и еще больше теперь получает.

Баба Лида горюет о трех центнерах разницы. «Хоть бы ногу сломала»... Мой агитпроп насчет потери земельного пая — награды ей за молодость в заплатах, за каторжные 20 лет в мокрой коровьей штольне — не срабатывает. Никакой, дескать, земли у нее и не было.

Мы с невесткой Надеждой учиняем Большой Борщ. Полный — в нем, как известно, всегда 15 компонентов. Все свое, с «дач». У Николая безработного теперь два огорода по пять соток, ими семья и кормится. Мы только свинину принесли с базара и сладкого перца купили. Столовой свеклы дали соседи, сметаны пришлось занять. Ясное дело, хлеб покупной и за воду плачено коммунхозу, а так всё даровое. Кроме соли, фасоли и перца горошком.

Совсем как с бюджетом Государства Российского.

Баба Лида сидит во дворике гостей. Она в стамбульской юбке плиссе и в черевичах — Италия. Обсуждаем продажу Упорного.

— А я понимаю, на що Гришка родину куповав, — говорит баба Лида. — Вы у нас не булы в маю, колы акация цветэ. Ароматами пахнет!..

Достаю из дорожной сумки газету «АиФ» № 42, купленную при отлете. Показываю и нашей франтихе, и хлопчущей Надежде, и всем, кто дома. «Крупнейшие недоимщики федерального бюджета на начало августа 1996 года». Вот вам поляковское ДП «Тюменьтрансгаз». Сумма долга 418.532 миллиона рублей. А он поместья покупает! С ароматами!

— Та он же на нас ничего не тратил, — парирует баба Лида.

У других властей он бы видел небо в крупную клетку — или скрывался хотя бы. У миллиона старых людей пенсию зажилил — или у двух миллионов? Должна баба Лида получить свои 230 тысяч, с июля не приносят — кто зажал, не Поляк? А вы несетесь одарить его, бедного — «безвозмездно»!

— Вы, дядько, без газу жилы? Бурьяном та бодылкой топылы?

Слупят с Поляка четьреста миллиардов — на какие шиши ему трубы вам тянуть? Останетесь и без газа, и без земли. А у Гуляя все паи людские целенькие, как в сундуке лежат. Председатель Пуховский за мной ходит, стонет, как грешница Магдалина — думаете, даром? Он хочет узнать, что ему за те тридцать сребреников будет.

— У Поляка, люды казалы, начальство сам Черномырдин. Напишем — тот Гришку за шкуру, — смеется баба.

Да Поляк уже соломки здесь постелил — из Тюмени падать. Что ему тут Черномырдин, в своем поместье? Ну сняли на выборах Мороза, а сами ж теперь крепостными у него, опять вами командует.

— Ой, нашлы крепостных! — заливается моя баба Лида на весь двор. — Не знали вы моего мужика. Юмор був з юмором! Ото б вас до пары. Наташа, як тих, шо усэ по телевизору?

Карцев и Ильченко, отвечает внучка Наталья. Значит, мои филиппики — юмор, концерт. Отдайте, девочки, назад этой бабе ее сникерсы! Она вашего папку ограбила, сто огородов забрала — и чужому кдале подарила. Отец мог в аренду сдать — зачем бы щипать бройлеров? А он гоняет в Новочеркасск, чтоб выручить сотню тысяч. Видите, добренькая — сникерсы возит.

Улыбаются девицы-внучки. Прямо Жванецкий на дому. Районный центр Павловская никакого воровства в действиях гендиректора «Трансгаза» не наблюдает.

— А его и нету, воровства. Они свои долги сбагрили, каждый бы так хотел, — объяснял мне через сутки в усть-лабинском хуторе Железный председатель (тоже из стонущих) Макаров. Он наследник Николая Афанасьевича Неудачного, которого я описал-отразил в «Кубани-Вологодчине». И прокликает водоколонки, уличные светильники, клуб в армянском туфе и прочие блага, какими покойный этот колхоз наделил. За все надо платить, а у него, стонет пред, озимые недосеяны. Сто двадцать дворов вообще к колхозу отношения не имеют, а ток, тепло, транспорт, охрана — всё на одном председателе. Сам он, Геннадий Георгиевич, получает, я должен верить, двести тысяч в месяц, и общий тон его рассказа — беспросвет, Маракотова бездна. Подтекст тут такой, что я, наезжий, писаньями своими ко всему этому отчасти привел — и мне неплохо бы за всё это ответить.

Соседний совхоз «Суворовский» (мы с Неудачным всё почвам его завидовали — черный творог, сожмешь в горсти — ладонь остается чистой!) третий год как проданся «Мострансгазу». Ищу в списках «АиФ» среди должников-рекордистов: так и есть, 319,9 миллиарда недоимки в бюджет на август текущего года! Закачали они в кубанскую вотчину пока немного, считает Макаров, миллиардов 26, но техника и сейчас поступает с иголки, удобрения-гербициды рекой, надои растут — и никаких проблем со сбытом.

— Это мои деньги, — замечаю я. — У меня в Подмосковье полдома, плата за газ неуклонно растет.

— Нам это не важно — чьи. Суворовские живут за «Трансгазом», как наша строительная бригада. Давай матерьял и вози получку. Раствор «йок» — и продукция «йок». По-моему, правильно.

Правда, кроме изложенного Макаров Геннадий Георгиевич говорит про соседей — «быдло». Не ругая, без гнева, а констатируя:

— Быдло. Директора Внукова боятся до смерти — и ненавидят. «Трансгаз» тому Внукову уже жильё в Усть-Лабинске строит. И верно: тут ему не жить. Ненавидят. Быдло.

А прежде, Геннадий Георгиевич, в настоящем совхозе они — что? — быдлом не были? А в хуторе Железном — что? — одни казаки, гордецы, хозяева? Вот у вас, Геннадий Георгиевич, и Ленин портретом за спиной, и гнев к гайдаровской оккупации, а пришел бы Газпром с мощной — устояли бы?

— Хоть завтра! Какой бы дьявол ни заплатил — под любого готовы. В районе из четырнадцати хозяйств три только держатся. Присылайте завтра!

Без стонущего председателя (я обозначаю просто тип поведения, субъект завидно злое) «Газпрому» и тысячи га кубанской земли не купить. Народ тертый, с юридической службой, все концы давно в воде, и не хочу загадывать, чем эта панاما может кончиться, если вдруг Конституционный суд или хотя бы генпрокурор Скуратов возьмут судьбу пробного миллиона га под свое изучение. Мне видится здесь конец (один из...) колхозного строя: загнать всё по дешевке — и марш-марш.

Стонущего председателя я (про себя) выделяю в особый подтип — уже потому, что Гуляй из Упорного стонать не может: ему не перед кем. Сам выбирал путь, сам — через мятеж, через скопище милиции, казаков — выводил свой малый народ, и на первом месте было даже не хозяйствование — высвобождение. Лаокоон! Сам не распутается — никто не спасет. Речь о некоем *свободном колхозе*, во главе которо-

го неперемный лидер, вожак, характер, с которым считались бы и власти — боясь скандала, если и не уважая.

Я снял для «Сельского часа» «Повесть о капитане Копейкине». Летчик, уроженец станицы Ладожской, носит гоголевскую фамилию, а человек редкого теперь романтизма и общественного чутья. Председатель ладожского колхоза был в меру знаменит, в масштабах Усть-Лабы славен, а летчик уплотнил его мыслью завести свой аэроклуб. Одно время над колхозными пропащными летал то ли починенный, то ли собранный заново краснокрылый самолет с именем «Колхоз «Родина». Но прислуживать Копейкин, как выяснилось, не умел, из аэроклуба начал, когда загрела 6-я статья, сколачивать некую ассоциацию вольных землепашцев — и заворочался Лаокоон, зашипели змеи. Ладожскую трясло два года — шпионство, отключения воды, выброс домашних вещей на улицу, запрет на станичное радио, всё как при мятежах положено. Тогда-то я и услышал от пожилых трактористов, от морщинистых слесарей такие ходульные, вроде затертые до не могу фразы — мы не рабы, лучше на сухом хлебе, чем жить в холуях, «я человеком себя почувствовал» и подобное прочее, родящее уже недоверие и поиск шептуна-агитатора.

Но ведь кончилось! Тем методом, каким у нас и разрешаются правительственные кризисы. Инфаркт миокарда, совсем нестарым умер знаменитый пред, а заместники, проведив и помянув по-христиански, задумались: а нам-то чего собачиться? Живет ассоциация «Борец» под началом Копейкина Александра Николаевича — Бог с ней. Говорят — «рабы не мы», платят себе по 300 тысяч в месяц — на здоровье. Восемьдесят колхозников с паями подали заявки в «Борец» — не берет больше Копейкин, техники нет. Что ж, сам себе хозяин. Мир под оливами? А вдруг. Надолго? Бог весть.

Колхоз отдал «Борцу» в остаток имущественных паев пустующий детский сад — чтоб совсем не разграбили. Отставной подполковник ВВС (Копейкин на самом деле не капитан, а повыше) первый раз в жизни получил настоящую, постоянную квартиру: метров двести простора, по которому, правда, Мамай прошел, но всё восстановимо. И я там был, суп фасолевый ел в обстановке ремонта, вина ни у кого не достали, обошлось, слушал про авансы за свеклу и налоговые наскоки. Но это никак не стон! Заводит какие-то хитрости со службами патриархии, всё на предмет спонсорства и искомых вложений. В таких проектах — как с трескою: из тысячи икринок выживает и становится рыбой одна. Но нерест-то нужен!

Спрашиваю: продал бы «Борец» свою землю? Копейкин не сразу понял, потом сказал:

— Они б меня прокляли.

Август — ноябрь 1996 г.

Эйтан Финкельштейн

Русский град

в Израильском царстве

1. «Как некрасиво, т. Ленин!»

Полуночный звонок из Иерусалима не предвещал ничего хорошего. Звонил сотрудник, аккредитованный в Кнессете¹. Это был бездельный и ужасно надоедливый тип. В газету его засунули как потомственного маарахника² — его дед когда-то оказал важную услугу Бен Гуриону, а отец заседал в правлении Гистадрута³, но журналист он был слабый, толковой статьи добиться от него было невозможно. Своим долгом, однако, считал он звонить мне чуть ли не за полночь; морочил голову сплетнями из иерусалимских коридоров. Всякий слух: кто против, а кто за, кого «непременно» снимут, а кого «уже» назначили, преподносил он тоном заговорщика, проникшего в святая святых. Послать его ко всем чертям я не решался, но всякий раз старался свести разговор к минимуму.

На этот раз он и сам был немногословен.

— Адони⁴, ты ведь читаешь по-русски? Так вот, эти мерзавцы решили ликвидировать русский фонд в библиотеке; русские книги уже выносят в коридор. Приезжай завтра с утра — заберешь все, что захочешь, иначе их просто выбросят на свалку...

Тут я должен кое-что пояснить. Год шел 1978-й, страна все еще переваривала приход к власти Бегина и его партии Ликкуд⁵, маарахники, особенно из числа кадровых функционеров, что тридцать лет правили страной, не могли свыкнуться с мыслью, что отстранены и от руля, и от кормила. Так что «мерзавцами» в устах моего сотрудника были члены Кнессета — ликкудники. Понятно, все, что бы они ни сделали, сразу же становилось «предательством», «катастрофой» и тому подобным.

Признаюсь, звонок меня озадачил. Запросто махнуть в Иерусалим я не мог. Жил я тогда в Ра'анане, редакция находилась в центре Тель-Авива, на дорогу уходил чуть ли не час, да и работы было невпроворот: людей у нас было немного, тексты набирали на композере, газету макетировали вручную, поправки тоже вклеивали собственными ручками. А еще редактирование, а еще вечные обиды авторов, капризы сотрудников, не говоря уж о том, что иногда и самому хотелось что-то написать... Одним словом, свободного времени не было вовсе.

И все же, — русские книги, да еще из Кнессета!

Должен сказать, что в ту пору в Тель-Авиве был всего лишь один магазин русской книги. Держал его забавный старичок Яков Тверский. В кипе, с короткой трубкой в зубах он был приветлив, старался угодить клиенту. Меня он знал много лет, но неизменно встречал вопросом: «Как это такой молодой человек интересуется русскими книгами?». Подразумевалось, что русские книги — удел стариков. К слову сказать, думал так не один Тверский. И все же, несмотря на приветливость хозяина, найти что-либо дельное в его лавке было трудно: книги там содержались плохо, валялись где придется и как придется. Главное же, новых книг Тверский не закупал — мысль приобретать их в России в те годы и в голову не приходила. Так что мы, любители русской словесности, разживались новыми книгами, как правило, в Париже или Мюнхене.

Так ехать или не ехать в Иерусалим? Я долго колебался, но в конце концов страсть книголюбца взяла верх над служебным долгом, я позвонил кому-то из сотруд-

¹ Кнессет — парламент Израиля.

² Маарахник — член левоцентристского партийного блока Маарах.

³ Гистадрут — профсоюзное объединение, находившееся под контролем партии Маарах.

⁴ Адони — господин, неформально — приятель, старина (иврит).

⁵ Ликкуд — блок правых партий.

ников, предупредил, что появлюсь в редакции во второй половине дня, и с утра пораньше помчался в Иерусалим.

Никакой свалки в библиотечном коридоре я не обнаружил. Картонные ящики с наклейкой «русí» — русские — аккуратно стояли вдоль стены. Выбрасывать их, да и отдавать первому встречному никто не собирался. Пришлось пустить в ход журналистское удостоверение, сделать несколько звонков важным лицам и подписать полдюжины расписок. Но когда формальности закончились, директор библиотеки сбросил с себя важный вид, засучил рукава и вместе со мной принялся таскать ящики и укладывать их в мой огромный «форд».

Газетчиков тогда уважали, да и нравы были попроще!

Встала, однако, проблема: где все это разместить? Гаража ни у меня, ни у кого из знакомых не было, искать же склад было занятием долгим и муторным. В конце концов мне не осталось ничего другого, как свезти книги домой и захлупить ими всю нашу, немалую, правда, квартиру. Нет худа без добра, — домашние ворчали, требовали освободить жилое пространство, все вечера я занимался тем, что распаковывал ящики, разбирал свалившееся на меня богатство.

Ждало меня жестокое разочарование.

Тома Ленина, фолианты Маркса, Мартов в бумажном переплете, Энгельс — в кожаном, мемуары Троцкого, отчеты о конференциях РСДРП и съездах ВКП(б). И снова классики марксизма, и снова уставы партий, решения съездов эсеров, меньшевиков и большевиков. Полное собрание сочинений Сталина. Герцен, Радищев, Бухарин, разрозненные тома Достоевского, Плеханов, Абрамович, десятки книг и книжечек, чьи авторы были мне неизвестны.

По молодости я был правым. Правым не в том смысле, что примыкал к Ликкуду, но марксистов ненавидел, социалистов презирал, а всякие там социальные теории считал кислородной музой. Так что первая мысль, которая пришла мне в голову, — выбросить все это на свалку! Университетская закалка, однако, а может быть, и наследственное уважение к печатному слову не позволили и, увы, до сих пор не позволяют мне выбрасывать книги. Кончилось тем, что я разложил книги вдоль свободных стен, решив, что выбросить их всегда успею. Разложил и стал просматривать одну за другой.

Удивлению моему не было предела.

* * *

Уже разбирая ящики, я обратил внимание, что книги, даже тома из собраний сочинений, даже кожаные фолианты изрядно потрепаны; отовсюду торчали закладки, выпадали страницы, записки, газетные вырезки. Когда же я начал их просматривать, то убеждался все больше и больше: в библиотеке книги эти находились отнюдь не для украшения полок; зачитаны они были, что называется, до дыр. Да что там зачитаны, — испещрены пометками, подчеркнуты и перечеркнуты вдоль и поперек! Отдельные строки, абзацы, а то и целые страницы обведены, взяты в скобки, отмечены галочкой. То простым карандашом, то цветным, то автоматической ручкой, то перьевой. И ни одного чистого поля, — заметки, знаки вопросительные и восклицательные и снова заметки, и уже заметки на заметки. Совсем выцветшие и более свежие, по-русски, на иврит, реже по-польски или по-немецки.

«Как невкусно, т. Ленин!», «Ты видишь, Берл, он даже в критический момент не боялся раскола, и был прав!» И тут же ответ: «Ты забываешь, у них **не было англичан**. Б.». «Вот откуда наш Нахум взял эту глупость!», «И это пишет социал-демократ!», «??? Спросить у Берла», «Помнишь нашего ком-ра, Марг-на, он был кадровым в-ым, но учил нас другому!» Ответ: «т. Тр-ий выиграл войну, а наш М. пресмыкался перед англичанами!». И тут же, размашисто: «Антисемит ваш т. Тр-ий, мерзкий еврейский антисемит, т. Сталин дал ему принц-ую оценку!», «Но ведь В. И. об этом много раз писал?», «Единый фронт — пустые дела». Ответ: «Не пустые, когда строишь гос-во!». «Эли, учись у Т-го. Д.», «Это то, чего не понимает наш Меир», «Хамóр!»¹, «Ло, ло в'од пам ло!»², «т. Голда, ты видишь, как они отстаивали линию партии?», «А наши интеллигенты боятся стычек с Э-ль, смешно!»

¹ Хамóр — осел (иврит).

² Нет, нет и еще раз нет (иврит).

Я пролистывал одну книгу за другой, выискивая места, где было побольше комментариев и где их еще можно было разобрать. Это напоминало увлекательную игру: я пытался установить, кому принадлежат почерки, разобрать слова, понять, кем и кому адресованы выцветшие строки. С другой стороны, это было путешествие в написанную историю каких-то сложных, почти личных отношений между теми, кто стоял у истоков нашего государства.

Писаную историю я знал хорошо, равно как и почерки главных действующих лиц на ее сцене: Бен Гуриона, Берла Каценельсона, Хаима Вейцмана, Моше Шарета, Голды Меир и уж тем более отца нашей журналистики Нахума Сόколова. Для меня было само собой разумеющимся, что и в ишув¹, и после провозглашения государства между сторонниками МАПАМ² и Херут³ шла жестокая драка. Они, похоже, ненавидели друг друга больше, чем каждый из них ненавидел англичан. Ни для кого в стране не было секретом, что «Альталену» — пароход с оружием и эмигрантами-сторонниками Херута — Хагана⁴, как шептались, потопила по личному приказу Бен Гуриона. Так что заметка, сделанная его рукой на полях одного из томиков Троцкого: «Эли, если бы ты прочел эти строки, то не искал бы (вместе с Берлом) дружбы с Ж.», сказала мне о многом. «Эли» — это, конечно же, Элияху Голомб, командир Пальмаха⁵, основатель наших вооруженных сил, между прочим, свояк Бен Гуриона. «Берл», понятно, Каценельсон, единственный человек, которого Старик (Бен Гурион) слушал. Слова же его означали, что ближайшие его соратники искали контакты с «Ж», безусловно, с Жаботинским⁶. Что-то об этом было известно, но считалось, что Каценельсон и Голомб действуют с согласия Старика. А оно вот как было на самом деле!

Чуть ли не год я возился с книгами из Кнессета, все больше и больше убеждаясь, что стою на пороге какого-то важного открытия. Мне стало ясно, что недолгая, прошедшая на глазах и вызубренная наизусть, история нашего маленького государства в действительности полна белых пятен и неразгаданных тайн, соткана не только из фактов и событий достоверных, но и из мифов и легенд. И еще я понял, что закончился, навсегда ушел очень важный, очень яркий и очень загадочный отрезок истории нашей страны. Что-то изменилось во мне; меня больше не раздражали партийные словечки, не выводили из себя ненавистные имена. Я смотрел на перекочевавшие из Кнессета книги и думал: вот где еще хранится дух отцов-основателей, вот где еще живы их человеческие эмоции и неотшлифованные мысли, не внесенные в историю споры, подлинные симпатии и антипатии. Каким чудом все это попало в мой дом, зачем мне суждено было узнать эти тайны? Быть может, на мою долю выпала роль Хеврат Кадиша⁷: покойника перевезли в домик на кладбище, чтобы обмыть, завернуть в саван и через какое-то время предать земле...

* * *

На тему первой, а особенно второй алии⁸ историки Израиля и сионизма написали бесконечное множество книг. Понятно, никому и в голову не приходило скрывать, что пионеры Израиля в большинстве своем были выходцами из России. Удивительно, но дальше констатации этого факта никто не шел. Вот что пишет, к примеру, английский историк Мартин Гильберт в своей книге «The Jews of Russia»: «На протяжении первых 25 лет существования государства Израиль ведущую роль в политической, экономической и культурной жизни страны играли евреи — уроженцы России. Четыре первых президента Израиля и четыре же первых премьер-министра страны были выходцами из

¹ Ишув — еврейская община в Палестине во времена турецкого и британского правления.

² МАПАМ — левосоциалистическая сионистская рабочая партия.

³ Херут — праворадикальная сионистская партия, вокруг которой сформировался блок Ликкуд.

⁴ Хагана — подпольная еврейская армия в Палестине во времена британского правления.

⁵ Пальмах — ударные части подпольной еврейской армии Хаганы.

⁶ Владимир (Зеев) Жаботинский — русский журналист, идеолог правого течения в сионизме, основатель партии сионистов-ревизионистов.

⁷ Хеврат Кадиша — похоронное общество.

⁸ Алия (иврит) — дословно — восхождение, здесь — волна эмиграции в Палестину (Израиль).

России». И ссылаясь на справочник «Who's Who in Israel. 1960», добавляет: «Из 73 членов Кнессета 52 родились в России». И все, точка.

От школьных учителей, из рассказов дедушек и бабушек, из самого, кажется, воздуха всякий израильтянин знает, что заселение страны началось в конце прошлого века, когда какие-то молодые люди в Харькове и Одессе сжигали свои дипломы и отправлялись работать батраками в дикую, полупустынную Палестину. Уже не из школы и не от дедушек и бабушек, но из справочников и энциклопедий каждый израильтянин мог узнать, что отец-основатель еврейского государства когда-то носил фамилию Грин и ходил в школу в городе Плонске, что легендарный Иосиф Трумпельдор отличился не только в борьбе с арабскими бандами, но и был полным георгиевским кавалером, героем русско-японской войны, что основателем первых промышленных предприятий в подмандатной Палестине был сибиряк в третьем поколении, горный инженер из Иркутска Моисей Новомейский, а другой инженер, осуществивший электрификацию Палестины, Петр Рутенберг был когда-то видным эсером, другом Бориса Савинкова, вице-губернатором Петрограда...

Узнать это мог не только пылливый умник или усердный книгоечей. Русское начало, русские корни еврейского государства пробивались на поверхность нашей жизни в виде названий улиц, кибуц¹, университетов, больниц и даже ешивот². Кибуц Кфар-Ольга (деревня Ольги) и академия Рубина, институт имени Вейсмана и дом журналистов имени Соболева, больница имени Бродецкого и ешива рабби Черномыльского. Не говоря уж о том, что в каждом городе есть улица Жаботинского, Арлозорова, Борохова...

Удивительно, но наше общество старалось не замечать «русского начала» в своей истории, делало вид, что его как бы и не существует. Еще десять-двадцать лет назад считалось дурным тоном спросить израильтянина, откуда родом его дедушка и какую фамилию носил он до приезда в Палестину. В России это было бы понятно: если ваш дедушка до 1917 года был дворянином или, упаси бог, полицейским, факт этот надо было тщательно скрывать. У нас не было ни ВЧК, ни НКВД, ни КГБ. Так почему же израильское общество так беспощадно стирало из памяти свое прошлое?

Тон задал все тот же отец-основатель еврейского государства. С неукротимой энергией Бен Гурион не только боролся за гегемонию рабочего класса в сионистском движении и в органах зарождающегося государства, но и вел войну против языка идиш (любопытно, что в это же время Ленин вел войну с ивритом и в конце концов запретил этот язык в советской России), против социальных устоев и культурных традиций, завезенных в Палестину из диаспоры. Идеологическая догма сионизма по Бен Гуриону, согласно которой Галут³ — это лишь рабство и унижение, а галутный еврей — существо жалкое, если не презренное, сделалась нормой общественного сознания и остается ею по сей день.

Позволю себе маленькое отступление. Однажды я гостил у старого кибуцника, одного из последних «погонщиков мулов»⁴, хотел узнать кое-какие детали галиппольской экспедиции. Мы поговорили о тех далеких временах, я собрался, было, уходить, но тут старик неожиданно задал мне вопрос: «Вы часто пишете о преследованиях в Советском Союзе, а знаете ли вы имя академика Лысенко, почему этого заслуженного ученого преследуют власти, он ведь, кажется, не еврей?» Оказалось, старый кибуцник был доктором почвоведения, хорошо знал положение дел в своей науке. Я с пеной у рта стал доказывать, что Лысенко — негодяй, погубивший советскую генетику. Старик сердито возражал, закашлялся и вышел в сопровождении жены на кухню. «Прошу тебя, дорогой, не затевай, пожалуйста, спора, разве ты не видишь, этот молодой человек одурочен недобросовестной молвой». Они еще долго говорили на кухне, а я не мог прийти в себя от удивления. Вначале я даже не понял, на каком языке они говорят. Конечно, это был русский язык, но тот, на котором говорили Бунин и Набоков, но никак не мои знакомые из России. «Как вашим родителям удалось сохранить такой красивый русский язык?» — спросил я у сына старого кибуцника. «О, это интересная история. Когда они прибыли сюда 60 лет

¹ Кибуц — коллективное сельскохозяйственное поселение.

² Ешива — высшая талмудическая школа.

³ Галут — диаспора, рассеяние (иврит).

⁴ «Корпус погонщиков мулов» — воинская часть в британской армии времен первой мировой войны, набиравшаяся из палестинских евреев.

назад и основали этот вот киббуц, то поклялись никогда больше не говорить по-русски. И пятьдесят лет не говорили. Только недавно начали...»

Не подумайте, что Бен Гурион руководил комплекс маленького человека из местечка, возомнившего себя библейским героем. Ничуть не бывало, Бен Гурион, несмотря на свой малюсенький рост, был человеком без комплексов и всегда знал, чего хотел. А хотел наш еврейский Ленин создать нового человека: не торговца, но крестьянина, не талмудиста, но война. Этот супермен, которого в дальнейшем нарекли «сабра»¹, не должен был ничего знать об унижительном прошлом своего народа; его единственной родиной должны были стать библейские холмы, его единственным языком должен был стать язык Библии, иврит, его героями и образцом для подражания — братья Маккавеи.

* * *

И то сказать, были в сионизме большие умы, мудрецы и ученые. Ахад-Гаам, Мартин Бубер, Иеша'яху Лейбович, другие. Они-то знали, что без прошлого нет будущего, они знали, что Галут — это не только унижение, но и образ жизни, традиция, культура, благодаря которым евреи пережили века, они знали, что на языке идиш говорит 90% всего народа, они понимали, к чему приведет лозунг Бен Гуриона: «Мы не станем полноценной нацией, пока у нас не будет своих убийц и своих проституток». Но Ахад-Гаам сидел в Лондоне, Бубер — в Берлине, Лейбович — в Базеле, а Бен Гурион со товарищи — в гуще народной, среди тех, кто по велению сердца или по воле судьбы оказался в далекой Палестине. Простые, часто слабые люди (сильные неплохо устроившись у себя дома или уезжали в Америку), они были призваны совершить великие дела: превратить пустыню — в прямом смысле — в цветущий сад, осушить болота, возвести города. Они должны были научиться не умирать от жары летом и от холода зимой. Они, часто бежавшие от воинской службы в своих странах, должны были ходить в дозор, стрелять, убивать. И они никогда не вынесли бы того, что пришлось им вынести, никогда не сумели бы создать то, что создали, если бы хоть на минуту усомнились, что на их долю выпала высокая миссия: возвести стены замка, под сводами которого когда-нибудь соберется народ Израилев. А эти сабры — высокие, поджарые мальчишки, выросшие в киббуцах на воле и на свежих фруктах? Разве они могли бы выиграть четыре больших и бесчисленное количество малых войн, если бы не поверили в свое предназначение, в свои сверхчеловеческие возможности?

Все вышло по Бен Гуриону. Сказка стала былью, а идеологические догмы сионистов-социалистов — законами государства, нормами общественного сознания. Государственным языком стал иврит, в школах изучали Танах² в качестве истории и Эрец-Исраэль³ в качестве географии. Не уметь отличить киббуц от мошава⁴ для израильского школьника считалось большим преступлением, чем спутать Бельгию с Бразилией. (Много лет назад я собрался съездить в Европу и должен был получить на то разрешение от армии. Я приехал в спецотдел своей части и протянул девушке-лейтенанту анкету. В графе «куда направляетесь» написал «Мюнхен, Германия». Лейтенант взглянула на анкету, спросила: «Мюнхен — это Западная Германия или Восточная? В Восточную вам нельзя». — «Западная», — сказал я. — «А откуда вы знаете?» — «В школе учился.» Девушка с подозрением взглянула на меня, подняла трубку и задала тот же вопрос своему начальнику). В промышленности доминировали крупные государственные предприятия, в сельском хозяйстве — киббуцы, власть Гистадрута была неограниченной: без красной книжечки члена профсоюза на работу не брали. Владельцев автомобилей и собственных вилл можно было сосчитать по пальцам, на человека при галстукке бросали презрительный взгляд; отложной воротничок, шорты и сандалии на босую ногу стали символом настоящего израильянина, человека, который говорит на языке предков и видит во сне не черное прошлое, а светлое будущее...

¹ Сабра (иврит) — дословно — кактус. Так принято называть уроженцев страны.

² Танах — Библия, в русской традиции — Ветхий Завет.

³ Эрец-Исраэль — Земля (или страна) Израиля.

⁴ Мошав — индивидуальная сельскохозяйственная ферма.

* * *

В те первые годы независимости у «русского прошлого» еще был шанс стать израильским настоящим. Идеология идеологией, но 600 тысяч евреев Палестины противостояли многомиллионному арабскому миру; стране нужны были новые граждане, так же, как самим этим гражданам нужны были воздух и вода. Все, кого можно было собрать в послевоенной Европе, были собраны; таких набралось десятки тысяч; требовались сотни тысяч, еще лучше — миллионы...

Миллионы были заперты за железным занавесом.

Первым послом государства Израиль в Москве стала Голда Меерсон (Меир). Стала не случайно. В иерархии сионистского истеблишмента ей принадлежала ступенька, позволявшая занять министерское кресло, но отправилась Голда в Москву. Не для того, однако, чтобы тянуть дипломатическую ляжку.

О перипетиях Голды Меир — посла Израиля в Москве 1948—1949 гг. — ходит много легенд. Рассказывают, будто Голда собирала списки евреев-добровольцев, пыталась договориться со Сталиным, чтобы тот отправил их в Израиль, на нее возлагают ответственность за арест Полины Жемчужиной-Молотовой. Сама Голда отрицала, что когда-либо виделась со Сталиным, передавала ему какие-либо списки, а с Жемчужиной, по ее утверждению, виделась лишь однажды на официальном приеме. Голда даже выиграла судебный процесс с авторитетным американским журналом «Commentary», который поместил статью некоего советского эмигранта, утверждавшего, будто бы бестия-Сталин обвел вокруг пальца Голду Меир. Он, дескать, предложил ей подать списки людей, желающих уехать в Израиль, Голда такие списки представила, но Сталин отправил подписантов не на Ближний Восток, а в лагерь ГУЛАГа. Как бы там ни было, со Сталиным ничего не получилось. То ли Голда не сумела найти подход к хозяину Кремля, то ли отец народов уже передумал и решил не использовать «еврейскую карту» в игре против англичан на Ближнем Востоке, а приберечь ее для замышляемой им грандиозной кампании под названием «борьба с космополитизмом».

Провал миссии Голды Меир в Москве не оставлял Бен Гуриону выбора, он распорядился привозить евреев откуда только возможно. А возможно было из Северной Африки и с Ближнего Востока. В результате более полумиллиона жителей Марокко и Египта, Ирака и Йемена, Сирии и Туниса, Алжира и Ирана стали гражданами Израиля в первые десять лет существования этой страны. Правда, одно дело вручить человеку паспорт государства Израиль, другое — заставить его разделить идею, лежащую в основе еврейской государственности, идею гражданскую, европейскую по своему происхождению и по своей сути. Впрочем, если идея еврейского государства хоть в какой-то мере могла быть принята жителями Африки и Азии — в конце концов, их собственное положение в арабских странах после образования Израиля сильно пошатнулось, — то русское прошлое этого государства было им чуждо. Даже враждебно, ибо «русские» сидели в правительстве и в Кнессете, в государственных учреждениях и адвокатских конторах, они были учителями, подрядчиками, банковскими служащими, а их, «арабов», сгружали с кораблей и посыпали дустом...

В конце концов русские истоки еврейского государства, засыпанные поначалу идеологическим мусором, позже утрамбовали новые жители страны, не имевшие никакого отношения ни к сионизму, ни к социализму, ни к русским корням того и другого. Казалось, корни эти обречены на отрицание.

2. «Моисеем работаю я!»

В конце мая 1967 года в маленьком особняке израильского посольства на улице Веснина, что в районе Арбата, стоял дым коромыслом: заколачивали ящики с мебелью, бумагами, канцелярскими мелочами. Новое здание посольства, скрытое за глухим забором на Большой Ордынке, уже ждало своих обитателей. Но они там не появились: 10 июня, в последний день Шестидневной войны, правительство СССР объявило о разрыве дипломатических отношений с Израилем; расколачивать ящики пришлось в Тель-Авиве.

Разрыв с Москвой никого в нашей стране не удивил: Советский Союз и без того относился к нам крайне враждебно, все понимали, что это Кремль, напичкав арабских соседей немислимым количеством оружия, развязал Шестидневную войну. По-

терпев унизительное поражение, Москва в большей мере, чем даже арабские столицы, метала громы и молнии в адрес Тель-Авива. Так что разрыв дипломатических отношений ничего по сути не менял, разве что еще дальше отодвинул разговоры о русских евреях, существование которых стало казаться совсем призрачным. Все говорили тогда о прошедшей войне, валом валили в Старый Иерусалим и на Синай, спорили: отдавать или не отдавать взятые территории.

Были, однако, в стране люди, которые не могли забыть о русских евреях в силу служебных обязанностей.

Саула Меерова привезли в Палестину из Могилева-Подольска в 1912 году. Мальчику было тринадцать лет, и его сразу же определили в тель-авивскую гимназию «Герцлия». Однако в 1917 году турецкие власти выслали его семью вместе со всем еврейским населением Тель-Авива. В гимназию Саул уже не вернулся, он с головой ушел в общественную жизнь ишува, приккнув к той его части, что вела открытую борьбу с арабами, тайную — с англичанами. С 1918 года Мееров — член киббуца Киннерет. В 1920-м он под командованием Трумпельдора участвует в защите местечка Тель-Хай (где герой России и Израиля нашел свою могилу). Он входит в руководящий совет подпольной армии — Хаганы, создает ее разведывательную службу, занимается приобретением и налаживает производство оружия. С 1934 года он возглавляет организацию Мосад ле-Алия Бет, занимающуюся нелегальной эмиграцией евреев в подмандатную Палестину. Он тайно посещает столицы арабских государств, налаживает контакты с беженцами из Европы и с местными евреями. Во время войны он организовал засылку десантников Хаганы в оккупированные гитлеровцами страны Европы, а как только боевые действия там закончились, возглавил операцию «Бриха», цель которой была собрать и отправить в Палестину уцелевших евреев из разных стран Европы. Одновременно он нелегально закупает оружие и хитроумными путями переправляет его на родину.

После провозглашения независимости Мееров, теперь уже Шаул Авигур становится заместителем Бен Гуриона по министерству обороны. Но для публичной политической деятельности он не создан, к тому же здоровье оставляет желать лучшего; от должности заместителя министра обороны Авигур уходит. От должности, но не от дел. Ибо дел у него великое множество, к тому же он внимательно следит за развитием событий в стране и за рубежом.

В феврале 1953 года какой-то фанатик бросил гранату в здание советской миссии в Тель-Авиве. Москва немедленно заявила о прекращении дипломатических отношений. Министр иностранных дел Моше Шарет приносит официальные извинения, но Москва требует большего. Идет торг, Бен Гурион уступает, отношения восстанавливаются. Все довольны. Но не Авигур. Шаул встревожен и возмущен. Ну что ж, пусть его шурин, Моше Шарет, шлет в Москву ноты с извинениями, пусть Старик считает нужным уступить, он, Авигур, не позволит Москве играть с еврейским государством в кошки-мышки. У Шарета свои дела, у него, Авигура, — свои.

В том же 1953 году с ведома и согласия Бен Гуриона Авигур создает организацию под длинным названием Лишкат ха-кешер им ихудей Мизрах Юропа в'Брит ха-Муацот, что в переводе означает Бюро связи с евреями Восточной Европы и Советского Союза. Немногочисленные посвященные назовут ее просто ЛишкА.

* * *

В лабиринтах Кирий¹, не самого привлекательного квартала Тель-Авива, между гаражами, складами, ремонтными мастерскими затерялось неказистое двухэтажное здание. Дорогие автомобили к нему не подъезжали, входящие в здание мужчины и женщины ничем не отличались от служащих здешней округи. Случайный прохожий мог подумать, что здесь какая-то контора, причем столь захудалая, что даже таблички над входом у нее нет. И уж никому не пришло бы в голову, что возглавляет эту контору человек в должности заместителя министра, что подчиняется он самому Старика и входит в кабинет премьера «без звонка и без стука». Кто бы мог подумать, что хозяина этого дома слушаются и в Шин Бет¹, и в министерстве иностранных дел,

¹ Шин Бет (Ширут ха-Битохон) — Служба безопасности (иврит).

и на национальном радио, что при случае может он задать трепку любой газете. Кто бы мог подумать, что стоит хозяину кабинета на втором этаже поднять трубку, как сотни тысяч людей выйдут на улицы Нью-Йорка, Парижа, Амстердама, Стокгольма, Буэнос-Айреса, что пресса, радио и телевидение во всем мире организуют громкую кампанию, в которой примут участие сенаторы и министры, нобелевские лауреаты и звезды мирового кино, что кампания эта будет направлена против могущественной державы мира — Советского Союза, и лозунгом ее станут библейские слова: «Отпусти народ мой...»

Но все это будет позже, в семидесятые и восьмидесятые, а пока Авигур устанавливает нужные связи, подбирает сотрудников, отработывает методы координации различных служб, которые прямо или косвенно будут вовлечены в замысливаемый им грандиозный проект. Впрочем, до конца шестидесятых говорить о реальности замысла Авигура означало выставить себя фантазером. Среди немногих посвященных были и те, кто думал, будто Авигур просто «выбил» себе синекуру и бросает на ветер государственные деньги.

Деньги на ветер Авигур не бросал.

В 1956 году Польша заключила с Москвой соглашение о репатриации польских граждан. В числе тех, кто мог доказать, что в довоенные годы был гражданином Польши, оказалось более 20 тысяч евреев, причем не только польских, но и русских, сумевших тем или иным способом вскочить в «польский» поезд. Эмиссары Лишки основательно поработали над тем, чтобы евреи, выбравшиеся из России, сумели добраться до Святой земли. Но не это было главным достижением ведомства Авигура в первые, внешне неприметные 15 лет его существования.

* * *

Многие москвичи среднего возраста знают, что «побочным продуктом» Всемирного фестиваля молодежи и студентов, что проходил в Москве в июле-августе 1957 года, стало появление на свет мальчиков и девочек с коричневой кожей. Но никто, похоже, и вездесущие органы, не знал, что другим побочным результатом Московского фестиваля стало появление на свет других мальчиков и девочек, тех, кого впоследствии назовут еврейскими националистами, активистами алии, отказниками. Словенно говоря, у тех, кому пришло в голову добраться в Москву и, обойдя многочисленные преграды, установить контакты с членами израильской делегации, в душе уже горел национальный огонь. После фестиваля в их руках оказались брошюры с рассказами о молодом израильском государстве, открытки с изображением прекрасных девушек-солдат, значки с израильским флагом, авторучки и зажигалки, заряженные «теми» чернилами и «тем» газом...

Крупные международные мероприятия — выставки, конференции, спортивные состязания случались и позже, и даже если они не представляли интереса для широкой публики, даже если павильоны других стран пустовали, в израильском, непременно затертом в самый дальний угол, всегда толпился народ. Не подумайте, что это были специалисты в той или иной области; всякий раз, когда на флагштоке какого-нибудь международного форума развевался израильский флаг, под звездой Давида собирались, знакомились, сбивались в кружки молодые люди из Риги, Киева, Вильнюса, Москвы, Тбилиси, Одессы... А еще были синагоги, куда нет-нет, да и заглядывали зарубежные туристы. Было и израильское посольство, но сунуться туда решались совсем уж отчаянные головы.

«Ну что там твои мальчишки в России, ты все еще думаешь, что они смогут поднять большую алию? Кстати, сколько их у тебя, сотня душ наберется?» И такое приходилось выслушивать Авигуру. Но он оставался непреклонен, «где надо» стучал по столу: «Они смогут!» — и требовал поддержки. И попробовал бы кто-нибудь ему отказать!

Сегодня, глядя на события тех лет, думается: нет, не сумели бы мальчишки пятидесятых-шестидесятых поднять большую алию! Так и остались бы разрозненными, разбросанными по стране одиночками, которых рано или поздно выследили бы органы, уехали в лагеря и... закрыли дело. На это КГБ и рассчитывал, организовав, начиная с 1969 года, антиеврейские процессы в Ленинграде, Риге, Кишиневе, Одессе, Свердловске, Киеве, Душанбе. Уважительная, но неповоротливая машина Комите-

та госбезопасности опоздала, — к этому времени судить нужно было уже не одиночек-«отщепенцев», а десятки тысяч людей.

Шестидневная война, победа евреев над арабами перевернула души многих людей в России, которых там было принято называть «лицами еврейской национальности». Но в ОВИРы их все же привел не душевный подъем; подъемы проходят, реальность остается. А реальность эта, оглушаемая после июня 1967 года истерической антисионистской пропагандой, массовыми собраниями, необходимостью самодоносить, доказывать свою непричастность, становилась невыносимой. Десятки тысяч людей, отнюдь не романтиков, решились на отчаянный шаг. Романтики же, «мальчишки Авигура», выполнили роль поводырей. Они принесли им вызовы из Израиля, показали, где находятся ОВИРы и куда нужно писать или звонить, если получаешь отказ.

Да, КГБ опоздал, но Шестидневная война спутала карты не одним лишь чекистам. Недоброжелатели Авигура из окружения премьер-министра были посрамлены, Голда Меир обратилась к советским евреям с открытым призывом эмигрировать в «страну предков», на этот раз точно зная: ее услышат! А Лишкá, державшаяся на личных связях Авигура, превратилась в одно из важных министерств страны. Увы, сам он по причине возраста и здоровья покинул свой кабинет в Кирье, усадив в кресло хозяина своего заместителя Нехемию Леванона.

* * *

Загадочным человеком был Леванон. Старая косточка, киббуцник и, само собой, ветеран партии, он был лишен политических амбиций, избегал прожекторов, действовал только за сценой. Высокий чин в Шин Бет и опыт работы в московском посольстве позволили ему стать преемником Авигура. И хотя по должности уроженец уральского города Пермь был приравнен к заместителю министра, по количеству и многообразию проблем, которые ему приходилось решать ежедневно и ежечасно, уступал он разве что главе правительства. Наверное, в другой стране, чтобы справиться с подобной задачей, была бы создана многотысячная организация. Тысяч у Нехемии не было, но была железная рука; ей-то он и правил: где нужно, шел напролом, с кем нужно, был жесток и категоричен, кому нужно, был отцом и наставником.

Против операции «Свадьба» — затей группы рижан и ленинградцев, которые вознамерились угнать самолет из аэропорта Смольный в Ленинграде — Нехемия возражал категорически. Предотвратить «Свадьбу» ему, однако, не удалось; за ничтожки дергали из ленинградского Большого дома. Нехемия был в ужасе, прекрасно понимая, что «дело об угоне» станет поводом для массовых арестов, приведет к разгрому еврейского движения, которое быстро набирало силу. Нехемия даже не хотел поднимать кампанию в защиту «самолетчиков»: общественное мнение в мире было настроено враждебно к воздушным пиратам, да и сам Израиль, первая жертва воздушного терроризма, настаивал на суровом наказании угонщиков. Так что Нехемия мог нарваться на большие неприятности внутри страны и подмочить свою репутацию в глазах зарубежных доброжелателей. Мог, если бы суд в Ленинграде вынес умеренные, адекватные заслугам горе-пиратов приговоры. Но антисемитское рвение не знало границ; суд вынес два смертных приговора. И это за одну только попытку, обошедшуюся без жертв, предотвращенную еще до того, как потенциальные угонщики взойшли на трап самолета! Всем стало ясно: речь идет не о наказании преступников, а об антисемитской расправе. Раньше всех понял это Нехемия. Как только 25 декабря 1970 года, ровно через четверть часа после вынесения приговора, ему позвонили из Ленинграда, он мгновенно оценил обстановку и, не раздумывая, поднял трубку белого телефона; сотни тысяч людей вышли на улицы Нью-Йорка, Парижа, Амстердама...

Трудно было Нехемии с теми, кто действовал за железным занавесом, трудно было и с теми, кто приезжал в страну. Кто эти люди, что скрывается за их словами о желании жить на родной земле, за клятвами верности совсем незнакомой стране? И главное, не явились ли они сюда по заданию всемогущих органов? Нехемия лучше других знал закулисную сторону израильской действительности, знал, как много людей, считавших себя убежденными сионистами, приезжали на «историческую родину», а потом, не выдержав или разочаровавшись, покидали страну. Более того, по

долгу службы он не имел права забывать о деле советского шпиона И. Бера и о других, многочисленных, но менее громких делах такого рода. У Нехемии были основания не верить словам свежеспеченных патриотов, у него было достаточно оснований опасаться наплыва в страну агентов Лубянки. И он взял за правило: лучше обидеть невинного, чем допустить ошибку.

Промашки все же случались.

А. Ш-ин, импозантный, седобородый красавец, авантюрист и фантазер, обладал таким талантом убеждать собеседника, что не поверить ему было невозможно. Даже Нехемия поверил. И полетел в Вену на встречу с «крупным советским чиновником» договариваться об «условиях, на которых Москва готова будет отпускать своих евреев». В Вене он чуть не попал в ловушку КГБ...

Г. Ф-ин числился в Лишкэ отставным майором советской армии и именитым рижским отказником. Более всего он прославился тем, что закатил пощечину какому-то арабу, пытаящемуся сорвать израильский флаг на международной выставке в Сокольниках. Так что когда Ф-ин прибыл в страну, Нехемия распорядился устроить ему достойный прием, а затем организовал встречу с большими начальниками — смотрите, мол, какой товар я завожу из России! Больше часа Ф-ин поучал израильских генералов. В какой-то момент Моше Даян встал, сунул Нехемии записку и вышел. Нехемия развернул смятую бумажку. На ней был нарисован... бублик. Ф-ин и в самом деле был болтуном и пьянчужкой, звание имел не майора, а старшины, и храбрецом бывал разве что пропустив пару рюмашек...

Отказников-активистов Нехемия недолюбливал и делал все, чтобы отвадить их от дела, которому в России они служили самозабвенно и в котором, как им казалось, разбирались лучше, чем бюрократы из Лишкэ.

Профессор М. Г-ан провел в отказе несколько лет. Участвовал в семинарах ученых-отказников, подписывал письма, писал статьи в еврейский самиздат. Днями и ночами обдумывал он, как помочь ученым выехать из Союза. Г-ан считал, что знает об этом лучше кого-либо другого, и в первые же дни после приезда в Израиль явился в Кирию поделиться с Нехемией своими соображениями. Нехемия был мрачен, слушал молча. Весьма грубо оборвал собеседника: «Г-ан, вы, кажется, физик. Так идите и работайте физиком, Моисеем в этой стране работаю я!»

Нехемия считал себя хорошим Моисеем. Он добился от Вашингтона обещания, что ЦРУ не будет вербовать агентов из среды еврейских отказников, люди Лишкэ сидели в израильских посольствах всех важнейших столиц мира, Нехемия упорно пробивал щели в железном занавесе, не упускал возможности укусить кремлевских фараонов. Казалось, он лучше кого бы то ни было знает, как вывести народ свой из советского Египта.

Как и библейский Моисей, Нехемия плохо знал народ свой.

* * *

Сегодня в Америке живет уже третье поколение советских евреев, эмигрировавших в эту страну в начале семидесятых. Как попали они туда, имея на руках въездные визы в Израиль? Кто проложил им дорогу через Вену и Рим в аэропорт Кеннеди? Кто добился для них статуса политэмигрантов и льготных программ для интеграции в Соединенных Штатах? Быть может, воздавая Господу благодарность за счастливый билет, что выпал на их долю, кто-то из этих людей задается вопросом: где тот добрый ангел, что вывел нас в Америку? Поиски этого ангела вряд ли приведут счастливчиков в Израиль, ведь в этой стране не жалели ругательств в адрес ниширим — «прямиков», которые, минуя Израиль, направлялись в США. Каково же новым русским американцам узнать, что «американскую опцию» «пробил» для них все тот же Нехемия Леванон!

«Ну зачем нам бродские (он так и говорил: «бродские!»)? Приедут, начнут мутить воду; возись с ними — не возись, они все равно уедут. Это не наш товар; пусть катятся в Америку, это страна большая, выдержит и бродских». Америка «бродских» выдержала, но, к удивлению Леванона, за «бродскими» потянулись те, кого Нехемия считал своим товаром. С середины семидесятых кривая эмиграции в Израиль начала падать, в Америку — расти. В 80-х годах туда уже направлялась большая часть тех, кто пересекал советскую границу по израильской визе. Думаю,

Нехемия не раз пожалел, что проторил советским евреям дорогу в Америку, не раз пытался исправить свою ошибку.

Нехемия осчастливил не только многих советских евреев, ставших американскими. «Израильский путь» превратился для Кремля в черный ход, через который власти без лишнего шума выталкивали из страны диссидентов и других «нежелательных лиц».

Между тем и в Израиль ручеек из советских евреев никогда не прерывался. Люди ехали сюда по разным соображениям, но одна категория — отказники-активисты — по идейным; через ведомство Нехемии прошло немало авантюристов, неудачников, людей непомерно тщеславных, недалеких, или тех, кто, не успев «согреть ноги», начинал критиковать, учить, требовать. Но выдвигали там и людей совершенно иных.

Вернувшись из эвакуации в родной Каунас, Шаул Бейлинсон (друзья звали его «Павлик») стал одним из организаторов нелегальной переправки евреев через польскую границу. Несколько грузовиков с беженцами удалось переправить, но МГБ перехитрило Павлика и его товарищей. Чекисты построили фальшграницу, перейдя которую, беженцы считали, что все уже позади...

Павлика пытали в подвалах того самого здания в Вильнюсе, которое в разное время служило жандармским управлением, польским судом, Управлением НКВД-МГБ-КГБ. Дали расстрел. Позже заменили расстрел двадцатью пятью годами лагерей. Павлик выдержал, вернулся в Каунас, стал крупным инженером-строителем, одним из тех, кто создал в столице Литвы первый в Советском Союзе современный жилой микрорайон «Жирмунай». Его наградили, сделали начальником. Все знали его как прекрасного организатора, знающего специалиста, одинаково хорошо владевшего русским и литовским языками. Но никто не знал, что он столь же хорошо владеет и ивритом, что с мыслью добраться до Израиля никогда не расставался. При этом Павлик не просто мечтал, он действовал. Но не так, как в сороковые годы; ищейки КГБ долго не могли выйти на его след, а когда вышли, было уже поздно. В начале 1971 года, поняв, что дело сделано, Бейлинсон сам раскрыл карты — официально подал документы на выезд в Израиль. Арестовать его «за организацию сионистского подполья» означало для КГБ признать свою ошибку; Шаул Бейлинсон получил выездную визу.

Когда Меир Гельфонд вернулся в родную Жмеринку из эвакуации, то застал там ужасную картину: еврейское население было уничтожено, его родные, друзья его детства, его школьные учителя лежали в окрестных рвах. Их память никто не спешил увековечить, равно как никто не спешил помочь тем немногим, кто уцелел. Напротив, антисемитизмом смердило на каждом шагу. Меир сделал выбор, сделал — на всю жизнь.

В 1949 году МГБ вышло на след «Союза еврейской молодежи», который «разбросал свои шупальца по всей Украине». Студент медицинского института Винницы Меир Гельфонд, один из организаторов СЕМ, вместе с товарищами отправился в лагерь. Лагерь стал для Меира академией жизни. Здесь он познакомился с Григорием Прейгерзоном, преподавателем Московского горного института по должности, ивритским писателем и поэтом по призванию. (Еще с тридцатых годов Прейгерзон писал стихи и прозу на иврите и печатал ее в Палестине под разными псевдонимами. Эта бессмысленная игра тянулась до марта 1949 года, когда Прейгерзон был арестован). Меир выучил иврит, овладел искусством конспирации. После освобождения Гельфонд окончил мединститут, стал кандидатом наук, был принят на кафедру кардиологии 2-го Московского мединститута. Для бывшего зэка, да еще и с именем «Меир Беркович», это было непросто. А потом начались будни: днем Гельфонд лечил людей, учил студентов медицинской науке, вечерами преподавал иврит, читал, перепечатывал, давал читать другим. Что?

Слово «самиздат» подразумевает нечто стихийное, спонтанное. Конечно, было и стихийное, и спонтанное, но основной поток еврейского самиздата тех лет создавался целенаправленно и попадал к тем, для кого предназначался. В огромном количестве ходили по стране отпечатанные на машинке брошюры «Шесть миллионов обвиняют: процесс Эйхмана», русский перевод книги Леона Юриса «Эксодус», учебники иврита и многое другое. Самиздат, впрочем, был не самым главным в деятельности Гельфонда, так что когда в марте 1971 года в аэропорту Бен Гурион Гельфонда и его друзей встретила лично премьер-министр Голда Меир, она хорошо знала, кому и за что воздает должное.

А еще раньше, в октябре 1969 года, в тот же аэропорт прилетел из Москвы Давид Хавкин. Хавкин был первым еврейским активистом в советской столице, первым, кто начал действовать открыто, кто собирал молодежь не на конспиративных квартирах, а у московской синагоги, на тех же выставках и концертах, кто учил их пять еврейские песни и танцевать еврейские танцы, кто учил их не бояться произнести слово «еврей» и вообще — учил не бояться! Инженер-полиграфист, он отсидел срок за сионизм, вышел из лагеря и стал добиваться выезда в Израиль. За ним ходили по пятам, его телефон прослушивали, всех, кто заглядывал в его дом, таскали на допросы. Земля горела под ногами, но Хавкин лишь «наращивал обороты», сознательно ставя КГБ перед выбором: посадить или отпустить. Власти предпочли второе, рассчитывая, что повторить его подвиг никто не решится.

Как они ошибались!

* * *

Но вот наши герои в Израиле.

Шаул Бейлинсон хорошо знал: у иммигранта две проблемы — работа и квартира. Квартира — это по его части, и с места в карьер он приступил к реализации проекта по индустриальному домостроению. Проект лопнул: примитивные методы строительства с использованием дешевого труда арабов обогащали не только подрядчиков; что-то перепадало чиновникам, что-то оседало в партийных кассах. Мог ли Нехемия помочь Бейлинсону? Мог, думаю, ведь когда дело касается вопросов государственной важности, частные и корпоративные интересы в Израиле умеют отодвигать на второй план...

Гельфонд пользовался в Лишкэ уважением, его даже побаивались — в делах конкретных он умел добиваться своего, — но призван он не был; влиять на политику Лишкэ Леванон не позволял никому.

Не только Гельфонд, никто из героев шестидесятых, никто из негероев семидесятых, — а они прибывали в Израиль десятками тысяч — не был допущен в политику, не мог добиться положения, позволявшего оказывать сколько-нибудь заметное влияние в этой стране.

Странное дело, диссидентское движение тех лет казалось незначительным, даже эфемерным по сравнению с движением еврейским. В знак протеста против вторжения советских войск в Чехословакию на Красную площадь вышли всего лишь семь человек. Но эти семеро вписали свои имена в российскую историю. Ни в русской, ни в еврейской истории не осталось имен тех, кто приводил тысячи людей на Старую площадь, ни тех, кто собирал десятки тысяч у Большой синагоги на улице Архипова на праздник Симхат Тора, ни тех, кто организовал многотысячный поход на Вильнюс, разгонять который власти вызвали войска... Имен Виталия Свечинского, Тины Бродецкой, Иосифа Шнайдера, Давида Драбкина, Владимира Слепака нет даже в издающейся ныне Российской еврейской энциклопедии. Тем более некому вспомнить о них в Израиле — Нехемия Леванон превратил их в товар, импортом которого он занимался по поручению тогдашнего политического истеблишмента.

3. Королевский гамбит Щаранского

Коренастый, плотно сбитый пожилой человек в мундире генерал-лейтенанта внимательно изучал анкету.

— Ща-ра-н-ский Анатолий Борисович, 20 января 1948 года, город Донецк, — бормотал вслух генерал. — Донецк? Это хорошо. Еврей... — генерал отложил анкету, достал из сейфа папку «Объективки», вынул листок «Щаранский».

Отец: Щаранский Борис Моисеевич, 1904 год, Одесса, член КПСС, участник ВОВ, политкомиссар. После войны журналист в Донецке... Мать: Мильгром Ида Петровна, 1908 года, Одесса, экономист... Особые замечания: активен, честолюбив, предосудительных связей не имеет, в нежелательные разговоры не вступает. Увлечения: шахматы. Иван Федорович вернул объективку на место, отцепил от анкетного листа фотографию и стал внимательно всматриваться в лицо кандидата в абитуриенты; не по анкете, по глазам составлял он мнение о человеке.

Иван Федорович не всегда был проректором по режиму Московского физико-технического института, но в петлицах своего мундира всегда носил крылышки. Нет, летчиком или бортинженером он никогда не был, в ВВС служил оком государевым при господах авиаторах, надзирал за этими любимцами богов и женщин. Сын старого большевика, он беспрепятственно двигался по служебной лестнице, а дружба с Василием Сталиным защищала его от доносов сослуживцев. А потом началась оттепель. Кому оттепель... Вдовы расстрелянных летчиков побежали жаловаться. Да ладно бы вдовы, беда была в том, что у расстрелянных летчиков остались друзья, а друзья эти вышли в маршалы и генералы. И когда эти нерасстрелянные вовремя маршалы и генералы узнали, кто был виновником гибели их боевых товарищей, Иван Федорович понял: дела плохи. И слег в психбольницу. И ждал. И дождался.

Московский физтех придумали ученые. Те, кто делал большую науку, хотели подготовить себе смену, те, кто делал бомбы, ракеты и подводные лодки, рассчитывали заполучить в свои почтовые ящики талантливых молодых людей; полузакрытый элитный вуз разместили в укромном подмосковном городке Долгопрудный.

— Принять этого парня, — указывал, бывало, Ландау.

— Ну что Вы, Лев Давидович, у него тройка по литературе!

— Мне не поэты нужны, а физики, — огрызнулся Ландау.

— Принять, — говорил Капица.

— Но у него же нет комсомольской характеристики, Петр Леонидович!

— Меня не интересует характеристика, из этого парня толк будет.

Позволить такую вольность можно было лишь при условии, что за большими учеными — «малыми детьми» — будет глаз да глаз. А тут и глаз подвернулся, старый, опытный.

— Отказать, — говорил ректор.

— Почему, Иван Федорович?

— Глазам его не верю.

— Но он же набрал столько баллов!

— Скажите ему, что он принят в энергетический, я позволю.

Шли годы, выпускники физтеха становились профессорами и академиками; боялся Ивана Федоровича они перестали. Старого чекиста пересадили в кресло проректора по режиму. Теперь уже Ивана* Федоровича спрашивали не «почему?», а «ваши аргументы?»

Аргументов не было, Иван Федорович тяжело вздохнул и швырнул анкету Щаранского в стопку «К экзаменам допустить». Маленький мальчик из Донецка стал студентом элитного московского вуза.

* * *

Учиться в физтехе было нелегко — первые два курса студент, что называется, света белого не видел. Но потом становилось легче, у молодых людей появлялись увлечения. Появились они и у Толи Щаранского.

Юную пианистку звали Люба, в Москве она готовилась поступать в консерваторию. Молодые люди нравились друг другу; дело шло к свадьбе. Но тут случилась незадача: отец Любы, Толя-большой, оказался... пламенным сионистом; документы на выезд в Израиль давно лежали в ОВИРе города Вильнюса. Правда, против брака дочери он не возражал, но при условии, что Толя-маленький переведется на учебу в Вильнюс и вместе с семьей жены подаст документы на выезд. Сионизм Толя-большого был чужд и непонятен Толе-маленькому. Воспитанный в «правильной» семье, награжденный золотой медалью в школе и принятый в лучший московский вуз, он верил, что «антисемитизм изжит в нашей стране в 1917 году». Позже он расскажет одному американскому журналисту, что в молодости слово «жид» слышал лишь однажды.

Любовь взяла верх; Толя-маленький готов был перебраться в Вильнюс. Но была еще мама. Неважно, какие слова она произносила в том 1970 году, неважно, в кого метала громы и молнии; она была уверена, что ее сына губят: в лучшем случае увезут бог знает куда, и она его никогда не увидит. Семейная драма завершилась компромиссом: Толя обещал закончить физтех, мама обещала отпустить его «куда захочет».

В феврале 1972 года семье Любы разрешили выезд в Израиль; покинуть пределы державы предписано было в течение двух недель. Отложить отъезд, дожидаться,

пока Толя-маленький закончит учебу, Люба не могла — рисковать визой казалось безумием. Решили, Люба отправится в Израиль с родителями и вышлет Толе-маленькому вызов.

Лето и осень 1972 года ушли у Толи на подготовку дипломной работы. Работа была не секретна, Щаранский занимался теорией шахматной игры. «Эндшпиль — конец шахматной партии — типичный пример поиска решений в конфликтной ситуации», — напишет он в своем дипломе, еще не подозревая, в каких ситуациях предстоит ему принимать решения! Наконец диплом в кармане, согласие родителей и вызов от невесты на руках; можно подавать документы в ОВИР. Но документы не принимают «за недостаточностью родства». В апреле 1973 года Толя посылает бумаги в ОВИР по почте и начинает отсчет времени. Время идет, ответ из ОВИРа не приходит, встает вопрос: что делать? Этого Толя еще не знает, но одно ему ясно: обратного хода нет. В августе он добивается приема у начальника Московского ОВИРа генерал-лейтенанта Андрея Вереина. Вереин заверяет Щаранского, что документы его приняты, намекает: к концу года следует ждать «положительного разрешения». Генеральское слово, увы, не более чем уловка, Толя становится отказником.

* * *

Новая жизнь начинается с квартиры «отца отказников» Владимира Слепака. Толя — участник всех акций еврейских активистов. Чуть позже он сблизится с профессором Александром Лернером, который ведет семинар ученых-отказников, и становится непрременным участником этих необычных собраний. Вскоре, однако, Щаранский приходит к выводу, что приемы отказников-ветеранов уже превратились в рутину и перестают производить впечатление на тех, кто решает вопрос о выезде, — нужно придумать что-то свое, новое, вынудить КГБ избавиться от смутьяна. Толя сблизится с молодыми отказниками Валерием Крижаком и Исааком Полханом. Лозунг этой тройки: демонстрация каждые две недели! Ребята не упускают случая, чтобы выйти на улицы с плакатами. Их избивают «дружинники», по пятам ходят стучачи. В конце концов Крижак и Полхан получают выездные визы, Толя остается отказником. Обидно, конечно. Но и его юношеская смелость не остается без вознаграждения.

13 октября 1973 года, когда на Синае и Голанских высотах шли тяжелые бои¹, еврейские мальчики и девочки собрались на улице Архипова на демонстрацию протеста против арабской агрессии. На улице холодно, дождь идет вперемежку со снегом, но молодые люди не расходятся, они жадно ловят вести из африканской пустыни, они переживают за тех, кто там обливается потом. К насквозь промокшему и продрогшему Толе подходит молодая девушка: «Не волнуйтесь, наши скоро возьмут Дамаск», — говорит юное создание и предлагает Щаранскому... теплое белье. Толя шокирован, — откуда у этой девчонки такая уверенность, и причем тут... белье? Девушку зовут Наташа Штиглиц, ей 22 года, теплое белье она приготовила для брата Миши, отказника, который отбывает 15 суток в одном из милицейских «приемников». Откуда уверенность? Об этом они будут говорить часами, днями, ночами. А почему бы и нет, ведь Люба не дождалась жениха; в Израиле она встретила другого и вышла за него замуж. А пока выясняется: Наташа посещает ульпан², изучает иврит. «Если ты собираешься в Израиль, то почему не учишь иврит?» И в самом деле, почему? Приобщение к ивриту начинается со смены имен; Анатолий становится Натаном, Наталья превращается в Авиталь.

События между тем развиваются стремительно. В декабре 1973 года Михаил Штиглиц получает визу, улетает в Израиль и высылает приглашение сестре. Наташа не хочет подавать документы, она опасается за судьбу жениха; Толя убеждает ее: мы поженимся, если ты получишь разрешение, то уедешь в Израиль в качестве моей жены и сможешь мне выбраться отсюда. Наташа подает документы; обдумывает, как устроить религиозный брак, — зарегистрироваться в загсе они не могут: документы, лежащие в ОВИРе, станут недействительными.

¹ Имеется в виду Война Судного дня 1973 года.

² Ульпан — курсы языка иврит.

А пока молодая чета ломает себе голову над тем, как узаконить свои отношения, Москва готовится к визиту президента Никсона: чистят улицы, красят заборы, перекрывают въезды в столицу, превентивно рассаживают по соответствующим учреждениям бродяг, проституток, пьяниц и других неблагонадежных. К числу последних принадлежат и отказники-активисты. 19 июня Толю схватили милиционеры, «хулиган» получил 15 суток. Толи нет дома уже шесть дней; на седьмой Наташе вручают открытку из московского ОВИРа: гражданке Штиглиц предлагается в течение 10 дней убраться в Израиль. «Это невозможно, у меня назначена свадьба, но мой жених пропал, помогите мне найти его, иначе я не уеду.» «Если не возьмете визу сейчас, на всю жизнь останетесь в России, и у Вас будет много неприятностей...» Тем не менее за день до свадьбы и за два дня до отлета Наташи из Москвы (о чем Толя еще не знал) офицер КГБ открыл двери его камеры: «Можешь идти...». Роман Натана и Авиталь продолжился в письмах; первое из них датировано 12 июля 1974 года.

* * *

Еще совсем недавно слова «связь с границей» приводили советских людей в ужас, но в начале семидесятых отказники-активисты не упускали случая встретиться с иностранцами. Случаи подворачивались не так уж редко, но инициаторами чаще выступали западные корреспонденты или туристы. В 1971 году в отказники попал журналист Кирилл Хенкин. Человек сложной биографии, бывший сотрудник журнала «Проблемы мира и социализма» и радиостанции «Мир и прогресс», Хенкин порвал с прошлым. Хотя многие отказники и диссиденты относились к нему с подозрением, Кирилл ненавязчиво старался внести лепту в общее дело. Ему и бросилось в глаза то обстоятельство, что встречи с западными корреспондентами происходят время от времени, собираются на них люди случайные, каждый несет свое. «Это мешает делу, — заявил Хенкин, — должен быть человек, который станет собирать, проверять и регулярно передавать информацию о положении дел с еврейской эмиграцией западным корреспондентам». Выпускник Сорбонны Кирилл Хенкин стал первым спикером в еврейском движении. После отъезда Хенкина в роли пресс-атташе его сменил Александр Гольдфарб, после Гольдфарба за опасное и сложное дело взялся Толя Щаранский.

Новые встречи, новые имена, новые перспективы.

Иностранные корреспонденты плохо понимают, кто из московских диссидентов еврейский отказник, кто правозащитник, кто русский националист или активист православной церкви. Да что там западные журналисты! Те, кто собирается на неофициальных брифингах, так походят друг на друга, судьбы этих людей так тесно переплетены, что они и сами порой забывают, кто из них есть кто. Баптист добивается выезда в Канаду по приглашению из Израиля, русский генерал требует вернуться на родину крымских татар, московская адвокатесса хлопочет за украинского поэта...

Приехав в Израиль десять лет назад, Щаранский начисто исчез из диссидентского движения, равно российского и зарубежного. Это дает повод думать, будто и участвовал-то он в правозащитных организациях из соображений прагматических. Уверен, однако, что в 70-е годы Щаранский был искренен в своей приверженности правозащитному движению, в своих симпатиях к друзьям-диссидентам. Он был дружен с Еленой Боннэр и Людмилой Алексеевой, с Юрием Орловым и Андреем Амальриком. Несмотря на разницу в возрасте, он был с ними — знак диссидентского братства — на ты. Дело не ограничивалось одними лишь дружескими связями. Щаранский помогал баптистам и пятидесятникам, оказал немало услуг советским немцам, крымским татарам, семьям политзаключенных. В 1976 году Щаранский становится одним из учредителей Московской Хельсинкской группы, где он выступает в качестве спикера, консультанта по вопросам эмиграции; его подпись стоит под совместным обращением Московской Хельсинкской группы и Христианского комитета защиты прав верующих в СССР, он встречается с «ходоками» из провинции, пишет и редактирует документы, делает массу черновой работы. Наблюдая в то время за Щаранским со стороны, нетрудно было представить его лет, этак, через двадцать в роли министра в правительстве Юрия Орлова, Владимира Буковского или даже Егора Гайдара...

* * *

Что такое коллективное руководство? Это собачья упряжка: если ты плохо тянешь, отстаешь, сзади тебя кусают за ноги. Если рвешься вперед, тянешь изо всех сил, значит, хочешь выслужиться, выпросить лишний кусок — на ближайшей стоянке тебя разорвут в клочья.

Андропов медлил. И в стране, и за ее пределами были уверены, что руки шефа КГБ связаны разрядкой, торговлей, кредитами, различными международными соглашениями. Он и хотел, чтобы так думали, но сам-то хорошо знал, кто укусит его за ноги, при каких обстоятельствах разорвут в клочья. Конечно, тогда, в 1969-м, можно было одним ударом разрубить гордиев узел; взять тридцать, ну, пятьдесят тысяч, надежно упрятать их в лагерь, и никто бы уже не знал, что была такая проблема, что кто-то когда-то хотел ехать в какой-то Израиль. Ленинградцы поспешили, сработали топорно; Генеральный осерчал — он не любил резких телодвижений. И шепоток пошел, что, дескать, органы занимаются самодеятельностью... Правда, тогда обошлось — сдал Толстикова, и все успокоилось. Но урок запомнил, действовать стал тоньше, осторожнее. Придумал сколотить группу долговременных отказников. Дело бесприоритетное: те, кто подумывает об отъезде, глядя на поседевших в отказе горемык, лишний раз почешут в затылке. С другой стороны, с американцами поторговаться можно: хотите рабиновича-абрамовича, пожалуйста, только кредит выпишите, или обменяем на нашего... На Старой площади понравилось, одобрили.

К лету 1976 года началась другая игра: Хельсинкские группы переполнили чашу терпения, на Старой площади стучали кулаками, требовали принять меры. Генеральный кивал головой. Юрий Владимирович понял: действовать надо решительно. И все же рубить с плеча, мести всех подряд не стал; кивок кивком, но если что не так, не видать ему кресла Генерального. Что, собственно, произошло, где корень зла? Смычка. Диссидентов с отказниками, с националами, с религиозниками. В узел ударить надо, товарищи, в узел. Убрать Орлова — это без разговоров. Гинзбург? Это тот, который между Сахаровым и Солженицыным прыгает? По лагерям пусть попрыгает! Кого из евреев? Слепака надо бы. Не расколоть, проверено, не расколоть. Виталий Рубин? Стар, болен; пока говорить заставишь, он, чего доброго, концы отдаст. Нет, нет, мучеников делать не будем. Да из-за этих двоих Израиль поднимет шум на весь мир. Щаранский? Вот это хорошая идея! Корней — ни диссидентских, ни еврейских, в отказники попал по юбошному делу — Израиль за него копыа ломать не станет. Возле Сахарова крутится по азарту. Вот и поозорничает, дружок, в Потьме, поглядим на тебя, сосунка! Решено, товарищи, начинаем: взорвите какую-нибудь бомбочку в метро, статью в газету — и брать всех по списку!

Бомбочка взорвалась 8 января 1977 года; 3 февраля забрали Гинзбурга, через неделю — Орлова.

4 марта в «Известиях» появился «программный документ» — письмо провокатора Сани Липавского. Об отказниках и правозащитниках в документе сказано: «...Хотя эти люди имеют различные взгляды на формы и методы борьбы, у них общая платформа и один лидер — американская разведка и зарубежные антисоветские организации» (обратный перевод с англ.).

15 марта взяли Щаранского.

* * *

Взяли его не первым, но роль отвели главную — ведь «антисоветский заговор» планировался на Лубянке прежде всего как сионистский — с Америкой мы еще поиграем! Далее все просто: Щаранский свидетельствует о наличии разветвленной сионистско-шпионской сети, всюду по стране идут аресты сионистов и тех, кто с ними заодно; списки уже подготовлены. После первого круга идет второй, а понадобится и третий. Одновременно в стране разворачивается кампания нетерпимости по отношению к сионистам и их прихвостням. А там, глядишь, и восстановим порядок! Дело за малым: расколоть Щаранского.

Пятнадцать месяцев провел Толя в одиночной камере лефортовской тюрьмы. Его обвинили в измене родине по статье 64-а — «шпионаж, передача государственных или военных секретов иностранному государству». Угрозы расстрела перемежались

обещаниями отпустить, «если сможешь следствию». Ради этого «если» бригада следователей из двадцати человек работала день и ночь. Опытный майор Скалов, энергичный капитан Шарудилло, следователи Соловейченко, Горбунов, Володин, другие ни на минуту не оставляли Щаранского, одновременно объезжая страну в поисках тех, из кого можно было выколотить компромат на предателя родины. Результаты были неутешительны — все тот же Саня Липавский, два мелких милицеевских провокатора и дочь покойного минского отказника полковника Ефима Давидовича. (Молодой женщине не приглянулось в Израиле, за право вернуться в родной Минск КГБ потребовало плату в виде «показаний» на Щаранского.) И ни одного сколько-нибудь известного отказника, ни одного именитого диссидента.

«Был бы человек, дело найдется»; 10 июля 1978 года изменник родины предстал перед судом. В ходе «судебного разбирательства» обвинитель, зам. Генерального прокурора СССР(!) Павел Николаевич Солонин сделал упор на то, что брак Щаранского с гражданкой Штиглиц нельзя считать законным: поскольку мать Штиглиц нееврейка, то перед свадьбой девушка должна была пройти гиюр — процедуру обращения в иудаизм — и... потребовал осудить Щаранского на 15 лет лишения свободы. Однако судья П. Луканов, приняв, по всей видимости, во внимание наличие других талмудических авторитетов, утверждавших, что брак Штиглиц с Щаранским имеет законную силу, смягчил меру наказания — три года тюрьмы и 10 лет лагерей строгого режима.

Почему вместо нового «дела Бухарина» суд над Щаранским вылился в непристойный водевиль? Все просто: те, кто должен был оговорить себя и товарищей, были свободны от гипноза советской фразеологии, их не удалось ни запугать, ни обмишурить. И прежде всего это не удалось в отношении Щаранского. Конечно, Толя знал, что о нем помнит Андрей Сахаров, а диссиденты и отказники делают для него то же, что и он в свое время делал для других арестованных. Он знал, что в разных странах еврейские и нееврейские организации, конгрессмены и сенаторы, с которыми ему доводилось встречаться, будут добиваться его освобождения. При всем том нельзя не отдать дань мужеству этого человека, его вере, его таланту. Да, ему не удалось спасти ведущих диссидентов, отказников, религиозных активистов; десятки этих людей были арестованы или вышвырнуты за границу, но большая игра кремлевских карликов была сорвана; развязать кампанию массового террора им не удалось. И в этом смысле суровый приговор Щаранскому был вполне оправдан.

* * *

Наташа Штиглиц явилась к Нехемии незамедлительно:

— Я жена Щаранского, я должна поехать в Америку, в Европу... Устройте мне встречи с важными людьми; Толю надо спасти, его положение ужасно.

— У меня уже были жены Щаранского, тоже просили послать их за границу. Идите себе, я разберусь, кого куда посылать.

Понятно, Нехемия знал о Любе; но не это было главным.

Давно ушло время мальчиков Авигура; в роли еврейских активистов теперь выступали люди другого склада, другого масштаба. Известные ученые, актеры, писатели встречались с корреспондентами, звонили в агентства новостей, писали письма. Но не ему, Нехемии, а сенаторам и президентам. Преданность этих людей Сиону представлялась Нехемии сомнительной. Даже когда вслух они говорили о сионизме, на деле, пользуясь положением именитых отказников, добивались квиютов¹ в университетах, гарантий работы, переправляли на Запад свои дипломы, диссертации, книги, картины... Конечно, новые активисты больше думают о себе, чем о деле; ясно, многие из них уедут в Америку — с этим Нехемия уже смирился. Пугало его другое: отказники-активисты стали сближаться с диссидентами. Это была идеологическая, самая страшная измена. Нехемия знал, сколь привлекательны либеральные идеи для еврейских интеллигентов. Если «еврей-умники» встанут под знамена Сахарова и если дело Сахарова победит, он, Нехемия, потеряет не только «умников», но не досчитается и тех, кого безусловно рассчитывал заполнить в Израиле.

¹ Квиют — статус постоянного работника в государственных учреждениях.

Нехемия еще мог простить Слепаку — этот старейший отказник, возможно, вступил в Хельсинкскую группу от отчаяния, — но Щаранский? Что он за птица? За два дня до ареста этот парень сказал журналистам, что «рассматривает еврейское движение за эмиграцию как интегральную часть борьбы за права человека». Так вот и тебя, дружок, будем рассматривать «как интегральную часть»; ни при каких обстоятельствах он, Нехемия, не позволит выделить дело Щаранского из других дел, ни при каких обстоятельствах не позволит сделать из этого парня героя номер один!

Наташа вышла из кабинета Нехемии в полном отчаянии; одинокая в новом, незнакомом мире, она не знала, как помочь Толе. Одно было ясно: Лишкá — официальная инстанция — ей помогать не намерена. Оставались еще знакомые эмигранты из Риги и Москвы, которые в Израиле стали хазрим б'чува — «возвращенцы к вере». Эти религиозные ребята помогли ей устроить свадьбу в Москве и признать ее брак с Толей законным с точки зрения Галахи¹. И здесь, в Израиле, они обещают помочь; они утверждают, что ни от кого не зависят, у них собственные деньги и связи во всем мире. Конечно, она должна соблюдать все правила и установления, она должна верить в бога. Но почему бы и не верить? Ее Толя оказался заложником людей, в чьих руках неограниченная власть, над которыми земная сила не властна. Кто же, кто, кроме всевышнего, может помочь в ее безнадежном положении?

Авитель никогда больше не переступала порог дома в Кирьé, отныне и навсегда она связала свою жизнь с религиозными кругами.

* * *

Добрый десяток лет не сходила со страниц самых крупных, самых влиятельных в мире газет и журналов фотография молодой женщины с глубоко посаженными глазами-вишнями. Если бы не эти скорбные глаза, если бы не эта нелепая косынка, если бы не эти строгие свитера и очень уж немодные юбки, ее можно было бы принять за кинозвезду. Впрочем, в те семидесятые-восьмидесятые известности и популярности Авитель Щаранской могли позавидовать многие кинозвезды. Тысячи встреч и бесед, интервью и выступлений, писем и обращений. Конференция еврейских женщин в Филадельфии и женщин-англиканок в Хоррагейте, массовый студенческий митинг в Сиднее и встреча с известным писателем в Нью-Йорке, интервью журналу «Тайм» и обращение к генеральному секретарю ООН — всюду, где только можно было замолвить слово о Толе, попевала Авитель. Трудно найти в западном мире хоть одного крупного политика, хоть одного премьер-министра или президента, кому бы не поведала Авитель о трагической судьбе Щаранского. Ее утешала Маргарет Тэтчер, ее внимательно выслушивал Франсуа Миттеран, ей пожимал руку Гельмут Коль, ее не раз и не два принимал Рональд Рейган. Она была неутомима, у нее не было ни кола, ни двора, она жила у знакомых, без имущества, без дум о быте, о маленьких человеческих радостях. При всем том она была полна оптимизма, ни на минуту не сомневаясь, что Толя будет освобожден, что Толя приедет в Израиль, к ней.

Не следует думать, однако, будто Авитель и сделала Щаранского Щаранским; она была важным звеном в той длинной цепи, что тянулась из тюрьмы в Чистополе в офисы западных политиков и редакции газет, но не менее важным было и первичное звено: мать Толи Ида Петровна Мильгром и его брат Леонид. Это они с помощью отказников и диссидентов добывали вести из Чистополя и передавали их Авитель. Мать и брат Щаранского вместе с другими отказниками не упускали случая встретиться с именитыми иностранцами в Москве, представляя, правда, отдельный случай — дело Щаранского.

И все же неизвестно, как долго пришлось бы тянуть Толю из тюрьмы даже с помощью столь мощных рычагов, если бы в самой стране не происходили — пока подспудно — глубокие перемены. В 1985 году Горбачев говорил еще только об «ускорении», а Шеварднадзе лишь прощупывал пути сближения с Западом. Впрочем, слухи о возможном освобождении Щаранского начали циркулировать с 1983 года, но дела закрутились позже, в преддверии женевской встречи Горбачева с Рейганом, которая должна была состояться в ноябре 1985 года. Из полуофициальных советских

¹ Галаха — нормативная часть иудейского вероисповедания.

источников поползли слухи: «Если встреча в верхах пройдет успешно, Сахарова и Щаранского обменяем». После женевской встречи двух лидеров в кругах, близких к канцлеру Колю, знали определенно: Горбачев хочет освободить диссидентов, но вынужден действовать осторожно, чтобы не спровоцировать партаппарат, не сорвать начинающуюся перестройку.

Оставалось ждать.

А в ГУЛАГе меж тем шла подготовительная работа. 26 декабря Толю перевели в тюремный госпиталь, начали давать витамины, делать уколы для улучшения сердечной деятельности. 22 января 1986 года его под конвоем отправили в Москву. И никаких объяснений: то ли новый процесс готовят, то ли какие-то показания потребуют, то ли... Утром 11 февраля его отвезли в аэропорт и посадили в самолет в сопровождении четырех(!) офицеров КГБ. «Куда мы летим, на Восток или на Запад?» Конвоиры демонстративно молчат. И Толя понял — на Запад. Лишь когда самолет начал приземляться, один из конвойных офицеров объявил Щаранскому, что уполномочен Верховным Советом СССР объявить ему, Щаранскому, что «за поведение, недостойное советского гражданина, он лишается советского гражданства и выдворяется из СССР».

Самолет приземлился в Восточном Берлине; у трапа ждал лимузин. И вот уже знаменитый мост Глинике, соединяющий две столицы, а, в сущности, два мира. Когда-то на нем встретились Гарри Пауэрс и Рудольф Абель, а сейчас должны встретиться четыре агента Восточного блока, арестованные в США, и четыре западных: трое западногерманских разведчиков и Щаранский. Правда американцы добились, чтобы Щаранского провели по мосту отдельно от других, с разрывом в пять минут...

Четыре шага через белую полосу, и «крестный ход» завершен; в ГУЛАГе Толя провел 3255 дней, из них 430 в карцере.

А во Франкфурте уже ждал специальный израильский самолет с врачом, с едой, с сюрпризом: в самолете была Авиталь! Только вот брюки забыли захватить, пришлось Мише Штиглицу уступить Толе свои. Так он и вышел к многотысячной толпе встречавших в аэропорту Бен Гурион — в брюках, волоочащихся по земле, так он и обнимался с премьер-министром Шимоном Пересом, с министром абсорбции раввином Ицхаком Перецем, с обоими главными раввинами Израиля. Так он говорил по телефону с Рональдом Рейганом, пожимал руки депутатам Кнессета, друзьям, знакомым...

Не было в этом море людей одного человека — Нехемии Леванона.

4. Третий Израиль

Откуда пошла сионистская зараза по земле советской? Из Риги и Вильнюса. Оттуда еще в шестидесятые годы тонкой незаметной струйкой началась эмиграция в Израиль, оттуда пошел еврейский самиздат, там появились первые смельчаки-активисты. Они же в конце шестидесятых стали и первыми «русскими» в Израиле. Оказавшись на новой родине, кое-кто из активистов не захотел возвращаться к частной жизни; опыт борьбы в Советском Союзе, полагали они, дает им право претендовать если не на участие в большой политике, то уж наверняка в том, что называлось «борьба за советских евреев».

На пути этих устремлений встал Нехемия Леванон.

Конечно, активистов из Риги, как и других беженцев от советского режима, раздражали в Израиле красные флаги на Первое мая, смущало всеисилие профобъединения Гистадрут, слово «социализм» выводило из равновесия. Ко всему прочему, рижане — по праву и без такового — причисляли себя к прямым наследникам рижского Бетара¹: в лице Нехемии Леванона они видели не государственного — пусть, плохого — чиновника, но идеологического врага. Нет, Нехемия не просто плохо делает свое дело, он делает его плохо сознательно, исходя из интересов «социалистов»; ведь алия из России грозит изменить соотношение сил между Маарахом и

¹ Бетар — аббревиатура (иврит): Союз Иосифа Трумпельдора — молодежная сионистская организация правой ориентации, созданная в Риге в 1923 г.

Херутом! Естественно, амбициозные рижане-бетаровцы оказались в партии Херут — под крылышком ее лидера Менахема Бегина, воспитанника, а затем и руководителя варшавского Бетара. Легко представить, что говорили они Бегину о «пресмыкательской» политике Маараха, о «саботаже» Лишкёй борьбы советских евреев, о Леваноне персонально. Бегин сочувственно кивал головой и разводил руками; он, дескать, всего-навсего лидер оппозиции; нужно тяжело работать, нужно свалить Маарах на выборы, и тогда...

«Тогда» наступило в 1977 году: на выборах в Кнессете девятого созыва блок Ликкуд получил большинство; Менахем Бегин стал премьер-министром, его сподвижники из числа русских бетаровцев не сомневались: руководство Лишкёй переходит в их руки!

Радовались они преждевременно.

Несмотря на репутацию «железного парня», Бегин был человеком сложным, противоречивым. Прежде всего он был интеллигентом старого фасона. (Когда в сентябре 1940 года энкавэдэшники явились в его квартиру под Вильнюсом, чтобы препроводить «врага народа» в Большой дом на проспекте Гедиминаса, Бегин сказал: «Подождите, господа, прежде я должен почистить туфли...») Он окончил юридический факультет Варшавского университета, был блестящим оратором и полемистом. Бегин слыл человеком чести и слова, но в политике не безрогавым популизмом. Во имя создания еврейского государства он шел на то, что теперь называется словом террор, но в то же время был убежденным сторонником парламентской демократии. Он много сделал, чтобы на заре государства, особенно после потопления парохода «Альталена», умерить пыл своих вооруженных сторонников, предотвратить гражданскую войну внутри ишува. И еще Бегин, в отличие от многих западных политиков, прекрасно знал, что такое советский строй: давным-давно в воркутинском Печорлаге поставил ему диагноз: «бесчеловечная система, превращающая людей в рабов». Но не принимал он как своих и борцов с советским режимом. Если кто-то хотел заслужить расположение бывшего сталинского ээка пламенными антикоммунистическими речами, Бегин непременно осаждал оратора: «Это хорошо, что Вы не попались на удочку марксистов, но было бы лучше, если бы Вы с таким же пылом отстаивали интересы еврейского государства».

Думаю, что к евреям из СССР он относился с недоверием, но по другой, нежели Нехемия Леванон, причине. Советский, главным образом, лагерный опыт свел его с двумя типами тамошних евреев: с теми, кто верой и правдой служил режиму — следователями, чинами НКВД и ГУЛАГа, и с теми, кто, отслужив, попадал в жернова карательной машины. В своих воспоминаниях Бегин обратил внимание на то, что и на вершине успеха, и в пропасти падения души этих людей одинаково пусты, лексикон однообразен, индивидуальность заменена классовая, в сущности, уголовной моралью.

* * *

Итак, Ликкуд победил, свершилась революция, от которой в Израиле ждали многого. Каждый — своего.

Поздравляя Бегина с победой, русские ликкудники из его окружения с нетерпением спрашивали: когда же будем выгонять Нехемию? Ответ Бегина их обескуражил: «Зачем же выгонять, этому человеку я доверяю...» Выяснилось, что в течение многих лет Нехемия, переодевшись и наклеив бороду, посещал дом Бегина и докладывал ему о состоянии дел с русской анией. Верный солдат своей партии, он тем не менее отдавал себе отчет в том, что алия — дело общенациональное, и считал своим долгом информировать лидера оппозиции. Мораль у него была все-таки индивидуальная... Надо думать, что попутно Нехемия информировал Бегина и о его русских сподвижниках: кто из них и сколько лет провел на комсомольской (или аналогичной) работе, прежде чем объявить себя бетаровцем...

До сего дня многие в Израиле считают, что в 1977 году Бегин предал своих русских соратников, обманул ожидания русской общины. Верно, положение русских эмигрантов при Ликкуде ничуть не изменилось, скорее ухудшилось. Сделавшись премьером, Бегин назначил на должность министра по делам алии и абсорбции не рижанку Лею (Лиду) Словин, а... Давида Леви. Это выглядело абсурдом: Лея Словин имела высшее юридическое образование, слыла умницей, из Риги вырвалась в

1969 году, уже зная иврит. Давид Леви, строительный рабочий, не окончил даже школы, не служил в армии (в Израиле это большой минус для мужчины), плохо говорил на иврите, хотя его привезли из Марокко в 1957 году. Но Леви представлял марокканские шикуны¹ и так называемые города развития, жители которых — выходцы из арабских стран — уже составляли половину населения страны. Русские ликкудники, не понимавшие действительных проблем нашей страны и механизмов ее политической жизни, были уверены, что Ликкуд — одна из сторон в противоборстве «социализм — капитализм». В какой-то мере это было так, но к власти Бегина привели не менеджеры компьютерных фирм, банкиры и крупные предприниматели, а марокканские торговцы, знаменитый иерусалимский рынок Махане Йехуда, где этот «поляк» произносил пламенные речи о том, как «белые обездолили черных», загнали их в города развития, превратили в людей второго сорта. А в ответ тысячи людей с горящими глазами скандировали: «Менахем — мелах Исраэль!»². Бегин совершил революцию не столько в области социальной, сколько в области межобщинных отношений, что, впрочем, никак не умаляет ее значения. Революция Бегина предотвратила взрыв на этнической почве (в шестидесятые годы по стране уже расхаживали «черные пантеры» — безработные марокканские мальчишки, обещавшие перевернуть страну вверх ногами), в значительной мере ликвидировала сложившееся в социалистическом Израиле социальное неравенство, вывела выходцев из арабских стран из иммигрантского гетто на политическую сцену, в руководство армией, Гистадрудом и т.д.

В этом новом, третьем Израиле русские оказались за бортом.

Ну, а Нехемия Леванон? Его звезда клонилась к закату. Сын партии, он привык добиваться своего партийным словом. Если что не так, он стучал по столу: «Я ухожу в отставку, но партия разберется, партия тебе покажет...». «Я ухожу...» — не раз угрожал он и Бегину. Однажды старомодный интеллигент пожал плечами: «Сделайте одолжение...»

Предательство Бегина и разочарование политикой Ликкуда не остановило попыток русских израильтян добиться политического влияния и достойной роли на общественной арене. Созданная еще в 1976 году Федерация сионистов России продолжала добиваться приема во Всемирную сионистскую организацию, из еврейского самиздата выросли толстые и тонкие журналы, газеты, мемуаристика, публицистика, энциклопедия... Русская пресса, равно как и русские посиделки, ульпановские тусовки и тревога за оставшихся в России родных и близких сближали выходцев из России, заставляли их действовать сообща. Проверку на прочность русской общине предстояло выдержать в июне 1981 года, когда должны были состояться выборы в Кнессет десятого созыва. К этому времени всем было ясно, что и Ликкуд, и Маарах в равной мере заинтересованы в том, чтобы держать русских в эмигрантском гетто как можно дольше. Нужна была своя партия, нужен был свой человек в Кнессете.

А тут и кандидат подвернулся.

* * *

В 1979 году в Израиле появился Эдуард Кузнецов, один из героев «самолетного дела», которого приговорили к смертной казни, но через девять лет отпустили к жене в Израиль. Появление героя стимулировало политические амбиции активистов от алии. На скорую руку была создана русская партия Нес, которую возглавили бывший самолетчик Эдуард Кузнецов и бывший москвич Ефим Файнблом. Простая арифметика показывала, что, включившись в предвыборную гонку 1981 года, Нес может получить достаточно голосов, чтобы провести в Кнессет одного, а то и двоих кандидатов.

Операция по захвату Кнессета провалилась столь же оглушительно, что и угон самолета. Конечно, ходило много разговоров, будто Лишкэ «составила заговор», будто другие партии беззастенчиво перекупали голоса русских избирателей. Что ж, дело обычное — политика: и в Лишкэ интриговали, и перекупили кое-кого из быв-

¹ Шикун (иврит) — квартал, район.

² «Менахем — мелах Исраэль» (иврит) — Менахем — царь Израиля.

ших активистов, но было и другое: готовясь к угону самолета, участники операции «Свадьба» забыли взять в компанию человека, который мог бы самолетом управлять; готовясь к выборам в парламент, лидер русской партии не удосужился выучить десяти слов на иврите или взять в компанию людей, пользующихся авторитетом не только в узком кругу....

Провал партии Нес окончательно развеял надежды русских выйти на общественную арену; Кузнецов уехал в Мюнхен на радио «Свобода», остальные «разошлись по домам»: началась застойная жизнь своей семьей, своим кругом, в своей общине. И вот тут-то выяснилось, что и без собственных представителей в Кнессете, и без влияния на политику жить можно совсем даже неплохо. Некогда ненавистная система абсорбции через два-три года оборачивалась за гроши приобретенной квартирой, новеньким японским автомобилем, ежегодными поездками за рубеж. Еще более важным оказался капитал, вывезенный с прежней родины: врачи становились врачами, инженеры — инженерами, учителя — учителями, писатели — чиновниками в банках. Постепенно стирался из памяти шок первых месяцев; «монстры»-чиновники подчас становились добрыми приятелями, с которыми можно было вспомнить «наши» времена, поругать новых «слишком требовательных» олим. Как-то само собой получалось, что еще недавно насмерть перепуганные, бледные и нелепо одетые эмигранты из России покрывались средиземноморским загаром, приобретали солидные жировые отложения и уверенность во взгляде, свойственную преуспевающим израильтянам. Таковыми, за редким исключением, становились те, кто рискнул в семидесятые годы встать в очередь в ОВИР, пройти все круги унижения и заплатить 500 рублей за розовую бумажку с дурацким названием «виза выездная обыкновенная». Через несколько лет многие из этих людей уже оставляли такую сумму на чай в ресторанах Тель-Авива, Реховота, Ришона или другого «респектабельного» города, где селились по-русски говорящие израильтяне.

Уходила в прошлое и Россия. Тревога за остающихся там знакомых и незнакомых отказников сменилась равнодушием — ведь все они теперь уезжали в Америку! Складывалось впечатление, будто русские в Израиле повторят судьбу немецких евреев. Образованные ечки — выходцы из Германии — приехали в Палестину еще в 30-е годы, но, так и не вписавшись в сионистско-социалистическое общество, держались своей общины, зато добились высокого уровня жизни, становились профессорами, инженерами и предпринимателями. Между русскими и немецкими евреями было, пожалуй, одно различие: за спиной немецких евреев остались лишь кладбища, за спиной русских — сотни тысяч собратьев, которые — бывают же чудеса! — когда-нибудь окажутся здесь, рядом.

Это когда-нибудь наступило раньше, чем думали даже те, кто верил в чудо.

* * *

Предвестник чуда явился 11 февраля 1986 года: Израиль встречал Натана Щаранского. В здании аэропорта собрался политический бомонд, летное поле заполнили толпы народа: люди пели, танцевали, размахивали флагами. Удивительно, но среди встречавших не видно было русских; вокруг самолета ликовали молодые парни в кипах, в таласах, кое-кто прихватил даже свитки Торы. Да и сам Щаранский счел нужным выйти из самолета в кипе. Русские наблюдали за всем этим по телевизору со смешанными чувствами: с радостью и сочувствием, но и с недоумением: они не могли припомнить, чтобы человеку из России устраивали столь пышный государственный прием. Конечно, Щаранский — герой и мученик, но его одиссея мало чем отличалась от судеб других узников Сиона¹, которые здесь, в Израиле, обивали пороги разных учреждений, чтобы выбить себе мизерные пенсии. Старожилы понимали: кто-то затеял большую игру вокруг этого парня. Но кто?

На заре сионизма, лет этак сто назад, главные раввинские авторитеты отвергли идею возрождения еврейского государства руками смертных: согласно Учению, государство народу Израиля должен вернуть Мессия. Основоположник сионизма Теодор

¹ Узник Сиона — полуофициальный статус, который присваивается в Израиле лицам, пострадавшим за сионистскую деятельность в других странах.

Герцль, эмансипированный венский еврей, не умевший даже сказать субботнее благословение, выделялся им большим еретиком, нежели правоверный еврей испанским инквизиторам. Авторитеты помельче — раввины-митнагдим¹ и тем паче хасидские цаддики² были смертельно напуганы сионистской заразой: молодые ребята и девушки уезжают в Палестину, днем работают на полях, ночью танцуют и поют у костров, о молитве и синагоге вовсе не думают; катастрофа, рушатся основы мироздания!

Катастрофы меж тем стали случаться все чаще, но вовсе не по вине сионистов: погромы, войны, революции, и снова войны, и снова революции. И более всего на востоке Европы, там, где только в одной Российской империи к началу века насчитывалось шесть миллионов еврейских подданных. Спасти можно было разве что бегством, и сотни тысяч бежали в Америку, Аргентину, Южную Африку. Кое-кто добрался и до Палестины. Ну а там, где евреи, там положено быть и их духовным пастырям; мало-помалу раввинские авторитеты изменили свое отношение к сионизму, повсюду в диаспоре возникли религиозные партии сионистского толка, а в подмандатной Палестине сложилась религиозно-административная иерархия — раббанут.

Бен Гурион держал раббанут в ежовых рукавицах. Лучше других он видел опасность, исходящую от синагоги. Новый человек, которого он мечтал создать, должен быть беззаветно предан Сиону, ему надлежит стать воином, киббуцником или рабочим на плантации. Ему некогда и незачем часами просиживать в синагоге; все это отдавало Галутом, отвлекало от главного. При всем том и сам Бен Гурион, и его сотоварищи-социалисты разделяли мнение, что еврейский народ сохранился благодаря религии. Конечно, был тут и политический расчет: в государстве, по замыслу его основателей, должен собраться «весь еврейский народ». Ну а что общего, кроме религии, у желтых йеменитов³, черных фалашей⁴ и бледнолицых литваков⁵? И раббанут терпели; ему на откуп отдали семейное законодательство: странным образом в социалистическом Израиле не оказалось места институту гражданского брака!

И религиозные круги в свою очередь лишь терпели светское государство, никогда в полной мере с ним не ассоциируясь, дожидаясь часа, когда можно будет заставить общество жить по законам Галахи. Время работало на раббанут: по мере того, как сионизм переключивал из сердец израильтян — прежде всего уроженцев страны — на флагштоки официальных учреждений, по мере того, как углублялся раскол между социалистическим прошлым и капиталистическим настоящим, религия начала играть все более заметную роль. Поворот наступил в 1977 году; от революции Бегина выиграли не только выходцы из арабских стран. Отныне, балансируя между правыми и левыми в Кнессете, мелкие религиозные партии получили возможность добиваться от правительств как Ликкуда, так и Маараха, разного рода уступок. Незначительные на первый взгляд, эти уступки медленно, но верно меняли характер израильского общества. У раббанута были все основания торжествовать.

Раввин Хаим Друкман считал, что торжествовать еще рано.

* * *

Я не помню, как звали раввина в нашем местечке, что учил меня, пятилетнего замухрышку, алеф-бет⁶. Я помню его глаза; они излучали свет. Мелкие шалости учеников огорчали его, крупные гадости членов общины ранили его сердце, но глаза его по-прежнему излучали свет. Его арестовали и обвинили в том, что он поджег штаб местной воинской части. Рассказывают, что, когда ему вынесли приговор — расстрел — он, почти не понимавший по-русски, спросил только, что такое штаб. Свет в его глазах не погас.

Быть может, это был свет Торы?

Глаза раввина Хаима Друкмана излучали огонь, которым он готов был испепе-

¹ Раввины-митнагдим — раввины ортодоксального иудаизма.

² Цаддики — главы хасидских общин.

³ Йемениты — йеменские евреи.

⁴ Фалашы — эфиопские (чернокожие) евреи.

⁵ Литваки — литовские и белорусские евреи.

⁶ Алеф-бет — еврейский алфавит.

лить каждого, кто осмелится нарушить букву Закона. А такие составляли большинство, и пока это было так, власть раббанута не была прочна. Рав Друкман это понимал, как понимал он и то, что сабру в синагогу не затащишь; рекрутировать под знамена Торы новых приверженцев можно было только из числа тех, кто приезжал из России.

Правда, первая волна советских евреев, прибывших в страну в начале семидесятых, не сулила раббануту ничего хорошего. Выросшие в атмосфере атеистического государства, эти люди, казалось, должны были изменить баланс сил в израильском обществе не в пользу религиозной его части. Тем не менее первые результаты работы миссионеров среди эмигрантов из СССР превзошли все ожидания. Мужчины без всякого нажима проходили процедуру обрезания, нееврейские жены — гиюр, русские евреи пополняли ешивы, вступали в религиозные партии, посещали просветительские центры. Кое-кто уходил в религию с головой.

Как такое могло случиться? Рав Друкман этого не знал, но причин было много. Одна из них — духовные поиски, начавшиеся еще в России. Если в шестидесятых годах еврейский интеллигент валом валил к священнику отцу Александру Меню, надеясь через религию приобщиться к русской духовности, то уже к середине семидесятых он почувствовал себя обманутым: крест на шее не отменял графы в паспорте, не делал его «своим». И вот этот же интеллигент уже мечется в поисках иной литературы, других наставников; он отпускает бороду, демонстративно отказывается от свинины... Да и в Израиле попытка заполнить духовный вакуум, преодолеть культурный шок привела в синагогу немало людей, которые до приезда сюда не имели представления ни об иудаизме, ни о религии вообще.

И все же основную массу русских, надевших в Израиле кипы разного цвета, отпустивших бороду, а то и пейсы, составили не те, кто искал бога. Мода на обрезание и гиюр наравне со сменой имен и фамилий была вызвана, увы, банальным приспособленчеством, причем вчерашние коммунисты, комсомольцы, всякого рода карьеристы оказались в первых рядах. И как не оказаться, если, скажем, какому-то провинциальному кандидату наук, ставшему «истово» верующим, перепадает «от бога» чек на крупную сумму для реализации проекта, признанного наукой несостоятельным. Как не примкнуть, если тебя, пьянчужку, пригрели в ешиве, дают на прокорм и требуют одного: не храпеть на занятиях. Как не примкнуть, если тебе помогают устроить детей в школу без наркотиков, приобрести квартиру, получить работу...

Был и еще один, чисто советский путь к богу. Путь этот лежал через тюрьмы и лагеря. Сколько людей разных возрастов, профессий, различного склада ума и характера приходили в ГУЛАГ атеистами, а выходили из него глубоко верующими! Самый известный из них — Александр Солженицын. Немало еврейских активистов, прошедших ГУЛАГ, вышли из него людьми глубоко, иногда фанатично верующими. Один из них — рижанин Иосиф Менделевич, тот самый, кто настоял на применении оружия во время операции «Свадьба», кто получил на процессе «самолетчиков» 15 лет лагерей и через десять лет был отпущен в Израиль. Это он, Менделевич, помог Наташе Штиглиц устроить религиозный брак с Щаранским, это он был ближайшим советником и опекуном Авиталь в течение всех лет, что она вела борьбу за освобождение мужа.

Само собой, путь к богу, если он не связан с соображениями конформизма, — дело тонкое, интимное, но трудно отделаться от мысли, что и путь Щаранского к иудаизму лежал через уральскую тюрьму и мордовский лагерь. Впрочем, каким бы ни был путь к богу выпускника физтеха, рав Друкман понимал: Щаранский — это величайшая находка. Вопрос стоял так: а не свернет ли бывший комсомолец, а затем правозащитник здесь, в Израиле, с пути истинного?

5. В гражданстве или в подданстве?

Статистика эмиграции в Израиль начиная с 1989 года потрясает воображение: 100 тысяч, 200 тысяч, 300 тысяч... Откуда взялись эти сотни тысяч? Ясно, люди бежали из страны; их гнал страх. Но и манила далекая Америка, куда они рассчитывали добраться по тропам, проложенным предшественниками. Почему же не добралась до благословенных берегов, почему оказались в Израиле? Секрета здесь нет: в течение многих лет Израиль добивался, чтобы в США перестали принимать людей,

выезжающих из СССР по израильским визам. В Вашингтоне не уступали; коль скоро права людей в СССР нарушаются, Америка считает своим долгом принимать бывших советских, каким бы способом они из той страны ни выбрались. Но как только стало ясно, что железный занавес пал, Вашингтон отменил привилегии для людей с израильской визой. В России многие тогда посчитали это верхом политического цинизма; когда мы были нужны, чтобы расшатывать советский режим, Америка нас принимала, когда же этот режим пал, американцы захлопнули двери перед нашим носом.

Тот факт, что 650—700 тысяч бывших советских евреев выехали из своих стран без борьбы за ту самую пресловутую визу, а в Израиле оказались вынужденно, без сантиментов к еврейскому государству и без малейшего представления об этой стране, сильно отличает этих людей от тех, кто приезжал сюда в 70—80-е годы. Еще больше их отличает другое: за спиной у новых русских израильтян нет пустоты, нет того железного занавеса, что опускался за их предшественниками, как только те пересекали советскую границу. (Помню, в 1981 году у известного московского отказника Александра Лернера умерла жена; его дочери, жившей к тому времени в Израиле, пришлось поднять на ноги чуть ли не весь мир, включая президента США, чтобы попасть в Москву на похороны матери. Прошло более десяти лет, мне довелось смотреть московское телевидение, где известный эстрадник Геннадий Хазанов отпускал шутки в адрес красно-коричневых. «А ты не боишься?» — крикнул кто-то из зала. Хазанов сунул руку в карман брюк, достал какую-то бумагу и стал размахивать ею над головой: «Вот это видели? Израильский паспорт видели? Вот вам!» У меня захватило дух — сейчас зал засвистит и затопает, а Хазанова выведут под белые руки. Зал заплодировал...)

Прошло еще немного времени, и никто уже не удивлялся, когда в Израиль поначалу отправлялись в качестве туристов; присматривались, принимались, а решив уехать «на постоянное жительство», оставляли за собой прежнее гражданство, часто квартиры и бизнес. И в России уже никто не удивлялся наплыву русскоговорящих израильтян, израильских актеров, музыкантов, спортсменов... Жить в Израиле, зарабатывая в России, жить в России, обучая в Израиле детей, держа там квартиру или сохраняя деньги, стало обычным делом. Конечно, кое-кто из бывших русских, не сумев устроиться в Израиле, уже вернулся домой. С другой стороны, какая-то часть израильских «новых русских» вошла в израильскую работу, втянулась в местную жизнь. Большинство же русских израильтян с паспортами, выданными после 90-го года, все еще не решили, какой из них важнее: синий или красный? Да они еще долго не смогут решить этот вопрос, ибо многое будет зависеть от того, как пойдут дела в России. Не станем гадать, какая тенденция возьмет верх в той стране, равно и какая часть бывших русских вернется на прежнюю родину; ограничимся констатацией факта: четвертый, русский Израиль уже состоялся!

* * *

Что известно об этом государстве?

Что там на каждом шагу говорят по-русски, что там не счесть русских газет, русских фирм и русских товаров. Что там есть русский театр, русское телевидение, страна наводнена гастролерами из России. Что чуть ли не каждый программист, врач и инженер — из России. Что там, на олимовском счету Паттах¹, хранятся — так говорят! — миллиарды «русских» долларов. Что на выборах 1996 года русский Израиль провел в Кнессет семерых своих представителей, причем двое из них получили министерские портфели. Все это впечатляет, но не дает ответа на вопрос: что ждет русский стан, который раскинул свои шатры во все стороны от Стены Плача; растворится ли он бесследно в израильском царстве или станет источником обновления, началом новых ветров, что задуют на холмах Иерусалима?

Сто лет назад на переломе века на просторах Российской империи гигантский социальный вулкан извергал лаву, докатившуюся до далекой турецкой провинции Палестины. Частичка этой лавы — российские евреи были заряжены неслыханной

¹ Паттах — специальный счет в израильских банках для новых иммигрантов, на котором они могут хранить средства, привезенные из страны эмиграции.

энергией, одержимы фантастическими идеями; они готовы были переделать мир, перекроить географию, переписать историю. Они презирали радости бытия, они готовы были пожертвовать собой ради светлого будущего. Принято считать, что этой энергии и этой идеологической одержимости достало на то, чтобы построить целое государство. Это, пожалуй, преувеличение; еврейское государство обязано своим рождением многим обстоятельствам, часто лежавшим вне сионизма, вне еврейского даже мира. Не будь второй мировой войны и гибели шести миллионов евреев, о kibbutznиках в Палестине сегодня в мире знали бы столько же, сколько знают о еврейских гаучо в Аргентине¹. Конечно же, евреи из России заложили немало камней в фундамент будущего государства; именно они построили на этом фундаменте тот самый социализм с местечковым лицом, изжить который страна пытается по сей день. Конечно же, выходцы из старой России не жалели сил, пота и крови, чтобы отстроить и защитить страну.

Ну а что привезли в государство Израиль внуки и правнуки его основателей?

Минимальный заряд социальной энергии, политическую инфантильность, отвращение к общественной деятельности, невежество по части свободно-рыночной экономики и связанный с этим страх перед участием в жизненной борьбе «один на один». По своему социокультурному типу российские евреи из «закваски революции» при Ленине, «второй интеллигенции мира» при Сталине и Хрущеве превратились в обывателей, замкнутых на самих себе, озабоченных приобретательством, устройством быта и т.п.

Исключение составила небольшая группа, чей багаж был бесценен.

Перед тем, как уйти с исторической сцены, советское государство подарило миру выдающуюся личность — Андрея Дмитриевича Сахарова. Конечно, не Сахаров избрал слова «права человека», но он превратил этот абстрактный юридический норматив международного права в социально-политическую концепцию, которая в XXI веке — будем надеяться — вытеснит все «измы» века предыдущего: социализм, капитализм, национализм и прочее.

Всевышнему было угодно поставить первые эксперименты с новой концепцией в России и, что бы ни говорили о теперешнем положении в этой стране, опыт с правами человека здесь удался. Удался в том смысле, что национальный консенсус, стихийно сложившийся в этой стране, предусматривает право на существование партий правых и левых, фильмов голливудских и мосфильмовских, мнений частных, заводов государственных, банков акционерных, крестов, полумесяцев, сексуальных меньшинств, сектантов и т.д. Но когда все это было далекой мечтой, в числе сподвижников Сахарова по диссидентскому движению было немало тех, кто позже оказался в Израиле. Им-то и был дан шанс попытаться решить главную проблему страны — еврейско-арабскую — так, как до них на Востоке решать проблемы было не принято.

* * *

10 ноября 1986 года израильские газеты опубликовали сенсационное сообщение: знаменитый сионист и не менее знаменитый правозащитник из России Натан Щаранский встретился в Иерусалиме с популярным арабским лидером Фейсалом Хуссейни. Речь шла о редакторе газеты «А-Ша'аб» Акрима Ханийе, которого власти обвинили в симпатиях к ООП, после чего выписали ордер на его депортацию из страны. Хуссейни, по его словам, сказал Щаранскому, что депортация человека за политические убеждения является нарушением прав человека, и просил содействовать тому, чтобы это решение не приводилось в исполнение. Как сказал Хуссейни, он увидел в Щаранском «великого человека, который способен смотреть сквозь политические и религиозные барьеры».

Помню, как взбудоражилась тогда наша общественность; одни решили, что Щаранский в самом деле герой, который явился, чтобы совершить подвиг: примирить арабов и евреев. Другие, напротив, закричали: «Караул, предательство!» Самый черный человек в стране (по меркам того времени), лидер правоклерикальной партии

¹ К 1914 году из Российской империи в Аргентину эмигрировало более 100 тысяч евреев, которые частично селились в с.-х поселениях фермерского типа.

Мораша раввин Хаим Друкман потребовал публичных извинений. И вот в среду 12 ноября в вечерней телевизионной передаче изумленные израильтяне увидели на экранах своих телевизоров Щаранского, который зачитывал по бумажке «разъяснение» по поводу встречи с арабскими лидерами. Тонем провинившегося школьника Щаранский объяснял телезрителям, что не знал, будто палестинская «делегация» ассоциирует себя с ООП; знай он это заранее, встреча никогда бы не состоялась. Многие были удивлены и разочарованы; рав Друкман торжествовал: отныне в этом человеке он может не сомневаться!

Конфуз с Щаранским отбил у других бывших российских диссидентов желание пересадить на израильскую почву великое сахаровское изобретение.

Что еще можно отыскать в багаже новых русских израильтян? Политические амбиции? Пожалуй; но не в смысле претензий на переустройство политики, экономики или социальной жизни; из постсоветской России эти люди вынесли представление о политической жизни как о борьбе кланов, борьбе «наших» и «ваших». Если старожилы из русских голосуют, как правило, исходя из того, как та или иная партия относится к миру с арабами, какова ее налоговая политика и т.д., то новые русские считают, что голосовать нужно «за своих»: глядишь, что-то и тебе перепадет! Эти люди, ничего не знающие о проблемах страны, и привели «своих парней» в Кнессет на выборах 1996 года.

Успех русской партии «Алия и Израиль» вызвал в русском граде эйфорию, придал силы многим его обитателям, способствовал переходу многих из них в разряд граждан. Но эйфории быстро проходят, и русские в Израиле скоро убедятся, что подсластить горькую пилюлю эмигранта не поможет никто, даже «свой парень» в министерском кресле. Им, как когда-то их предшественникам, предстоит убедиться, что успех эмигранта зависит от экономической ситуации в стране, от того, насколько разумен курс ее руководства. (Если жесткая линия нынешнего премьера Натаниягу приведет к возобновлению интифады или к войне с Сирией, станет ли легче русским израильтянам оттого, что семь депутатов Кнессета говорят по-русски?) Новым русским израильтянам скоро предстоит убедиться, что их судьба зависит прежде всего от них самих, от того, сколько сил, энергии и изобретательства готовы они положить на алтарь успеха. Они увидят, что главную роль в их жизни сыграет багаж, привезенный из России или оставленный там на хранение.

* * *

Как и положено журналисту со стажем, я написал множество статей. Статьи свои не храню, стараюсь о них не вспоминать. И знаю, почему: боюсь, будет стыдно. Уж очень я любил делать прогнозы, строить схемы, давать советы. Прогнозы мои не сбывались, схемы ломались при первом же соприкосновении с действительностью, рассуждения по прошествии времени, надо думать, выглядят наивно, а то и смешно. Но вот совсем недавно попалась мне на глаза пожелтевшая вырезка из газеты Ма'арив от 29 апреля 1974 года. Сохранилась она, возможно, потому, что была первой моей публикацией в этой престижной израильской газете. Перечитал ее и, к удивлению, обнаружил: это я тогда напроорочил цифру в один миллион, что приедет в Израиль из Советского Союза до конца столетия. Угадать-то я угадал, но это меня не обрадовало; давно, уже очень давно интересует меня вопрос не «сколько?», а «зачем?».

Когда Господь решил рассеять нас по свету, он ясно дал понять, зачем это делает. Много раз я задавал ему вопрос: для чего Ты вывел нас из земли русской в землю израильскую?

Никто не отвечает.

Январь 1997 г.

Григорий Чхартишвили

Похвала Равнодушию

Приятные рассуждения о будущем литературы

1. Вы и убили-с

Плач стоит по редакциям и «круглым столам».

Плохо русской литературе.

(Нерусской литературе тоже плохо, но русской особенно. Потому что она вообще особенная. И еще потому, что про нерусскую у нас не очень хорошо знают.) Русская литература привыкла, чтобы ее любили, а ее больше не любят. Хуже того — не читают. Посмотрите только, что творится с толстыми журналами, этим храмом литературы: по сравнению с триумфальным 1990-м тираж «Знамени» сократился в 79 раз, тираж «Дружбы народов» в 115 раз, тираж «Нового мира» — в 165 раз. Скверно.

То есть не то чтобы вообще не читали. Читают, но черт знает что. Не ЛИТЕРАТУРУ, а литературу. В списке бестселлеров «Книжного обозрения» — «Награда Бешеного», «Спутники волкодава» и «Профессия — киллер». А теперь представим себе, как выглядел бы перечень бестселлеров, скажем, 1989-го. Его возглавили бы «Колымские рассказы», «Верный Руслан», «Железная женщина», «Улисс», «1984». Как говорится, почувствуйте разницу.

Возникает первый, чисто русский вопрос — КТО ВИНОВАТ? Кто убил литературу?

СПИСОК ПОДОЗРЕВАЕМЫХ

(по оперативным данным писателей, критиков и редакторов)

1. Неправедное и недальновидное правительство, которое, к примеру, в нынешнем году отводит на армию (и это, с позволения сказать, армия?) средств чуть ли не в 100 раз больше, чем на культуру (и какую Культуру!!!).

2. Непродуманные рыночные реформы, приведшие к массовому обнищанию служивого интеллигента, главного читателя ЛИТЕРАТУРЫ и основного подписчика толстых журналов.

3. Жадные и беспринципные издательства, гоняющиеся за сиюминутной выгодой и завалившие прилавки всякой дрянью в соблазнительных для непросвещенного ума обложках.

4. Плохо работающая почта, которая практически отрезала читателей провинции от московско-питерских литературных житниц.

А я вот что скажу писателям, критикам и редакторам. Как кто убил? Да вы, вы и убили-с.

Зачем вы так хорошо делали свое дело? Зачем так самоотверженно звали за собой народные массы? Зачем так зло критиковали секретарскую литературу и вскрывали язвы? Зачем с таким азартом заполняли лакуны?

Ну хорошо, вот пришли народные массы более или менее туда, куда вы, писатели, звали — и звать их стало некуда. Благодаря вам, критики, массы поняли, что Проскурин — это плохо, а Платонов — хорошо, и не стали читать ни первого, ни второго. Из-за вас, редакторы, читатель избавился от комплекса неполноценности, восполнил пробелы в образовании и получил индульгенцию от дальнейшего чтения.

Все вы стали не нужны — во всяком случае *народным массам*. (О, плебс неблагодарный.)

Особое же коварство судьбы состоит в том, что всенародная любовь к литературе непосредственно перед падением испытала небывалый, головокружительный взлет.

Долгая страсть завершилась полагающейся по природе кульминацией, вслед за которой наступило столь же естественное охлаждение. Все мы помним, как в недавнюю перестроечную эпоху литераторы были героями и народными любимцами, все только и говорили, что о золотых тучках, арбатских детях, красных колесах и белых одеждах. Разве такое забудешь?

Литература вновь, как двести лет назад во Франции, сумела совершить чудо — свалить тиранию. Тирания не зря боится писателей, она знает, чего ждать от этой публики — от всех этих Вольтеров, Демуленов и Солженицыных. Обложенный в своем дворце взбунтовавшимися толпами Чаушеску твердил: «Я знаю, это Динеску все устроил», имея в виду поэта-диссидента Мирчу Динеску, про которого многие из бунтовщиков наверняка и не слыхивали. Кое-где на обломках тоталитаризма литература по инерции даже попала в государственные вожди — к добру ли, к худу ли (в Чехии к добру, в Грузии к худу). Не замешкайся Солженицын с переездом, вернись он на родину году этак в 91-м, непременно быть бы ему всероссийским аятоллой. А теперь поздно.

2. Разводим кактусы

Литература, конечно, не умерла и умрет нескоро. Она не в сырой земле, а на пенсии, на заслуженном отдыхе. Пенсия, правда, скудная, но уж не взыщите — шоковая терапия, основной удар пришелся по пенсионерам, а персональные пенсии за былые заслуги, как известно, отменены. Литература в России внезапно постарела, так сказать, поседела за одну ночь. Новые писатели, невзирая на молодость, кажутся куда более пожилыми, чем витальные шестидесятники. Когда придет возраст, Пелевин и Сорокин вряд ли будут держаться за юношеские одежды и вечную молодость, а в отличие от Евтушенко, Вознесенского и Аксенова состарятся быстро и с удовольствием.

Да и надо ли так уж бояться пенсионного существования? Золотая пора. Все обязательные дела сделаны, только теперь настоящая жизнь и начинается: хочешь марки собирай, хочешь в огороде копайся, хочешь кактусы разводи. Последний образ похищен нами из незабываемой статьи П. Басинского, который, признаваясь в ненависти к роману В.Пелевина «Чапаев и Пустота», прозревает проблему до самой сути: «Когда пространство литературы сужается до размеров подоконника, сеять на нем «разумное, доброе, вечное» по меньшей мере наивно. Другое дело — разводить кактусы. Они ведь для того и созданы: кичиться индивидуализмом формы». А кончается статья страстно: «Ненавижу кактусы!»

Ей-богу зря. Разводить кактусы интересно и приятно, это требует вдумчивости и обширного досуга. Вся штука в том, что русская литература к досугу пока не очень-то привыкла, все норовит, подобно старому полковому коню, при отдаленных звуках трубы стукнуть копытом и тряхнуть гривой, но это скоро пройдет. Привыкнут и критики, будут по-прежнему писать не о романах, а друг о друге, но уже с чистой совестью — ведь этот жанр ничуть не зазорнее любого другого. А П. Басинский оценит красоту и жизнестойкость вечнозеленого колючего жителя подоконников.

3. Писатель как термометр

Общество часто (и справедливо) сравнивают с человеческим организмом. В таком случае литература — градусник. Градусник становится важным, даже сакральным предметом, когда организм болен: стеклянная трубочка лежит на самом почетном месте, у изголовья больного, на зловещий столбик ртути смотрят с замиранием сердца. Смотрите, пополз вверх — ой, пиши пропало. Когда литература взмывает градусам эдак к сорока, жди бреда, сиречь революции.

Но стоит организму выздороветь, и о градуснике сразу забывают, он превращается в предмет скучный и ненужный, его место — в глубине шкафчика, за клизмой и мозольным пластырем.

Литературе хорошо, когда обществу плохо, когда оно болеет. Что значит «литературе хорошо»? Она — Важное Дело, а писатель — Очень Важная Персона: его слушают, затаив дыхание, а власть его боится — сажает в тюрьму, стреляет, затыкает рот.

Когда литературе становится хуже — это верный признак начавшегося выздоровления общества. Народная примета: если писателя не тиранят и не казнят, если на него перестают обращать внимание, это значит, что вы живете в свободной стране. Разумеется, в свободной стране при этом может твориться любое безобразие (разгул коррупции, междоусобица, социальное расслоение), но свобода во всяком случае наличествует, а она для писателя, как солнце для электрического света: заглянуло в окно, и никто тебя не замечает, хоть сто лампочек включи.

Писатель в России больше в розыске не значится. Какой-нибудь служака от тупости и излишнего усердия еще может засадить в КПЗ писателя-эпатажника, но ненадолго и с ущербом для собственной карьеры (а эпатажнику только дополнительная реклама). В прежние времена стихотворчество Алины Витухновской послужило бы для следствия отягчающим вину обстоятельством, а теперь, наоборот, помогло общественности вытащить поэтессу из камеры. Будь она обычной девочкой, а не поэтессой, ПЕН за нее не вступился бы, и сидела бы долги. Рады были бы Проханов или Лимонов за свою пассионарность попасть в узилище, да только кому они нужны, кому опасны?

Да полно, так ли уж плохо для литературы, когда она не в почете? Так ли уж нужна писателю всенародная любовь? Сильно ли любили при жизни Кафку, Джойса, Платонова? Отличная штука — равнодушие. Никто не хватает за лацкан, никто не домогается автографа, никто не трезвонит с утра по телефону. Сиди, писатель, пиши. Ты царь, живи один. А к равнодушию нужно привыкнуть. В конце концов, не мы первые.

4. Зона равнодушия

Первыми жить в зоне равнодушия привыкли литераторы передового Запада. Успели обжиться в ней, обустроиться. Поскольку мир последние лет триста движется по западному вектору, старательно следуя за атлантическими первопроходцами, можно предположить, что и мы доберемся туда, где сейчас находятся они. Только с некоторым опозданием.

Литературе там плохо уже давно. Глобальные темы, титанические конфликты, одним словом, *макролитература* — удел поп-беллетристики. Судьбами народов и эпохами там вершат писатели коммерческие вроде Джеймса Миченера, создавшего целую библиотеку по-глазуновски масштабных, умереннопознавательных романов для домохозяек: «Польша», «Гавайи», «Иберия», «Космос» и так далее. Читаешь — от размаха дух захватывает. Совсем свежий пример такого рода макролитературы — бестселлер Джеймса Редфилда «Пророчества Небесной долины», где в антураже погонь и перестрелок сосредоточена вся мудрость древней и современной философии (за два года 13 переизданий, полтора миллиона проданных экземпляров, гарантированный успех романа-продолжения).

Серьезные же писатели (не в том смысле, что шутить не умеют, а серьезно относящиеся к тексту) сосредоточились на *микролитературе*, то есть занялись пресловутым разведением кактусов, причем совсем маленьких, можно сказать, минималистских. Когда я начинал работать в журнале «Иностранная литература» и тоннами читал современную западную литературу, меня не уставляло возмущать бесконечное мелочное копание авторов в тончайших нюансах отношений между родителями и детьми, мужьями и женами, братьями и сестрами. Как им всем не надоест писать роман за романом о душевной травме героини, которая в далеком детстве увидела, как папа изменяет маме, недоумевал я. У нас-то грохотала Перестройка, на страницах «Нового мира» и «Знамени» лились реки крови, гибли миллионы, рушились храмы старой веры и воздвигались новые.

А еще у нас в то время было десять тысяч профессиональных писателей, и всех их литература, которой тогда было хорошо, кормила. На Западе писателей, живущих только литературным трудом, единицы. Все остальные разводят кактусы в свободное от работы (университетского преподавания, как Малькольм Бредбери, заседаний в суде, как Герберт Розендорфер, лечения больных, как Оливер Сакс) время.

Учителя жизни в зоне равнодушия — философы, а не писатели, которым дай Бог в собственной жизни разобраться. И это правильно. Запись *writer* или *poet* в анкетной графе «род занятий» выглядит крайне несолидно и у чиновников вызывает

настороженность, в чем легко убедиться русскому литератору, взыскующему гостевой визы в американском посольстве.

При этом, поскольку литература существует в зоне равнодушия уже давно, сформировалась пусть не широкая, но стабильная аудитория искушенных читателей, которая для настоящего писателя гораздо желанней аудитории широкой, но профанной (на этой ниве урожай пусть собирает коммерческая беллетристика). Однако время от времени шумный успех и большие деньги выпадают даже немассовым писателям. Все-таки, не будем забывать, большую часть общества на Западе составляет средний класс, а это понятие предполагает определенный уровень образованности и начитанности. Молодежь в благополучных странах учится со вкусом и подолгу, лет эдак до тридцати пяти, и все это время — подумать только — читает книжки. Если по случайности или точному писательскому расчету роман верно нащупал какой-нибудь из нервных центров среднего класса, книга может оказаться в самом верху списка бестселлеров, разойдись миллионами экземпляров. В 70-е годы это произошло с головоломным философским романом Роберта Пирсига «Дзен и искусство ухода за мотоциклом», в 80-е — с романом Умберто Эко «Имя розы», в 90-е — с романом Джона Форда «День независимости» (главный герой — торговец недвижимостью; кульминация — сыну главного героя попадают в глаз бейсбольным мячом, но медицина не дает мальчику окриветь; объем — 500 страниц).

В общем, картина получается такая: литература на Западе хоть и не сидит в президиуме, но вполне жива и чувствует себя неплохо. В последнее время боится Интернета, но не так чтобы сильно — раньше куда сильнее боялась телевизора, а обошлось. Как сказал в интервью автору этих оптимистических заметок Джон Ирвинг: «Я не думаю, что моя профессия под угрозой. Не верю, что повествование и читательская аудитория когда-нибудь выйдут из моды. Телевидение, электронные средства информации, повальное увлечение компьютерами и дисплеями никогда не заменят особого, *приватного* наслаждения, которое испытывает человек, беря в руки книгу. Это очень интимное переживание. Ты наедине со своими мыслями и чувствами. В кровати, в поезде, в самолете. Это единственный вид искусства, когда ты один на один с автором... Нет, я за книгу не волнуюсь.» И правильно, не надо волноваться.

В 90-е годы у писателя зоны равнодушия вновь появилась общественно важная, пока еще по достоинству не оцененная функция. Цензура политической корректности, порожденная самыми похвальными намерениями, как-то незаметно и в то же время удивительно быстро создала целую колючую изгородь всевозможных табу, что изрядно ограничило (прежде всего в США) свободу слова. Но на художественную литературу это поветрие, слава Богу, не распространяется, и она продолжает оставаться областью полной, почти реликтовой вседозволенности: только в романе можно обозвать афроамериканца черномазым, а женщин — безмозглыми курицами, можно даже (устаами отрицательного персонажа) сказать что-нибудь неприязненное про гомосексуалистов. Только не в интервью, не в публицистической статье и не в частной беседе, ибо всё это, в отличие от литературы, жанры ответственные. В том смысле, что могут к ответу призвать, и тогда уже твоих книжек никто ни читать, ни продавать (да и печатать) не будет. Что, возможно, и правильно.

Скандално некорректный Чарльз Буковски стал богат и знаменит лишь на исходе своей непуτευой жизни, в самый разгар политкорректных страстей. Спасибо равнодушию. Fiction*, она и есть fiction, что с нее взять. Фикция. Писаное пером ни к чему вырубать топором, за словом-воробьем не стоит и гоняться. Пусть себе летает.

А ведь были и на Западе золотые для литературы времена, когда к писателю относились уважительно.

5. По местам боевой славы

Не будем забредать ни на 2000 лет в прошлое, когда за совращение молодежи и оскорбление богов осудили на смерть Сократа, ни на 200, когда по точно такому же обвинению тридцать лет продержали в тюрьмах и психушках противного де Сада. Отметим только формулировку афинских судей, ибо суть обвинений в адрес литера-

* Художественная литература (англ.).

туры не претерпела изменений и в нашем столетии: либо совращение молодежи, либо оскорбление богов, либо и то, и другое по совокупности.

В двадцатый век писатель Запада вступил уже персонажем второстепенным и даже несколько сомнительным, ибо к тому времени уважение к свободе творческого самовыражения успело довольно прочно утвердиться по обе стороны северной Атлантики. Цензуру первой отменила либеральная Англия (аж в 1695 году), а после того Запад пережил и просвещенный абсолютизм, и революции, и «Декларацию прав человека и гражданина», и Первую поправку к американской конституции. Времена Большого Поступка для литературы уходили в прошлое. Последним из титанов был Эмиль Золя (одноглазый позер Д'Аннунцио не в счет). Даже католическая церковь, многолетний почитатель писательского слова, наконец-то отменила знаменитый Index Librorum Prohibitorum, «Список запрещенных книг», отказав писателю в надежде на высший комплимент — сожжение книги на костре. Одним словом, в начале века виды на мученический венец и, соответственно, величие у западного писателя были довольно безотрадны. То-то литература и распоясалась, немедленно забыла о респектабельности и общественном долге, пустилась в декадентские, дадаистские, имажистские и прочие изыски.

Но и позже, во второй половине нашего века, зигзаги истории то и дело превращали кактусовода свободного Запада в общественно значимую Фигуру, осененную вниманием компетентных органов и публичным осуждением. Схема все та же: когда общество заболело, козлом отпущения немедленно оказывался писатель, и писательское слово обретало весомость Тяжкого Преступления. В годы второй мировой войны и сразу после нее всеобщее безумие охватило не только тоталитарные, но и вполне демократические страны. Лишь послетравматическим психозом можно объяснить суд над 86-летним нобелевским лауреатом Гамсуном или 12-летнее заточение гениального сумасброда Паунда. Теперь, полвека спустя, эти акты народно-государственного гнева принято осуждать, а отношение к обоим страдальцам сочувственное и даже немножко восхищенное — как же, последние мученики западной литературы.

Для американской литературы драгоценное воспоминание — золотые времена маккартизма, когда люди искусства вдруг оказались в непривычно лестной роли опасных преступников; вся страна гадала, кто еще из писателей окажется скрытым коммунистом, а в библиотеках госдепартамента — вот она, слава! — жгли книги неблагонадежных авторов.

Но политические преследования в нашем столетии — для оксидентального писателя удача все же редкая, почти экзотическая. Главные эпизоды в общественной биографии западной литературы были связаны не с политикой, а с этикой и эстетикой. Выразимся точнее — с эротикой. На первый взгляд, проходить по этой статье для писателя менее почетно, чем подвергаться гонениям за политические убеждения — и не так импозантно, и вроде бы несколько комично (телесный низ как-никак), да и просто неприлично в конце концов. Но это только на первый взгляд. Политическая злободневность для литературы — лишь исторический этап, а вот право писателя на свободное самовыражение — ценность совершенно вечная. Получается, что баталия за возможность употреблять в литературе *любые нужные писателю слова* не менее важна, чем отстаивание невинности капитана Дрейфуса.

В почетном списке репрессированных по этой статье писателей чуть ли не весь олимп западной литературы XIX и XX веков: Флобер, Мопассан, Золя, Джойс, Лоуренс, Драйзер, Фолкнер, Набоков, Жене, Миллер, Мейлер, Гинзберг, Берроуз и проч., и проч. Глава Нью-Йоркского общества борьбы с пороком Э. Комсток (1845—1915), по его собственным словам, засадил за решетку «столько писак, что хватило бы заполнить железнодорожный состав из 61 вагона по 60 пассажиров в каждом». Если верить биографам Комстока, он довел до самоубийства пятнадцать (!) писательниц, а писателей, должно быть, и того больше.

Другой ревнитель нравственности, оставшийся безымянным, скупил в Дублине весь тираж романа Джойса «Дублинцы» и сжег, чтобы книга не попала к читателям. Но больше всего, конечно, впечатляют судебные процессы против литературы, проведенные со всей обстоятельной помпезностью демократического судопроизводства. Долгие годы в англо-американской судебной практике использовалась так называемая Доктрина Хиклина, санкционирующая запрет книг, в которых суд усматривал опасность для «душ, не защищенных против безнравственных влияний». Пользуясь этой туманной формулировкой, облаченное в судейскую мантию ханжество высосало тонны крови и у толстокожих издателей, и у тонкокожих писателей. Даже в тради-

ционно толерантной Франции, где писательский дар спас вора-рецидивиста Жана Жене от пожизненного тюремного заключения, уже в 60-е годы владелец издательства «Олимпия-пресс» за английский перевод «Богоматери цветов» того же Жана Жене был осужден на тюремный срок, огромный штраф и 80-летнее запрещение издательской деятельности.

Десятилетиями продолжалась великая битва вокруг гениталий, верх брала то одна сторона, то другая. Временами доходило до бурлеска. Например, в 1933 году американский судья Дж. Вулси, которому предстояло определить судьбу «Улисса», провел уникальный в истории судопроизводства эксперимент: он вызвал в качестве независимых экспертов двух мужчин «средней чувственности» и прочел им вслух некоторые пассажи из романа, дабы проверить, придут ли слушатели в эротическое возбуждение. В тот раз Джойсу повезло — у мужчин «средней чувственности», слава Богу, эрекции не случилось, и американцы получили возможность читать «Улисса» без ущерба для законопослушности.

А чего стоит история «лолителяжбы», как обозвал Набоков эпопею с изданием «Лолиты»!

Но в конце концов писатель на Западе лишился и этой последней привилегии. Литература наносила общественной морали запрещенные удары ниже пояса так долго и методично («Плевки в морду Искусству, пинок под зад Богу, Человеку, Судьбе, Времени, Любви, Красоте» — так сформулировал суть своей наступательной тактики автор «Тропика рака» Генри Миллер), что мораль преодолела болевой порог — произошло это лет тридцать тому назад. Тут-то и стало писателю в западном мире совсем скучно, интересная жизнь осталась уделом литературы за железным занавесом, а когда занавес рухнул, переместилась еще дальше к Югу и Востоку. Вот где сегодня истинный оплот равнодушия к писателю.

6. Зона равнодушия

В девяностые годы двадцатого столетия писатель все еще является фигурой класса VIP во многих странах с жарким климатом. По иронии судьбы, это по большей части общества, где литературе большими творческими успехами хвастаться не приходится. А впрочем, ирония здесь неуместна: позволим себе истинно русское, литературоцентристское предположение: *писатель там своей общественной миссии еще не исполнил*, оттого и толерантность/равнодушие пока чужды этим афро-азиатским просторам.

Отчаянную, можно даже сказать, катастрофическую потребность в писателе испытывает современный исламский мир: чем неистовой напор фундаментализма, тем острее ощущимо слабое присутствие литературы. Ее не хватает, как кислорода в высокогорьях Гиндукуша. Чем как не полным отсутствием собственной литературы можно объяснить иранскую фетву, обрушившуюся на бедного Салмана Рушди, который и не иранец вовсе и даже в общем-то не азиат, а вполне космополитичный и респектабельный представитель британского литературного истеблишмента? Это классический пример фатальной страсти тоталитарного режима к литературе: когда нет реального предмета obsesии, его выдумывают. Ведь что, собственно, произошло? Писатель-интеллектуал, буковровский лауреат написал длинный, витиеватый и довольно скучный роман о самоощущении человека двух культур, восточной и западной. Вряд ли кто-нибудь прочел бы эти злополучные «Сатанинские стихи», кроме критиков и избранной публики, а уж шансы стать бестселлером у романа были заведомо невелики. Гнев Хомейни, видимо, был вызван не богохульством, которого в «Сатанинских стихах» нет и в помине, а присутствием в книге несимпатичного персонажа, именуемого Имам, который замыслил остановить Время. Прямо скажем, угрозы для исламского мира и иранского государства эта колкость никак не представляла. Однако чем закончился экскурс аятоллы в область критического разбора художественной литературы, известно: блазирванный и циничный кактусовод Рушди превратился в символ мужества, творческой независимости и личной свободы, безмерно страдающий от выпавшей ему героической роли.

История с Рушди — самый громкий пример того, как современный исламский фундаментализм буквально за уши тащит литературу к величию. Самый громкий, но далеко не единственный. В относительно либеральном Алжире роль пропагандистов литературы взяли на себя религиозные фанатики, которые за последние четыре года

убили 58 литераторов. Убивают их, неверных, и в Египте. В прошлом году на берегах Нила разыгралась целая трагикомедия из-за книжки с некоммерческим названием «Критика религиозного дискурса».

Некий Наср Абу-Зеид, университетский профессор и писатель, издал скромный, рассчитанный исключительно на академическую среду трактат, где писал о возможности интерпретации священных мусульманских текстов с учетом социально-исторического контекста. Только и всего. И тут повторился сценарий с Рушди: общество, удовлетворяя растущую потребность в ритуальном литературном всеожжении, потребовало книжного червя к священной жертве. Абу-Зеид угодил под суд, и этот орган приговорил писателя к принудительному разводу с женой, ибо мусульманской женщине не пристало состоять в браке с вероотступником. Террористическая группировка «Аль-Джихад» (члены которой вообще-то дискурсами на досуге не зачитываются) восприняла решение суда как лицензию на убийство, и над писателем нависла угроза смерти. Пришлось ему вместе с женой спешно бежать за границу. Хотите прочесть строки, за которые писатель в Египте 1996 года может лишиться не только жены, но и жизни? Цитирую:

«Текстов, свободных от исторического контекста, не существует. Коран тоже представляет собой текст, а стало быть, исключением не является и может стать объектом интерпретации... Это вовсе не означает, что я сомневаюсь в божественном происхождении Книги, но Господь ниспослал Свое вечное Слово Мухаммеду в Аравии VII века, то есть в конкретном месте и в конкретное время, поэтому я и называю Коран историческим текстом. Если вечное Слово Божье существует в сфере, недоступной человеческому знанию, то текст, причем текст исторический, вполне может быть понят человеком и исторически интерпретирован.»

Сильно же нужно уважать писательское слово, буквально в лупу его рассматривать, чтобы усмотреть в этих благонамеренных рассуждениях вызов религии — особенно если учесть, что мусульманское богословие на протяжении веков только и занималось тем, что интерпретировало Коран.

Хороши дела у литературы и в Китае, который идет в двадцать первый век своим особым, нередко воспеваемым у нас путем: партия проводит рыночные реформы, уровень жизни неуклонно растет, а писатели сидят в тюрьме, бегут за границу или (в лучшем случае) не имеют возможности печататься. На сегодняшний день, по сведениям Международного ПЕН-клуба, 27 китайских литераторов выполняют не литературную, а сугубо общественную миссию — гниют за решеткой с длиннющими сроками. Зато писателям-эмигрантам и диссидентам пишется столь же хорошо, как в недавние времена нашим эмигрантам и диссидентам. Можно сказать уверенно: за китайскую литературу волноваться не приходится, у нее большое будущее.

Похожая ситуация во Вьетнаме и Бирме. В минувшем году в Бирме произошла, например, такая история: три зека-писателя посмели обратиться за помощью в ООН, после чего их (по сведениям все того же ПЕН-клуба) пересадили в собачьи будки и навесили им новые сроки. Кому-то, может, сидение в собачьей будке и позор, а писателю это вроде трона. Для литературы терновый венец, разумеется, всегда желаннее золотого.

В большой стране Нигерии в 1995 году повесили писателя Кена Саро-Виву, президента Ассоциации нигерийских писателей. Повесили, проигнорировав бурные протесты мировой общественности, по сфальсифицированному обвинению в убийстве. На самом деле — за то, что написал книгу, которая осуждала разрушительную для природы и человека политику правительства. Не правда ли, веревка — признание поубедительней, чем наши букеры-антибукеры?

Видное место на международной доске писательского почета занимают и некоторые наши партнеры по Содружеству независимых государств: Узбекистан, Туркмения, Таджикистан. Там писательское слово нынче в большой цене. Впрочем, это тема для отдельной статьи, совсем в другом жанре.

7. Надежда остается

Только не надо думать, что литература обречена и ее всемирная демобилизация — лишь вопрос времени: вот сравняется сонный Восток с бессонным Западом, как это уже сделала полусонная Россия, и тут-то Литературе с большой буквы настанет повсеместный и бесповоротный конец.

Выше мы писали, что последние триста лет мир движется по западному вектору. Но вектор, похоже, намерен измениться. Восток устал послушно следовать за Западом и хочет идти собственным путем. Убедительное тому подтверждение — уже упомянутый натиск исламского фундаментализма, отвергающего все заветные западные ценности. А еще есть огромный Китай. Футурологи недаром любят порассуждать о том, что двадцать первый век будет веком Китая. Будет, непременно будет — как же иначе? Стало быть, реальная перспектива завтрашнего дня — поворот от протестантского индивидуализма к восточному коллективизму. И тогда писатель, вечный борец за приватные ценности в противовес ценностям коммунальным, снова окажется в оппозиции и вернется в строй.

Впрочем, не всё потеряно для писателя и в современном западном обществе. Еще неизвестно, до какой степени удастся политической корректности выхолостить культуру — дураков-то везде хватает, а когда они начинают слишком усердно молиться, лбу это не на пользу. В Голливуде и на телевидении уже сейчас неписанных правил почти столько же, как у нас во времена Госкино и товарища Лапина, — введен жесткий лимит на отрицательных темнокожих, несимпатичных гомосексуалистов и положительных охотников. С точки зрения педагогической это правильно. С точки зрения искусства ужасно. Если же ограничения, навязываемые массовым жанрам, распространятся на литературу, можно ждать политкорректорских процессов над писателями, запрета книг и прочих интересных событий. Глядишь, и на Западе литература еще тряхнет стариной.

Но больше всего нас, конечно, занимает Россия.

Сегодня отечественная литература чувствует себя глубоко и незаслуженно обиженной. Поскольку на читателя и подписчика обижаться бессмысленно в силу размытости адресата, в жалобах литераторов преобладают упреки в адрес власти: не зовет на совет, не дает денег, не жалуется привилегиями. С властью писатель в России, как известно, очень долго находился в особо интимных отношениях любви-ненависти (Александр Сергеевич — Николай Павлович, Борис Леонидович — Иосиф Виссарионович и проч.). Власть начала относиться к литературе серьезно двести лет назад — из Третьяковского еще делала шута, а Новикова уже сочла достойным Шлиссельбурга. В периоды особенно острого кислородного голодания, когда гайки закручивались до визга, значение литературы многократно возрастало, и даже осторожный великосветский либерал (Державин, Жуковский, Эренбург) мог стать властителем дум и народным героем. И каков же итог двухвековых усилий? Новая демократическая власть оплатила литературе (которой, заметьте, всем, абсолютно всем обязана) черной неблагодарностью. Правда, *прежняя власть* тоже всем была обязана литературе (тебя, твой трон я ненавижу — декабристы — Герцен — зеркало русской революции — глупый пингвин робко прячет). И литература *прежнюю власть* любила долго, любила по-бабьи, без логики и рассудочности: пока власть самодурствовала, казнила писателей ни за что, хранила ей верность, а разлюбила ее тоже непредсказуемо — когда писателей (Синявского и Даниэля) наконец-то посадили не просто так, а за дело.

И вот перегорело. Ни любви, ни ненависти, лишь оскорбительное равнодушие.

Но отчаиваться рано. Вы заметили, как в прошлом году, накануне президентских выборов, зазвенел полузабытым публицистическим металлом голос Писателя? А как же — отечество в опасности. И оно еще не раз будет в опасности, вот увидите. Скажем, въедет на белом коне какой-нибудь (собственно, уже известно какой) Перехват-Залихватский, упразднит науки... Тут-то писатель и оживился бы — нырнул бы сначала в котел с водой вареной, а отудова со студеной, и снова такой бы стал молодец, что хоть тут же под венец.

Пока же литература отдыхает. И кажется, что все в прошлом — интересная жизнь, потрясения, любовь. Нет былого куражу, нет жуа-де-вивр. И счастья нет.

Но есть покой и воля.

Наталья Иванова

Случай Маканина

Проще всего было обмануться — вязаными шапочками петушком, тусклыми лампочками в вонючих подъездах, хлопающими дверьми, оттепельно-грязными лужами. Чувствуя, что попадает впросак, простодушная критика морщила лоб: если не быт, не пейзаж, что — модель? теорема? формула, где понятия названы для наивных читателей именами и фамилиями?

Пристрастие автора к навязчивым, зеркально-симметричным сюжетам и мотивам, к эмблематичности и повторяемости ситуаций отталкивало — как свидетельство особого, внехудожественного расчета. Если не расчетливости авторской. И одновременно притягивало, как к шахматной задаче, решение которой неясно, но, конечно же, существует. Если бы Маканин не начал задолго до компьютеризации, именно его прозу критики поименовали бы компьютерной.

«Свой круг», скажем словами Петрушевской, персонажей, мучимых сходным — или симметрично, повторяю, противостоящим, но безусловно находящимся в неразрывных отношениях с другим — сюжетом. Персонажей, пытающихся либо выстроиться, отгородить, отвоевать («получить»), либо обменять свою территорию жизни, свое место под солнцем. Закрепиться в своем месте, доме — в послевоенном бараке, в убогой коммуналке, в хрущобе, сквозь стены которой звук проходит так, что возникает общая среда с соседями, странная жизнь, жизнеобмен. Или мучительно, обдираясь в кровь, вновь и вновь искать свое место — через узкий, зарастающий «лаз» между двумя мирами, ни в одном из которых маканинский герой не чувствует себя в безопасности.

Персонажи переходят из рассказа в рассказ, из повести в повесть. Один из постоянных (ключевых?) носит фамилию Ключарев. Он же — несчастливый счастливчик, чья удача прирастает неудачами некоего Алимущкина (рассказ, в котором он, кажется, впервые появляется, — «Ключарев и Алимущкин»).

В статье о прозе Маканина, напечатанной осенью 96-го в «Нью-Йорк таймс» в связи с выходом в США его первой переводной книги, включившей две повести одного (1991) года, отмечено: послечеховские герои поселяются в художественном пространстве Сальвадора Дали.

Один из рассказов позднего Маканина так и называется — «Сюр в Пролетарском районе».

Чужеземная приставка, ставшая у нас словечком, «сюр», придет к Маканину гораздо позже, чем упрямая суть его в высшей степени определенной манеры.

По году рождения Маканина можно было бы причислить к шестидесятникам. По возрасту, но не по литературному происхождению: он не из московского или питерского круга (или кружка). Его первые опыты не были предьявлены благожелательным мэтрам, не появились в катаевской «Юности». Молодость шестидесятников была прекрасна и соблазнительна, несмотря на партийно-государственные окрики и разборки. Чем резче были окрики, тем отчетливее слава. Маканину всего этого не досталось.

«Отставший» — так названа маканинская повесть середины 80-х о юноше, обладающем особой одаренностью. Он — воплощенное чувствилище — каким-то внутренним слухом слышит и ощущает то, что другим недоступно. И — по-своему, конечно — отстаёт от них. Но и по-своему опережает, отставая. Так и Маканин: «отставший» от шестидесятников. Но и оставшийся актуальным именно тогда, когда шестидесятников подвергли поколенческой «экспертизе». Впрочем, и в случае с экспертизой «отставший», можно сказать, всех опередил.

Еще в 1985-м «Октябрь» печатает повесть «Один и одна», вызвавшую, пожалуй,

самую жаркую вокругмаканинскую дискуссию. Именно в этой повести Маканин покусился — не столько на самих шестидесятников, сколько на миф.

Герой — по некоторым биографическим деталям, включавшим ссылку-распределение москвича в Кострому — напоминает покойного ныне Игоря Дедкова. Помню, как расшифровывалась мною эта маканинская повесть, помню живое чувство протеста — появилась она накануне «гласности и перестройки», давшим шестидесятиникам еще один исторический шанс. Тогда же мне казалось, что нелепой гибелью — да и ничемностью своих героев — Маканин несправедливо перечеркнул поколение.

Теперь уже — после нашего бешеного по темпам изменений десятилетия (1986—1996) — стала очевидна не *правота* Маканина, — нет, я в этой правоте сомневаюсь и сейчас, — сколько *право* его на жесткий взгляд.

Тем более, как я уже сказала, — и он сам родом оттуда, из 60-х. Не чужой. И критика его — отчасти самокритика, ибо он сам начал с вполне шестидесятнической «Прямой линии».

Маканин приехал в Москву с Урала. Образование получил не гуманитарное, а математическое, и первая книжка его — математическая. Впоследствии он закончит Высшие сценарные курсы, иронически откомментированные, с узнаваемыми, идентифицируемыми персонажами, в романе «Портрет и вокруг». Провинциальное происхождение (город Златоуст) могло бы дать совсем иные литературные результаты: мучительным образом воспевать свою «малую родину» и гневно осуждать тех, которые привносят в пределы этой «материнской» цивилизации цивилизацию городскую. Разрушительную. Маканин этого искушения — как и искушения стать шестидесятником — избежал. Более того: он написал свою барачную провинцию с той степенью нежной жесткости, которая и определялась отторжением. В стратегии своего поведения, идущей наперекор предложенным обстоятельствам, Маканин выбрал дистанцирование.

Выбрал — не сразу, конечно — литературное одиночество, осознанную независимость.

И, может быть, именно поэтому — когда и «время», и «место» исчезли — Маканин логично продолжает свою стратегию.

Это все к вопросу об Ахилле и черепахе. К вопросу об «отставшем».

Отставший — потому что опоздал к Твардовскому в «Новый мир», потому что книга в «Ардисе» выйдет тогда, когда все «соседи по времени» через «Ардис» уже давно прошли. Но те, кто опередил, сошли (или сходят) с дистанции. Отставший, опоздавший — приходит к промежуточному финишу как раз в форме. Маканин — стайер, а не спринтер. Групповое соучастие для него было невозможным. В группе всегда есть «лидер», и всегда есть «человек свиты». И то, и другое — не маканинский вариант.

«Человек свиты» — рассказ из ряда маканинской галереи людей 70-х: к ним относятся и «Гражданин убегающий», и «Антилидер» (три стратегии поведения, четко обозначенные в названиях).

«Человек свиты», на первый взгляд, привязан ко времени — из таких «человеков свиты» именно в 70-е, с их ритуальными отношениями между «начальством» и «коллективом», в общем-то, и выстраивалась пирамида общественных отношений.

На первый взгляд, повторяю, рассказ носит отчетливо социальный, если не социологический характер. Да, крайне неприятное, абсолютно «советское» приближение, вхождение в круг, допущение до высоких чаепитий в приемной директора, а затем неожиданное, немотивированное — в любой момент — исключение из круга, отторжение, забвение, воспринимаемое «человеком свиты» как трагедия.

«Представляешь, она отделилась милой улыбочкой, сидит холеная, перстни выставляла и мурлычет: «Все на свете, милая Вика, однажды требует смены, свита тоже...» Я говорю: «И мебель в приемной тоже?» Она отвечает: «И мебель». Но...

Отношение «человека свиты» к своему «предмету» экзистенциально. Пьяненький, вернее, напившийся от отчаяния, отставленный Митя в конце концов проговаривается случайной собеседнице: «М-меня любили, а теперь не любят». Уволенный фаворит — при капризной «императрице»-секретарше (а Маканин подчеркивает ее екатерининообразность), которая предпочла более молодого и сильного, «нового человека», — страдает, как брошенный любовник. Маканин именно что исследует этот феномен, как бы накалывая на булавку и поворачивая, рассматривая его досконально. Авторская холодность, отчужденность, остраненность, парадоксальное ироничес-

кое «сочувствие» вошли в критический обиход. Небрезгливость — вне оценки. Маканин не осуждает и не симпатизирует. Избыточная детализировка — при отчетливо аналитической, абсолютно незатейливой, нарочито лишенной стилистических ухищрений, голой авторской речи. Без эпитетов — если они есть, то носят рабочий, прагматический характер. Если сравнения — то исключительно для более четкого и ясного понимания общей картины. Описывается реестр, прейскурант человека — и всех вещей вокруг этого человека, никогда не случайных. В эпитете, в сравнении Маканину необходима лишь точность — не менее, но и не более того. Да и само название найдено в поисках гиперточности: «Человек свиты», «Гражданин убегающий», «Антилидер».

«Антилидер» — повествование о феномене личности, испытывающей ненависть ко всему, что выделяется из ряда. Конечно же, можно расслышать в этом комплексе антилидерства и чисто русскую, чисто российскую ноту. Социальную, историческую, национальную — какую хотите. Горы ученых статей и книг посвящены саморазрушительным тенденциям в русском характере, и Куренков в определенной мере подтверждает эти сокрушительные для нас ученые наблюдения. Никак не может устоять-выстоять национальный герой, вечный, на самом-то деле, антигерой, вечный (вечная) разрушитель(ница): от Онегина и Печорина до Анны Карениной и Настасьи Филипповны... Почему-то именно этим героям наркотически привержена русская словесность — а вовсе не удачникам, не «успешным людям», не «строителям». Заколдованный круг, страна (привет Пьезуху), заколдованная настоячивыми в своей destructivности персонажами. Эта разрушительность — вне воли персонажа, она столь же экзистенциальна, как и нахождение в «свите». Куренков ничего не может с собой поделаться, он не в силах себя остановить — заложенная в нем агрессивность сильнее его. Агрессивность проявляется, как фотопленка — от наплывающей агрессивности темнеет не только лицом, но всем телом, что и отмечает любящая жена, безуспешно пытающаяся его остановить.

Только поначалу может показаться, что эта ненависть социальна — и вектор ее направлен от «пролетария» (Куренков — сантехник) в сторону «интеллигенции» (в «Отставшем» один из персонажей, бывший зек, саркастически бросает: «Интеллектуалы!»). Нет, она, эта ненависть, в Куренкове копится по отношению к любому превосходящему его либо деньгами, либо умом, либо силой — вплоть до могучего физически уголовника, которого он жаждет уничтожить, уже отбывая рядом свой срок. Куренков прикован к своей агрессивности, как Сизиф к известному камню, и каждый раз, встречаясь с кем-то, в чем-то его превосходящим, он готов к разрушению.

В этом экзистенциальном характере прозы и заключалось принципиальное отличие Маканина от других, печатающихся и непечатающихся. Он не был ни советским, ни антисоветским писателем — он был сам по себе, этой непохожестью, несводимостью к определенной категории (будь то шестидесятники, сорокалетние, «почвенники», «городские» писатели, диссиденты), отдельностью сильно смущая литературно-критические умы.

Не только персонажи, но и главные — по-маканински музыкальные — темы и мотивы тоже перетекают из повествования в повествование, разрабатываясь по-новому — в вариациях. Перед «Антилидером» Маканин закончит «Гражданина убегающего»: «... всю свою жизнь он, Павел Алексеевич Костюков, был разрушителем». Композиция та же: в центре повествования — и авторского внимания — феномен разрушителя, а динамика повествования, все убыстряясь, устремляясь к финалу, к смерти, как к последней точке догнавшего разрушителя разрушения, обернувшегося, накинувшегося на него самого в виде смертельной быстротечной болезни — динамика эта прослежена через все стадии существования Костюкова, разрушителя природы, то есть самой жизни. В Костюкове, несмотря на как бы подчеркнутую автором «человечность» («В конце концов, он — один из людей»), со второго абзаца акцентированно заявлено и дьявольское: характеристика дьявола — хромота («Прихрамывая, он шел, шел вдоль ручья...»), пес, мгновенно возникающий при этой хромоте («Ко мне! — крикнул он псу»). Отношения с природой, с окружающим миром, с женщинами (вот она, проверка русского человека — рандеву) у Костюкова столь же амбивалентны, как и его дьявольско-человеческая двойственность: «Если бы Костюкову, хотя бы и в шутку, сказали, что человечество в целом устроено таким образом, что разрушает оно именно то, что любит, и что в разрушении-то и состоит подчас итог любви, — ... он бы, пожалуй, поверил и даже принял на свой счет как понятное».

Первое: прихрамывающий разрушитель представляет за все человечество.

Второе: парадоксалист Маканин выносит итог («вывод», мораль и т. п.) до начала собственно действия. Предваряет — как бы переворачивая известную конструкцию. Сначала — мораль, басня потом. Еще одна мораль следует чуть дальше по тексту: люди не желают видеть, «что они тут наворочали, и спешат туда, где можно (будто бы!) начать сначала. В этом вся их мудрость: если, мол, мы уйдем и забудем прошлое, глядишь, и прошлое отойдет в сторонку и забудет нас. Ан нет. Не получается».

Два этих предваряющих действие умозаключения связывают воедино пространство и время, передвижения по территории — и прошлое. Уезжать, убежать, исчезать можно и из определенного пункта, и — освобождаясь вроде бы — из прожитого периода времени. Авторской оценки, кстати, в этих «моралите» нет. Вернее, почти нет — она заключена в скобках, в насмешливом «будто бы!» — и все. Умозаключения принадлежат вовсе даже не автору, а какому-то «умнику у костра» («если бы тот умник у костра») и самому Костюкову.

Рассказ же, после этой «обманки» с умозаключениями, не то что подтверждает или опровергает их, а выводит к сущностям, где любые выводы будут несостоятельны. И даже бессмысленны.

Какие «выводы» и нравоучения могут быть сделаны по поводу поведения Климентстры? Или Менелая? Или Ореста?

Интерес Маканина — не столько к «человеку» (и тем более не к «людям»), сколько к сущностям. Автор как бы выпаривает суть до квинтэссенции, возводя ее чуть ли не к мании своего персонажа. В повести «Где сходилась небо с холмами» он воображает, скажем, сообщающимися сосудами (по принципу «Ключарева и Алимушкина») уже и не людей, а сами сущности культуры (музыку авторскую и песенный фольклор). Чем успешнее работает композитор, родившийся в уральском поселке, чем сильнее становится его, авторская, музыка, — тем беднее уральская песня, высыхая, замещаясь убогим примитивом (а именно она питала — да и питает сейчас, постепенно иссыхая — его, автора, сочинения). Даже смерть родителей, катастрофы, пожары, гибель людей, все это вместе, уничтожающее жизнь, а не только фольклор, вымываемый городской цивилизацией, — все это зловеще подпитывает авторскую музыку. И — платит за нее.

«Где сходилась небо с холмами» — вещь для Маканина пороговая, определившая переход от экзистенции человека к экзистенции массы.

Можно ли сказать, что в 90-х Маканин изменяет своему постоянству (времени, места, героев, мотивов, конструкции) 70-х — начала 80-х?

Отчасти — да. Но только отчасти.

Если в рассказах конца 70-х — начала 80-х Маканин, как бы разыгрывая партию, решал определенную задачу, исходя из определенных обстоятельств, в которые он математически выверенно погружал своих героев, доказывая теорему, то теперь они — т. е. герои — порою вообще оставляются им за ненадобностью. Или возникают в качестве иллюстративного материала — к тезисам, размышлениям автора, как в рассказе (или все-таки эссе? нет, рассказе) «Нешумные», где подробное, очень маканинское описание «феномена собрания» переходит в описание скучной повседневной работы профессиональных, наемных убийц (нет, не новорусских киллеров, а именно что профессионалов из организации), отнюдь не лишенных трогательных, чисто человеческих привязанностей — вроде любви к собственному питомцу. Интонация не меняется на протяжении всего рассказа — это качество сохраняется и в «Сюре в Пролетарском районе», где рядом с сугубо человеческими приметами (и масштабами) обычной жизни (у Колиной подружки Клавы была здоровая привычка спать с открытым настежь окном, потому что Клава, повар по профессии, проводит много часов у плиты и ей даже ночью душно) возникают сюрреалистические фантазмы (вроде огромной руки, которая этого самого Колю через это самое окно — вся, целиком, пролезть не может, но два нашаривающих пальца прошли — ловит). Или — в нарезанном на фрагменты (от одного до нескольких абзацев, впрочем, может быть и одна — всего-навсего — фраза) повествовании «Там была пара...», где рассказчик занимает «возрастную нишу человека, греющегося возле молодости».

Между мыслью, опережающей появление персонажа, и самим персонажным «действием» кроится — композиционно — текст.

Что же касается того, какова по сути эта мысль, — Маканин делает все возможное для того, чтобы по своей многозначности она приблизилась к метафоре.

«Лаз» был прочитан критикой как антиутопия. (Тем более, что к 1991 году, когда «Лаз» был опубликован в «Новом мире», антиутопии пошли в печать косяком — как из прежних запасов, т. е. «1984» и «Скотный двор» Дж. Оруэлла, «Слепящая тьма» А. Кестлера, не говоря уж о Замятине и Платонове, — так и вполне новенькие — от А. Кабакова до Вяч. Рыбакова.) Или как развернутая метафора отношений эмиграции и метрополии. Или как определение изначальной расколотости, раздвоенности творческого сознания. Или как поиски новой идентичности прежним — бывшим? — советским человеком. В общем, интерпретаций — хватало.

Каждая имела право на существование — и в каждой была недостаточность.

Чем ближе к нашему времени, тем сильнее преследует Маканина не свойственное ему ранее (за исключением, может быть, повести «Голоса») стремление сделать процесс мысли сюжетным, — что особенно сказалось в получившем Букеровскую премию повествовании «Стол, накрытый сукном и с графином посередине» и «Квази».

Мотивировка первоначальная — еще с «Голосами» связанная — была, на мой взгляд, самокритичной: уйти от «модели», от жесткой конструкции, от лекал, по которым кроилась вещь. Стать свободным — в том числе от самого себя, уйти от своего собственного отягощающего наследия. От непрременной сюжетности. От персонажности. От «масок» рассказчика-повествователя-автора. Рискнуть проявиться.

«Стол» был проще, а «Квази» — скучнее и по мысли банальнее, чем сюжетно-персонажная маканинская проза.

Ну да, ну правильно: бедный советский человек как бы постоянно проходил через это осуждение/обсуждение реального (и воображаемого) официозного «стола». Маканин совершенно прав — и, увы, прямолинеен. Почти каждый ход угадывается заранее. Да, за таким «столом» собираются «социально-яростный», «секретарек-протоколист», «красивая женщина», «молодой волк из опасных», «бывший партиец», «женщина, похожая на учительницу»... Да, вопросы задают и «честный интеллигент», и «седая в очках», и «волк неопасный»... Маканин умеет квалифицировать? Снабдить биографией? Да кто и когда в этом сомневался!

Лучшее, что в повести есть, — это попытка подсудимого согреться у плохо греющей газовой горелки — на кухне, в накинутом стареньком плащике. Тоска. Замерзание. Депрессия. Пустота. Усталость. Опустошенность.

Та же история — с «Квази». Да, мифотворчество масс (ММ), а еще масс-медиа, лепка харизматиков, творчество толпы в XX веке, мифологическое мышление (опять ММ), выработка толпоу знака, иероглифа, имени... Квазирелигия, создаваемая массами — и быстренько — по историческим масштабам — сокрушенная, рассыпавшаяся... Феномен тоталитаризма. Ортега-и-Гассет. «Российская квазирелигия сотрясла мир, совершилась, но по большому счету не состоялась.»

И это — все?

Конечно же, Маканин не ограничивается банальностями.

Глаз, легко пробегающий через «тоталитаризм» (хотя, замечу, Маканин выговаривал все это пять лет тому назад, а не сегодня), задерживается на оттенках мысли, мыслях-наблюдениях, которые остры и неожиданны.

Например — о Маяковском и Пастернаке: «Оба великих поэта были влюблены в эту молоденькую женщину, с несколько вычурным и вполне новаторским именем *Квази*. Маяковский покончил с собой, не стерпев «первых морщин» нашей *Квази*, начала ее старения. Пастернак — успел понять, что *Квази* тоже смертна. «Она пережила его», но «он уже знал, что она умрет». «Он смотрел на нее, как старик на старуху. Он ее уже не любил.»

Но, кроме этих рассыпанных по «Квази» парадоксов, еще и... вдруг, в конце, — «А жизнь между тем идет...»: возникает странная и страшная мелодия немотивированного убийства самого близкого существа; и вдруг — поразительная «Тризна» о немотивированном убийстве едва знакомого соседа, и вдруг — «Наше утро», о власти коменданта общежития над лимитой, и вдруг фраза: «А луч уже до тепла прогревает спину», спину этого самого монстра. Вот — Маканин.

Так же — как и в «Кавказском пленном».

Рассказ написан до войны в Чечне, а напечатан уже во время, что дало аргумент в руки тех, кто заявил о конъюнктурности вещи (еще о конъюнктурности было сказано в связи с голубоватым оттенком отношения русского солдата к пленному кавказцу чуть ли не девичьей красоты).

Маканин, пожалуй, всегда брезгливо сторонился открыто-политической проблематики, только в «Квази» коснулся своей прямой речью и Горби, и Ельцина.

В «Кавказском пленном» не политика и не война явились спусковым крючком сюжета — повествование на самом деле не столько «актуально», сколько опять-таки экзистенциально. Контрапунктом разрабатывается амбивалентное противостояние/тяготение «своего»/«чужого», и кавказский пленный связан с русским так же, как Ключарев с Алимушкиным — если один будет жить, то у другого жизнь отнимется. Агрессивность разлита в мире и вырывается наружу войной и убийствами. Но рассказ ведь и не только об этом — рассказ о красоте, которая, по Достоевскому, должна спасти мир (а красота на Кавказе — красота местности — невероятная, фантастическая, райская). С этого, с этих слов — о «красоте», которая «спасет мир» — и начинается рассказ о смертях и убийствах, о насилии и агрессии, — а заканчивается вопросом «...но что, собственно, красота их (гор. — *Н.И.*) хотела ему сказать? зачем окликала?» Повторяю — не утверждением, не отрицанием, а — недоуменным вопросом.

Споры с классикой (и вокруг классики) к середине 90-х заместились совсем иными с классикой отношениями: повсеместным торжеством римейка, переделки-перекройки классических сюжетов с переменено-современными персонажами. Наряду с римейком стало чрезвычайно модным относить на счет классики русской и все наши, XX века, грехи, вплоть до революционного (не говоря уж о «страшном грехе» гуманизма). Случай с Маканиным не из их числа. Здесь — действительно полемика, для Маканина даже странная в своей очевидности, давно наболевшая, и в названии — с традицией ВРЛ, Пушкин — Лермонтов — Толстой, а уж в начале-конце «Кавказского пленного» и подавно.

Так же, как от искушения идентификацией с поколением (шестидесятники), с группой («почвенники»), с идеологией (диссиденты), Маканин остался в стороне и от модного искушения сначала перестроечной «чернухой», потом постмодернизмом. И вот уже постмодернизм отечественной выделки, столь бойкий поначалу, собственно говоря, переводит дух, исчерпав советские мотивы в своих «старых песнях о главном», а отставший — соответственно — от всего вышеперечисленного Маканин — и, соответственно, переживший — перегнавший — следует своей стратегии, выработанным правилам своего собственного творческого поведения, выдерживая паузу и никуда опять не торопясь.

Чрезвычайно взвешенный, сдержанно-осторожный, Маканин не высказывается на газетной полосе, почти никогда не дает интервью, избегает публичности. Он распоряжается своей энергией вполне разумно, если не сказать рассудочно. Он планирует свои дела, не допуская — или ограничивая по мере сил — вторжение неожиданного. Стихия разрушительна и опасна: пожар, буря, болезнь, катастрофа. Избежать контакта с ней невозможно — но и подчиняться ей (так же, как и прохаживаться по общей, безопасной, нахоженной дороге, если не по подиуму) у Маканина нет никакого желания. Он лучше замкнет — нет, не стихию, а ее знак — в свой (см. начало) компьютер.

Стратегия по-своему замечательная, а главное, сама по себе художественная. На самом деле Владимир Маканин, «избежавший» и «отставший», похож на сказочного героя, тоже избежавшего многих, встреченных им по дороге жизни, опасностей. И все же того, как помним, в конце сказки постигла неприятность. Неприятность стремительно приближается к расчетливо одинокому Маканину со стороны идущих сзади — так же, как и он, «не состоявших» и «не участвующих», не дающих интервью и не печатающих своих портретов. Осваивающие литературное пространство нарочито замедляют темп, приближаясь к маканинской территории. Чтобы подождать. Чтобы, воспользовавшись уроками его стратегии, преобразить намеренное отставание в опережение. Но Маканин и в этой ситуации оказывается хитроумнее прочих — он выдерживает, точнее, задерживает уже готовый к печати роман, — может быть, еще и для того, чтобы в этой — паузе? задержке? — заставить нас перечитать уже напечатанное.

Наблюдатель

рецензии

Мучительная роскошь деталей

Асар Эппель. Шампильон моей жизни. Москва — Иерусалим: «Гешарим». 1996. — 180 с.

Прекрасный переводчик с польского Асар Эппель опубликовал новую книгу прозы. В качестве автора рассказов он раскрылся перед нами недавно (первые журнальные подборки — в 1992-м, первый сборник «Травяная улица» — в 1994-м). Свежесть этого письма производит сильное впечатление. Нежность тона, последовательный натурализм и почти мучительный избыток деталей — вот приблизительная его формула.

«По ней можно было бегать. И я бегал. На ней можно было лежать. И я лежал. Она не вытаптывалась и не очень зеленила одежду. С нее только нельзя было брать дрова. И я не брал. Долго не брал. И позабыл вроде бы и двор, и траву, и дрова.

Но вот я увидел ее снова. Узнал, как называется тонко-проволочная эта поросль с голубенькими крупинками цветков, что это за мягкие, не режущие рук стебельки, и это знание, как всякое другое, в который раз не принесло мне никакого счастья. Узнал я еще, что трава моего двора была целебнейшей, что стоило воспользоваться ее поразительной фармакопеей — и многое и многие остались бы жить, и многое бы не умерло. Но тогда я не знал. Сейчас знаю. И беру дрова впопыхах, сбивчиво и торопливо.» (**«На траве двора».**)

Так всегда бывает в прозе — что-то сотворено, а что-то сделано, и, может быть, об уровне ее нужно судить как раз по «сделанным» кускам. Гиперстилист, Эппель работает мастерски: плотно нижеет подробности, порой восхищая пристальностью почти какого-нибудь японского резчика по кости, — а потом разрежает текст лирическими повторами, до головкружения мучая нас ностальгией. Рогожа и кружево. Эппель не боится оставлять швы, откровенно демонстрировать приемы: «Тут он достает перфорирован-

ную дольку пустой каймы марочного листа (они в клапане записной книжки, выпрошенные на почте околomarочные эти полоски), потом говорит: «Открой на «бэ»!», потом слюнявит полоску языком и притирает элегантно пальцем в мою записную книжку,» — какая ровная строчка цепных существительных! (**«Шампильон моей жизни».**) Эппеля невозможно читать помногу — устаешь от густоты текста. Им объедаешься до тошноты, как когда-то горьким шоколадом. Праздники случаются не каждый день. Пьяные взрослые поют за столом, и слоники мал-мала-меньше дрожат на комод.

Время разворачивания десяти эпипелевских рассказов в новой книге — довоенное детство автора и его послевоенная юность. Место — задворки «вот-вот восьмисотлетнего града», «где уклад племен, кочевавших у Силоамской влаги, и орд, ходивших за стадами возле Урги, почти неотличим, а сами кочевники... давно превратились в компотную человеческую смесь...» (**«Не убоишься страха ночного».**) Фон, задний план, излучающий героев, которые так стремятся на передовую действия, — это разруха, трагикомическое сочетание трофейной жирности и нищеты; репрессии; наглость выпущенных на волю циничной властью жуликов и рецидивистов. На этом мрачном фоне, однако, растет подсолнух, загорают девушки, скрытно празднуют «паску», любят друг друга, спасают друг друга. Тон Эппеля, образ его рассказчика многое смягчают. Автор занимает положение, традиционное для классической русской литературы: гуманист, шокированный жестокостью сюжета.

Если попытаться рассказать, о чем эта проза, то получаются страшные истории: девочка-подросток оказалась вовлечена в какое-то извращенное приключение в виде примерки шелковых немислимо желанных чулок на голое тело перед веселым соседом-спекулянтом (**«Чулки со стрелкой».**) Автобус под красноречивым номером тридцать семь, который «ходит редко: иногда — раз в сутки, иногда — раз в год, иногда — никогда»,

везет обывателей в никуда, и все это время их тихо грабят мазурики, за ними наблюдает стукач («Неотвожа»). Феноменальный мальчик-Левша, мучимый злобной завистью к свободным, талантливым и счастливым, задумал лишить себя всех проблем, став гермафродитом — и для этого ему понадобилось убийство («Леонидова победа»). Мясник-инвалид насмерть насилует нимфетку, которая легкомысленно устроилась на ночлег в его сарае, пока юные любовники воруют для нее яблоки в саду мясника («AESTAS SACRA»). Эппель бывает физиологичен на грани фола, но никогда — за ней. Даже сцена изнасилования выглядит как событие прекрасного мира: «И громоздившаяся гора эта от поспешности зверства уперлась деревяшкой на чем пришлось, то есть на откинутае ее бедре, и деревяшка разможила самое даже кость, и хрустнула скорлупка ракушки, а закричать было нечем — голова ведь пропала в веках, а рот в задворочную эпоху зажала громадная пятерня... и царапаться тоже было нечем — рук не было, откололись они невесть когда, а сейчас от боли в раздавленном бедре онемели, раскинувшись...» Писатель — бесполое существо; в брутальной войне мужского/женского, он, подражая Господу, не берет ничьей стороны. Эппель умудряется не соскользнуть в пошлость; тщательно отделявая жестокости, он не смакует их.

Пруст и Набоков, Достоевский, Бабель — может быть, самые главные пути в культуре, ведущие к «травяной улице» Эппеля. Путь первый: памятьливость, гиперчувственность, близорукое внимание к

объектам. Обогнуть куст боярышника, выйти на проселочную дорогу и, одолжив у подростка с бабочкой на руке велосипед, гнать и гнать, пока сентябрьская родина еще не застыла другими берегами. Путь второй: шокирующие истории, с которыми можно примириться только на бумаге; явственные чужие голоса. Переулки и подворотни, ветреный проспект, по которому идет кое-как застегнутая сомнамбула, а за ней — господин с усиками, в котелке. Эстетский текст Эппеля выдерживает испытание пафосом. Путь третий — самый фантастический. Превращаясь в кентавра, скачешь по усталым полям, копыта лошади впиваются кровь и хлябь. Глядя на смерть, ты смотришь дальше, сквозь нее. Видишь, что пролитая кровь на самом деле не пролита, а сотворена, и даже если здесь страшно и убого, то на самом деле, у Бога, все хорошо.

От литературы и именно от прозы почему-то прежде всего ждешь полноты, всепрятия, легкого дыхания. Решимости знать обо всем — и любить это знание. Даже грязь, раз уж мы в ней живем. Из любви и грязи вырастает чудо — «шампиньон» нашей скудной жизни. Странное название книги Эппеля — это ключ к способу ее восприятия. Его проза вызывает сильный психотерапевтический эффект. Вызывая физическое ощущение вкуса, она отсылает тебя в детство, принимающее все как данность, как открывшуюся подробность мира; выликая очень ранние переживания, она легко проникает в тебя, захватывая властно, почти так, как твоя жизнь. В этом странная подлинность условного. Именно ее и ждешь от литературы.

Ина Кузнецова

Лицо под маской

Александр Шаталов. Другая жизнь: Стихотворения. Houston: Glagol P. H., 1996; Изморозь, оторопь... Стихи. — Новый мир, 1996, № 2; Без начала и повода. Стихи. — Новый мир, 1996, № 9.

Александр Николаевич Шаталов — человек смелый, но любящий надевать маски. Маски его достаточно известны в столичных литературных кругах — ведущий телепередач «Графоман» и «Журнал журналов»; издатель журнала «Глагол», выпустивший в свет немало достойных книг, в том числе замечательный двухтомник Евг. Харитонов; борец

за права «сексуальных меньшинств»... Маски, разумеется, многое говорят о том, кто их носит, но еще больше скрывают. Они отвлекают зрителя от самого главного — от личности, мешают представить себе ее подлинные очертания, настоящий масштаб. Это очень удобно, поскольку личность носителя впечатляющей маски зачастую весьма неказиста. Но в шаталовском случае, сдается мне, происходит обратный эффект: привычные околотелитературные имиджи препятствуют должной оценке этого неожиданного поэта — как бы не дозволяют полной серьезности в беседе о нем.

Скажу мягче: препятствовали, не дозволяли. Новомирские публикации,

хьюстонский сборник (дай бог ему дойти до заинтересованного читателя!) — все это кое-что изменило. Но ведь «Другая жизнь», составленная наполовину из нового, наполовину из избранного, — четвертая книга поэта. И читая здесь вещи, знакомые уже по предыдущему сборнику «В прошлом времени» (М., 1991), поневоле испытываешь жгучие досады: вечно мы носимся черт знает с чем, полагая, что подлинное никуда не денется, еще пождет наших похвал, еще полегит...

Полежит, подождет — строчкам не привыкать. Да и разговор я клоню совсем не к тому, что вот, дескать, где ж, господи, признание и справедливость, — нет. Просто необходимо проинформировать: «другой жизни» предшествовала некая «не-другая», и в ней были, например, запоминающиеся стихи об интернатском отрочестве («Миша Галыгин — балбес, второгодник, / Пакостик мелкий и крупный негодник, / Сын алкоголиков, добрый как кролик, / С горя подстриженный дома «под нолик»), о юношеской влюбленности («Ты целуешь, целуешь, не видя лица. / Я стою пред тобой, словно голый. / Только слезы текут и текут без конца / На виду у прохожих и школы»), но это, увы, я вынужден оставить сейчас в стороне.

Перешагивая же порог нового поэтического мира Шаталова, мы действительно попадаем в *другую жизнь*. Название сборника — не просто контаминация «Других берегов» и «Vita nova»; хотя, подозреваю, у автора есть достаточно жизненных оснований для подключения именно таких смыслов. «Другое», как, впрочем, и остающееся существенным «прошлое», — важные и тонкие дефиниции этого мира, которые не следует путать с их приблизительными синонимами — «прошедшим», «чужим».

Да, вроде бы и чужое, вроде бы и прошедшее обступает нас в стихопрозаической шаталовской лирике — какой-то вялотекущий мещанский быт провинциального городка (пусть он и именуется «Сан-Франциско»); какое-то ослабленное, до инобытия, существование размякшего московского дворика — потенциальной ямы, откуда почти невозможно выбраться детям и старикам, а значит — и всем нам, значит — и лирическому герою; какой-то густой морок давнопрошедшей, едва ли не допотопной, коммунальной квартиры — в цикле «Соседи»... Лимитчица Людочка варит на кухне чудовишно пахнущий суп; в общественной ванной фыркает, подмываясь, «приходящий»

любовник — армянин Размик; Мила Рабинович темно мечтает об отъезде «к морю» — в «арабскую» страну Израиль... Столичная коммуналка предстает игрушечной моделью вселенной, но суть не в этом... Вот мама примеряет перед зеркалом новое крепдешинное платье, вот захаживают мамини дорогие подружки — Раиса Петровна, Татьяна Петровна, Лидия Петровна, Нина Петровна...

Как и вереница жалобных и страшноватых Петровн, жизнь — обезличена. Она — «только цедающий свет», только энное число лет одиночества, «только росчерк пера без начала и повода»... Из толкований понятия «жизнь», данных в шаталовской книге, можно составить печальный словарик. Она — не совсем наша. Она «продолжается веткой стихами / незарифмованным теплым дождем». Она — «бранная брэнная и никакая». Она сродни дурной бесконечности. Бесконечность эту не одолеть и самой смерти. Родные и близкие, оборотясь ласточками или бабочками, улетают на кладбищенские луга, — но все еще снятся, еще на кухне мерещатся их шаги, а их теперешнее небытие — в «Подмосковном суглинке», в грунтовой воде — вполне ощутимо, почти физически соперживается поэтом:

*Лютином подмосковным, ноготками,
маргаритками,
ах, жизнь повторяется, как на могиле
бордюром —
цветочной рассадой, облицованной
кафельными плитками,
астрами в майонезной банке под
небом хмурым.*

Или: «...эти наши с тобой ночные разговоры / суть состояния жизни легкое дыхание пауза / представляю как жгутся на морозе оградки металлические и заборы / кожу с ладони сдирая как дымится в берегах своих узких яуза...». Жизнь и смерть глядятся друг в дружку, словно в запотевшие (заиндевшие?) зеркала — отменяя детерменизмы реальности, перемешивая материю и сознание. Поскольку говорящее «я» вездесуще, пауза, — как о том догадались и нынешние мыслители, но одно дело — трактаты, иное — стихи, — оказывается самым значимым разговором. Пауза разрастается до размера речи — и беспунктуационная недискретность новых шаталовских текстов кажется отражением их органичности: воспоминание не отделено здесь запятой от созерцания, физическое — от психического, прошлое наследует завтрашнему.

Но что ж означает такое торжество недифференцированной экзистенции, такое тождество жизни и смерти, такое — вернемся к заявленным дефинициям — «другое, но не чужое», «прошлое, но не прошедшее»? Не в плане этическом или религиозном, а в стилистическом, жанровом даже аспекте. Не свидетельствуют ли эти свойства шаталовской «стихопрозы» (прозы в правах лирики — и наоборот) о ностальгии по «бранному» эпосу — и начавшемуся-то, в гомеровской «Илиаде», с описания коридорной свары людей и богов?

Современному человеку недостает эпического — того, из чего он вырос. Вырос — словно из детской одежды. Эпос уютен и узок: дюжина небожителей, десяток ахейских мужей, пять-шесть жен — вот и всё. Лирический эпос Шаталова, даже при подключении снов и воспоминаний, населен не гуще. Он столь же тесен, как тот морской пятачок, путешествуя по которому, Одиссей наглотался времени и пространства. «Пространство вокруг все время понемногу сужалось / и вот наконец-то сузилось». «Кажется что и нет уже никаких расстояний». Поэт, не устающий это повторять, прав: и алмазный Нью-Йорк, и лиловый Париж, и марципановая Германия — всё размывается в его стихах до тоныны коллоидного раствора туманных видений, а какой-нибудь Хьюстон прорастает разлапией московских бульваров:

*...снег над нью-йорком вáлит
шрам над губой остался в память
недавний драк
на повороте резком вздрагивают
трамваи
и наплывает город сквозь палисад и
мрак
зимний холодный ранний может быть
к перемене
мест или расставаний первый из
всех звонков
словно мороз по коже...*

Узнаёте? Нет, не Чистопрудный, скажем, бульвар, а само «бестолковое» и «последнее» тепло русской поэзии — в данном случае, мандельштамовское?.. Всякий человек единствен и узнаваем, но индивидуальность и самобытность всегда порождаются сочетанием «чужих», уже бывших, генетических кодов. То же самое можно сказать о поэтическом голосе. У Шаталова он — живой, следовательно — традиционный; его модуляции перекликаются с модуляциями голосов

кузин и кузенов (назову, по крайней мере, двоих — Николая Кононова и Олесею Николаеву), помнят своих предков — «моряков старинных фамилий»:

*...низкорослые крестьяне везут сюда
кукурузу и просо
подростки узкие белые брюки у
портных заказывают
женщины лениво веерами
обмахиваются и смотрят косо
на приезжих и пальцами на них
показывают
и только лишь небо фиолетовое
ранним утром
или нежно-голубое как белки глаз у
мальчика
манит еще заманивает своим
пространством продутым
пыльцой апельсиновых роц и семенем
одуванчиков...*

«Kennst du das Land?..» Знаем ли мы с вами край, где происходит описанное Шаталовым взаимоопыление одуванчиков и померанцев? Разумеется, знаем. Это — рай, сотворенный «святыми мечтами земли». То есть Поэзия. Мне же особенно нравится то, что шаталовский вариант рая (читай: поэзии) абсолютно беззащитен перед лицом любых обвинений — в ограниченности, обывательщине, инвертированности, хаотичности... На то ведь и рай!

«Покойники смешались с живыми», — помяните вы Кузмина. Да, но и живые дwoятся и совмещаются, любовь берет за руку смерть, нашептывая: «Пойдем, поедем...», — как в одном стихотворении Кушнера, которое, в свою очередь, восходит к пересказу В. Соллогубом слов умирающего Пушкина... Жутковат шаталовский слепок рая, не слишком красив, — оттого и кажется мне прекрасным. В эссе «Мысль, описавшая круг» — о смерти — Лидия Гинзбург заметила: «Природа показывает, что ей вовсе не обязательно украшаться и волновать человека прелестью; что для власти над человеком ей достаточно вечной символики ее элементов». Думаю, сказанное может быть отнесено и к стихам, жидущимся на, возможно — и страшноватой, символике жизни-смерти. «Так страшны эти внезапные навсегда расставания, / так страшно это распускание, а после — увядание тела». Но смерть в этой равновесной и сложной системе знает свое амплуа: она, согласно философу Мерабу Мармардашвили, вносит в жизнь завершающие смыслы; ею, — согласно церковной фор-

муле, попирают ее самое. Только смертный способен понять и поллюбить смертного, снять последнюю маску. И «другое» ему отнюдь не «чужое»:

*«Я тебе не чужая, когда в землю
ложусь рассыпчатую,*

*когда ручьи весенние сквозь тело мое
протекают...»
«Я тебе не чужой, когда в рощу
превращаюсь дымящую,
в кладбищенскую, зеленую, где
воробьи летают...»*

Алексей Пурин

Заложники времени

Евгений Шкловский. Заложники:
Рассказы. — М: РИК «Культура»,
1996. — 1000 экз.

Когда через две-три тысячи лет археологи будут откапывать наши города, что, интересно, останется от нас? Уж не безобразные бетонные призраки наших жилищ, которые, надо надеяться, рассыплются в тончайшую бетонную пыль. И не кинотеатры. И не памятники. Тем более, не кладбища — мы их сами предусмотрительно сносим, не утруждая время, у которого и без того много забот. Ни пирамид, ни средневековых соборов, ни, на худой конец, простого доходного дома из добротного кирпича с клеймом завода не останется от нас — где он, тот добротный кирпич? Как будто современные люди, в отличие от своих предков, носят в крови стойкое отвращение к вечности, как будто они боятся оставить память о себе (своём ничтожестве?) — чем эфемернее производимые ими предметы, тем лучше. Что ж, может быть, так и нужно — пластмассовый век и должен стремиться к небытию. Вот разве что слово... Но и оно как-то легчает, ветшает на глазах.

«...из совершенства вещи и проистекает вся длительность ее, и, чем больше сущности и божественности заключают вещи, тем они постояннее» — так выразился Спиноза в XXV главе «Краткого трактата о Боге, человеке и его счастье». Чем, соответственно, меньше совершенства заключено в вещи, тем меньше её длительность.

Сказанное, видимо, касается и слова. У него — пускай сравнение несколько неуклюже — как у того старинного кирпича, тоже должно быть клеймо, только не заводское, а авторское, — гарантия, что не раскрошится при употреблении.

Открывая сборник рассказов Евгения Шкловского «Заложники», я, естественно, искала такое клеймо. Но ни в том способе, каким слово прикрепляется к слову, ни в той скорости, с какой вырастает фраза от своего корня к верши-

не, ни в метафоре, ни в ритме я его не нашла. И я закрыла книжку.

Однако не надолго. Так иногда пройдёшь по дороге мимо незаметного цветка, отметишь его равнодушным взглядом, и уже за поворотом вдруг захочется вернуться и посмотреть, как он там, качается под ветром или тихо стоит, поблёскивает прожилками.

Оказалось, что текст живой, качается под ветром, дышит. И это дыхание смягчает — не то что недостатки (прямых недостатков так сразу и не назовешь), а как бы отсутствие ярких достоинств. Нет, напротив, всё остаётся, как было, — и вялые прилагательные, и обкатанные в сотнях других текстов словосочетания. «Картина почти гипнотизировала его...» «Алла рывком подняла себя с постели...» «...он находил ключик...» (К душе, имеется в виду). Любят почему-то герои находить всякие такие ключики, а также подниматься с постели непременно рывками, и лица у них обычно каменеют, и жилы на лбу надуваются, и морщинки собираются возле глаз, лучиками преимущественно, и отвращение (желание) у них обязательно физическое, и разные изображения (см. гоголевский «Портрет») их, конечно, гипнотизируют, так что мороз по коже идёт. Текст же от этого мертвеет и высыхает.

Но есть, оказывается, ещё кое-что помимо самой фактуры текста. Определить это «кое-что» я не берусь. Вот, например, рассказ «Западня», на мой взгляд, один из лучших в книге. Ничего там особенного не происходит. Просто к некой Е. В. приходят её родные, пьют чай, и каждый раз из ничего, из воздуха возникает скандал, взрыв ярости, гроза. Всё это провоцирует сама Е. В., но как, понять почти невозможно, — интонацией, кивком, намёком, характерной обмолвкой, что в сталинские времена, конечно, **«Были ошибки, но...»** Молодые взрываются, кипят, Е. В. смотрит на них с олимпийским спокойствием, «как на подопытных кроликов». Её невозможно прошибить, логика бессильна. Атмосфера показана мастерски, так называемая

сверхзадача не только присутствует, но и решена: бытовые подробности сублимируются в символическую картину — увидев, нельзя не узнать — Россия. Читая, волнуешься и негодуешь, что тоже немало. Последний штрих ожидаем, но от этого не менее точен и эффектен: Е. В. «начинает медленно клониться в левую сторону с приподнятой рукой, оседает на стуле, глаза её стеклянеют...»

Также исподволь разворачивается, наливаясь тайной тяжестью, другой рассказ, «Недуг», о писателе, казалось, так любившем и умевшем жить и внезапно покончившем с собой. Здесь параллельно с воспоминаниями о писателе, пейзажами, картинками деревенского быта вырастают рассуждения о русской литературе, не лишённые глубины и парадоксальности. Автор не боится задуматься, благо ли она, русская литература: «В самом деле: сколько обещаний заложено здесь, сколько красоты и великодушия, так что вся грязь, весь сор бытия вовсе не кажутся угрозой, а, напротив, тоже как будто обещают — преодоление, избавление... Или — в них тоже вдруг обнаруживается несравненная полнота жизни, привыкнув к которой, потом никак не можешь освободиться от ощущения пустоты, разреженности, кислородного голодания.

Полнота сродни красоте. Красота — это ведь тоже полнота, тоже насыщенность смыслом и чувством.

О, эти великие несбывшиеся обещания! Какой ценой оплачиваем мы фантастические, святые посулы? По чьим векселям платим?...»

Это, между прочим, уже настоящий пафос. Однако, ненавязчивый, непретенциозный. Может, потому, что это просто пафос выстраданной мысли, дающий право в высокую минуту обратиться к литературе на «ты»: «Да, скажи, откуда в тебе этот неуяснимый, завораживающий, проникновенный сплав правды и лжи, добра и зла? И как смела ты внушить нам свою необходимость, завлечь в свои шёлковые сети?

Погоди, не рви! Мнится мне, что любовь к тебе — это обманутая любовь к жизни.»

Редкий случай, когда пафос бывает к месту, возникая естественно — как это самое «мнится». Как присутствующее в рассказе ощущение некой грозной силы, способной убить того, кто осмелился её пробудить.

Пожалуй, именно отсутствие всякой претензии, рисовки, позы выгодно отличает автора «Заложников» от потока

«лихих», «отвязанных», «постмодернистских» и т.п. произведений, давно уже наводнивших наши издания. Увы, одного коварного закона никто ещё не отменял: чем более стремятся писатели быть не похожими друг на друга, тем более сливаются они друг с другом, как братья-близнецы, так что в глазах рябит. И все же редко кто осмеливается отбросить постыдные ухищрения — кажется, Евгений Шкловский — один из таких смельчаков. Это вызывает уважение.

Да, на мой взгляд, не хватает этой прозе «личного клейма», яркости, узнаваемости. Но нет и подделки под всё это, что, может быть, даже важнее в окружающем нас океане разнообразного жульничества. И честность, между прочим, даёт свои плоды. Есть в рассказах Шкловского нечто похожее на дух времени, эта трудно уловимая субстанция оказывается иногда узнаваемой до боли, прочтешь строчку, и как будто что-то кольнёт. Есть и труднодостижимое ощущение присутствия высших сил. Иногда, правда, оно не удаётся, оказывается несколько нарочитым, как в «Страшном Суде», чью мелодию, по-моему, уже исполнили «деревенщики», и гораздо удачнее. Но иногда, как в самом первом (и едва ли не самом сильном) рассказе «Медовый месяц», как будто простыми и незатейливыми средствами передаётся то, что древние звали кратко — судьбой или роком, и чьё дыхание каждый имеющий уши слышит у себя за спиной.

Есть в книге и традиционность, опять же не вызывающая, не декларативная. Не то чтобы автор зависел от традиции, а просто она — воздух, которым он дышит. Есть и психологизм, не вычурный, не болезненный, а тоже честный. Кажется, что автор все эти человеческие особенности и правда заметил, а не придумал. Другое дело, что не всегда понятно, зачем понадобилось автору их подмечать, но это уже совсем другой разговор, а вопрос «зачем?», в отличие от вопросов «что?» и «как?», настолько скользок и опасен, что я не решаюсь его касаться — тут каждый рискует свернуть себе шею.

Итак, обладая, скорее, скрытыми, чем явными достоинствами (что, может быть, и к лучшему), книга Евгения Шкловского, кажется, действительно укрепляет в нас чувство, что все мы — заложники нашего бедного и страшного времени. Вот и размышляй после этого, благо или не благо — русская литература...

Татьяна Вольтская

Д В О Д Ы

От Сизифа до Леты

И. С. Тургенев. Месяц в деревне. Мастерская Петра Фоменко; И. С. Тургенев. Маленькие комедии. Театр на Малой Бронной: Постановка Сергея Женовача.

Искусство можно рассматривать как результат и как процесс. Что касается первого, то единственным объективным оценщиком, как известно, служит время, которое вносит свои поправки, все составляет по и так далее. Суть и смысл второго в том, что он идет, невзирая на злокозненность древней греческой речки, уже поглотившей чертову уйму нерезультативных вдохновений. Поскольку же эпоха на эпоху не приходит (пассионарность, говорят), а признать свою собственную заведомо сизифовой никому не по вкусу, — естественно, что детищами бесплодных лет становятся химеры. Вопрос лишь в том, кому и почему достаются овалы, ники и прочие триумфальные маски; если найти правильный ответ, можно заодно разобраться в потребностях и стремлениях времени в целом.

Увы, нынче времена у нас смутные, неопределенные, и это единственное, что мы о них знаем определенно. Соответственно и выбор фаворитов (на мой, по крайней мере, взгляд) остается глубоко загадочным, в данном конкретном случае — особенно.

Правда, рождение рецензируемого феномена я проглядела, из первых работ Сергея Женовача посмотрев одну только «Панночку» — кстати, с живейшим удовольствием: этот спектакль, поставленный в эпизодически модной студии «Человек», радовал веселым азартом игры, искренностью, увлеченностью и прочими типично молодежными прелестями. Однако же в ту пору (лет десять назад) наш герой не имел еще нынешней пуленепробиваемой репутации, и «Панночку» приняли скорее прохладно. Зато к моменту следующей моей встречи с творчеством Сергея Женовача — в Театре на Малой Бронной, в начале 90-х — он загадочным образом успел стать номенклатурным мэтром, которому успех обеспечен при любой погоде. Так, самая штормовая из шекспировских трагедий, «Король Лир»,

была его стараниями напрочь лишена всякого чувства и успешно доведена до температуры рыбьего хвоста — а критики завалили ее букетами похвальных рецензий, и московская мэрия присудила Государственную (?) премию. И чем дальше, тем «страньше и страньше» развивался сюжет. «Мельник-колдун, обманщик и сват» был объявлен праздником блистательной театральности, хотя в действительности является праздником фольклорной музыки, превосходно исполняемой ансамблем «Русичи». Трехсерийный «Идиот» удостоился трех серий восторженных отзывов и «Золотой маски» на придачу — а ведь мало что может сравниться в бестрепетности и скуке с этим десятичасовым действием, тщательно сохранившим текст и все сюжетные линии романа, но утратившим и мысль Достоевского, и горячку его страстей...

«Месяц в деревне» — тоже долгоиграющий спектакль: его продолжительность 3 часа 40 минут. Как с гордостью извещает программка, пьеса впервые перенесена на сцену целиком, без купюр; если вспомнить еще шестичасовую постановку фольклорского романа «Шум и ярость», то можно сделать вывод, что полнообъемное, спокойное и неспешное прочтение заменяет Женовачу интерпретацию. Спокойному реалисту Тургеневу этот подход навредил, пожалуй, в наименьшей степени: «Месяц в деревне» вышел пусть скучноватым и вяловатым, но как раз соответствующим стилистике вялой деревенско-поместной жизни. Подходит к ней и старое требование «умереть в актере», которому по преимуществу подчиняется режиссер; значит, на первый план выходит вопрос, в ком.

В Полине Кутеповой умереть не жалко: ее Верочка — трогательная, простодушно влюбленная девочка, разом обращающаяся в оскорбленную женщину, способную и на бунт, и на месть, — работа поистине превосходная. Хороши и Рустэм Юскаев (Раkitин), и Юрий Степанов (Ислаев), да и на втором плане хватает артистов, достойных режиссерского самопожертвования, — «фоменки» не зря считаются одной из лучших в Москве трупп. Но вот герой-любовник и главная героиня портят дело. Кирилл Пирогов выглядит мило, пока перед ним

стоит простая задача демонстрировать юношеское обаяние — и пасует, когда надо предъявить чувства. А Галина Тюнина, чья роль от начала и до конца требует тонкой психологической проработки, эмоциональных переходов и борьбы противоречивых страстей, ни в начале, ни в конце ни к чему подобному и близко не подходит — но Галину Тюнину, кажется, тоже внесли уже в список тех, у кого не бывает неудач; вернемся к режиссеру.

Иногда он выходит на первый план. Например, устраивает быстрое и эффектное мелькание персонажей на фоне монолога, где они поминаются — и вдруг бросает прием на половине дороги, не то вовсе позабыв, не то, наоборот, увидев, что повторение грозит назойливостью. Как бы ни было, оборванный ход создает впечатление странной недоделанности, которое еще усиливает сценография: простенькая конструкция из двух портиков, вращающаяся вокруг страшноватого столба, коему помимо технической не мешало бы иметь и художественную нагрузку. Но приискать такую удачу лишь единожды, а все остальное время он просто торчит в центре сцены: столб столбом...

Впрочем, я готова признать, что «Месяц в деревне» — в целом неплохой спектакль, а претензии мои проистекают отчасти «от противного»: от раздражения чрезмерными хвалами и всей вообще суетой вокруг Женовача, благодаря которой он и вырос в крупную фигуру. Но что касается «Маленьких комедий», выпущенных на два месяца позже, то тут уже никакие нарекания не будут лишними. Правда, начать можно с автора: одноактовки «Завтрак у предводителя» и «Провинциалка» и сцену «Разговор на большой дороге» никак нельзя отнести к числу лучших тургеневских творений — недаром их почти не ставят. Ну а если ставить, так надо бы для начала найти подходящую стилистику — тогда как Женовач странным образом разрывается между двумя, абсолютно не сочетающимися. Оформление спектакля (художник Юрий Гальперин) реалистично, красиво и отмечено строгим вкусом: четкая симметрия оконных и дверных проемов, изысканный розово-палево-серый колорит занавесей и обоев, расписные медальоны на стенах создают стильный «классицистический» образ дворянского дома, с которым прекрасно гармонируют изящные костюмы, выдержанные в той же благородной пастельной гамме... А

действующие лица — сплошные уродцы, монстрики и придурки один другого кошмаристей. Граф Любин (всесторонне обхваленный Сергей Тарамаев) демонстрирует «аристк'а-ати-ическую» манерность речей и пластики, более всего напоминающих повадку водевильного «голубого», Ступендзев (Сергей Баталов) двигается как заводная игрушка и говорит с каким-то диким акцентом; предводитель (Сергей Перельгин) то и дело подпрыгивает, будто шкатулочный чертик, судья (Александр Котов) семенит наподобие мультипликационной японки и, чуть войдя, принимается неостановимо «закусывать»; Анна Ильинишна (Елена Матвеева) ежеминутно раздражается «демоническим» хохотом, тогда как ее братец (Владимир Топцов) ржет вовсе даже идиотически, лупит себя по щекам и хрипит, как удавленник, видимо, давая тем самым понять, что сорвал голос на охоте; столь же отчаянная хрипота сообщена и Алупкину (Андрей Хворов), вероятно, сорвавшемуся на командном крике, а становой (Геннадий Назаров) вообще тридцать букв не произносит и хромает на обе ноги...

Конечно, карикатурность, гротескность персонажей задана Тургеневым. Но. Комический гротеск — искусство, может быть, самое сложное и изощренное, отнюдь не сводимое к ужимкам, прыжкам и клоунским голосовым модуляциям. И главная его сложность состоит как раз в том, что грань между искусством и самодеятельным дурацким кривлянием неуловимо тонка, переступить ее — проще простого, а верных способов отличить одно от другого не существует: вроде и Аркадий Райкин такие же самые гримасы кроил, но ведь дьявольская разница!.. Впрочем, эти теоретические рассуждения к «Маленьким комедиям» почти что и не относятся: их исполнителям до гротеска далеко, как до Альтаира, они комикуют просто, без затей, зато с натугой. И натужность настолько заметна, что становится совсем не до смеха. Даже сугубо доброжелательная, «своя» премьерная публика, готовая обхлопать любые актерско-режиссерские старания и претендующие быть смешными трюки, — и та не падала от хохота, как предполагалось, но проявляла сдержанность. Правда, потом в фойе произносились слова типа «уморительно» — но ведь словами смех не заменишь.

И вот что еще интересно: накануне премьеры завлит переживал, что с местами беда, и присил приходиться без сопро-

вождающих — а свободных кресел в зале оказалось немало... Может, те загадочные силы, которые двигали Женовача все выше и выше, несколько ослабили влияние? Не знаю. Времена ведь нынче

смутные, неопределенные, и пойдя разгляди сквозь туман, дотащил уже Сизиф свой камень до самого верха или еще канителится?..

Алена Злобина

Женовач и его команда

И. С. Тургенев. Маленькие комедии. Спектакль в трех действиях. Театр на Малой Бронной. Режиссер Сергей Женовач. Художник Юрий Гальперин. Премьера состоялась 25 декабря 1996 года.

Одним из негласных признаков художественного «авторитета» вообще и женовачевского режиссерского в частности является зрительское просвещенческое доверие: если уж та или иная пьеса поставлена, то надо ее хоть задним числом, но прочесть. Дескать, «наш» просто так ни за что не возьмется — значит, и нам стоило таким макаром сперва одолеть Фолкнера («Шум и ярость»), а теперь вот обнаружить, что Иван Сергеевич Тургенев, вдобавок ко прозе, не только стихи писал (про «Утро туманное...» все помнят), но и драматические сочинения. В «Мастерской Петра Фоменко» у Сергея Женовача в октябре вышел «Месяц в деревне», а теперь вот, в «собственном» театре на Малой Бронной — «Маленькие комедии». Но если прямо с прогона отправиться в библиотеку, то выяснится, что такого произведения нет.

Для спектакля же выбраны две комедии в одном действии, «Завтрак у предводителя» и «Провинциалка», и сцена «Разговор на большой дороге», объединенно названные «Маленькими комедиями». Уже в самом обозначении проступает классическая мерка (слово из сказок) — естественно, «Маленьких трагедий». Так, на сторонний взгляд, режиссер исподволь примеряется к пушкинской теме и драматургии. Тепло, горячо: через шекспировскую («Король Лир»), отчасти островскую («Пучина»), чеховскую («Леший»), тургеневскую школы; плюс, окольно, через учительскую фоменковскую вахтанговскую «Пиковую даму».

На определенном этапе творчества театрального деятеля разговор о каждой последующей его премьере неизбежно подводит нас к более общим наблюдениям — над контекстом, конкретной авторской ситуацией, которая отражается в спектаклях и, в свою очередь, формиру-

ется ими. Первостепенным и искомым оказывается не столько пресловутое новаторство, сколько «родовая» ассоциативность: как в детях нам дороги черты любимых, так, например, финальная песня из «Разговора на большой дороге» отсылает приверженцев к «Мельнику, колдуну, обманщику и свату». Тем более что материал взят принципиально, и, это стоит особо подчеркнуть, невыигрышный: насущность и актуальность его — весьма спорный вопрос.

Позволим себе дерзость утверждения, что граница условных настоящего и будущего театрального искусства отчасти задевает и Малую Бронную улицу. Свидетельством тому — явственность в последнем спектакле «в трех частях» откликов (пересечений) — предугаданных ли? смоделированных? Как частных — «Идиота», осуществленного на той же сцене «в трех спектаклях», так и общехудожественных — скажем, современной кинематографической формы (фильма «в нескольких новеллах» «За облаками» Микеланджело Антониони).

Одной из характерных особенностей «почерка» Женовача является подчеркнутая длительность сценического времени: три, четыре часа в среднем, включая антракты (как раньше бывали продленные киносеансы). В нашем случае каждой из маленьких комедий отведено по своему действию, по законченности равному самостоятельному представлению: другой режиссер мог бы три спектакля выкроить из этого одного. Небольшие изменения, внесенные в текст, при перечитывании его не вызывают нареканий, так как кажутся продиктованными соображениями рабочей целесообразности и оптимализации — две эпизодические роли сливаются в одну, изымается пара периферийных абзацев, не всегда соблюдаются декорационные ремарки. Но за обусловленной, заданной неспешностью, отличающей атмосферу этого театра, парадоксальным образом скрыта — торопливость. То есть желание вложить в узкие премьерные рамки многое — гораздо больше, чем возможно и положено: так восторженный литератор, захлебываясь,

путается в скобках. Впору, каламбурно, благо фамилия позволяет, вводить там новейшую внутреннюю единицу измерения времени — один «женовачас», отличающийся от астрономического подобно академическому, только в другую сторону, и равный примерно одному действию.

Что же касается зрителя, то последний, мягко говоря, ропщет, скучает, не выдерживает и уходит с третьего отделения. И какой — прогонные терпеливые и преданные бабулечки! «Не могу же я весь день в театре сидеть!» — говорят они. А ведь и без того публики на Малой Бронной не ахти; правда, это «не ахти» — иного рода, нежели «гоголевское» или «пушкинское»: на рекламные трюки отвлекаться недосуг. Почему так? Вот версия: потому что внедряемые теоретические установки — не исключено, что стихийно-несформулированные и наличествующие лишь непосредственно на практике — противоречат стереотипу, заложенному в подсознание как привычка к другой театральности. Счастье, что выросло уже новое поколение, чьи зрительские навыки синхронизированы со становлением Женовача и его команды. Нам же, по инерции, надо, чтобы — аншлагово, динамично, залихватисто, развлекательно: «малобронные» упорные камерность и антиконъюнктурность — не соперники таганковской, современниковской и ленкомовской рассчитанно-массовой зрелищности.

Другая «фамильная» женовачевская черта, сплывающая, помогая держаться и действовать, — командность. И постановочная, и актерская: когда говорят «пришел со своей труппой», а слышится — «группой» (как в кино). Ставка здесь делается на крепкую середину, лучше сказать — основу, второй план, тыл, слаженность, органичность ансамбля. А не на звезд, хотя они есть. Бесспорно, это Сергей Тарамаев и Ирина Розанова: для ролевого расклада подобная гармония — мужчина и женщина — весьма удачна. Символичным кажется воцарившееся на Малой Бронной, параллельно с переменной концепции программ, обыкновение выносить на афишу только имена участвующих в спектакле актеров, без указания ролей, на равных, поэтому соблюдем его и мы, поименовав занятых в «Маленьких комедиях». Известны они нешироко. Те же из них, кого мы знаем, обязаны этим больше киноэкрану — как представители разных поколений Георгий Мартынюк и Геннадий Назаров. Четыре Сер-

гея — Перелыгин, Качанов, Топцов, Баталов (прямо мистика!), Геннадий Сайфулин, Александр Котов, Андрей Хворов и Елена Матвеева — вот, вкупе с вышеназванными, все... словно бы предназначенные именно для тех ролей, в которых выходят. Без одного, Евгения Калининца, которому посвятим несколько отдельных слов — как актеру, на наш взгляд, примечательному чуть более общей примечательности. У него две небольшие роли: Герасима (совмещение двух персонажей — Вельвицкого, писмоводителя, и Герасима, камердинера предводителя — иллюстрирующее наше замечание о режиссерской фабульной экономии) в «Завтраке у предводителя» и Миши в «Провинциалке». Есть такой тип «маленьких» (в том числе и в прямом, высотном смысле) актеров: приходят на память имена Светланы Брагарник из гоголевского театра или Владимира Виноградова, когда-то тоже игравшего там, а теперь исчезнувшего с горизонта. Привычные «местные таланты» широкого профиля в масштабе отдельно взятых театров, не признанные авторитетной общественностью, иногда несмотря даже на звания, «золушки», они «тянут» и на героев (роль Ипполита Терентьева в «Рыцаре бедном» и «Русском свете»), и на слуг — а ведь только герой может сыграть слугу так, чтобы та роль запомнилась крепче героической. На них ходят, даже когда они заняты всего лишь в эпизоде, но — сколько таких ходов? Отдельные сумасшедшие журналисты берут у них интервью — проваливающиеся в никуда, не читаемые. Такое несправедливое положение вещей показывает, что актерская судьба иногда — дело только случая, все не являющегося, и единственное спасение — в работе.

Сценическое оформление Юрия Гальперина, постоянного художника Женовача, не потрясает нас небывалостью, да и не делает подобных заявок. Сим проводится в жизнь альтруистический принцип актероцентричной режиссуры — не отвлекать внимание на себя, демиургов, а направлять его, концентрируя, на происходящее. На нынешний момент эксперименты с формой и пространством, эффектные в «Короле Лире» и впечатлявшие в «Шуме и ярости», пока приостановлены: нарочито-правдоподобные декорации напоминают учебные. Время от времени режиссеру, который, на западный манер, «умеет сделать» — при всей его архинашести — необходимы передышка, разгрузка, оп-

рошение. Главное — что могут-то они (именно «они», а не «он») по-всякому. Что их театр — живой, без микрофонов. Там играют — не Бог весть как, но по-настоящему — на пианино и гитаре. Какой-нибудь внезапный чехольчик на фортепьянах «делает» сцену. А тонкие нюансы, какие с ходу, из зрительного зала, полностью и не разглядишь — обыгрывание предметов (например, шляпы в «Провинциалке») или рук, сквозной мотив трюичности, прием ретардации (нарочитого притормаживания хода действия) или повторения — род-

нят спектакль, по проработке деталей, с литературным произведением. Так Юрий Визбор говорил об одной из своих песен: «Она — для дальнейшего потом разглядывания». Неожиданнее всего — обнаружить тургеневское происхождение подобных, заложенных в конструкцию исходно, образующих канву «мелочей», столь имманентно-режиссерскими они представляются.

Закончим же мы — так, как, по словам Владимира Лакшина, кричали из публики в старом русском театре в случае успеха: «Всех! Всех!»

Юлия Гарантул

Манеж в ожидании чуда

Вы, видимо, уже догадались, что чуда так и не произошло. Привычное российское упование на авось способно испортить любое полезное начинание. На этот раз им оказалась Международная художественная ярмарка «Арт Манеж».

Справедливости ради следует признать, что ей не хватило совсем чуть-чуть для успешного старта. Но без этой малости, архиважной, как сказал бы некто в кепочке и с бородкой, не состоялось События, которое должно положить начало регулярному ежегодному мероприятию. Должно, потому что без такой ярмарки в России не будет полноценного художественного рынка (она — необходимый элемент его инфраструктуры), должно, и именно в Москве, потому что столица является средоточием культурной и общественной жизни страны, наконец, должно, поскольку ярмарка организационно завяжет на Москву международный арт-бизнес, а это помимо всего прочего лишь усилит притягательность столицы как одного из крупнейших культурных центров Европы (художественные ярмарки проводятся в Париже, Лондоне, Мадриде, Берлине).

Первым этот сегмент рынка начал осваивать «АРТ МИФ», частная инициатива, которая развернула бурную деятельность, но захлебнулась к 1995 году. Город в лице Комитета по культуре мэрии Москвы и Центрального выставочного зала столицы решил продолжить начинание (ведь, как известно, рынок не терпит пустоты), учредив новую Международную художественную ярмарку «ART MANEGE». «Если сами не сделаем, — резонно заметил на пресс-конференции директор ЦВЗ «Манеж» Станислав Каракаш, — то это сделает

кто-нибудь другой». В ее подготовке приняли участие благотворительный фонд «Горожане» и редакция еженедельника «Общая газета».

В актив мероприятия можно записать удачный выбор места — благородный красавец Манеж со своей особой аурой (самое престижное выставочное пространство страны), времени — первая половина декабря (конец года, располагающий к подведению итогов, близость новогодних праздников, исключение совпадения сроков с основными зарубежными ярмарками), специализации — «Искусство XX века» (обеспечено необходимое на старте пространство для маневра).

В пассив — провал рекламной кампании. Коммерческое мероприятие, необходимо предполагающее создание вокруг него пролонгированного информационного шума, тихо прошелестело в Манеже, не собрав и половины той публики, на которую могло рассчитывать по своей значимости, масштабности и уровню организации. Кстати, не только публики, но и галерей, как зарубежных, так и отечественных. Ссылаясь на финансовые проблемы (а у кого сегодня их нет?), устроители ограничились так называемой точечной рекламой (абсурдный прием для премьеры ярмарочного марафона), которая, естественно, дала им «точечный» же результат. Надежда на то, что Манеж автоматически, одним своим авторитетом обеспечит начинанию необходимый промоушн, не оправдалась. Аудитория, на которую рассчитана ярмарка, принимая во внимание ее международный статус, слишком велика, тут без активного участия СМИ не обойдешься.

Оргкомитет далеко не исчерпал имеющийся запас средств, ходов, при-

емов и уловов, наработанных нашими деятелями культуры в борьбе за реализацию своих творческих планов. Например, по случаю того, что «ART MANEGE'96» входил в программу подготовки к 850-летию со дня основания Москвы, неплохо было бы залучить на ярмарку некоего господина в кепочке, но без бородки, зато с кустодиевским румянцем на щеках, объяснив ему архиважность мероприятия для стратегии культурного развития столицы, что, впрочем, не поздно сделать и в этом году. Мэр, а речь идет именно о нем, любит Москву и любит изобразительное искусство, хотя здесь его вкусы с москвичами несколько расходятся, он умудренный опытом тактик и, будем надеяться, проявит себя талантливым стратегом. А там, где Лужков, там и СМЙ, и бонд, и потенциальные покупатели в лице бизнесменов, корпораций и т.д. Глядишь, и у правительства Москвы вялость по отношению к ярмарке как рукой снимет. Личностный фактор, он сейчас в России на вес золота.

Итак, невероятный ляп с рекламой кардинальным образом сместил акценты и отрицательно повлиял на результаты этого коммерческого мероприятия. Однако стоит упомянуть и о других аспектах «ART MANEGE'96». Ярмарка получилась довольно представительной, в ней участвовало 63 галереи из России (Москва, Санкт-Петербург, Тверь, Тюмень, Тольятти, Уфа), Украины, Казахстана, Азербайджана, а также Германии, Испании и Финляндии, которые экспонировали произведения около 400 художников. Наплыву участников немало способствовали щадящие арендные расценки (65 долл. за 1 кв. м.), специально установленные дирекцией ЦВЗ для пущей привлекательности пилотной ярмарки. Но с 1997 года, когда она станет регулярной, с такими льготами будет покончено, поспешил предупредить С. Каракаш. Экспертный совет обеспечил пристойный общий уровень экспонентов, хоть Вильям Мейланд, художественный руководитель ярмарки, и посетовал в сердцах на то, что некоторых участников впустили в ее павильоны лишь для того, чтобы прикрыть дыры в бюджете. Для галеристов и художников дебют в новом потенциально престижном мероприятии, зафиксированный, кстати, в прекрасно изданном каталоге, стал явным плюсом в их послужном списке.

Самым любопытным на ярмарке оказался спектр представленных российских галерей. В доброту, по-европейски

оформленном и четко структурированном пространстве Манежа они были хорошо различимы. Каждый галерист экспонировал на стендах искусство, на котором специализируется его галерея, произведения, которые он хочет продать и которые, по его мнению, посетители ярмарки могли бы купить. Ярмарка не суть выставка. Поэтому коктейль из представленных на ней стилей, тенденций и направлений, ограниченных в нашем случае рамками «Искусства XX века», — явление закономерное, и судить о нем следует, исходя из свойственной ему специфики, ставя во главу угла профессиональное мастерство художника.

Даже в отсутствие зубров отечественного арт-бизнеса, таких, как галерея Гельмана, Айдан Салаховой и др. (у зубров свои насущные проблемы и непростые отношения с В. Мейландом), на «ART MANEGE'96» было на что посмотреть. Самое главное — галереи и галеристы отличались, так сказать, «лица необщим выраженьем». Рамки статьи не позволяют подробно остановиться на их характеристике, поэтому остается лишь кратко отметить некоторые: благополучную «Пан-Дан» с ее талантливым арт-директором; «Кросну», которая достойно облагораживает имидж одноименной фирмы, производителя систем телекоммуникационной связи, лелеющей в ответ свою галерею; спонсируемую банком «Век» галерею «Коллекция» с ее энергичным и обаятельным директором; пугливую «Станбет», общавшуюся с прессой не иначе как в роли «партизана на допросе»; уфимскую «Мирас» с ее доброжелательной и удачливой хозяйкой; московской «Ковчег», возглавляемый рассудительным и коммуникабельным директором; шумный «Арбатр»; «Новую скульптурную галерею», директрисы которой озабочены поддержанием жизнеспособности своего вида искусства в условиях рынка; «Замоскворечье» с его основательной и практичной руководительницей; вызывающую любопытство своим сложным происхождением молодую «Русскую галерею центра», открытую в 1995 году в Женеве на средства Фонда «Русская культурная инициатива», созданного в свою очередь российским предпринимателем и меценатом Виталием Кирилловым, основной бизнес которого связан с холдинговыми компаниями; забавную «Галерею-пальто», слоняющуюся по Манежу в виде юноши-экзгибциониста: распахнул полы пальто — показал картины, прикрепленные к подкладке, и т.д.

Подавая заявку на участие в «ART MANEGE'96», галеристы, само собой разумеется, руководствовались коммерческим мотивом в узком и широком его понимании. Первое подразумевает продажу произведений во время ярмарки или резервирование с продажей после. Второе — установление полезных контактов, которые в обозримом будущем могут способствовать коммерческому успеху. Предполагается, что ярмарка дает галереям возможность заявить или напомнить о себе (немаловажный шанс для провинциальных или не имеющих стационарных площадок галерей), наладить необходимые связи с коллекционерами, коллегами, музеями, которые со временем материализуются в предложения выставок, проектов с зарубежными партнерами, музейных закупок и т.д.

Однако на что можно было рассчитывать в условиях информационного вакуума «ART MANEGE'96»?

Неудивительно поэтому, что за время работы (6—13 декабря) «ART MANEGE'96» посетило всего около 10 тысяч человек, что продано было лишь около 200 произведений 39 художников и около 30 работ зарезервировано, что 75% покупателей оказались людьми, приглашенными самими галеристами и художниками (многие галереи сетовали на то,

что ярмарка не помогла им найти новых клиентов, а свои коллекционеры их и без ярмарки знают), что 20% участников, «сохраняя лицо», как сказали бы японцы, сообщили о том, что не ставили своей целью продажу (это на ярмарке-то!). Странно было также услышать из уст директора ЦВЗ «Манеж» С. Каракаша фразу: «По поводу продаж статистику мы вести не собираемся». К чему такая таинственность, или ярмарка в Москве функционирует иначе, чем ее зарубежные аналоги, где с каждой проданной вещи делаются отчисления ярмарочному комитету и, следовательно, статистика ведется?

Так или иначе, но первый шаг в формировании новой традиции сделан. Галеристы высказываются о нем критически, особенно по поводу отсутствия рекламы, но неудачей не считают. Ведь были продажи (четыре галереи вышли по ним в лидеры), было резервирование, даже Третьяковка что-то для себя рассмотрела, галеристам поступали деловые предложения от отечественных коллекционеров, организаций, зарубежных коллег и частных лиц, галереи показали себя, посмотрели на других (провинция пристально изучала центр, а тот наметанным глазом скользил по «закромам» провинции). Каким будет следующий шаг? И будет ли? Ждем-с.

Галина Онуфриенко



Дина Рубина

Я — афеня.

Я: — «ходебщик, контюжник, разносчик с извозом, коробейник и мелочник, щепетильник, торгаш в разноску и в развозку по малым городам, селам, деревням, с книгами, бумагой, иглами, сыром и колбасой, серьгами и колечками». (В. И. Даль)

Я — афеня. Сыр и колбаса, положим, нарезаны на бутерброды и лежат в сумочке на случай опоздания самолета (поезда, автобуса), серьги в ушах, а колечки — на пальцах... но в остальном я, конечно, тот самый ходибчик, торгаш в разноску и развозку по малым и большим городам. То есть я — разъездной себе писатель, промышляющий на собст-

венных вечерах продажей собственных книг. Такова реальность моего бытия.

На этих днях в Москве у меня выходит книга. По договору с издателем я должна получить определенное количество экземпляров. Моя московская приятельница ругает меня по телефону.

— Почему вы не настояли на гоноrare! — возмущается она. — На черта вам книги сдались, торговать вы ими станете, что ли?

И я, запнувшись на мгновение, смущенно:

— В общем-то... да. Стану.

Вернулся из очередной гастрольной поездки Игорь Губерман, позвонил и сказал:

— Чего ты сидишь? Езжай, заработай, я наводки дам.

— Ты-то как съездил? — спрашиваю.

— Сорок концертов. Теперь, — говорит, — я понимаю, почему публичные девушки наутро угрюмы... Ты после окончания турне не сразу возвращайся, добавь себе дня три.

— На музей-экскурсии? — спрашиваю понятно.

— Какие музеи! Будешь спать и пить. Пить и спать. Чтоб расслабиться.

— Чего пить? — не поняла я.

— Водку, дура! — проговорил он устало.

...Иногда я думаю — ну что ж, ведь вот и артисты живут этой собачьей разъездной жизнью, и ничего, радуются гастролям, выходу на сцену, лицам в зале...

Нет-нет. Это — другая профессия, другой темперамент, иные приводные ремни к тому, что называется мироощущением. Писатель — профессия оседлая, сокрытая, непубличная. По моему глубокому убеждению, писателю вообще негоже показываться публике на глаза. Не в том смысле, что — «ты царь, живи один», а в том, что для работы это ничего не дает. Только вредит. Публике ведь не считаешь новый роман страниц на четырехста, на который ты ухлопал несколько лет жизни. Публику утомлять не след, вот и кувыркаешься. Читаешь коротенькие забавные рассказы пятнадцатилетней давности, от многократного чтения которых у тебя вырабатывается стойкий вторичный рефлекс. Повторяешь зазубренные «связки», травнишь байки, якобы только что пришедшие на память. Изображаешь во все лопатки живой увлекательный диалог. А между тем давно знаешь все вопросы, которые зададут тебе из зала. Например, этой осенью в Германии (пролетающие за окном вагона, горящие золотом и багрянцем леса Саксонии), я, как пророк Самуил, отвечала на два главных вопроса: «правда ли, что Михаил Козаков вернулся в Россию?» и «как в Израиле относятся к российским евреям, уезжающим в Германию?»...

Тому же Игорю Губерману я пожаловалась однажды, что чувствую себя заезженной патефонной пластинкой. Он сказал:

— Старуха, хорошо тебе! Я себя жуликом чувствую.

Я — афеня. А может быть, это и неплохо. От постоянных разъездов, бесконечного чередования новых лиц, новых

городов, новых стран вырабатывается некий специальный взгляд не «со стороны» даже, а нездешний такой глазок, вспышка фотографическая, способность к созданию моментальных снимков. Гротескных, как правило, ибо жизнь смешна и люди нелепы, хотя и прекрасны и трогательны в этой нелепости. Когда — бродячий менестрель — я натыкаюсь в странствиях на «свой» персонаж, я испытываю к нему нежность людоеда, почти любовь. Я предвкушаю, как впоследствии набью это чучело соломой.

Опять же из недавнего путешествия по Германии: после выступления меня зазвали на обед, и хозяин дома — в далеком прошлом актер Куйбышевского тюза, в недавнем прошлом — чиновник министерства культуры (четыре года в Германии), объясняет проникновенно: «А я пошел актерским путем, путем вживания в роль. Я сказал себе: «я — немец, я вернулся на Родину и учу родной немецкий язык, и с каждым днем он будет улучшаться...»

Соловьиная песнь вожделенной любви грянула в моем людоедском писательском сердце. Ах ты ж сука моя ненаглядная, думала я, любуясь, немец ты мой простодушный. Воспою, воспою непременно.

Вот еще беда: не умею давать интервью. Не умею однозначно отвечать на вопросы, самые, казалось бы, ясные, простые и определенные. Торопею и всерьез задумываюсь, пытаюсь вот в эту минуту проникнуть в суть предмета. Очень тяжело и мучительно взвешиваю слова. Может быть, потому, что ни в чем относительно себя не уверена. Постоянно, ежесекундно меняюсь на каком-то глубинном, клеточном уровне. Нет твердого мнения по многим вопросам, вернее, оно просто не успевает затвердевать. Поэтому, когда читаю собственные излияния, неделю назад записанные корреспондентом на пленку и пунктуально (я ставлю обычно такое условие) воспроизведенные на бумаге, я прихожу в отчаяние. Хоть в суд на саму себя подавай за клевету и извращение мыслей. В связи с вышесказанным к жизни меня привлекают не фундаментальные мировоззренческие канаты, не крепко сплетенная многолетняя сеть человеческих отношений (родственных, дружеских), а такие пустяки, такая шелуха картофельная, такие фантики разноцветные, что и признаваться стыдно.

И вот я думаю: может, недаром я —

афеня? может, это такая форма бродажничества — там словечко подберешь, тут картинку ухватишь, здесь типаж заметишь. А заодно и книжку свою продашь, глядишь, и прокормимся.

Я и эту страну вдоль и поперек изъездила, что нетрудно. Запасешься бутербродами, сумки в руки и на автобус — ходешник, контюжник, торгаш в разнос-

ку и развозку, шепетильник и мелочник, одним словом — афеня.

А когда на спинке израильского автобуса написано фломастером по-русски «Ася сука», как-то уютнее чувствуешь себя на этой земле...

Иерусалим.

Кто тут нам помог?

А. Г. Тартаковский. Неразгаданный Барклай: Легенды и быль 1812 года. М.: Археографический центр, 1996. — 367 с. 3000 экз.

На вопрос о помощи в «грозу двенадцатого года», заданный в десятой — недоработанной, частично уничтоженной — главе «Евгения Онегина», Пушкин сам и ответит спустя несколько лет стихотворением «Полководец». В споре, вспыхнувшем едва ли не с началом Отечественной войны, он не просто станет на сторону Барклая де Толли, но и скажет о трагедии «вождя несчастливого», обреченного на одиночество, непонимание, вызванные еще и чужеродностью фамилии.

Пушкинское стихотворение, подобно маслу, подлитому в огонь, распалило страсти. Сторонники М. Кутузова увидели в нем — не без некоторого основания — умаление своего кумира. Поклонники Барклая возражали — и тоже не без основания — против слов о жертве, принесенной «земле тебе чужой».

Личная судьба выходца из старинной шотландской фамилии, еще в середине XVII века переселившейся в Ригу, Михаила Богдановича Барклая де Толли при всей своей уникальности носит и черты явления. Даже если автор книги не выходит за рамки индивидуальной биографии.

Участник всех войн, какие вела Россия в конце XVIII — начале XIX веков, Барклай получит генерал-майорские эполеты после более чем двадцатилетней службы и неожиданно прославится в кампании 1806 — 1807 гг. как один из искуснейших русских военачальников. Преумножит свою славу в войне со Швецией, и современники уподобят легендарный поход через Ботнический залив переходу Суворова через Альпы. Завоюет любовь солдат, станет «полным» генералом, а вскоре — военным министром, возбудив зависть и неприязнь

иных военачальников и сановников — отпрысков старинных русских дворянских родов. Для них он, лишенный знатного происхождения и придворного искательства, не более чем человек, выдвинувшийся случайно и незаслуженно.

«Обросшая предрассудками, ксенофобская по своим социально-психологическим истокам тенденция предубеждения к полководцу давала себя знать всякий раз, как в обществе пробуждались националистические или патриархально-консервативные умонастроения», — замечает А. Тартаковский в «Неразгаданном Барклае», этом документально-историческом повествовании, раскрывающем участь человека, обдуманно воздействовавшего на события 1812 года, сплошь и рядом вызывавшего подозрения, а то и облыжные обвинения. Живой, сложный человеческий характер воссоздается без каких-либо беллетристических попользований. Несомненная симпатия, сочувствие к герою не мешают обстоятельно рассматривать точки зрения, идущие вразрез с авторскими убеждениями, ни в коем случае не навязываемыми читателю. Это сообщает особую убедительность наблюдениям и выводам А. Тартаковского, дает пищу для размышлений, минутами выходящих за границы его труда. Становится, например, понятнее категорическое утверждение Сталина: М. Кутузов «как полководец был бесспорно двумя головами выше Барклая де Толли». Пушкин полагал иначе. «Замысел, обдуманный глубоко», по его словам, принадлежал именно Барклаю и был мудро использован Кутузовым. Вынужденный в ответ на упреки в умалении роли Кутузова опубликовать историко-публицистический очерк «Объяснение», Пушкин восклицает: «Неужели должны мы быть неблагодарны к заслугам Барклая де Толли, потому что Кутузов велик?»

Попытка не уравновесить, но, явив предельную объективность, определить соотношение двух «великих мужей», не

посягая на заслуги ни одного, ни другого. Впрочем, «Объяснение» не могло удовлетворить спорящих. Слишком глубоки предубеждения, непрост предмет полемики, многообразны интересы — личные и корпоративные, — встающие за ней.

Стратегическая линия «скифской» войны, то есть боевых действий, заманивающих противника в глубь территории, отрывая от своих баз, погружая в чужую народную стихию, с тем, чтобы сохранить собственную армию для сокрушающего удара, вызывала протесты, возражения, вынуждала Барклая преодолевать несогласие видных военачальников. Особенно, когда его план привел к победоносному, казалось, наступлению «Великой армии» Наполеона, сдаче Смоленска, прямой угрозе Москве.

Ситуация развивалась драматически, и все более драматическим делалось положение Барклая. Против него направлен и народный ропот, особенно болезненный для полководца, видевшего в своих солдатах часть народа.

Положение усугублялось двусмысленностью его административно-командных возможностей. Он, военный министр, не являлся главнокомандующим, в его непосредственном подчинении находилась лишь одна из трех «частных» армий. Возглавлявшие две другие — А. Тормасов и П. Багратион не были обязаны исполнять волю Барклая.

Не кто иной, как Клаузевиц утверждал, что исход сражений в немалой степени зависит от «трений» между командующими.

Чего-чего, а «трений» хватало. И в зоне военных действий, и в придворных кругах. Для А. Аракчеева не секрет критика Барклаем военных поселений, близость воззрений Барклая и М. Сперанского, не отказывавшегося от либеральных идей, все более далеких Александру I.

Даже согласившиеся со «скифским» замыслом видели в нем решение, вынужденно родившееся по ходу войны, и не подозревали, что Барклай загодя пришел к нему, предвидя истинное соотношение сил с началом наполеоновского похода. В том, что такой поход неизбежен, он не сомневался и, остается предположить, в какой-то мере догадывался о неизбежной оппозиции своему плану, пусть и одобренному императором. Но одно дело — предвидеть, другое — столкнуться с недоверием, а то и враждебностью, даже вероломством тех, кого считал товарищами по оружию.

После сдачи Смоленска, по мере

приближения Наполеона к Москве Барклай все острее и болезненнее ощущал шаткость, уязвимость своей позиции, насколько, однако, не сомневаясь в ее правильности. И когда Кутузов, получив пустовавший до того пост главнокомандующего, продолжил «скифскую» тактику, Барклай, возможно, испытал удовлетворение. Но вряд ли смирился с таким ходом вещей, обидным для него. Особенно из-за расползавшихся слухов и прямых обвинений в измене, достаточно обычных на Руси, когда она подвергается опасности или когда все идет через пень-колоду.

Героизм Барклая де Толли при Бородине (двое его адъютантов были убиты, четверо ранены) заставил иных недоброжелателей прикусить язык. Но не заставил Барклая отказаться от решения покинуть главную квартиру. Слишком пострадала его репутация и слишком низменны были нападки на «иностранную фамилию».

Человек, абсолютно чуждый интригам, он, по словам современника, «умел скрывать свою скорбь», а жене писал, что «патриотизм исключает всякое чувство оскорбления». То был вольнолюбивый и гордый патриотизм, чурающийся высоких слов.

Барклай начинает надолго затянувшийся бой за реабилитацию — свою и своих войск. Он шлет письма царю, пишет «Объяснение», «Изображение», «Оправдание», растолковывая собственные побуждения и происки недоброжелателей. Защита чести становится делом жизни, и он проявляет недюжинную настойчивость.

Александр I, наконец, обещает действовать его оправданию, преследуя прежде всего свои цели. Ему, знавшему истинную цену полководческому дарованию Барклая, не с руки было от него отказываться.

Спустя месяц после кончины М. Кутузова Барклай де Толли назначается главнокомандующим русско-прусскими войсками. Он на вершине военного управления, сподобился высших отечественных и иностранных наград, после Лейпцигского сражения возведен в графское достоинство, в 1815-м — в княжеское, за взятие Парижа произведен в фельдмаршалы. Справедливость восторжествовала?

Как сказать. Слава побед под Кульмом, Лейпцигом и Парижем будто затмевала начало войны, Смоленск обычно не упоминался, Бородино приписывалось лишь Кутузову. Так Кутузов сопрягался

с началом сокрушения «Великой армии», Барклай — с ее завершением. Сбрасывалось со счетов историческое значение барклаевских отступательных маневров, спасших костяк русской армии.

Барклай был слишком умен и горд, чтобы этого не понимать, а понимая, принимал близко к сердцу. Из памяти не шли «ужасные гонения» после Смоленска, вызванные не только крайностями национально-патриотических чувств, особенно пылких в час смертельной опасности, когда сподручно играть на чужеродности отступающего полководца. Имелась и скрытая социальная подоплека: страх военно-дворянской верхушки, помещичьих слоев, — как бы барклаевское отступление не позволило наполеоновским полкам проникнуть в глубину России, не привело к антифеодальным и антиправительственным волнениям, не усилило влияние другого «изменника» — М. Сперанского.

Туго запутанный клубок противоречий мешал сохранить равновесие даже такой трезвой и справедливой натуре, как Барклай де Толли. А. Тартаковский не скрывает: объективности подчас не хватало и в барклаевских письмах. Но он никогда не опускался до сплетни, мелочных счетов, поклепа, отвергал принцип «падающего толкни». Чего нельзя сказать о некоторых его оппонентах.

Автор сосредоточен на событиях в жизни главного своего героя. Остальные персонажи на обочине. Однако и здесь не без сюрпризов. О том, что Александр I умел вести двойную игру, а Константин Павлович отличался великокняжеским хамством, известно достаточно хорошо. Но досадно, когда сложившиеся образы Давыдова, Багратиона, Ермолова что-то теряют в своей привлекательности после того, как узнаешь об интриганстве одного, самолюбивом тщеславии другого, непомерной гордыне третьего. Когда прославленные военачальники вдруг совпадают с великим князем, обозвавшем Барклая немцем, колбасником.

Вряд ли всех их допустимо заподозрить в антинемецких настроениях, обостренном интересе к составу крови, в пренебрежении такими немцами, как Беринг или Крузенштерн. Но когда надо искать виновников трудно объясняемых бед, в ход пускаются и шовинистические ярлыки. Так, кстати, было не только в 1812 году, но и в 1941-м.

Защитниками Барклая де Толли и не менее яркими защитниками пушкинского «Полководца» выступают, между

прочим, Н. Греч и Ф. Булгарин. С первым у Пушкина в ту пору сложились добрые отношения, второго он никогда не жаловал. Но еще до Отечественной войны Булгарин писал о незаурядных командных качествах Барклая, о солдатской любви к нему.

Допустимо, думается, предположить (не более, чем предположить), что выходец из немцев Греч и поляк Булгарин испытывали приязнь к выдающемуся иноплеменнику Барклаю. В человеке пробуждается чувство крови, когда ему дают это почувствовать, и когда видят, как спекулируя на чьей-то иноплемениности, верхи распалаят национализм низов, превращая их в ослепленную толпу.

Труд А. Тартаковского о Барклае де Толли далек от аллюзий; обобщения не выходят за пределы четко обусловленной темы. Но из этого не следует, будто разбуженная читательская мысль не вправе переступить порог.

Стоит вспомнить большевистскую «охоту на ведьм» среди военных в 30-е годы, и бросается в глаза обилие нерусских фамилий, начиная с комдива Шмидта и продолжая Якиром, Корком, Алкснисом, Блюхером, Уншлихтом, Эйдманом, Путной, Фельдманом, Берзиным, Иссерсоном, Геллером, Штерном... Случайность? Вероятно, не только она. Как и не совсем, надо полагать, случайна кровавая неумность Сталина и Бери, Вышинского (поляка) и Уншлихта, стремившихся таким манером продемонстрировать свою верность русскому народу, России.

Возможен ли был в Советской России 40-х — 50-х годов с ее декларированным интернационализмом феномен генерала Зиновия Пешкова (брат Я. Свердлова, усыновленный Горьким) — национального героя Франции, героя двух мировых войн?

Нынешнее смятение умов вызвано, видимо, и тем, что на вопрос «кто мы и откуда» зачастую даются ответы, окончательно сбивающие с толку. И не одними спекулянтами, наловчившимися печь псевдоисторические романы и вести псевдоисторические телепередачи. Уважаемый прозаик вдруг находит ключ к трагическим катаклизмам: Ленин, на нашу беду, картавил, зато у царей была незамутненно чистая русская кровь. Хотя даже отъявленным монархистам ведомо, что в царских жилах текла по преимуществу немецкая, английская, датская кровь. Только вряд ли это обстоятельство

предопределило крах империи и отразилось на извивах отечественной истории.

Книга «Неразгаданный Барклай» настаивает на приоритете реальных фактов, досконального анализа и убеждает в

преимущество взыскующей мысли. Только так открываются загадки прошлого и сколько-нибудь проясняется настоящее.

В. Кардин

незнако^Ный журнал

Россия и Израиль: литературный перекресток

«Перекресток» («Цомет»). Москва — Тель-Авив.

Любопытный феномен — совместное детище литераторов России и Израиля альманах «Перекресток — Цомет» появился в 1994 году, в свет вышел уже третий его выпуск.

Как-то Михаил Козаков на страницах «Перекрестка» высказал такую мысль: представитель творческой интеллигенции, который репатрируется в Израиль, находится как бы между двумя точками на карте. Эфраим Баух, «мэтр русского литературного Тель-Авива», развил эту мысль. По его мнению, писатели, которые пишут на русском языке, представляют единый литературный процесс, не зависящий от места проживания. Тенденцию и развитие этого процесса теперь можно наблюдать благодаря изданию в России российско-израильского альманаха «Перекресток — Цомет», при этом израильские литераторы смогли в определенной степени воссоединиться с основной массой своих читателей.

Первый выпуск «Перекрестка» привлек в свое время внимание созвездием ярких имен: Лев Разгон и Эфраим Баух, Александр Иванов и Игорь Губерман, Юрий Левитанский и Булат Окуджава, Рада Полищук и Дина Рубина. Я намеренно не выделяю авторов России и Израиля, так как полагаю, что их разделение по разные стороны «Перекрестка» чисто условно: в произведениях писателей и поэтов много общего как в духовном аспекте, так и в плане тематики. Как написано у Давида Самойлова: «Быть выше спора наций и времен...».

«Первый блин» оказался удачным, и вскоре после выхода «Перекрестка» было издано приложение к нему — «Повесть о жизни» Льва Разгона, человека-легенды нашего времени.

Во втором выпуске «Перекрестка»,

помимо традиционных рубрик, появились «Мемориальные страницы», которые были посвящены Юрию Нагибину и «доброму человеку из Ришон-Лециона» Исааку Савранскому. Особенно этот выпуск пришелся по вкусу любителям поэзии: там были напечатаны стихи Евгения Рейна, Ефима Бершина, Ильи Бокштейна. О последнем — Илье Бокштейне — хочется добавить, что этот интереснейший поэт практически не известен в России, но его стихи присутствуют во многих зарубежных антологиях поэтического авангарда: в Израиле его так и называют — «лидер бронзового авангарда». Во втором выпуске «Перекрестка» российский читатель смог познакомиться с подборкой его стихов «Не соразмерен я своей природе».

Третий выпуск «Перекрестка» отличается от своих собратьев как по форме, так и по содержанию. В альманахе появились новые рубрики: «Дебют» и «Для сцены и экрана». Если в первой из названных рубрик напечатаны литературные произведения молодых авторов, то во второй встречаются такие имена, как Эфраим Севела, представляющий на этот раз российскую сторону «Перекрестка», и Семен Злотников, «играющий в команде» израильтян.

Как-то Леонид Гомберг, главный редактор альманаха, называя имена знаменитых литераторов России и Израиля, принявших участие в первом выпуске «Перекрестка», сказал, что тогда они предоставили альманаху свое имя в кредит. Очевидно, доверие маститых авторов оправдалось, и в третий выпуск также включены произведения известных писателей и поэтов, среди которых, помимо названных, уместно упомянуть Юрия Левитанского, Давида Самойлова, Леонида Ковалева, Юлиа Крелина, Эфраима Бауха, Григория Лямпе и многих других.

Открывает новый сборник баллада Леонида Ковалева «Ох уж наши сумасшедшие»: пронзительно горькая история о погибших от нацистской пули без-

защитных жителей довоенного еврейского местечка. Когда читаешь неторопливые строки о жизни, любви и смерти героев баллады, то начинаешь понимать, что у каждого из шести миллионов евреев, загубленных в годы второй мировой войны, была своя история, свое имя и своя трагедия.

Рассказы Юлия Крелина переносят нас в современный мир, где многое поставлено с ног на голову: отец парня, у которого случайно обнаружили тяжелую болезнь, радуется..., что его сын теперь не пойдет служить в армию.

Герой рассказа Марка Кабакова так и не дождался перевода из Архангельска в Москву: надежды на брата, который женился на приемной дочери Молотова, увы, не оправдались...

В рубрике «Размышления и воспоминания» Феликс Светов рассказывает о своем детстве, прошедшем в Доме Советов в Каретном ряду. Заметки об истории еврейской музыкальной культуры представляет Тобяш Купервейс.

В израильской части «Перекрестка» опубликованы отрывки из новой книги Эфраима Бауха «Солнце самоубийц». Александр Карабчиевский предлагает вниманию читателя несколько сюжетов, среди них — рассказ в рассказе, который называется «Эротический рассказ для любимой женщины». Наталья Илатовская, в прошлом российская актриса, в Израиле начала писать и в «Перекрестке» представлена в рубрике «Дебют». В небольшой уличной зарисовке Семена Злотникова, которая напечатана в рубрике «Для сцены и экрана», ее герои Скрипач и Трубач высказывают свое неоднозначное отношение к исторической родине.

Перелистывая страницы третьего выпуска «Перекрестка», ловлю себя на мысли: «иных уж нет, а те — далече...». Взять хотя бы подборку статей, которая представлена с израильской стороны, о замечательном актере, «блуждающей звезде» театра и кино Григории Лямпе: последние несколько лет он жил в Израиле и работал в театре «Гешер», но вся его жизнь и судьба связана с Россией. В очерке Леонида Гомберга, в собственных воспоминаниях Григория Лямпе и его друга Льва Дурова открываются новые грани дарования и яркой личности этого прекрасного актера.

Имя Юрия Левитанского занимает особое место в истории создания «Пере-

крестка». Он первый представил для первого выпуска альманаха подборку своих стихов «Разные времена», «привел» в альманах таких замечательных мастеров, как Юлий Крелин, Михаил Козаков, Феликс Светов. Так случилось, что презентация альманаха, состоявшаяся в тель-авивском Доме писателей, была особенно праздничной из-за приезда мэтра российской поэзии, впервые посетившего Святую землю.

В последние годы своей жизни Юрий Левитанский много размышлял о проблемах современной литературы, природе художественного творчества. В частности, в третьем выпуске «Перекрестка» он написал: «В нынешнем стихотворстве процветает некое отражение того, что присутствует в социальной жизни нашего общества — колдовство, шарлатанство, шаманство и всякое такое.» Стихи Левитанского никого не обличают и никому не зовут.

*Каждый выбирает для себя
женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку —
каждый выбирает для себя.*

В третьем номере альманаха Юрий Левитанский рассказывает, что незадолго до своего ухода Давид Самойлов написал ему на одной из своих книг: «Юра, мы с тобой два берега у одной реки.» Сегодня нет с нами Юрия Левитанского и Давида Самойлова. «Два берега у одной реки...»

Предисловие к стихам Давида Самойлова, которое вместе со стихами опубликовано в недавно вышедшем «Перекрестке», Юрий Левитанский редактировал за несколько дней до кончины.

...Если, прогуливаясь по книжным развалам, вы увидите книжку, на белой обложке которой изображены «Колена Израилевы» (художник Слава Полищук), то знайте: вы держите в руках третий выпуск российско-израильского альманаха «Перекресток — Цомет», настоящий и достаточно редкий в наше время образец художественной и публицистической литературы. Благодаря изданию этого альманаха, российские читатели имеют уникальную возможность познакомиться не только с авторами, живущими среди нас, но и с прекрасными мастерами, творящими за многие тысячи километров от России.

Лариса Токарь

главный редактор

Сергей ЧУПРИНИН

редколлегия

Александр АГЕЕВ
Юрий БУЙДА . *ответственный секретарь*
Наталья ИВАНОВА *первый зам. гл. редактора*
Карен СТЕПАНЯН
Елена ХОЛМОГорова

редакция

Ольга Ермолаева *поэзия*
Юлия Рахаева *публицистика*
Ольга Трунова *проза*
Елена Хомутова *проза*
Александр Шиндель *проза*

общественный совет редакции

Сергей Аверинцев, Григорий Бакланов, Игорь Виноградов,
Николай Воронцов, Вячеслав Иванов, Фазиль Искандер,
Евгения Кацева, Владимир Маканин, Марк Масарский,
Булат Окуджава, Михаил Ульянов, Юрий Черниченко.

Адрес редакции: 103863, ГСП, Москва, ул. Никольская, 8/1.

Телефоны: главный редактор — 921·24·30,
первый зам. главного редактора — 921·08·09,
ответственный секретарь — 928·22·78, отдел прозы — 923·72·82,
отдел публицистики — 923·76·33, отдел критики — 928·94·45,
отдел библиографии — 923·62·61, отдел поэзии — 921·59·67,
для справок — 924·13·46, факс — (095) 921·32·72.

Редакция рукописи не возвращает и в переписку не вступает.

Корректор Елизавета Полукеева.
Компьютерная верстка: Илья Корнеев, Елена Кот.

Из общего тиража журнала Институт «Открытое общество»
выписал и направляет в российские библиотеки и библиотеки ряда стран СНГ
2097 экземпляров журнала «Знамя».

Сдано в набор 12.02.97. Подписано к печати 18.03.97. Заказ № 2493.
Тираж 12800 экз. Формат 70x108 1/16. Усл. печ. л. 21,0. Уч.-изд. л. 23,17.
Печать офсетная.

Отпечатано с готовых диапозитивов в
полиграфической фирме «Красный пролетарий».
103473, Москва, Краснопролетарская, 16.

Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Знамя».
© Журнал «Знамя», 1997.

Издательство "КНИЖНАЯ ПАЛАТА"

127018, Москва, ул. Октябрьская, 4, строение 2.
Проезд: метро "Цветной бульвар", тролл. 13 до ост. "Музей Вооруженных Сил",
вход со стороны ул. Советской Армии (напротив музея).
Тел.: 288-94-29, тел./факс: 288-92-38

Работает с 1987 г. Основные направления сегодня:

"ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО"

Это — не Карамзин.

Это — компактная библиотека новейших книг по истории России, основанная на последних научных данных.

Это — особые издания, вобравшие в себя всю предшествующую российскую историографию.

Это — познавательное чтение для тех, кто хочет самостоятельно изучить историю, и — учебники живой истории для всех уровней обучения, пособие для учителей и вузовских преподавателей.

Выпускается в трех сериях:

"Историко-библиографические очерки"

"Жизнеописания"

"Хрестоматия"

Перед читателем откроется весь спектр исторического знания: от войн и царствований до описания русского застолья; галерея исторических лиц от Владимира Мономаха до наших современников; первоисточники в виде летописей и документов, переписка государственных деятелей и частных лиц, мемуары и фрагменты художественных произведений...

Приобретая книги "История государства Российского", Вы приобретете реальную возможность выработать свой собственный и вполне обоснованный взгляд на отечественную историю.

Серия "РУССКИЙ ПАРНАС"

к 200-летию Пушкина

Эта серия открылась в 1996 г. томом Пушкина "Жизнь и лира". Серия представит всю русскую литературу в лучших ее образцах. Книги серии построены необычно, в них нет академического разделения на жанры, все творчество и вся жизнь писателя предстают перед читателем в едином потоке бытия. Стихи, проза, письма и документы составят единую хронику жизни автора.

Все книги иллюстрированы и выпускаются в серийной красочной суперобложке. Знакомые тексты откроются Вам в новых и неожиданных ракурсах.

Вышла вторая книга серии: А. К. Толстой "Против течения".

В производстве: Грибоедов "Лицо и гений", Козьма Прутков "Глаголы уст моих". Впервые Директор Пробирной Палатки предстанет не вымышленным лицом, а как законный автор своих сочинений.

В редакцию сданы: Маяковский "Люблю" (сост. Бенедикт Сарнов), Сухово-Кобылин "Дело об убийстве" (Станислав Рассадин).

Продолжается "ПОПУЛЯРНАЯ БИБЛИОТЕКА"

После книг Александра Бека, Владимира Дудинцева, Бориса Пастернака, Юрия Домбровского, Григория Бакланова и Виктора Астафьева *вышли новые издания:* Михаил Кураев "Жребий №241", Элиа Казан "Arrangement" (пер. с англ.), "Американская история" Марины Розовской, переложенная на русский язык Анатолием Тоссом. Автор последней книги бывший москвич, а ныне бостонец Анатолий Розовский, и этот роман не только великолепно написан, но и великолепно читается (теперь это — редкость!).
В производстве: полный вариант романа Георгия Владимова "Генерал и его армия".
К юбилею столицы выходит иллюстрированная библиографическая энциклопедия "Москва вековая" (сост. В. Мешков).

"Знамя" — 97

Журнал современной литературы и общественной мысли "Знамя" в 1997 году — романы и повести Чингиза Айтматова "Курьер любви", Василия Аксенова "Новый сладостный стиль", Георгия Владимова "Долог путь до Типперери", Юрия Давыдова "Бестселлер", Андрея Дмитриева "Закрытая книга", Олега Ермакова "Свирель вселенной", Нины Садур "Немец", Владимира Шарова "Старая девочка", продолжение публикации мемуарной книги Новеллы Матвеевой "Мяч, оставшийся в небе", новые произведения Григория Бакланова, Владимира Войновича, Андрея Волоса, Фазиля Искандера, Владимира Маканина, Юрия Мамлеева, Булата Окуджавы, Людмилы Петрушевской, Владимира Яницкого.

"Знамя" — месяц за месяцем, год за годом создаваемый на журнальных страницах вернисаж сегодняшней и пантеон классической русской поэзии.

"Знамя" — переписка Бориса Пастернака, письма Александра Гвардовского, дневники Константина Паустовского, размышления Юрия Левитанского, воспоминания о Юрии Домбровском, книга Эммы Герштейн "Надежда Яковлевна", материалы из архивов Иосифа Бродского, Василия Кандинского, Юрия Лотмана, Георгия Семенова, Лидии Чуковской, Геннадия Шпаликова.

"Знамя" — публикующиеся под новой рубрикой "Классика XX века" неизвестные российскому читателю произведения Альбера Камю, Бориса Виана, Дилана Томаса.

"Знамя" — публицистика, эссеистика, экспертизы, культурология, критика, разговор о роли России и российской культуры в современном мире.

И, наконец, "Знамя" — развернутая панорама сегодняшней литературной и общекультурной жизни.

Подписаться на "Знамя" с любого очередного номера можно по каталогу "Роспечати" или непосредственно в редакции — Никольская ул., 8/1, тел. 924-22-88. Отдельные экземпляры журнала можно купить в редакции или в книжном магазине-салоне "19 октября" (1-й Казачий пер.) и в магазине "Графоман" (ул. Бахрушина, 28).